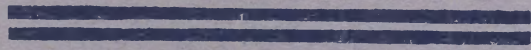


Н О В Ы Й
М И Р

7

Н О В Ы Й
М И Р

7



1959

1959

НОВОЫЕ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXV

№ 7

Июль, 1959 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ТРЕТЬЕМУ СЪЕЗДУ ПИСАТЕЛЕЙ СССР	3
ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ — Поход за Невскую заставу	6
АЛЕКСЕЙ КАСАТКИН — Четыре стихотворения	62
ЛЕОНИД ПЕРВОМАЙСКИЙ — Два рассказа. Перевела с украинского А. Громова	64
АЛЕКСЕЙ МАШКОВ — Край нехоженный, стихи	77
ВЛАДИМИР КОРОТКЕВИЧ — Заяц варит пиво, стихи. Перевел с бело- русского Яков Хелемский	79
А. МАРЬЯМОВ — Идем на Восток. Продолжение	80
ОЛЕГ ДМИТРИЕВ — Воспоминание о целине, стихи	134
ЮРИЙ КУРАНОВ — Лето на Севере	137
НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ	
АЛЬДЖЕРНОН ЧАРЛЬЗ СУИНБЕРН — У Северного моря. (Фрагменты из поэмы). Перевел с английского Иван Кашкин	151
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
АННА МАСС — На целине. Из записок студентки	155
ПУБЛИЦИСТИКА	
Е. ОСЛИКОВСКАЯ — Технорук колхоза	189
И. ГРИГОРОВСКИЙ — Семилетка советской медицины	199
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
СТЕПАН ЗЛОБИН — О романе А. Калинина «Суровое поле»	211
А. ДЕМЕНТЬЕВ — По поводу статьи Степана Злобина	226

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
Г. Бакланов. Новая повесть Ю. Бондарева.— Л. Левицкий. О постоянстве и широте кругозора.— Н. Леонтьев. Сказки-путешественницы.— Г. Владимов. Были и небылицы Ялгубы.— С. Великовский. К горизонту всех людей.	249
<i>Политика и наука</i>	
Д. Осин. Из потребляющих в производящие.— И. Осипов. Невидимое топливо.— Академик Д. Шербаков. «Старейшина советских геологов».— И. Зыков. Щедрый Байкал.— Е. Шведов. Преданы и проданы.— С. Эпштейн. «Чего не знает Джонни»	271
КОРОТКО О КНИГАХ	284
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

Третьему съезду писателей СССР

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза сердечно приветствует делегатов Третьего Всесоюзного съезда писателей СССР и всех деятелей многонациональной советской литературы.

Дорогие товарищи! Съезд советских писателей собрался в замечательное время, когда наша великая социалистическая Родина вступила в новый, важнейший период своего развития, период развернутого строительства коммунистического общества, когда весь советский народ с энтузиазмом борется за претворение в жизнь принятой XXI съездом КПСС величественной программы дальнейшего подъема и расцвета социалистической экономики, культуры и роста благосостояния трудящихся. То, о чем веками мечтали самые передовые и самые смелые умы человечества, становится реальностью в нашей стране.

Историческая программа развернутого строительства коммунизма предусматривает не только невиданный по масштабам прогресс в области экономики, науки, техники, культуры, но и воспитание нового человека, человека коммунистического общества. Коммунизм строят люди, и чем выше будет сознательность миллионов масс, тем успешнее будет наше продвижение вперед. В благородном деле коммунистического воспитания трудящихся весьма важная роль принадлежит литературе и искусству. Перед советскими писателями стоит почетная задача активно участвовать в формировании духовного облика человека будущего, строителя новой жизни. Они призваны воодушевлять людей на борьбу за коммунизм, воспитывать их в духе коммунистической идейности, прививать им высокие нравственные качества, нетерпимость к буржуазной идеологии и морали.

Высокое призвание советских писателей — правдиво и ярко раскрыть красоту трудовых подвигов народа, грандиозность и величие борьбы за коммунизм, выступать страстными пропагандистами семилетнего плана, вселять бодрость и энергию в сердца советских людей, искоренять пережитки капитализма в сознании людей, помогать устранению всего того, что еще мешает нашему движению вперед. На этом пути будет расти великое искусство коммунизма — искусство больших мыслей, горячих чувств и высоких страстей, искусство, способное вдохновлять миллионы и миллионы строителей коммунизма на новые большие дела.

Особенно ответственна роль литературы в воспитании молодого поколения. Молодежи нужны увлекательные книги, воспитывающие ее в духе коммунистической идейности, беззаветной преданности социалистической Родине, стойкости, упорства в достижении цели, раскрывающие романтику труда рабочих, колхозников, интеллигенции, пробуждающие любовь к творчеству и инициативу. Молодой читатель ждет таких книг, которые стали бы надежным другом его юности, наставником и советчиком.

Литература коммунизма должна быть великой литературой не только по богатству идейного содержания, но и по художественному совершенству. Большие идеи требуют высокого мастерства, героические характеры — достойного художественного воплощения. Народу нужна литература, которая воспитывает и учит человека правдой и красотой художественных образов, духовно обогащает его, расширяет его кругозор, раскрывает рост сознательности людей в процессе коммунистического строительства. Нашему обществу в особенности нужна литература, в которой актуальные темы современности получают яркое художественное воплощение.

Совершенствование мастерства, серьезное повышение требовательности к художественному качеству произведений являются в современных условиях одной из самых важных задач. Подлинное мастерство достигается на основе неразрывной связи писателя с жизнью народа.

Полная и окончательная победа социализма в СССР, наша героическая эпоха строительства коммунизма открывают широчайшие перспективы нового небывалого расцвета художественного творчества. Неиссякаемое богатство идей, тем и образов дает писателю жизнь советского народа, который своим повседневным героическим трудом преобразует землю, открывает колоссальные природные богатства, строит новые могучие индустриальные центры, создает изобилие материальных и духовных благ, непрерывно совершенствует технику и дерзновенно штурмует космос!

Жизнь с неотразимой убедительностью показывает незыблемость, плодотворность творческих принципов социалистического реализма, правдиво и исторически конкретно раскрывающего главное содержание нашей эпохи — движение общества к коммунизму.

Центральный Комитет КПСС с удовлетворением отмечает, что в борьбе против буржуазной идеологии и ревизионистских наскоков советские писатели показали идейную зрелость, стойкость и еще раз продемонстрировали сплоченность вокруг Коммунистической партии, преданность советскому народу.

Высоко оценивая роль литературы и искусства в духовной жизни общества, считая писателей своими надежными помощниками, наша партия прямо и откровенно критиковала и поправляла тех, кто проявил колебания, допускал ошибки. Эта принципиальная критика, продиктованная заботой о литературе, о творческой судьбе художника, дала положительные результаты. Коммунистическая партия и впредь будет проявлять постоянную заботу о развитии советской литературы и искусства. Высокая идейность художника, верность марксизму-ленинизму, связь с жизнью народа, понимание закономерностей и грандиозных перспектив развития советского общества — залог творческих успехов советских писателей. Жизнеутверждающая сила советской литературы в неразрывной связи с политикой Коммунистической партии, выражающей коренные интересы народа.

Все большее значение для литературы приобретают благородные темы интернационализма, братской солидарности трудящихся, роста и укрепления мировой социалистической системы, борьбы народов против империализма, за сохранение и упрочение мира.

Мировая социалистическая система вступила в решающий этап экономического соревнования с капиталистической системой. Перед лицом всего человечества социализм развернул знамя мира и труда, создания условий для исключения мировых войн из жизни общества, программу достижения самого высокого жизненного уровня народных масс. В этой борьбе — долг советских писателей вместе с прогрессив-

ными писателями всех стран еще активнее участвовать своим творчеством на стороне сил нового мира, победа которого исторически неизбежна.

Реакционные и агрессивные силы империализма, переживающего свой закат, стремятся всеми средствами помешать движению человечества вперед, росту сил социализма, пытаются задушить национально-освободительное движение в колониальных и зависимых странах. Они используют для этого военные, политические, экономические и идеологические средства, грозят человечеству новой мировой войной. Глубоко гуманной, отвечающей интересам всех народов, задач литературы является разоблачение антинародной сущности империализма, его агрессивной политики, фальшивых попыток буржуазных идеологов приукрасить капиталистическую действительность. Священный долг советских литераторов — служить силой своего художественного слова великой борьбе за мир и дружбу между народами, воспитанию нашей молодежи и всего народа в духе горячей любви к социалистической Родине и постоянной готовности защищать исторические завоевания социализма.

Советские писатели призваны и впредь неустанно укреплять дружбу и братское содружество с писателями стран социалистического лагеря, со всеми прогрессивными литераторами, творчество которых служит освобождению трудового человека от социального и национального угнетения, всемерно поддерживать реалистическое искусство, противостоящее безыдейному формалистическому искусству.

Деятельность Союза писателей СССР должна быть направлена на дальнейшее развитие и расцвет литературы, сплочение творческих сил советских писателей, укрепление их идейного единства во имя выполнения высоких и ответственных задач, стоящих перед советской литературой в период развернутого строительства коммунизма в нашей стране. Важнейшая обязанность Союза советских писателей и каждого художника слова повседневно заботиться о воспитании молодых сил литературы, помогать росту талантливой молодежи.

Никогда еще работники литературы и искусства не имели столь огромной аудитории читателей, слушателей и зрителей. Газеты, радио, телевидение и кино — массовые трибуны, с которых слово писателя слушают одновременно миллионы людей.

Жить и работать для народа, во имя его блага — высшее призвание советского писателя.

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза выражает уверенность, что советские писатели создадут новые талантливые произведения, достойно отражающие величие нашей замечательной эпохи, и горячо желает нашим славным литераторам больших творческих успехов.

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА**



ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ

★

ПОХОД ЗА НЕВСКУЮ ЗАСТАВУ

1

Дневные звезды. Я узнала о них в отрочестве, в Новгородской губернии, и уже не помню теперь точно, прочитала ли это в журнале или услышала от учителя Петра Петровича, зашедшего в тот вечер к избачу... Нет, наверное, это все-таки рассказал сельский учитель — старый человек с глубокими маленькими глазами и длинной, очень редкой, светящейся бородкой, знающий множество интересного и даже тайного о мире, о жизни и людях. Июльский вечер все голубел, все сгушался, первые звезды зажглись в просторном окошке избы-читальни, и вот Петр Петрович сказал, что будто бы звезды никогда не исчезают с неба: кроме звезд ночных и вечерних, есть еще и дневные звезды. Они даже ярче и красивее, чем звезды ночные, но никогда не видны в небе: их затмевает солнце. Дневные звезды можно увидеть только в очень глубоких и тихих колодцах: высоко стоящие над нами, недоступно-невидимые нам, они горят в глубине земли в малом черном зеркале воды, венчиком разбрызгивая вокруг себя коротенькие острые лучи... Правда, про лучи учитель не говорил, но я сразу представила это — ведь так обязательно должно было быть.

И вот с того вечера одолело меня неистовое желание — увидеть дневные звезды! Я никому-никому, даже сестре Муське, не сказала, что знаю о них и хочу их увидеть. Я думала — вот я сперва одна, первая я увижу их, а уж потом расскажу (Муське — сразу) и покажу даже — сначала Муське, а потом другим: посмотрите-ка, что я первая увидела! Даже не увидела, а подглядела — это больше, чем увидеть... Дневные звезды — это чудо, конечно, но оно существует на самом деле, оно — правда, я-то знаю! Теперь знайте о них, смотрите на них все, все!

Желание увидеть дневные звезды и весь план — показать их другим — возникли в тот же вечер, когда из Заручевья возвращалась я на недалекий хутор, где мы занимали комнату вот уже третье лето. Дорога сладко пахла недавно прошедшим стадом, парным молоком, оступающей пылью; маленькие мягкие фонтанчики пыли с приятной прохладой били меж пальцев босых ног, ивановские червячки доверчиво мерцали в придорожных канавах. В низинах, в легком тумане, побрякивали деревянные ботала и жестяные колокольцы невидимых лошадей. Иногда же слышалось звяканье какого-то особого, очень нежного, грустного колокольца. Дорога вилась с холма на холм, и было отрадно знать, что идешь не просто по дороге, а по Валдайским возвышенностям, где не так уж далеко от тебя, из земли, из деревянной часовни, выбивается родник, который называется Волга. Везде вечер, и звезды отразились уже и в Волге-роднике, и в Волге-ручье, и в Волге-реке...

А дневные... Дневные звезды я увижу завтра! Проходя через огород к дому, я приостановилась и с радостным страхом покосилась на старый наш, покрытый седыми лишаями и мохом колодец. Он был таким, как всегда: упирався в небо, в какую-то обыкновенную звезду, высился над ним тонкий журавль, и огромные толстые лопухи (на листе как раз такого лопуха плыла когда-то Дюймовочка) — голубые вечерние лопухи чмокали и шевелились вокруг колодца. Все было, как вчера, и все — иначе! Оказывается, этот давно знакомый колодец был просто набит лучистыми дневными звездами, а мы-то, дураки, и не знали об этом и нарочно норовили погромче плюхнуть ведро в его темную звездную воду.

«Я завтра увижу их», — вновь подумала я, и приятные мурашки пробежали по спине. Но почему-то несколько дней я не решалась заглянуть в наш старый колодец. «Нет, не сегодня... завтра... а уж послезавтра — обязательно...» Неосознанно я оттягивала счастливую и чем-то страшущую меня минуту свидания с дневными звездами, и — странно — эта оттяжка доставляла мне непонятное, ни на что не похожее наслаждение.

...Тогда, накануне юности, я не знала еще, что ожидание счастья сплошь и рядом сильнее, чем само счастье. Так же, как и предвкушение большой, сложной и желанной работы часто приносит больше радости, чем сама работа. Вот почему иногда тянешь с нею, откладываяешь сроки, придумываешь причины, чтобы не приступать к ней, а иметь возможность всласть, свободно помечтать — и о процессе ее и даже о плодах ее, то есть о новом своем произведении. Каким стройным и значительным видится оно из замысла, еще не додуманного до конца, — и не надо, не надо, чтоб в точности был известен конец, — он должен прийти с а м, как открытие, как награда за труд; из пуганой сети первоначальных, то пронзительно блещущих, то еле мерцающих образов, наконец, из наивно-тщеславных мечтаний о том, как эта — еще не начатая на бумаге! — работа будет признана самыми строгими друзьями, принесет тебе искреннее душевное волнение читателя, быть может даже лучшие слезы его — одинокие, тайные слезы...

Отравленный ипритом, медленно умирающий и знающий, что умирает, Антуан Тибо, оглядываясь на молодость свою, записывал в дневнике: «Я жил в состоянии предвосхищения жизни и активного доверия к ней».

Предвосхищение жизни, то есть способность жить тем, что только будет, что только может наступить, но уже жить этим, — какой щедрый и жестокий дар бытия! Я долго, наверное слишком долго, жила в предвосхищении только одной радости и, быть может, слишком активно доверяла ей. Я знаю теперь, что значит жить в предвосхищении неизбежной утраты (любви, друга, семьи), незаслуженного обвинения, долгого и тяжкого испытания. Но тогда, в отрочестве, в Новгородской губернии, не имея понятия, что сверх меры наделена способностью жить будущим (как и способностью жить прошедшим — памятью особого рода), я попросту наслаждалась предвосхищением радости, предвосхищением встречи своей с дневными звездами.

И вот через два или три дня, в знойный безоблачный полдень, убедившись, что на огороде никого нет, я стремглав подошла к старому колодезному срубу, зажмурилась, с размаху, как книгу, распахнула обомшелые дверцы и, не мигая, устала в темную глубь его.

Никаких звезд в колодце не было.

Я не поверила этому.

Я смотрела в колодец очень долго, долго вдыхала его холодок и запах разбухшего дерева, но звезды не появлялись в нем, лишь время от времени черный квадрат воды начинал почему-то вздрагивать и с самой середины его к стенкам бежали и бежали еле заметные круги.

«Наверно, с первого раза их и нельзя увидеть»,— догадалась я и через час или два, протомившись на зное, уже не стремглав, а крадучись подошла к колодцу, осторожно, тихонечко отворила его и... снова ничего не увидела! Так я заглядывала в колодец до вечера, пока не зажглись первые звезды, видимые всем и каждому.

На другой день зарядил дождик, потом пошли дни, когда ясное небо вдруг наполнялось сияющими, бурными, круглыми облаками (их-то я видела в колодце!), потом снова и снова, по-разному, в разное время заглядывала я в колодец, но так и не увидела — хотя б на минутку! — ни одной дневной звезды...

Я никому ничего не сказала и была довольна, что не похвасталась дневными звездами заранее даже перед Муськой.

Но странно! Уверенность в том, что дневные звезды есть и что есть на земле колодцы, отражающие, держащие их в себе, не оставила меня. Просто, наверное, наш колодец был не так глубок и не так темен, как надо. Быть может, со дна его били какие-то тоненькие бередливые источники, колебавшие воду, не дававшие ей покоя, необходимого для отражения никому не видимых звезд. Неудобно сознаваться, но лишь недавно я узнала, что ослышалась тогда или просто не поняла Петра Петровича: дневные звезды можно увидеть не в глубоких колодцах, а из колодца, то есть сидя где-то в недрах земли. И все-таки, несмотря на то, что ни разу не увидела я в отрочестве ни одной дневной звезды, несмотря на широкое распространение водопроводных колонок, мне и сейчас хочется верить, что есть у нас на земле звездные колодцы, и не только старые, тихо обступаемые сказочными лопухами, но и новые, возникшие при нас, стройно и жестко бетонированные, стремительно уходящие в такую земную глубину, хранящие такое тихое и темное зеркало воды, какое старым колодцам и не снилось. Я не только уверена, что такие колодцы есть,— больше того: я хочу, чтобы душа моя, чтобы книги мои, то есть душа, открытая всем, была бы такой, как тот колодец, который отражает и держит в себе дневные звезды — чьи-то души, жизни и судьбы... нет, точнее: души и судьбы моих современников и сограждан.

Незримые обычным глазом и, значит, как бы не существующие, пусть будут видимы они всем, во всем сиянии своем — через меня, в моей глубине и чистейшем сумраке. Я хочу все время держать их в себе, как свой собственный свет и собственную тайну, как свою наивысшую сущность. Я знаю: без них, без этих дневных звезд, меня, как писателя, нет и не может быть... Но ведь и они не могут быть видны другим — то есть существовать — без меня, без моей жизни и рассказа о ней, без нас — писателей, и мы знаем об этом.

А я по-особому, заново вспомнила об отроческой мечте своей, о дневных звездах и колодцах, отражающих их, когда раздумывала над письмами и откликами читателей на записки свои, опубликованные в 1954 году в журнале «Новый мир» под названием «Поездка прошлого года». Я не рискнула бы говорить об этих письмах, если б не была уверена, что они относятся не только ко мне, а ко многим моим товарищам по профессии, затрагивая при этом область наиважнейшую: наши отношения с читателями, точнее же говоря — с народом.

Я рассказывала в первом отрывке (условимся называть пока так неопределенные эти записки) о путешествии в город детства, в древний

русский город Углич, вспоминала далекие трудные годы, прожитые там во время гражданской войны в келье Новодевичьего монастыря, куда вселила нас горкоммуна. Я размышляла о «главной книге» своей, которая у меня, как и у многих писателей, всегда впереди, говорила о том, какой именно рисуется мне моя главная книга, — как «исповедь сына века», — писала еще о многом другом.

Я получила очень много писем.

Откликнулись мне многие мои «земляки» по Угличу, ныне военно-служащие, инженеры, речники, матери семейств, — те, чье детство и юность связаны с этим неповторимым русским городком, которые и учились-то, как оказалось, или одновременно со мной, или несколько позже, многие — в той же школе, только мы тогда, ребятами, не знали друг друга, не дружили, и вот лишь теперь, тридцать лет спустя, заочно познакомились...

Откликнулись люди, никак не связанные с Угличем.

И — кое-кому это может показаться невероятным — больше всего писем было о «главной книге».

Среди них было письмо старой учительницы из подмосковной деревни, письмо донецкого шахтера-красногвардейца, письмо старика лесовода...

Они писали о том, какой видят они мою главную книгу, они рассказывали о своей жизни, приписывая в конце: «Может быть, это понадобится для вашей главной книги».

И вот, читая письма-напутствия и письма-исповеди, я поняла еще одно, очень важное: если у меня есть главная книга, еще не написанная, которая всегда впереди, то и у читателя тоже есть такая главная книга, еще не прочитанная, и она тоже всегда впереди. И так же, как писатель пишет свою главную книгу непрерывно, мечтает о ней неустанно, так же, как кажется писателю во время очередной его работы — «вот я пишу наконец самое главное», а потом видишь, что это только подступы к главному, а оно опять впереди, — так же и у читателя существует это чувство: во многих книгах нашей поистине великой советской литературы он узнает и время и себя, многие книги наши он любит, но какая-то самая главная, самая всеобъемлющая и выражающая его душу книга — для него впереди, и он ищет, он жаждет этой книги. Он хочет увидеть в ней не только внешнее движение событий, не только внешнее свое деяние, а прежде всего самый глубинный, тайный, интимный, самый достоверный мир своей души. Он хочет увидеть нравственный путь свой без прикрас и без прибеднения, без умолчаний и без болтовни, без преувеличений, но и без умалений. Быть может, так дневная звезда томится своей невидимостью и «жаждет обнаружения», жаждет не только увидеть себя, но хочет знать, что ее увидели и узнали другие, хочет поделиться с другими своим заветнейшим, своим невидимым, своим глубинным светом. Советский же человек с его титанической биографией не только хочет поделиться своим духовным опытом с современниками-соотечественниками, но и с людьми всего мира, но и с потомками, и не глухо, не «немой исповедью», не скороговоркой, а через главную, Большую книгу своего писателя. Больше того, он хочет вместе с писателем создать эту книгу, вместе с писателем он хочет быть героем этой книги, чья душа настезь, до самых глубин, открыта перед народом, героем «исповеди сына века». Жажда такой книги ничего общего не имеет с праздным тщеславием типа требований: «Увековечьте нас, пищевиков», «А вот нас, работников горфинотдела, забыли», «Ближе к жизни пожарников и огнетушителей, товарищи писатели» и т. п.

Нет, это не суетное желание как можно скорее насладиться собственным лицемерием, а хозяйское отношение труженика, строящего будущее, к будущему. Это — предвосхищение жизни своей в жизни тех, кто идет вслед за нами, желание оставить им не только материальное, но и духовное наследство: с беспощадной правдой передать нравственный опыт эпохи, при этом не только положительный, но и отрицательный, — вот это хорошо, вот так поступайте, а так не делайте, не повторяйте наших ошибок и страданий! Вот это долго казалось нам правильным, а на самом деле оно было ложным! Это мы долго принимали за ложное, страшились и чурались его, а оно оказалось единственно истинным!

...И еще одно поняла я из таких писем-исповедей, писем-автобиографий: читатель всерьез тревожится, что мы, писатели, отображая, фиксируя, записывая видимое и известное всем, не поднимаясь выше переходящего и злободневного, забудем что-то очень важное, может быть самое важное, и теперь и навсегда самое современное, что происходило и происходит в жизни и душе его, читателя-народа. Так дневная звезда, проходя над колодецем, трепещет, что колодець не отразит ее, не примет невидимого ее света в свою вещую глубину...

Эта тревога понятна. Да! Мы немало сторон и событий нашей жизни, проходивших через душу советского человека, волновавших ее то горечью, то отрадой, терзавших и возносивших ее, — иначе: немало сторон истории души его, — коснулись пока лишь поверхностно. Но мы помним все. Древний поэт, оплакивая разрушенный Иерусалим, город своего счастья и своего страдания, одинакового со счастьем и страданием народа, восклицал: «Если я забуду тебя, Иерусалим, — да забудет меня рука моя, да прилипнет язык к гортани моей, — если не буду помнить тебя, если не поставлю тебя во главу веселия моего».

Паралич тела, вечную немоту — паралич духа — вот что призывал на голову свою древний поэт, если он забудет то прекрасную, то грозную правду о себе и своем народе и не сделает ее «главой веселия своего», то есть основой своей жизни, основой ее радости.

Нет, мы ничего не забудем! Мы верны зову Партии: помнить, знать и писать о нашей жизни, о нашем советском человеке, о его душе — всю правду и только правду. Мы верны тебе, читатель, требующий ее от нас, ждущий наших — и своих! — главных книг. Мы их все-таки напишем с твоей щедрой и умной помощью, напишем, открывая свое и твое сердце как единое сердце народа. Напишу, наверное, и я свою главную книгу — нет, не наверное, а непременно!.. Но сегодня я все еще только на подступах к ней, и эти записи тоже лишь подступы к ней, хотя мне кажется почему-то — более ближние, чем предыдущие. О да, и это лишь черновик, но главная книга всегда больше замысел, чем воплощение, она всегда мечта, предвосхищение самой себя — главной, Большой книги. Но, повторяю, эти записи кажутся мне на сегодняшний день приближающими главную книгу более, чем все другие. Поэтому я и решаюсь публиковать их. Главную книгу невозможно создать в стерильных редакционных недрах, в наиболее благополучнейшем кабинетном уединении. Записи к ней необходимо, по-моему, выносить на люди. Это не гордыня, это надежда на помощь читателя, а также друга по профессии — писателя. Я продолжаю свои записки по-прежнему, не связывая себя более тесной формой, чем открытый дневник, в котором смешается прошлое, настоящее и будущее, память жизни и предвосхищение ее, герои погибшие и живые. Здесь будут повторы уже написанного, возвращение к уже сказанному. Мне хочется сказать о многом — сегодняшний день обязывает ко многому. Но если что-нибудь и не будет досказано мною, я знаю теперь более, чем когда-либо,

что читатель, который вместе со мною пишет нашу главную книгу, поймет меня до конца.

Сегодняшний день обязывает ко многому, но прежде всего — к обороне мира. Поэтому в этом отрывке я буду много говорить о войне — о ленинградской обороне в страшные и высокие годы блокады...

День вершин. Детство. ...В предыдущем отрывке я остановилась на том, как сидела в угличской гостинице перед окошком с геранями на подоконнике и нежным силуэтом «Дивной» вдаль и жила всей жизнью, ибо только что на месте исчезнувшего жилища детства и несбывшегося сна испытала необычайное состояние сопричастности со всей жизнью народа во времени и пространстве. Но тому угличскому дню предшествовал другой день, похожий на него по неистовому накалу и густоте бытия, который я до сих пор называю, быть может, несколько торжественно — «днем вершин», о котором даже стихи писала, где и сотой доли не смогла выразить того, что испытала в тот день. Но я уже говорила, что главная книга ищет себя в разных воплощениях...

«День вершин» был в начале октября сорок первого года за Невской заставой... Но сначала я должна — пока хоть коротко — рассказать о Невской заставе, о самом начале своей жизни, — мне кажется, что без этого ничего нельзя будет понять ни другим, ни, главное, мне самой.

...Потребность связать свою жизнь воедино, потребность вспомнить, сравнить, переосмыслить все, что в ней было, начиная с ее истоков, собрать самого себя как нечто единое, р а с с е ч е н н о е сначала войной, затем событиями 1953—1957 годов, — вот что означает, по-моему, это стремление «начать с самого начала...»

Я застаю себя очень рано, примерно лет с трех. Я застаю себя в нашем двухэтажном деревянном доме, среди людей, почему-то очень давно известных и любимых, — это дородная бабушка Ольга Михайловна, дед Христофор, красивейшие папа и мама, Авдотья, наша няня и прислуга, вторая бабушка — маленькая Марья Иванна, мамина мама (мы звали ее баба Маша), многие тети и дяди и, наконец, таинственно появившаяся в доме сестра Муська.

Собственно, с ее появления и возникает в сознании память и с той ночи, как тутовая бабочка, начинает прядь клейкую нить, скрепляющую отдельные явления в непрерывную жизнь.

Я застаю себя впервые на мощных руках Авдотьи, которая несет меня сквозь полутемную, полную невнятного движения квартиру, сквозь мерцающую ночную кухню, сквозь прихожую, где от двери дохнуло улицей и морозом, — в комнату матери.

Здесь горит висячий голубой фонарь, и комната точно наполнена светящейся голубоватой водой. Пахнет чем-то незнакомым, и очень жарко. Под фонарем, на самой середине комнаты, стоит что-то неизвестное мне, вроде кровати с белым остроконечным пологом, похожее на бумажный кораблик. Оно покачивается и шуршит, как кораблик. Конечно, это большой кораблик! Сухонькая, вся в темном, бабка Марья Иванна покачивает его. Бабка Ольга в огненном капоте, скрестив огромные руки на огромной груди, стоит с другой стороны кораблика... Но прежде всего я вижу окно. Освещенное откуда-то с улицы, замерзшее январское окно трепещет ярчайшими — зелененькими, красненькими, желтыми, голубыми — огнями. Огоньки бегут один за другим, вспыхивают, крутятся, прыгают, льются, и я не могу оторвать глаз от зрелища окна...

— Смотри на сестренку-то, смотри, Лялеца, — шепчет Авдотья, и кораблик останавливается.

Я напряженно гляжу. В белой сердцевине кораблика лежит что-то темное и сморщенное, как грецкий орех, немножко похожее на человека. Я протягиваю руку, чтобы потрогать это. Мне не дают потрогать. Авдотья шепчет:

— Ну что, нравится сестренка-то, а?

Я ответила басом, нетерпеливо стремясь к окну:

— Нет! Она очень красная.

И обе бабки засмеялись, и тетки засмеялись тоже. Ночь, а никто не спит. Все столпились возле люльки-кораблика, кроме мамы — она почему-то лежит за пологом, — шепчут над ним, качают его, целуют меня, и все такие добрые — бабка, отец, дед, тетки...

Я плоть от плоти и кровь от крови всех этих людей, существо, рожденное в их далекой Атлантиде. Они заботливо учили меня ходить и говорить по-человечески, так, как тысячелетия учили этому их самих. Я свидетель геологической гибели этой Атлантиды и сама, насколько могла, способствовала этому... Как я временами тоскую по ней теперь...

Первые годы моего существования, как и у всех людей, были прекрасны, исполнены тайн и открытий в никому не известном мире.

Я вспоминаю эти годы с глубоким уважением, с печальной любовью, с завистью к самой себе. Я вспоминаю эти годы, как страну, дорога к которой утеряна, но чудесный ландшафт которой душа никогда не забудет.

Все было живым в Стране Детства.

Ее необъятная территория начиналась, конечно, с нашей небольшой, но, как казалось тогда — огромной, квартиры. О, тогда здесь не было ничего незначительного и мертвого. Наоборот, каждая вещь жила своей особой жизнью, имела свое лицо, голос и повадки.

В прихожей стояла огромная бочка с темной глубокой водой. Если, подтянувшись на цыпочки, наклониться над бочкой и крикнуть, бочка отвечала толстым сердитым голосом, как дяденька. Лицо у нее тоже было толстое, с надутыми щеками. В бочке можно было утонуть, и, наверное, в глубине ее вод жили рыбки. Зима начиналась с бочки: в темной ее воде заводились юркие, скользкие, как мальки, льдинки; Авдотья не давала их ловить руками.

За прихожей расстилалась кухня, набитая домашними, мелкими, но тоже хитрыми и живыми вешами, наполненная запретными закоулками, где все-таки можно было устроить дом и жить.

Блестящая, всегда теплая кафельная плита имела топку, духовку, а под духовкой еще какую-то маленькую дверцу, которую Авдотья ни за что не позволяла открывать и испуганно кричала, как только я подбиралась к этой дверце:

— Уйди! Там зола! Не трожь!

— Почему?

— Откроешь — полетит, глаза щипать будет.

Я еще не знала, что это какая-то злая тетка, которую Авдотья поймала и заперла под духовкой. И зимними вечерами, когда дули ветры, — так страшно было на кухне! — злая тетка Зола стучалась в дверцу, тихонько скулила, и я тесно прижималась к Дуне, которая Золы ничуть не боялась, а выгребала ее по утрам, когда все спали.

Над кухонным столом медового, съедобного цвета висел черный лохматый ершик, которым прочищали ламповые стекла. Когда его брали в руки, ручка ершика сердито пищала; ершик был живой, он мог уку-

силь, и я боялась его. Авдотья знала это, и иногда, когда я уж очень вертелась под ногами, хваталась за ершик и восклицала:

— А вот я тебя сейчас Ершику отдам!

А Ершик противно пищал и топорился от злости.

Сахарные щипцы мы называли Хаха, потому что они широко раскрылись, как рот во время смеха, оскалась острыми кончиками.

Хаха тоже был живой и скалился — радовался, когда грыз сахар.

В столовой, где обои были как дубовые доски и в углу стояла гофрированная золотая печка (мы были уверены, что она всамделишная золотая), а в центре — большой стол под висячей лампой, самой замечательной вещью были стенные часы: небольшая рогатая головка оленя украшала их, и если, притаившись, сощурить веки и быстро-быстро вращать глазами, олень начинал поворачивать голову из стороны в сторону, и казалось, что вот он сейчас совсем оживет и, маленький, милый, соскочит с часов. «Оленюшка!» — звала я его шепотом. Но волшебство моментально исчезало, как только я по-настоящему открывала глаза.

Это была эпоха божественной потребности осязать и наименовывать вещи, вдыхать в них душу, наслаждаться их движением. Но домашние не позволяли нам ни трогать, ни одушевлять, ни приводить вещи в движение и с каким-то удовольствием, даже старательно, разрушали наше представление о живом мире, полном человечков.

— Испортишь! Сломаешь! Ушибешься! Отойди! Не трогай! — ежесекундно восклицала бабушка Ольга, как только я подбиралась к чему-нибудь интересенькому.

Даже игрушки, которые дарила мне она сама или другие, бабушка прятала от меня, чтобы я их не испортила или не сломала. Она прятала в горку красивую жестяную посуду, которую подарил мне дед, убрала в недра комода мою куклу Нину с закрывающимися глазами, скрыла в глубине платяного, огромного, как дом, шкафа настоящий маленький красный зонтик, подаренный тетей Лизой.

И вот поэтому не было во всем доме милее и любимее угла, чем кухня, а в кухне — Дунина кровать. Она была плотно приставлена к стене, и тиковый полог бордового цвета (Дуня говорила «бурдовый») отделял ее от кухни. Дуня никогда не отгоняла нас от своей кровати. На кровать Дуни можно было даже забираться с ногами, можно было прятаться за огромной розовой подушкой, кувыряться. Можно было даже встать на подушку и посмотреть вблизи на Дунину иконку. У бабушки все иконы были одинаковые — с темными, сердитыми, длинными лицами. А у Дуни иконка была очень интересная: старичок, святой, ужасно похожий на нашего дедушку, только с чересчур большой головой и с сиянием вокруг головы, кормил из рук коричневого медведя, а кругом был густой, дремучий лес, и избушечка выглядывала из лесу, маленькая, с окошками и трубой, а из трубы даже шел дымок — наверное, все это было, как у Дуни в Гужове. Когда перед иконкой горела зеленая лампадка, лес оживал и двигался... А под кроватью помещалась Дунина круглая плетеная корзинка, и там лежали очень красивые, в розах и бабочках, материи, потом зеленая-зеленая шелковая кофта и, главное, удивительный платок: с одной стороны золотой, с другой — серебряный!

В свободное время любимым занятием Авдотьи было перебирать вещи в корзине.

Она особенно ценила свой платок и подолгу любовалась им, ну и мы, конечно, тоже. Мы всегда неслись в кухню, как только Дуня начинала перебирать корзину...

Мы не могли оторвать глаз от золотисто-серебряного платка, который Дуня почему-то называла двуличным.

— Ой, Дуня, красивый какой! Дай потрогать! А как ты думаешь, Дуня, у царицы такой платок есть? Дуня, а что ж ты его не носишь никогда?

— А зачем мне его зря-то трепать,— с достоинством возражала Дуня.— Я вот в Гужово поеду, все это с собой повезу... Я его в Гужове надену.

Дуня была «скобская», поэтому вместо «ч» она произносила «ц» — и наоборот. Деревня Гужово, родина ее, была в Скобской (Псковской) губернии, и ехать туда, по словам Дуни, надо было целых три ночи, а то и больше ночей...

— А днем? — спрашивали мы.

— Не... туда только ночью ездют,— твердо отвечала она.

Очень далеко было Дунино Гужово — за тридевять земель, за тридевять ночей...

«Бурдовый» полог у Дуниной постели обычно был закинут на карниз, Дуня опускала его только на ночь, когда ложилась спать.

Но иногда она опускала его задолго до ночи. Это было тогда, когда все взрослые уходили в гости, а мы оставались одни в полутемной, освещенной только лампадками, странно затихшей квартире; квартира становилась вдруг немного чуждой, страшноватой и как будто бы необитаемой.

Тогда Авдотья опускала полог, садилась на кровать, аккуратно вытягивала руки на мощных своих коленях и, уставив куда-то неподвижный, отсутствующий взгляд, заводила на всю квартиру тоненьким, «долгим» голосом, точно плача:

А как родимая сторо-онушка...

И дальше она не могла пропеть ни одного слова: сразу, мгновенно, мелкие слезы заливали ее широкое лицо, и она плакала тем же тонким, тоскующим голосом, без слов, без жалоб, лишь время от времени выводя свою единственную фразу:

А как родимая сторо-онушка...

Непонятная, тягостная тревога начинала томить меня, когда тонко пела-плакала Дуня в нашей опустевшей вечерней квартире, за темным своим пологом у гладкой сырой стены.

Мы теребили ее: «Дуня, Дуня, не пой, страшно», — но она, неподвижная, с окаменевшим, разъеденным слезами лицом, с покрасневшим носом-уточкой, казалось, не слышала нас, пока мы сами не начинали реветь во весь голос. Тогда она, словно проснувшись, кидалась к нам.

— Ай, тошно мое лихо! Ну, вы чего? Вы чего? Вам плакать нельзя, у вас папа-мама есть...

— А зачем ты сама плачешь?

— Так. У меня мамы нет. Папы нет. Сиротка я. Гужово вспомнила. Братуху жалко. Была бы грамотная — письмо бы ему написала...

Ее главной болью и горем была ее неграмотность. Она неужемно стыдилась, что «темная дура, безграмотная», мучилась этим, хотя за Невской кругом были неграмотные — и дворник наш, и водовоз, и полотер, и много жильцов и жиличек. Но им это было все равно, а Дуня страдала оттого, что неграмотная, и на наши книжки смотрела, как голодный смотрит на хлеб, и иногда спрашивала:

— А это какая буква? А это? Ну, букве «А» я научилась. Лялеца, научи меня исцо одной буковке...

Ее заветнейшей мечтой было научиться писать, и не для чего-нибудь, а для того только, чтобы самой написать письмо в Гужово, братухе... В то Гужово, о котором она так плакала и пела, о котором мы готовы были слушать целыми часами.

Едва она переставала плакать, как мы привязывались к ней:

— Дуня, расскажи про Гужово! Расскажи, Дунечка, миленькая!

Ее бессвязные новеллы, состоявшие иногда из одной фразы, были полны событий, всегда печальных или страшных.

Авдотья рассказывала:

— У нас в Гужове лес очень огромный. В этом лесу одну девку Зеленый завел и удушил...

Мы замирали.

— Дунь... А Зеленый — это кто?

Она шептала, озираясь:

— Ну... самый страшный на свете... Про него нельзя рассказывать! Перетерпев ужас, мы просили:

— Дунь... Ну, еще что-нибудь.

И, помолчав, она повествовала:

— Маму мою волки заели. Не взаправду, а... Она умирала, все кричала: «Ой, волки в избу пришли, ой, волки ко мне идут!..» Братуха меня жалел.

Мы ежились и озирались, крепче прижимаясь к ее широким, теплым бокам.

— Ну, еще что-нибудь...

Она неподвижно глядела вперед, точно вглядывалась во что-то. Ее широкое доброе лицо с яркими красными жилками становилось жалостливым, губы распукались.

— Гуси меня один раз цуть до смерти не исципали...

— Ой, Дуня, почему?!

— Так. Я девцонкой у одного хозяина у гусятничках была. Я вот такая маленькая, а гуси большущие, злые! Гусаки. Они все на меня, все сцять. Я в рев. Братуха прибежал, отбил. У братухи гусей нет. Лошади нет.

— А братуха гусей не боится?

— А цего ему гусей бояться?

Мы вздыхали от удовольствия и просили еще рассказать про братуху.

Помолчав, Авдотья рассказывала:

— У нас один раз корова была — злая, бодущая. Всех бодала. Братуха ей рога взял и спилил.

Или:

— У одного хозяина лошадь была — вó кусающая! В лес со двора забегла. Братуха пошел, лошадь поймал да еще грибов стоко собрал, хоть все Гужово корми...

— А Зеленый?!

— А цего Зеленый?

— А разве братуха Зеленого не боится?

— А братуха ницего не боится!..

В Гужове коровы были бодущие и злые, и гуси были огромные и злые, и леса, обиталище Зеленого, огромные и страшные, и к людям оттуда в смертный час приходили волки, и лошади были дикие и кусачие, а братуха, огромный, бесстрашный, бесстрашно ходил среди дикого скобского леса, разгонял разъяренных гусей, спиливал бодучим коровам рога и, ничуть не страшась Зеленого, о котором даже говорить

людям нельзя, громко играл на гармошке ту самую песню, которую никак не могла спеть в Питере Авдотья.

О свирепо-прекрасная, скобская деревня Гужово! Твой дремучий лесной лик непримиримо глядел с Дуниной иконки на городскую чужбину. И каждый вечер, столбом встав перед иконкой, окаменев, выпучив глаза, Авдотья молилась изображению старика, спокойно кормящего медведя, изображению горестной избушки — сияющему своему за тремя ночами, далекому Гужову. Сидя на корточках у плиты, мы с уважением следили за ее широкой сборчатой юбкой, за тощей косичкой меж голых мужественных лопаток, за большой красной рукой, кладущей медленные кресты. Мы напряженно вслушивались в ее цокающий шепот, и я услыхала однажды:

— Светы божи, светы крепки, светы бессмертны, помилуйте мя.

Воображение перевело подслушанную молитву иначе — она была таинственна и прекрасна: «Цветы божьи, цветы крепкие, цветы бессмертные, помилуйте нас».

И тотчас же, легко и отрадно, мы поверили, что у бога в раю растут такие цветы — огромные, с дерево, неувядающие, крепкие и добрые; они светятся, как фонарики, и сделают все, что у них попросишь. И мы верили в божьи цветы, в их дивную силу, спокойно и радостно и с особым доверием просили:

— Цветы божьи, цветы крепкие, цветы бессмертные, помилуйте нас!

Я скрывала эту молитву от взрослых, инстинктивно чувствуя, что они запретят ее, что они, молясь скучным, темнотликим иконам своим, не верят в веселые и добрые святые цветы.

И вот прошло много-много лет, была революция, была гражданская война, мы почти три года жили в Угличе, потом вернулись в Петроград, где в квартире нашей исчезли все человечки, исчез и угличский «старичок», потом, всего через девять лет, я навсегда ушла из отчего дома, из-за Невской заставы, и была уже комсомолкой и даже кандидатом партии, и давным-давно не верила в бога, и совсем позабыла про его всемогущие цветы, — когда увидела их воочию, живыми! Это было в то лето, когда я первый раз в жизни поехала на юг, к морю, и до отхода автобуса в Гагры бродила одна в сочинском дендрарии. Казалось, сердце уже не в силах вместить восторженного изумления перед первые увиденной красотой юга, казалось, оно до отказа полно только вчера открытым им морем, морем, морем — его трепещущим, влажным, безграничным серебром. Но вот я повернула в аллею с какими-то высокими темно-зелеными деревьями, полную неподвижного, неведомо-благоуханного сумрака, и — обмерла: на ветвях этих деревьев, среди крупных темных листьев, светясь, как фонарики, недвижно сидели огромные молочно-жемчужные цветы. То были магнолии. Я не знала еще их названия. Но когда я вошла в эту аллею, увидела эти светящиеся огромные цветы, такие крепкие, такие на вид бессмертные, такие спокойно-прекрасные, то сама собой внезапно вспомнилась мечта-молитва раннего детства. И я засмеялась — господи, да ведь я же в раю! И в веселом счастье я прошептала, не молясь и не кощунствуя, «цветы божьи, цветы крепкие, цветы бессмертные, помилуйте нас», — как давным-давно, за Невской заставой...

А за Невской заставой я бывала все реже и реже. Я жила теперь в «городе», на улице Рубинштейна, семь, в странном доме, задуманном в самом начале тридцатых годов как коммуна инженеров и писателей, но не состоявшемся как коммуна, а потому получившем повсеместное грустно-веселое прозвище «слеза». Я писала о нем в первом отрывке.

За Невской заставой, в старом доме нашем, остался жить папа (они разошлись с матерью, и мать жила у сестры), тетя Варя с бабушкой Марьей Ивановной — бабой Машей — и нянька наша Авдотья.

Волнистые белокурые волосы папы стали седеть и редеть, хотя он при случае все так же лихо ерошил их и напевал старую заставскую песенку:

А носил Алеша
Кудри золотые!
Пел великолепно
Песни городские,
Как же тут Марусе
Было не влюбиться...

Он работал все там же, врачом в амбулатории при бывшей фабрике Торнтонна, ныне «Красный ткач» имени Тельмана, куда поступил после гражданской — после кронштадтского льда, на котором завершилась его военная служба.

Он бывал иногда у меня в неправдоподобно маленькой, какой-то «понарошечной» макетной квартирке Дома коммуны, а я никак не могла вырвать время побывать у него — ни на фабрике, в его ветхой деревянной амбулатории с палисадником, где у папы, собственно, был второй дом, где много лет выращивал он какие-то необыкновенные для Ленинграда розы, ни в запущенной комнате его в нашем старом доме.

Бабушка Ольга и дед умерли уже давно, а баба Маша все жила и жила и непрерывно работала по дому, совсем став махонькой и сухонькой, еле шелестящей, но все еще будучи подвижной, с быстрыми черными глазами. Она заботливо обихаживала бывшего зятя — папу, когда он бывал дома, и единственную, оставшуюся вместе с нею дочь — тетю Варю (медицинскую сестру Александровской больницы), непрерывно при этом ворча на нее... Тетя Варя стала работать в госпитале сестрой милосердия в первые же месяцы войны с Вильгельмом, когда жениха ее взяли на войну. Он был прапорщиком, и когда тетки по вечерам негромко пели романс «Военная чайка», мне казалось, что это про тети-Вариного жениха.

Вот прапорщик юный со взводом пехоты
Старается знамя полка отстоять.
Один он остался
из всей своей роты...
Но нет! Он не будет назад отступать.

Тети-Вариного жениха, прапорщика, убили на войне, и, наверное, тоже, как в романсе:

Вот ночь пронеслась и заря заблестела,
Врага мы прогнали далеко к реке.
Наутро нашли его мертвое тело,
И знамя держал он в застывшей руке...

Тетя Варя так и не вышла замуж, и тихо, безропотно, вроде даже охотно увядала, и третье десятилетие плакала о своем женихе-прапорщике, и работала в том же госпитале, который после гражданской войны стал рабочей больницей, и носила все такую же белую косынку с маленьким красным крестиком посередине. Хотя такие косынки и не полагались теперь, тете Варе разрешили носить именно такую, с крестиком, как очень опытной кадровой хирургической сестре.

А наша Дуня давно работала на фабрике «Картонтоль» уборщицей и все училась в ликбесе, с двадцатого года училась и все никак не могла выучиться грамоте — не только писать, даже читать.

— Букву «ща» никак пройти не могу, — жаловалась она мне в те редчайшие случаи, когда я бывала у наших за Невской. — Понимаешь, Лялецка, «кы», «ны», «ры», «лы», «мы» — это я все цитаю, а букву «ща» (она говорила «ца») и которые на нее похожие никак прочитать не могу!

И она начинала плакать и утирать глаза кончиком головного платка, шепча:

— Темной душой при чаре была — темной душой при советской власти останусь... Уеду к братухе в деревню, буду помогать ему...

Братуху ее тяжело искалечили на германской войне.

Но Дуня так все и не могла съездить в Гужово — город уже держал ее.

...Шли годы: начало тридцатых годов, первая пятилетка, пламенные штурмовые ночи «Электросилы», где я работала; конец тридцатых годов, смерть дочерей моих, одна за другой, затем сразу тягчайшее испытание 1937—1939 годов, оставившее в сознании след неизгладимый, и вот, почти сразу, — Великая Отечественная война... Все больше жизни ложилось, обваливалось и громоздилось между мною и старым моим домом, и так не похожи были мои горести и радости, особенно горести, на какие-то неподвижные, как казалось мне, горести и радости моих родичей из-за Невской заставы, что нить, связывавшая меня с ними, становилась все тоньше и тоньше и вот-вот готова была порваться.

Я не жалела об этом — собственно говоря, даже не думала. Я редко встречалась с отцом, Невская застава жила где-то далеко в подсознании, я почти не вспоминала ни Авдотью, ни бабушку, ни тетю Варю, пока в начале октября сорок первого года, когда Ленинград был уже окружен плотным кольцом немцев и штурм города не прекращался ни на минуту, — пока в это время рано утром в телефонной трубке не раздался голос тети Вари:

— Лялечка... Приезжай проститься с бабушкой.

Я не поняла ее, изумилась, но от другого.

— Тетя Варя... Как же ты думаешь эвакуировать ее? Ведь дорог-то от нас больше нет...

— Она не эвакуируется, Лялечка. Она умирает.

«Ну и что?» — чуть не сказала я: что-то не доходило до меня.

— Она умирает, Лялечка, и хочет с тобой проститься...

— Тетя Варя, — забормотала я, совсем растерявшись, — у нас сегодня в райкоме срочное совещание политорганизаторов... А я ведь политорганизатор... — Но вдруг, перебивая меня, косо пронеслась мысль, пока я лопотала: «Сколько же лет я не видела бабу Машу? Постой, постой... Больше двух лет... Живя рядом... А она перед смертью...»

И вдруг она предстала перед глазами такая, как в детстве: маленькая, вечно и споро работающая, ласково ворчливая, добрая-добрая... Моя бабушка! Моя добрая, старенькая, последняя бабушка...

— Тетя Варя! — крикнула я. — Я сейчас приеду. Я... я успею?

— Думаю, успеешь.

— Я еду, тетя Варя!

День вершин. Фландрская цепь. Это было через несколько дней после того, как во время очередной воздушной тревоги мы, как и многие ленинградцы, подобрали у себя на дворе знаменитую немецкую листов-

ку «ждите серебряной ночи». А сегодня утром жильцы принесли мне несколько новых листовок. Они нашли их у себя под дверьми, и это были не немецкие листовки: они были написаны на небольших листках бумаги в мелкую клетку, по всем признакам вырванным из блокнота, карандашом, от руки, почерком неуверенным, дрожащим, не то детским, не то старческим, и над текстом карандашом же было изображено нечто вроде спирали или цепи, тоже как-то чересчур наивно, по-детски. Однако в тексте не было ни единой грамматической или синтаксической ошибки. Вот ее текст, который я знала уже почти наизусть, так как и сама нашла у себя рано утром на полу возле двери точно такую же листовку...

«Фландрская цепь счастья прислана мне кем-то. Я препровождаю ее Вам. Спешите! Пошлите ее в течение 24-х часов четырем лицам, кому Вы желаете счастья. Эта цепь начата во Фландрии в 1729 году одним ученым и должна обойти три раза вокруг света. Кто порвет цепь, тому будет великое несчастье. Обратите внимание на то, что с Вами случится на 4-й день получения цепи. В этот день Вас ожидает великое счастье, если это письмо Вы не оставите у себя».

Пока все тот же номер трамвая, на котором я ездила в «город», еще живя за Невской, вез меня на полузабытую мою родину, я думала вовсе не о встрече с заставой, не о прощании с бабушкой, а вот именно об этой сегодняшней листовке, ее наивно гипнотизирующем тексте. Я невольно твердила: «фландрская цепь счастья... должна обойти три раза вокруг света... кто порвет цепь — тому будет великое несчастье...» И тут же возникала тревожная мысль: кто же, кто же составил, кто распропагандировал эти слова, эту фландрскую цепь счастья? Она не сброшена с немецких самолетов, но тем хуже — она составлена врагом, живущим рядом. Врагом? А может быть, человеком, желающим, чтобы в эти дни, когда все вокруг распадается и рушится, люди подали друг другу руки? Сомкнулись бы в единую неразрывную цепь? Да, но зачем тогда этот туман вместо простых, сегодняшних, сердечных слов, зачем запугивания: «Кто порвет цепь, тому будет великое несчастье...» Нет, если даже растерявшийся человек переписал и подsunул мне листовку, то составил и пустил ее по рукам враг. И этот враг живет где-то рядом... быть может, в моем доме... Ведь кто-то же проходил сегодня ночью или на заре по коридорам нашего дома и подсовывал эти листки под двери, — враг, или посланник врага, или запуганный им человек дышал у моей двери, прислушивался, не раздадутся ли мои шаги, кто-то грозил мне: «Кто порвет цепь, тому будет великое несчастье». Враг умен, грамотен, он понимает, что в дни, полные неожиданных потрясений и ужасов, безотказнее всего могут действовать именно вот такие туманные, полные смутных угроз и смутных обещаний слова, — так кто же он, автор этого листка? Мне передали сегодня четыре такие странички, плюс моя — это пять... Пять человек порвали «фландрскую цепь счастья», а сколько людей сидят сейчас и переписывают и рассылают эту дурманящую своей таинственностью бумажку? И не только на моем объекте, но и в других домах, но и во всем Ленинграде — ведь эта «цепь» ходит давно, мы имели об этом сведения, и вот сегодня утром она дошла до моего дома, звякнула у моих дверей ржавым своим железом. Наверное, сегодня в райкоме будут говорить об этом... Я скажу, что нет смысла молчать об этой листовке, наоборот, надо на собрании или в бомбоубежище во время тревоги рассказать о ней, зачитать даже и... высмеять ее. На плакатах и воззваниях, расклеенных по городу, написано «враг у ворот». Надо заострить — сказать: «враг у дверей». Надо схватить его за руку в ту минуту, когда он подсовывает под дверь или опускает в почтовый ящик таинственно написанную прокламацию...

Если это не враг, а запутавшийся, растерявшийся свой человек, надо объяснить ему...

Я так задумалась обо всем этом, что не заметила, что трамвай давно уже стоит. Кондукторша сердито и нетерпеливо крикнула мне:

— Гражданка! Гражданка, да вы что? Выходите!

Я взглянула в окно, мы стояли у завода имени Ленина, бывшего Семяниковского.

— Мне еще одна остановка,— сказала я.

— Да что вы, оглохли? Артиллерийский обстрел. Выходите. Укрытие напротив, вон в том доме...

Я соскочила с площадки. Действительно, высоко над головой с плачущим стоном пронеслись снаряды и рвались где-то впереди — там, где был Палевский проспект. Огромные, плотные, круглые серебряные облака стояли, как стена, в конце прямого Шлиссельбургского проспекта, и в этих облаках что-то урчало и перекатывалось, точно в огромном котелке варилась огромная чугунная картошка. «Там бой... Наверное, за Мурзинку... А может, уже за папину фабрику?» Протяжно воя, пронесся совсем низко снаряд, и через несколько секунд послышался взрыв — и опять там, в перспективе Шлиссельбургского, где был мой дом... И вдруг леденящая мысль обдала меня: «А если этот — в наш дом?!» И мне так страстно захотелось еще раз увидеть наш дом, и бабушку, и родных, так сжалось сердце, что, не чувствуя страха, я почти бегом устремилась по проспекту, на Палевский, на ходу выхватив из противогаза, на всякий случай, оба свои пропуска: пропуск для хождения по улицам во время ВТ и «пропуск для проезда и прохода на фронт из г. Ленинграда и обратно».

Крепко держа оба пропуска в правой руке, левой придерживая сердце, я бежала к дому, где родилась, откуда открылся мир, первая любовь и неодолимый зов революции, к дому, откуда ушла в двадцать лет, презирая его и его обитателей за их «мещанскую сущность», к дому, который почти забыла,— я бежала к нему под гнусным воем снарядов, задыхаясь и обмирая от горя, что, может быть, не увижу его еще один раз. О, хоть раз! Хоть один раз...

Он был цел!

Цветы бессмертные. Я на мгновение остановилась перед ним, перед могучим тополем, который всю юность заглядывал мне в окно и под утро голубел, перед кривой калиткой палисадника. Мой дом был цел, но каким он стал маленьким! Еще меньше, чем тогда, когда мы приехали из Углича. Но он был цел. Правда, такой же деревянный домишко напротив был весь разворочен, но это было явно не сейчас, даже не сегодня, потому что пожара не было и от развалин пахло холодной золой. Однако снаряды ложились, и ложились недалеко, и вдруг земля вздрогнула — это где-то, тоже невдалеке, упала бомба, и тотчас же отвратительно и безумно, как ведьмы, завывли сирены, и еще ударила бомба, предварительно смертно просвистев, а крутые, круглые, серебряные облака стали урчать еще громче. Переведя дыхание и вспомнив, что мне надо проститься с бабушкой, которая умирает, я пошла в наш дом.

...В той комнате, которую я помнила с детства; большое трюмо в простенке между окон уже совсем умерло — оно было подернуто как бы вечным туманом и ничего больше не отражало. В комнате было светло — это серебряные, смертельно урчащие облака освещали ее. Темной была только большущая икона Николая-чудотворца в углу, которой боялись мы с детства, с которой началось мое «иконоборчество» перед

вступлением в комсомол. Красная лампадка горела перед Николаем-угодником, и поэтому выступающее из сплошного черного поля коричневое, надменно строгое лицо старца в митре, похожей на часовенку, казалось еще неумолимее и мертвеннее; фикусы, ненавидимые мной до исступления в то же время «иконоборчества», ужасно разрослись, так что стали похожи на какие-то наглые живые существа, и в комнате пахло одним из самых забытых запахов — грустным и чистым запахом ладана. Я охватила это и восприняла в одно мгновение, прежде чем в следующее воспринять самое поразительное: необычайное, почти торжественное спокойствие, царившее здесь, и гордую-гордую в невероятной простоте своей умирающую бабушку. Тетя Варя в косынке сестры милосердия с красным крестиком посредине стояла у нее в ногах — тетя Варя работала в той же Александровской, точнее — Пролетарской больнице, которая вновь была госпиталем, и госпиталь ввиду близости переднего края считался прифронтовым.

Увидев меня, она спокойно подошла, поцеловала нежно и спокойно и негромко сказала:

— Она еще в сознании. Она будет рада тебе.

Я почему-то стащила платок с головы и подошла к постели бабушки. Сильный взрыв в этот миг сотряс наш домишко, красная лампадка перед бесстрастным ликом угодника закачалась из стороны в сторону, тетя Варя, встав на цыпочки, остановила ее рукой. А бабушка лежала на подушках, по-крестьянски повязанная белым платочком; ее лицо стало совсем-совсем маленьким и морщинистым, глаза запали очень глубоко, но смотрели из впадин своих умно и просветленно, как-то особенно по-живому мерцая. Но больше всего меня поразили ее сложенные на груди руки: они казались непомерно громадными — столько узлов и мозолей было на пальцах, такие вздувшиеся, крупные, синие вены увидали их. Это были руки женщины, которая из своих восьмидесяти семи лет работала ровно восемьдесят, руки матери, которая родила, кормила, пеленала и поднимала четырнадцать человек детей и множество внуков и даже правнуков, и пережила, и похоронила многих из них, и закрывала им глаза этими же руками, и бросала первую горсть земли в их могилы. Я глядела на ее махонькое, чуть теплящееся лицо, на живые мерцающие глаза и на ее огромные руки с небывалым трепетом, почти со страхом, и вдруг подумала, что за всю свою жизнь я ничего-ничего хорошего не сделала и даже не сказала бабушке — вот с этими живыми глазами, с этими руками... Как я могла, чтобы так получилось? Я вспомнила вдруг также, как она водила меня в баню, сажала в шайку с «холодненькой» водичкой, высасывала из глаз щипучее мыло и потом покупала у ворот бани черный и дико сладкий «рожок» или давала выпить кисленького квасу. А я? Что я сделала хорошего ей, тете Варе, отцу? Ничего. Мне не до них было, мне было некогда: первая пятилетка, ударные стройки, овладение теорией, своя жизнь — построение своей новой семьи, — ах, не до них мне было, не до них! Я новое общество строила, а тут бабушка и тети с ихними «днем ангела» и еще какой-то мешанской суетней...

Бабушка моя находилась как бы в полузабытьи, глядя на стену, когда я присела около.

— Мама, — окликнула ее тетя Варя, — к вам Ляля пришла проститься.

Глаза ее стали живее, и огромные руки зашевелились.

— Варька, — сказала она строго, — что ж ты госпиталь в такое время бросила?

— Там меня заменяют, мама,— покорно ответила тетя Варя и повторила: — К вам Лялечка пришла, вы видите?

Бабушка повернула ко мне голову, долго молча глядела на меня с неизъяснимой нежностью и любовью.

— Лялечка... внучка моя первая... Безбожница ты... комсомолка... Ну, все-таки дай я тебя благословлю. Не рассердишься?

— Нет, бабушка,— ответила я.

И вновь сильный взрыв шатнул наш старый дом, пока она узловатой, почти чугунной на вид, но легчайшей своей рукой медленно благословила меня. Я прижалась губами к ее руке, уже прохладной.

— Ну вот,— шелестела она, еле слышно, но внятно,— ну, хоть одну внучку повидала... А Муська-то, Муська-то где?

— Она в Москве, бабушка...

— Москву-то... тоже бомбят?

— Тоже, бабушка...

— А где она, Москва? Ну, в какой стороне?

Не совсем поняв ее вопрос, я наугад указала на стену, возле которой она лежала.

— Вот в этой стороне, бабушка.

Она чуть-чуть повернулась к стене и вновь подняла свою огромную натруженную руку и небольшим крестом — на большой-то у нее уже не было сил,— благословила ее, прошелестев:

— Спаси, господи, рабу твою Марию и красную твою столицу Москву...

И вдруг неведомое доселе чувство, похожее на разгорающееся зарево, начало подниматься во мне.

«Вот как она умирает: не спеша, торжественно... Вот прощается, благословляет... Это все, чем может она принять участие в войне... Это ее последний труд в жизни. Не смерть — последнее деяние. По-русски умирает, верней, отходит — истово, все понимая. И не в боге для нее дело, совсем не в боге. Говорили, когда умирал Павлов, он следил за своим состоянием и диктовал свои ощущения ассистенту, сидевшему около. И вот к нему постучали, хотели войти, но он ответил: «Павлов занят — Павлов умирает». Гений человечества — и темная моя бабушка... Впрочем, почему же она темная? Разве трудиться, любить, без конца любить, так, чтоб в последний час свой помнить о родных, о родине,— это не чистейшие вершины духа? И так, гений Павлов и бабушка моя умирали одинаково — бесстрашно и все время помня о жизни и во имя ее совершая последние деяния... Но ведь это вовсе не смерть, это вызов... Вызов бушующей кругом, насланной на нас смерти. Это воинская смерть. Но разве ж и мы не так умираем? Мы, те, кто под снарядами, кто дерется там, в этих урчащих облаках? Так! Не замечая смерти, помня только о жизни. А раз так, значит... значит, смерти просто нет, и не надо ее ничуть бояться. Неужели же это правда, что ее нет?»

Примерно так, наступая друг на друга, повторяясь, неслись мысли. И невольно я отдернула руку свою от холодеющих ладоней бабушки и взглянула на ручные часы. «Мне же надо на объект и потом в райком и на радио...» Она уловила мой жест и ласково, чуть снисходительно улыбнулась, как улыбается взрослый над оплошавшим ребенком.

— Ступай, Лялечка,— прошептала она нежно,— ступай, родная, не жди... меня...

— Бабушка, ты прости меня,— ответила я так, точно просталась с ней не навсегда, а до завтра,— мне действительно надо бежать, понимаешь...

— Я все понимаю, внученька, деточка, иди... Иди!

«Гужово не взять». Я вышла во двор наш, взглянула на сад — он был прекрасен в златосумрачном наряде своем, густой, вновь разросшийся после того, как в гражданскую его почти весь вырубали. Снаряды свистели над ним почти без перерыва — огонь был перенесен дальше. Мысли мои неслись все круче, все массивнее.

— Лялецка! — окликнул меня знакомый голос, и я увидела Авдотью, нашу Дуню, подходившую ко мне. В одной руке у нее был заступ, в другой узелок с пищей, голова повязана белоснежным платком.

— Дуня, Дунечка! — кинулась я к ней, ликуя. — Ой, как я рада, что тебя увидела... Ну, как ты? Где работаешь-то?

— А на окопах, известно дело, — ответила она, тоже улыбаясь. — Вот и сейчас иду. Белый плат повязала — видишь?

— Вижу. Ну и что ж, что белый?

Она таинственно и значительно прошептала, озираясь на золотой сад:

— А то, что он третьево дни листовки кидал: «выходите в белых платках — тогда бонбить не буду». Мы у себя на фабрике и порешили — а ну, выйдем в белых платках.

— Дуня, да вы что?! Ведь это же означает, что вы ему сдаетесь, понимаетесь?!

— Ну да... Скажешь еще! Сдаемся! Мы его обвести хотим. Раз увидит, вышли женщины в белых платках, ну и бросит бонбить, а мы себе копаем да копаем, мало ли что платки белые. Думаешь, под бонбами-то много натворишь?.. А нам там надо во какие ямины вырыть, чтоб он, цорт, в них себе обе ноги поломал.

Она с достоинством поправила платок, которым хотела «обвести» немца, и, вздохнув, добавила:

— А как немца-то разобьем, я в Гужово поеду, тот платок надену, помнишь — двулицной-то? Он у меня не надеванный ни разу — челехонек. В Гужове-то и обновлю его.

— Дуня, — невольно сказала я, — ведь Гужово-то немец взял... и Псков тоже.

Она взглянула на меня почти презрительно, даже надменно, как на непристойно хмельного, несущего чепуху.

— Не, — сказала она совершенно спокойно. — Это, Лялецка, дураки тебе наврали. Немцам нашего Гужова ни в кои веки не взять. Братуха-то разве допустит?

И с тем же нарастающим восторгом безбоязненности и сопротивлением я молниеносно поняла: «Конечно! Разве можно взять Дунино Гужово? То есть навсегда взять? С его свирепыми лесами, кусачими лошадыми, злыми гусями и в особенности с братухой — с веселым, добрым и бесстрашным братухой? Нет, Гужова нельзя взять. И Ленинград не взять... Не взять, не взять!.. Это все п о к а, это бред какой-то, дичь, мы выстоим, конечно... А если гибель — то есть для меня... Ну, пусть гибель — ведь ее нет!»

— Ольга! — вдруг окликнул меня отец.

Я с радостью обернулась на его зов. Он вбежал во дворик в своем простеньком, поношенном пальто-реглан, похожем на бабью юбку, в старом, пожалуй, еще времен той войны защитном картузике, — и по голубым веселым глазам его, по какому-то помолодевшему голосу я поняла, что им, как и мной, владеет то же веселое чувство сопротивления почти неминуемой гибели...

— У бабки была? — быстро спросил он. — А, ну хорошо. Я вот только что вырвался на минутку с приемного. Ты погоди меня — я скоро. До Шлиссельбургского вместе пойдем. Да чего вы тут, дуры, стоите-

то? — вдруг сердито крикнул он. — Зайдите хоть за сарайчик. Ляпнет снарядом — костей не соберете.

А мне было все равно, ляпнет или не ляпнет, хотя до сегодняшнего дня каждая бомбежка и артобстрел — я, как политорганизатор, не укрывалась — стоили мне такого смертельного, такого всепожирающего страха, что после отбоя я чувствовала, что у меня существуют где-то далеко внизу холодные-холодные подошвы и вверху тоже ледяное лицо. Ни тела, ни рук своих я не ощущала.

Но сегодня я была спокойна.

— Ну, Лялецка,— говорила Авдотья, приникая к моему лицу рыхлым своим, добрым лицом, целуя меня. — Ну, ты смотри ж, будь умницей, вракам не верь, под бомбы не лезь, а если что — сразу противогаз надевай,— понимаешь, противогаз! Нам нацальник объяснял!

И, уже отойдя несколько шагов, обернулась и горестно добавила:

— А цитать-писать я так и не научилась. Ну вот уж после этой войны науцусь! Святой бог, науцусь!

И она погрозила кому-то заступом и ушла со двора, раскачивая могучими своими бедрами, о которые шлепался спасительный противогаз.

Я засмеялась, потому что мгновенно вспомнила, как обучал нас на «Электросиле» мерам противовоздушной обороны один инструктор и как он выкрикивал: «В экстренном случае воздушно-газовой тревоги — что мы делаем? Адиём противогаз! Адиём сапоги резинового характера!»

Вышел отец, посерьезневший, с картузиком в руке.

— Достоинo теща отходит,— сказал он негромко. — Вечная пaмьять... — И, упрямо тряхнув головой, точно сбрасывая какую-то внезапно свалившуюся на нее тяжесть, сурово, с так понятным мне чувством вызова, улыбнулся и сказал: — Ну, пошли, девчонка. Кажется, потише стало.

И мы побежали с папой по Палевскому, по его древним деревянным мосткам, и оба, одержимые весельем сопротивления гибели, разговаривали бегло, телеграфно, почти невоспроизводимо.

Покосившись на меня, отец спросил:

— Ну... комиссаришь?

— Вроде... Политорганизатор. И еще работаю на радио. В разных отделах. В том числе в контрпропаганде. И еще в «Окнах ТАСС».

Я говорила возможно небрежнее, но не в силах была сдержать ни радости, ни гордости своей: ведь он все еще был для меня папой, которого я побаивалась, а вот теперь я шла с ним, участником двух тяжелейших войн, под обстрелом, как равная.

Да, он был участником двух войн! Сначала воевал против императора Вильгельма. Мы видели портрет Вильгельма в «Ниве», с вытаращенными глазами, с ужасными усами, которые какими-то пиками подымались чуть не к самым глазам, с каской на голове, а верхушка каски заканчивалась тоже острой, как его ус, пикой. Один раз папа приехал на несколько дней с войны, когда его санитарный поезд стоял недалеко, в каких-то Сувалках, привез такую каску и подарил нам играть. Она была с пикой на макушке, отвратительный орел с высунутым языком хищно топырил когтистые свои лапы, и, главное, из каски пахло чем-то нестерпимо кислым и душным — мы сообразили: пахло... войной! Мы не стали играть с каской... ни я, ни Муська, даже не примерили ее, а повертев в руках, тихонько, брезгливо засунули за печку...

Потом папа воевал против белых на юге — против Врангеля, и Каледина, и Краснова. Он был начальником санитарного поезда «Красные орлы», потом, уже после того, как привез нас из Углича в Петроград,

вместе с нашими частями шел по кронштадтскому льду на подавление контрреволюционного мятежа и оказывал раненым помощь — он был отличным военно-полевым хирургом, — и вот я первый раз в жизни шла с ним, как равная, больше — как солдат рядом с солдатом, и потому и выложила ему про все свои военные работы так много и так небрежно.

— Хотели еще в военную газету взять, но я отказалась — и так еле справляюсь, — добавила я.

Папа фыркнул круглыми ноздрями и зашевелил бровями, что означало высшую степень огорчения или досады.

— Н-да... Таких девчонок, как ты, берут в армию, а мне отказали!

— В чем?

— Я в народное ополчение просился, — помолчав, сказал он таким жалобным, виноватым мальчишеским голосом, что вздыбленное мое сердце и то замерло: я поняла, что мой папа, участник двух войн, завидует мне!

— Ты просто ненормальный! — сказала я ему как можно суше. — У тебя же возраст, сердце — куда тебе в ополчение?

— Вот-вот, — сварливо подтвердил он, — твои товарищи мне так же сказали: доктор, ваше дело — отбирать в армию и в ополчение, и только. А я бы хотел сам в народное ополчение... Я военно-полевой хирург, что, я был бы лишним? А твои товарищи — бюрократы! Да-да!

Тут надо сказать, что с тех лет, как я, вопреки отцовской воле, ушла из-за Невской заставы, папа считал «моими» и партию, и всю историю, и все победы наши, и все недостатки. Он говорил: «Ну, кажется, с твоей пятилеткой что-то все-таки выходит...» или «Ну вот, опять твои товарищи перекачали». Да, в общем, все было «мое», и я отвечала перед папой решительно за все — ух, это было трудновато!

И вот сейчас он опять в чем-то обвинял меня, именно меня, и завидовал мне, и просто роптал по нелепейшему поводу: почему его, уже старика, не взяли в народное ополчение? Но и зависть его и ропот дополняли ту отчаянную радость, ту неистовую свободу и свет, которые все нарастали и нарастали во мне.

Мы добежали до угла Палевского и Шлиссельбургского и остановились на углу. Тут, направо, еще совсем недавно стояла общественная уборная из гофрированного железа, такая, что снизу видны были ноги заходящих в нее граждан, а крыша у нее была сооружена в точном виде германской каски с орлом спереди и с пикой на макушке. Уборная возводилась заставскими патриотами-торговцами во втором году первой империалистической войны, и с тех пор я и помнила ее. А напротив, по левую руку, тоже совсем недавно располагалось другое сооружение — торговое: то был шаткий дощатый прилавок, вернее лоток, над которым на двух рейках трепетал дощатый навес; под этим неверным укрытием стоял старичок, дядя Гриша, который в самом начале нэпа выстроил этот «магазин» и открыл здесь торговлю ирисками и тянучками. Каждое утро, по дороге в школу, я подходила к дяде Грише и спрашивала:

— Дядя Гриша, почему сегодня тянучка?

— Сегодня — один миллиард двести семьдесят миллионов штук, — отвечал он невозмутимо.

То была пора инфляции, когда рубль неудержимо падал, и так приятно стало и вначале удивительно, когда вдруг миллиарды и миллионы превратились в рубли и даже в копейки и появились первые монеты: настоящие серебряные рубли, полтинники, двугривенные, большие увесистые медные пятаки, крохотные полушки. На серебряных монетах были изображены крестьянин и рабочий: обнявшись, они смотрели вдаль, а за ними всходило солнце.

Теперь не было ни ларька дяди Гриши, ни уборной с крышей в виде вильгельмовской каски, но я вспомнила их так, точно увидела воочию...

— Ну,— сказал папа,— пока, девчонка!— И, помолчав секунду, спросил совсем негромко: — Как Николай?

— Сначала, получив белый билет, очень горевал. Даром, что отступление их рота прикрывала от самого Кингисеппа... Теперь ничего, работает в ПВО. Пишет для военной газеты. И, знаешь, даже продолжает свою статью «Лермонтов и Маяковский».

— Не люблю я твоего Маяковского,— сказал папа.— Есенин — это да.

— Полюбишь, когда прочтешь Колину работу. А после войны он сразу возьмется за большую книгу: «Пять поэтов. Пушкин — Лермонтов — Некрасов — Блок — Маяковский». Это так здорово задумано у него, он уже столько набросков сделал! И даже сейчас, когда не дежурит...

— Вам надо уехать,— перебил меня отец, глядя в сторону.— Вам обязательно надо уехать. Любыми средствами.

— Но ведь ты-то не уезжаешь? Еще в ополчение просишься...

— Ну-ну-ну! — прикрикнул он сердито.— В древних книгах написано: «Горе тому, кто покинет осажденный город».

— Справедливо. Вот и мы...

— Он может не выдержать с его болезнью,— сказал папа почти сквозь зубы и тут же, перебив себя, тряхнув головой, почти весело воскликнул: — Заболтались! А нас дело ждет. Будь здорова, девчонка.

Он чуть толкнул меня в плечо, не поцеловал, не пожал руки, не обнял и почти побежал направо, по Шлиссельбургскому, не останавливаясь и не оглядываясь.

Это не было ни позой, ни насилием над собою, просто он, как и я, знал, что мы не можем погибнуть. А я еще целое мгновение смотрела ему вслед, на его раздувающееся смешное пальто, смотрела в глубь Невской заставы, туда, где была папина фабрика, и тети-Варин госпиталь, и чугунный, самый большой за Невской заставой — Обуховский, а там стеной стояли круглые, библейски прекрасные, первозданные облака и рокотали и урчали все громче. Я взглянула туда, и вся жизнь моя вдруг распростерлась передо мной. И с немислимой стремительностью, которую не в силах обрести слово, катились сквозь душу картины всей моей жизни и жизни моей Родины и воспоминания о том, что свершилось еще до моей памяти.

Нет, я не вспоминала, я жила тем, что было, есть, будет. Эти воспереживания были внезапны, отрывочны, разбросанны и в то же время слиты в единый сплошной поток — нет, в нечто, подобное сильному южному морскому прибою, который окатывал нестерпимым, почти болезненным счастьем.

Сказали когда-то: времени больше не будет. Верите ли вы, что это верно,— я знаю это, я знаю, как не бывает времени! В тот день его не было — все оно сжалось в один лучевой пучок во мне, все время, все бытие. И весело рухнули перегородки между жизнью и смертью, между искусством и жизнью, между прошлым, настоящим и будущим. О, как хрупки они оказались, как условны, как легко было мне наслаждаться в сей жизнью сразу, всей поэзией и всей трагедией ее на самом ее краю, на краю жизни, на углу Палевского и Шлиссельбургского, между тенями нелепых сооружений прошлого, в минуту притихшего артобстрела.

Как бы эфирную струю
По жилам небо протекло...

В мгновения, только в мгновения вмещалась вся жизнь, а мне надо для них — страницы. Внезапно вспыхивали эти мгновения всей жизни, и я не буду задним числом искать им других объяснений. Я не знаю, почему, глядя на исчезающую вдаль фигурку отца, я подумала, что вот он идет к себе на фабрику, а на этой фабрике появилось первое мое и п е ч а т а н н о е стихотворение, и оно было о Ленине. Ленин! И волна неистового тепла и света обдала меня...

Ленин. Он вошел в сознание с самого раннего детства — в пору жадной мечты о Дунином Гужове, в пору первого соприкосновения со стихами Лермонтова о дубовом листке и одиноком утесе, в ту смутную, как бы предрассветную пору, когда сказка и действительность еще неотделимы друг от друга и довольно намека, чтобы самому создать легенду и поветить в нее.

Папа был на войне,— война с Вильгельмом все шла и никак не могла кончиться,— и папа больше не приезжал к нам после того единственного раза, когда привозил каску, и мы уже стали забывать его, какой он на самом деле, и было лето, и мы жили в Финляндии, и воздух был напоен горячим дыханием сосновой хвои и смолы, и струился нежнейший запах нагретого песка у взморья, а взрослые тревожно шептались:

— В Петрограде была огромная манифестация фабричных...

— Говорят, на Невском творилось что-то невероятное, особенно у Садовой... И все — с красными флагами! Тысячи, тысячи людей...

— Это Ленин их поднял...

— Все фабричные за Ленина горой. И чугунолитейные встали...

— Да, но он приехал из Германии в запломбированном вагоне?!

— Боже, так рисковать! Ехать сейчас через Германию... Ужас!

— Но, подумайте — его даже это не остановило! Он рвался к питерским рабочим.

И вот в воображении возник сказочно сильный и бесстрашный Ленин, человек, за которым «идут все фабричные». Я часто видела, каким сплошным, огромным потоком выходят они из распахнутых ворот фабрики, где работал дедушка, как их много, какой гул поднимается над ними,— а тут все идут за одним Лениным! И всё идут, идут и идут... И чугунолитейные заводы тоже как-то встают за Лениным — дрожащее, угрюмое зарево над ними всегда было видно из окошек нашего дома по вечерам. Что-то тяжелое, огромное ухало и грохотало там так, что бывало слышно в комнатах, и вот все это встало за Лениным — то, что грохочет, то, что источает багровый трепещущий свет... А он, Ленин, ехал через Германию, где властвует царь Вильгельм с его страшными усами, в каске с орлом и пикой, и живет еще миллион таких же усатых, ужасных немцев, с которыми воюет наш отец и все солдаты, но Ленин ничуть не побоялся проехать через эту страну, да еще в каком-то особенном, «запломбированном» вагоне,— ему нужно было к рабочим из-за нашей Невской заставы, с дедушкиной фабрики, с дяди-Шуриного Обуховского завода...

Потом в памяти вспыхнула ночь, когда я в неистовом страхе прижималась к Дуне, потому что окна нашей комнаты были полны ярко-розового света,— значит, где-то недалеко был пожар, а я больше всего на свете боялась пожаров... Меня трясла мелкая холодная дрожь, а Авдотья, неотрывно глядя в розовое окно, прижимая меня к себе, шептала:

— Ницего, Лялецка, ницего... Это участок горит — твоего дедушки фабричные опять бунтуют... Мало им, цто государя-анператора свергнули, теперь вот и сам участок подождгли... Ницего, он далеко, головешки к нам не залетят, не бойся...

Участок на углу Палевского и Шлиссельбургского, там, где встал потом мелкий нэпман дядя Гриша со своими тянучками, сожгли почему-то не в феврале, а в октябре семнадцатого года. Утром мы ходили с мамой на проспект и видели, как еще дымились развалины участка, а по Шлиссельбургскому мчались грузовики, в кузове которых, опираясь на ружья, стояли рабочие в кожанках и матросы, крест-накрест опоясанные пулеметными лентами, и ветер раздувал у них на груди огромные красные банты.

И снова имя Ленин не сходило с уст всей Невской заставы, и рядом с именем его звучали грозные, красивые слова: «декрет», «Совнарком», «революция», и все легендарней, все могущественней представлялся он моему детству.

Потом мы уехали в Углич, и там я пошла в школу, я росла, училась и уже, как все школьники, знала, что Владимир Ильич Ульянов-Ленин — это председатель Совета Народных Комиссаров, наш вождь, и что это Ленин указывает, как победить Колчака и всех других проклятых беляков, из-за которых мы так ужасно голодаем и мерзнем и давным-давно живем без отцов. Он все время думал, он все время беспокоился о нас, Владимир Ильич Ульянов-Ленин, — и уж как мы надеялись на него!

Потом, по дороге из Углича в Петроград, ночью, в бедственном, наполовину пораженном сыпняком вагоне, проснувшись на рассвете, я случайно услышала, как какой-то старик рассказывал о Волховстрое, который «зальет светом всю Расею», а Волховстрой велел строить Ленин. Потом, в начале двадцатых годов, за Невской заставой в нашем старом деревянном доме впервые зажглись электрические лампочки, и их называли «лампочки Ильича»... Как великая, порой грозная сила, как великий добрый свет — так с самого раннего детства входил Ленин в сердца моего поколения. По мере того как мы росли, образ его становился все человечнее, все ближе к душе, и любовь наша к нему была глубоко человеческой — она была постоянна, естественна и спокойна, как дыхание здорового человека. Но как мы испугались, когда он захворал! Вслед за поэтом мы твердили, бормотали, заклинали:

Тенью истемня весенний день,
выклеен правительственный бюллетень.

Нет!
Не надо!..
Не хотим!..

Мы готовили в школе вечер к девятнадцатой годовщине Кровавого воскресенья девятьсот пятого года; ставили инсценировку, репетировали коллективную декламацию, проводили спевки — хором пели «Вихри враждебные», «Замучен тяжелой неволей», — мы готовились к вечеру так, точно взаправду должны были драться на баррикадах.

«На баррикады — буржуйам нет пощады!» — не пели, выкрикивали мы. О, как хотелось на баррикады — взаправду, как хотелось умереть за Революцию! Только-только отгремевшая тачанками, отгоревшая пожарами, кострами, смердящими «буржуйками», отбредившая в сыпняке гражданская война, когда мы так холодали и голодали, казалась нам уже легендарно-прекрасной порой, и, забыв, что мы сами тоже ведь какие-то участники ее, мы завидовали тем, кто успел родиться вовремя, так, чтобы сражаться за Революцию с оружием в руках.

Но уж зато на демонстрации против лорда Керзона, который вдруг пригрозил опять интервенцией, — значит, опять голодом, угличской ледовитой зимой, войной, — на этой демонстрации мы дали себе волюшку!

Мы выскочили из школы с плакатом, на котором косыми черными буквами был начертан, конечно же, уже разнесшийся по заставе клич: «Лорду — в морду», — и с размаху, очень удачно влились в жаркий, кричащий, грохочущий ногами по булыжнику, ревуший медными трубами, польхающий знаменами и красными платками поток рабочих — ткачей, металлистов, прядильщиц... И мы сразу попали в ногу и пошли с ними, как равные, и нашему второму параллельному к тому же очень повезло, потому что прямо перед нами двигался грузовик, на котором был установлен длинный черный гроб и очень красивый молодой рабочий — живой — в синем комбинезоне держался за огромный кол, косо всаженный в крышку гроба, а на кузове грузовика был туго натянута плакат: «Вобьем осиноый кол в гроб мировой буржуазии».

Мы стремительно шли — не шли, а прямо-таки катились в общем потоке вдоль по Шлиссельбургскому, мимо старых сумрачных цехов Семянниковского, мимо дощатых и бревенчатых заставских домов — туда, в город. Гнев и отвага польхали на лицах людей, неумытых, потных, запыленных или закопченных, — они вышли на улицу прямо от станков. На проспекте пахло машинным маслом, пылью пряжи, духотой жиров со Стеаринового. Кто-то кричал с грузовика около Семянниковского: «Долой акул империализма!», и мы неистово подхватывали — «Долой-ой!» и пели, пели во все горло, стараясь перекричать друг друга.

Белая армия, черный барон
 Снова готовят нам царский трон.
 Но от тайги до британских морей
 Красная Армия всех сильней!
 Так пусть же Красная
 Сжимает властно
 Свой штык мозолистой рукой,
 Так все должны мы
 Неудержимо
 Идти в последний смертный бой!

И еще мы пели «Смело, товарищи, в ногу...» и «Слезами залит мир безбрежный...», песню с пронзающим припевом о знамени:

То наша кровь горит огнем,
 То кровь товарищей на нем...

и еще другие песни, и без конца «Интернационал», «Интернационал», «Интернационал» — «Это есть наш последний и решительный бой!» И вот что удивительно: в тот день каждая песня была вовсе не песней, а просто настоящей правдой — и про британские моря, и про то, что мы готовы идти в бой, — да мы вовсе и не пели песни, мы только выговаривали, выдыхали то, что было на душе, все мы — и рабочие, и школьники, и учителя, шагавшие рядом с нами.

Возвращаясь от умирающей бабушки осенью сорок первого года, я подходила как раз к Семянниковскому заводу, миновав нашу старую кирпичную школу, когда это воспоминание — нет, живое, жгучее желание погибнуть за Революцию, этот священный отроческий трепет, впервые испытанный на демонстрации против лорда Керзона, нагнал меня, как волна, и тотчас же слился с сегодняшним состоянием сопротивления, бесстрашия и безграничной свободы. Казалось, уже нельзя быть более свободной, но свобода все нарастала во мне и вокруг меня, и новые вос-

поминания (воспереживания?) рождались звено за звеном, звено за звеном...

...Да, демонстрация (их называли тогда еще по-старому — манифестация) против лорда Керзона была в мае 1923 года, и Ленин уже тогда был болен, но уже шел январь двадцать четвертого, мы готовились к вечеру Девятого января, а он все еще хворал, и бюллетени не сообщали ничего хорошего...

Нет!
Не надо!
Не хотим!..

...Смерть Ильича была для нашего поколения тем рубежом, с которого мы из детства шагнули прямо в юность, почти миновав ту тревожную неопределенную пору, которую называют отрочеством... Мы повзрослели и возмужали сразу на несколько лет в тот жестоко морозный день, когда засугробленная, заиндевевшая рабочая окраина, Невская застава, рыдала над Ильичем всеми гудками всех своих чугунолитейных заводов, всех своих прядильно-ткацких фабрик — тех, что встали за ним, тех, что шли за ним в семнадцатом году, — захлебывалась гулками прерывистыми гудками паровозов. Она голосила, как русская вдова или мать, потерявшая сына, она рыдала в голос, навзрыд, безоглядно, самозабвенно, долго-долго — осиротевшая, бревенчатая и дощатая, заваленная вечерующим снегом Невская застава.

До сих пор оттуда, из-за тридцати пяти лет, слышу я этот неповторимый траурный гул. Наверно, в городе, где были кондитерские с пирожными и гуляли по Невскому эппманы, не так все было слышно, как у нас за Невской, — ведь тут фабрики и заводы стояли рядом, бок о бок. Они загудели совсем иначе, чем гудели каждое утро, каждый гудок по очереди, один за другим, — они загудели как-то все сразу, хотя сначала я различила могучий гудок Семяниковского и высокий голос дедушкиной фабрики, но потом все слилось в сплошное гудение. Мы с подругой Валей стояли на самой середине нашего двора, засыпанного снегом, а траурный гул становился все громче и громче, и вдруг стало мне казаться, что грудь разверзается, хлещет туда ледяной воздух, и уже нечем дышать, и я как будто тоже стала вся гудеть, исчезать и подниматься ввысь, куда тянуло, как в гигантскую трубу, меня, наш двор, сугробы, сарайчик — все на земле...

«Да. Это на всей земле. Все гудит. А люди стоят. Как мы с Валей: не шевелясь», — и вновь, как на волжском вокзале по дороге в Петроград, я ощутила, что меня отдельно нет: есть что-то огромное, что неисто, изо всех сил, кричит от горя, и я вся — только этот общий всепоглощающий вопль. Есть всеобщее оцепенение — и я цепенею, слитно со всеми. Мы — один кусок льда. Но вопль этот, это всеобщее оцепенение — ведь это же вызов всему миру. Да, вызов. Потому что заставское рыдание достигло такой силы, что звучало уже, как угроза, — нет, как торжество.

И трагедийный гул длился долго, казалось, очень долго и затих постепенно, только еще целые полминуты пронзительно всхлипывала какая-то «кукушка» на ближнем заводе, но вот и она замолкла, и абсолютная тишина рухнула на вечерующий наш дворик и оглушила нас с Валей. Мы продолжали стоять все так же неподвижно, навтыжку и молчали. Долго молчали...

— Валя, — наконец сказала я, — я вступлю в комсомол. Немедленно. Мне не хватает лет, но я упрошу... Бабушка против из-за бога, а мама — из-за мальчишек. Но я все равно вступлю.

— Я тоже,— негромко отозвалась черненькая худенькая Валя Балкина...

Мы говорили, все еще стоя неподвижно, навытяжку.

— Валя, я должна открыть тебе страшную тайну. Я уже довольно давно не верю в бога. Знаешь, его нет, Валя.

— Знаю,— ответила Валя.— Я тоже вступлю в комсомол.

— Валя,— сказала я, почти задыхаясь от странного нового счастья,— я вступлю в комсомол и буду профессиональным революционером. Я всю свою жизнь буду профессиональным революционером. Как Ленин.

И не тот мороз, который стоял кругом, а внутренний холод — озноб восторга, озноб самоотречения — пробежал по позвоночному столбу: не умом — всем существом, всей плотью и духом я поняла, что дала клятву, что не смогу ее нарушить, потому что с момента этой клятвы началась у меня совсем новая жизнь, и отказаться от нее — это значит перестать жить...

...И это дает мне до сих пор силы, несмотря ни на какие горести, жить полноценно, жить всем существом,— эта вера в то, что я не нарушила своей давней, отроческой клятвы, сознание, что я принадлежу к Партии, сплавленной именем Ленина...

«Ты напечатана у нас». ...И, замолчав, мы все еще продолжали стоять с Валею неподвижно, навытяжку, среди сугробов, пока из форточки не окликнула меня бабушка Ольга:

— Лялька! Ты что там, замерзнуть хочешь, дура? Я вот тебя отмотаю за косы...

Она крикнула сердито, даже зло — но какое дело мне было теперь до бабушки Ольги и ее угроз? И до доброй бабы Маши? И даже до мамы и папы? И до Муски? И вообще до всего нашего дома? Ни малейшего.

Полная отчужденности и важной тишины, опустившейся в душу после клятвы среди заснеженных дровяных сарайчиков, я молча прошла на кухню, в Дунин угол, и стала писать стихи о Ленине. Я написала о том, что только что было:

Как у нас гудки сегодня пели!
Точно все заводы
встали на колени.
Ведь они теперь осиротели.
Умер Ленин...
Милый Ленин...

И когда внутри у меня сказалось, а потом я написала на бумаге: «милый Ленин»,— так жалко мне его стало, так невыносимо жалко, что слезы сами покатались из глаз. Я не всхлипывала, только смахивала их указательным пальцем и все писала, писала, стараясь, чтоб каждая строфа заканчивалась, как первая, словами: «милый Ленин...»

Я нарочно села в кухне, а не в столовой, чтоб никто не видел, что я сочиняю, но отец, проходя мимо, заметил все-таки, что я сижу над тетрадкой. Улыбаясь каким-то своим мыслям, он сразу посерьезнел, увидел меня, и подошел тихонько.

— Ну что?.. Вдохновение напало? — спросил он осторожно.

— Да.

— Ну-ну... Пиши, девочка. Я не буду мешать. Покажешь, а?

— Если выйдет.

В семье к моему стихотворчеству относились по-разному. Авдотья — обычно первый слушатель моих стихов — благоговейно изумлялась.

— Лялеца! И все это ты — из-своей головы?!

— Из своей, Дуня.

— Ай, умница! А я дура неграмотная, грамоту никак не осилю. Мне бы не стих, мне бы письмо в Гужово написать, хоть одно письмечко, с поклонами, хоть одно-единешенькое, да самой бы!

Маме нравилось буквально все, что бы я ни написала, она восторгалась, но как-то так, что мне становилось стыдно, а главное — она всегда отбирала у меня черновики стихов и прятала в комод, чтобы потом читать их знакомым и гостям и без конца говорить, какая я «одаренная девочка», а мне от этого хотелось потихоньку стонать...

Папе одно нравилось, а другое — нет. Когда я прочитала ему стих о нашем саде, он покрутил головой, взъерошил волосы и сказал: «Очень здорово... Как у Пушкина!» — и целый вечер, по привычке своей расхаживая по квартире и ероша волосы, гудел первую строчку:

Ты дремлешь, старый сад, осыпанный морозом...

А когда я влюбилась в одного мальчика из девятого параллельного и написала стихотворение:

Ландыши! Душистые,
Чудные цветы!
Слезы серебристые
Девичьей мечты, —

он сказал: «м-да»... и негромко, но очень обидно пропел на какой-то лихой мотивчик:

Сантименты! Сантименты!
Сантименты, господа!

И так как я знала, что для папы слово «сантименты» хуже всякого ругательства, я расплакалась от огорчения и обиды. Мама потихоньку утешала меня и говорила, что стихотворение «чудное, чудное» и что папа не понял его, так же как не понимает и ее... Но я-то знала, что папа все понимает.

И вот потому, когда я написала свое самое первое стихотворение о революции, о Ленине, я прочитала его папе — без мамы, без Муськи, без Авдотьи, ему одному. У меня ужасно стучало сердце, когда я читала, и застучало еще больше, когда я закончила чтение, а папа ничего не говорил, только смотрел на меня долгим, новым взглядом, потом протянул руку, молча прочитал стихи и сказал строго:

— Перепиши начисто, покрасивей. Я покажу это в нашей стенгазете. Может быть, даже и напечатают... Мне кажется, могут напечатать.

Через два дня он пришел с работы важный, даже какой-то напыженный, и в то же время явно ликующий — он совершенно не умел прятать радость, хоть на время прикрывать ее важностью или безразличием, ему не терпелось раздать ее другим. В то же время он не умел жаловаться на невзгоды — он стыдился, если был несчастен, точно сам был виноват в этом...

— Ну, Лялька, дела обстоят так... — важно начал он и тут же воскликнул, хлопая в ладоши: — Напечатали! Понимаешь, в нашей стенгазете напечатали! Сказали — отлично. Поздравляю. Теперь, пожалуй, ты настоящий поэт: напечатали!

Мне стало ужасно приятно и даже страшно. Я покраснела, выскочила в другую комнату и, закрыв глаза, расставив руки, немножко,

но очень быстро покружилась, как тогда, когда была маленькой. Потом посмотрела на себя в трюмо: ну-ка, какая я стала после того, как мое стихотворение напечатали? Ведь я же теперь... настоящий поэт! Увы, я была все та же — курносая, с длинными светлыми косами. А мне так хотелось быть стриженной, как настоящие комсомолки, и носить толстовку! О кожанке я только мечтала, как о прямом, «классическом» носе... Но все-таки мой стих напечатали, и я... я попрошусь у папы прийти завтра на фабрику и посмотреть на свой стих в стенгазете!

И на другой день — морозный, дымно-розовый, хрустящий — я на конке доехала до Фарфорового завода, а потом через Неву, по звонкой тропинке, перебежала на правый берег, где рядом с приземистыми кирпичными зданиями бумажной фабрики, бывшей Варгунина, стояла папина суконная, зашла к нему в амбулаторию — уютнейший бревенчатый домик с палисадником, окруженный низеньким деревянным заборчиком, — и он провел меня в фабком, где висела стенгазета. Мое стихотворение было действительно напечатано на настоящей пишущей машинке лиловыми крупными буквами, только не совсем ровными — одна буква была ниже, другая выше, но оно было наклеено в самой середине стенгазеты, и над ним были нарисованы склоненные траурные знамена, а под стихотворением очень крупно были написаны моя фамилия и, главное, полное, «взрослое» имя. Было написано «Ольга»... а не «Ляля», как звали меня дома.

Я очень долго стояла перед стенгазетой, прочла все заметки, в которых ткачи и ткачихи бывшей фабрики Торнтон вспоминали об Ильиче — они знали его запросто, живым, еще тогда, когда он совсем молодым приезжал на конке за Невскую заставу к первым рабочим-подпольщикам, и вот посредине этих заметок — косноязычных, угловатых, полных непередаваемо суровой нежности и любви к Ильичу — было мое стихотворение. Первая авторская гордость (невероятнейшая!), смешанная с первым (жесточайшим!) смущением перед еще не заслуженной честью, распирали мое сердце.

«Я буду профессиональным революционером, — повторила я слова, которые уже четыре дня не оставляли меня, — я буду профессиональным революционером-поэтом. Я сравниваю даже с рабкорами».

...Возвращаясь в город по безлюдной, зловеще притихшей Невской заставе и вспомнив зрительно ту, в неровных лиловых буквах и наивных рисунках, стенгазету, я вновь испытывала смущение и боль, что все еще «не сравнивалась с рабкорами».

Все дальше и дальше уходил, все стремительнее и бесповоротнее забывался сегодняшний день, а самое дальнее и даже не бывшее со мною приблизилось, подхватило и понесло в дали, которых я еще не знала. При воспоминании о первом напечатанном стихотворении подхватил меня вал поэзии...

День вершин. Лермонтов. Поэзия стала частью моей жизни тоже с самого раннего детства. Я едва научилась писать и писала большими печатными буквами, не отделяя еще слово от слова, писала так, как люди говорили, ведь говорили-то они без запятых и точек, слитно, — и вот однажды, длинным зимним вечером, в старой хрестоматии с обложкой цвета жуковского мыла мне попалось на глаза маленькое стихотворение, которое начиналось так:

Вот север, тучи нагоняя,
Дохнул, завыл — и вот сама
Идет волшебница зима...

Я замерла: была как раз зима, и улица и наш сад были в клокастом инее, в пушистом снегу, и все в стихе было сказано как будто бы об этом самом, нашем, которое я просто вижу, но в стихе было все это так удивительно, что я сразу поняла, что зима-то ж и в а я, потому что она пришла, что ведь она взаправду волшебница, и север живой — он «завыл», что и стих и наша заставская зима — это одно, но как это все в стихе красиво!

Я прочитала стишок еще раз и еще, и мне вдруг так захотелось, чтоб все это ужасно правильное, изумительно красивое про зиму было сказано... мною!

Нет, мне никак не передать сейчас этот первозданный восторг перед животворящим, одухотворяющим чудом поэзии. Да, этот восторг вообще ни передать, ни пересказать, ни объяснить нельзя. В этом тайна поэзии, и в тайне этой — ее власть.

Воровато оглянувшись, я переписала на большой лист бумаги стишок из хрестоматии, большими печатными буквами без просветов меж словами, засунула хрестоматию далеко-далеко под кушетку, чтоб ее больше никто никогда в жизни не нашел, и побежала к бабе Маше: я сидела как раз у нее, а они все жили в нашем же доме, внизу.

— Бабушка! — закричала я, дрожа от восторга. — Бабушка, послушай-ка, что я сама сочинила!

— Ай да молодец, — сказала бабушка, — ведь как складно!

И никакого сомнения в том, что это сочинила я сама, у меня больше не было.

И все-таки первой моей сознательной любовью в поэзии был Лермонтов. Толстенькая книжка в сером потрепанном переплете, с портретом грустного большеглазого гусара, нарисованным «ниточками» (это была гравюра), она лежала у меня под подушкой ночью, я не выпускала ее из рук днем, если не надо было штопать чулки или что-нибудь помогать по дому, — это было как раз перед отъездом в Углич, мне было семь и потом восемь лет...

Красота и человечность лермонтовских стихов, неосознаваемые, а потому тем более властные, пленили меня всей силой своею. И если через пушкинские строки я открыла, узнала, что зима — ж и в а я и север — ветер — живой, то в лермонтовских стихах мне открылось, что не только все кругом живое, но все про меня! Я прочла и тут же запомнила стихи об одинокой сосне, о листочке дубовом, об утесе и золотой тучке. Как жалко было сосну, утес, дубовый листок! С тех пор для меня осенью все листья неслись из-за Невской заставы только на юг, и все самые жемчужные облака шли только на юг, и каждому дереву в нашем пыльном и дымном саду снилось другое, далекое, прекрасное, с которым никогда-никогда не увидеться, но почему же все это было и про меня?! Почему — вместе с сосной и утесом — так мучительно жалко себя, почему я одна, совсем одна на свете, и так одиноко, что плакать хочется, почему меня никто не любит (все они только притворяются, будто любят меня), — что это такое со мной, — чинара, гордая чинара, почему ты не хочешь приютить дубовый листок — меня? Почему?!

Засох и увял он от холода, зноя и горя...

Нет, я не вынесу этого... я не могу больше! Если б умчаться в море, как парус одинокий! В огромное море — одной, одной, ведь в море одной не страшно, ведь парус не боится бури, — я тоже!

О, как сладостно было это мучение, эта тоска о невиданном, желанном друге — прекрасной пальме, мечта о бесстрашии перед бурей —

перед гибелью, как я счастлива, что еще на рассвете сознания мне дано было изведать это упоение, это пленение, эту власть поэзии, это приобщение ко всему миру через ее волшебные, непостижимые умом напевы, как счастлива я, что до сих пор она сильнее всего владычит над сердцем и над жизнью моею.

Среди множества ремесел и искусств, воздействующих на человеческую душу, нет силы более доброй и более беспощадной, чем поэзия. Она все может. Я утверждаю — она сильнее атомной бомбы, — разрушающее и творящее слово, пропитанное кровью любящего сердца, светом ищущего духа, окрыленное великой нашей идеей. Нет подчинения более добровольного и более неодолимого, чем подчинение поэзии. Нет любви более вознаграждаемой, чем любовь к поэзии: любящий поэзию — дважды поэт. Нет доверия более простого и обогащающего, чем доверие к поэзии. Но доверять ей нужно безгранично и безоглядно — безоговорочно, — потому что она бескорыстна, потому что ведь она-то доверяется тебе вполне, она готова отдать тебе всю неисчерпаемость свою, весь сумрак свой и все дневные звезды — твои и чужие, горящие и зримые только в ее глубинах. Доверяющий поэзии одарен судьбою, как говорили в старину — блажен. Снова и снова повторяю: я счастлива, что с самого раннего детства награждена даром безоговорочного доверия к поэзии.

Но я пленялась не только теми стихами, которые были «про меня», а и множеством других лермонтовских стихов. Правда, в толстенной книге Лермонтова многие стихи были почему-то непонятны, и в смущении за себя и за поэта я пропускала их, но понятные стихи «не про меня» волновали не меньше, а, пожалуй, даже чуть больше — ведь точно в чужое окошко с высоких мостков вечером, я заглядывала в чью-то другую, не мою, укрытую от всех жизнь и, узнав о ней, становилась соучастницей ее, обладательницей важной чужой тайны... Тяга к таинственному, жажда узнать и разгадать тайну и, разгаданную, нерушимо хранить ее или, что еще сладостнее, поделиться этим с подругой: «Валя, Валя, что я знаю! Только, чур, это тайна...» — сколько чистейшей радости в этом, и как хорошо, если хоть в какой-то мере остается эта тяга и в зрелом возрасте, и как нищ, как жалок человек, для которого все решительно понятно и нет ничего таинственного даже в искусстве... Именно сумрачной тайной своей пленяли и изумляли меня стихи «В полдневный жар в долине Дагестана...». О, почему же убитому гусару, который лежит в долине с дымящейся раной в груди, снится далекая-далекая красавица, а ей снится он? Как почуяла она, что он убит, как, умирая, узнал он, что она думает о нем? Но ведь это все правда, это так и есть, и убитый гусар похож на Лермонтова с его большими грустными глазами, а на убитого гусара и самого Лермонтова похож витязь, спящий на дне реки, витязь, о котором так удивительно поет русалка... Очарованная этим стихотворением, я твердила его наизусть, про себя, целый день, изнемая от наслаждения прекрасной, не своей грустью.

Но я — в отца, я не в силах одна выносить бремя радости, мне необходимо поделиться ею с другими, похвалиться ею. Наверное, это корыстное чувство: ведь в то время как разделенное горе съезживается, уменьшается, разделенная радость нарастает, крепнет, разгорается в тебе, и ты становишься все богаче, все счастливее. Нет, я просто не могла владеть одна этой голубой рекой, этой волшебной песней русалки! Взяв книжку — для достоверности, что это написано, — я почти насильно усадила Муську в угол дивана и стала по книжке читать ей стихотворение. Она, дура (недаром ей было всего шесть лет!), сперва говорила:

— Я не хочу из этой книжки. Она без картинок!

— Да ты послушай только, послушай, это лучше, чем с картинками...— И я, торопясь, пока она не ушла, прочитала сдавленным от волнения голосом,— я первый раз читала эти стихи вслух, другом у:

Русалка плыла по реке голубой,
Озаряема полной луной;
И старалась она доплеснуть до луны
Серебристую пену волны...

Прочла, и тотчас же кто-то плеснул мне за ворот той самой серебрястой, лунной, русалочьей водой! И она побежала по телу сверкающими, прохладными тонкими струйками, и я, почти захлебываясь в ней, дочитывала:

Но к страстным лобзаньям, не знаю зачем,
Остается он хладен и нем,
Он спит,— и склонившись на перси ко мне,
Он не дышит, не шепчет во сне...

— Ну? Ну, хорошо? — нетерпеливо спросила я Муську, закончив чтение.

— Ага,— ответила она басом и, помолчав, сурово спросила: — Лялька! А лобзанья и перси— это чего?

Я растерялась, но лишь на мгновение.

— Ну, дура... Ну, как ты не понимаешь? Это такие цветы, необыкновенные, подводные... чудеса морские... или такие, знаешь, большие золотые рыбки...

В тот день, идучи из-за Невской в город, я засмеялась и даже приостановилась от радости, вспомнив русалку и Муськин вопрос... То был Лермонтов детства. Потом был Лермонтов недолгого отрочества и внезапной, ранней юности, когда стихи его властно и просто сливались с жаждой подвига во имя Революции, питали бурное отрицание бога — Демон! — рождали первые мечты о будущей, обязательно необыкновенной и страшной любви.— вновь Демон!— а решение стать настоящим, профессиональным революционером-поэтом уверенно опиралось на образ лермонтовского поэта-свободолюбца-кинжала-колокола. О, главное — колокола! Несмотря на первое упоение безбожием, строки о «божьем духе» ничуть не смущали — чудился не бог, а ветер, буря, стихия.

Твой стих, как божий дух, носился над толпой.
И, отзвук мыслей благородных,
Звучал, как колокол на башне вечевой
Во дни торжеств и бед народных.

И стыдно было даже думать об этом, но все-таки и эти стихи, как стихи о парусе, утесе и дубовом листке, тоже были про меня,— но про меня такую, какой я должна была стать, вступая в Российский Ленинский Коммунистический Союз Молодежи...

Удивительно ли, что, не разлюбив Лермонтова, я, мы, наше поколение всем сердцем приняли Маяковского и говорили — от себя — его стихами в решающие минуты жизни?

И были еще пронзающий Есенин, и Блок — его вьюга, его «Двенадцать»,— и все величавее открывался Пушкин, а потом рядом с ними зазвучали в сердце наши комсомольские поэты, «успевшие родиться» и повоювать за революцию с оружием в руках, и прежде всего Михаил Светлов с его удивительной «Гренадой», где уж на самом деле все было про

нас! Не про меня, а про нас, даже не успевших родиться, когда это надо было.

«Поэзия сопровождала нас с рассвета сознания до сегодняшнего дня,— думала я, шагая по бульжникам в город,— вот до этих дней штурма и обороны Ленинграда: и сейчас она идет рядом со мною». И я опять широко улыбнулась от радости: господи, да кто же отнимет у меня Лермонтова? Никто и никогда. Кто сможет уничтожить его, если даже уничтожит меня? Никто и ничто. Его уже нельзя уничтожить — он бессмертен. Лермонтов бессмертен и вечен, и наша русская поэзия вечна и бессмертна. Но Лермонтов и вся наша поэзия — давно уже неотъемлемая часть моей души, всей меня, значит, и я... Мне страшно — от счастья — было до думать об этом! Но если — я, значит и ты, мой дорогой, мой единственный, с темно-золотыми, теплыми большими глазами своими, ты тоже... бессмертен? Так вот почему я не подумала ни разу за время тревоги о возможной гибели твоей! Я ведь уже два часа как из города, два часа назад началась артиллерийская, потом воздушная тревога — раз воздушная, значит во всем городе, и ты, конечно, стоишь сейчас на крыше, верней, на солярии нашей «слезы»,— дежурный ты или нет, ты всегда подменяешь тех, кто боится бомбежки, а на крыше напротив, через улицу, сидят те же самые мальчишки, они, наверное, как всегда, свистят и улюлюкают проносющимся «мессерам»... Нет, бомба не упала на наш дом, и ты и наши мальчишки живы — как ты можешь погибнуть, когда гибели нет, когда мы бессмертны?! Я приду и скажу тебе об этом. Впрочем, ты знаешь все сам. Я не вспоминала тебя, переживая почти всю жизнь. Не пережила «наших» Островов, первого признания друг другу и того раннего-раннего утра на безлюдной и старинной Тучковой набережной, где от опрокинутых лодок пахло смолой, а чайки носились над розовой водою, розовые от зари,— я не вспомнила этого до сих пор, но ведь это потому, что мне и не надо думать о тебе как-то особо, отдельно: все, что происходит со мною, в то же самое время происходит и с тобою... Вот я вспоминала о Лермонтове, не о твоём, трагическом, гибельном и бунтарском, каким живет он в намеченной работе твоей «Лермонтов и Маяковский»,— два чуда, две неповторимости, два поэта, столь разных и все же соприкасающихся через века. Как прямо говорил о своем родстве с Лермонтовым Маяковский, когда стоял, еле удерживая равновесие, на колокольне Ивана Великого, а разнузданная толпа мещан насмерть терзала его:

И так я калека в любовном боленьи.
Для ваших оставьте помоев ушат.
Я вам не мешаю.
 К чему оскорбленья!
Я только стих,
 я только душа.
А снизу:
 — Нет!
 Ты враг наш столетний.
Один уж такой попался —
 гусар!

Мой дорогой, я вспоминала о Лермонтове детском, с «подводными чудесами» — персями и лобзаниями, но он у нас один, потому что давно нет тебя и меня отдельно, есть одно — мы, потому что времени нет, и жизнь — одно мгновение, мы знаем теперь, но оно вмещает в се, и оно бесконечно.

Так рухнула грань между жизнью и смертью, между искусством и жизнью. Они слились в одно — в полную, торжествующую свободу.

День вершин. «Охраняйте революцию!». Но странно, зловеще безмолвствовала Невская застава: не слышно было ни свиста бомб, ни воя снарядов, но не дали и отбоя — артиллерийская и воздушная тревога продолжалась. И даже круглые огромные облака не урчали больше, они только медленно перемещались, переваливались друг через друга, клубились и пучились, и казалось, именно они источают эту еле звенящую обмершую тишину, вернее — безмолвие.

«Почему так тихо? Или прослушала отбой? Но тогда б на улице были люди... их нет почти... и трамваи стоят... Очень тихо! Ох, уж лучше б снаряды свистали, проклятые...»

Но было мертвенно-тихо, как будто бы все затаилось и готовилось к последнему, страшному прыжку, решающему исход смертного поединка.

Я шла одна между двумя рядами кирпичных, грузных, приземистых, глухих — без окон — амбаров. Никаких домов, кроме них, здесь, на Шлиссельбургском, не было — только амбары. Кирпичный, чем-то враждебный мир... Я помнила, что в дни Октябрьской революции на всех фронтах этих амбаров прописными изогнутыми буквами были начертаны революционные лозунги: «Не работающий да не ест!», «Кто не с нами, тот против нас!», «Ум не терпит неволи!», «Охраняйте революцию!» и много-много других — на каждом амбаре по лозунгу, вписанному полукругом во фронтон.

Революция кричала, как только что родившийся младенец. Нет, вернее, Революции надо было выговориться, выкричать все главное, что она хотела утвердить и сделать законом, все, чем хотела она обрадовать людей. Она без конца, в любое время суток, пела «Интернационал», она заставляла своими лозунгами и словами «Интернационала» вопиять даже камни.

Как повторилось это в дни Великой Отечественной войны! Она тоже заставляла вопиять камни о путях, и победах, и горестях своих. О, надписи на развалинах Севастополя, уже освобожденного, надписи на стенах Ленинграда, особенно страшные в дни блокады, — сестры пламенных надписей Революции!

Революционные лозунги были начертаны везде, на всех камнях, зданиях и оградах города, особенно много было их на окраинах: на воротах фабрик и заводов, на их корпусах, на обломках участков и — со всей грозностью и наивностью новорожденной революции — даже на этих приземистых кирпичных купеческих амбарах. Я отлично помнила эти лозунги, они еще отчетливо виднелись в годы нэпа и первой пятилетки, я всегда читала их, когда ездила из-за Невской в город, в университет, то есть всего одиннадцать лет назад. Но теперь они уже совсем исчезли — лишь еле видные мазки остались на кирпичных полукружиях. Я шла между рядами амбаров, по трамвайным путям — ведь все равно трамваи стояли, — глядя то в одну, то в другую сторону, жадно ища глазами старинные надписи, но их все не было, не было... И вдруг я обнаружила — на одном кирпичном фронтоне еле уловимой тенью проступают узкие изогнутые буквы. Я остановилась, вгляделась, разобрала: «Охраняйте революцию!» И рыдание сжало мне горло — счастливое рыдание!

...Я слишком часто повторяю слово «счастье» на этих листах, но в тот день ничто из бесчисленных горестей моих не вспомнилось мне, ни на миг не овладело душою — ни смерть дочерей, ни несправедливое обвинение в 1937 году, видение которых до войны было неодолимо... Ничего

этого не вспоминалось мне, ничто не обижало, не мучило. Нет, я шла по одним вершинам, мною владело только наше высокое и прекрасное, только счастье и упоение жизнью. И я знала, знала, что так не только со мной, так с Николаем, так с папой, с Дуней, с подругой Галиной, с электросиловцами, с новыми друзьями по Радиокomiteту. Скоро Старо-Невский. Амбары скоро кончатся. Как жаль, что не сохранились все надписи, лишь еле видная тень одной... Но ведь я-то помню их все! Их же при мне наносили на эти кирпичные здания, когда я уже твердила стихи Лермонтова, уже слыхала, что Ленин приехал в Петроград и фабричные и заводские нашей заставы встали за ним и пошли встречать его к Финляндскому вокзалу... Господи, погоди,— да ведь они шли к Финляндскому вокзалу этим же самым путем, мимо этих же сумрачных амбаров! Надписей, наверно, на амбарах еще не было. Но на встрече с Лениным шли здесь, где иду сейчас я!

И этой же дорогой шли к Ленину в февральский вьюжный день восемнадцатого года рабочие нашего Обуховского завода. Они решили построить на Алтае первую в мире рабочую коммуны, прекрасную, справедливую, настоящую коммуны, о которой до них только мечтали и писали в книжках — целые века, целые тысячелетия. Они назвали ее «Первороссийском», что означало «Первое Российское общество землеробов-коммунаров». Они шли к Ильичу за советом, как лучше строить свою коммуны, а главное, с просьбой, чтоб он помог им уехать на Алтай. Да, да, они шли между этими же амбарами, все было так же, как сейчас, только надписи на фронтонах были тогда ярко-белые, недавно нанесенные на красные кирпичи. «Ум не терпит неволи», — утверждали они. «Мы не рабы!» — восклицали они. «Охраняйте революцию!» — приказывали они. И вот — эта девушка в военном и в пилотке, и какой-то дяденька, и я — мы идем той же дорогой, и х дорогой, и те же надписи горят на тех же стенах, ну и что ж, что они стерты временем, мы-то помним о них, да и не только помним — мы на самом деле охраняем революцию. Мы идем их дорогой, шаг в шаг, мы их современники, и они наши современники, потому что мы живем в едином времени — во времени Революции, нас не разомкнуть, не разбединить, мы единая цепь, звено в звено...

Цепь, цепь... Погоди, откуда это слово? Почему оно вдруг оцарапало сознание? Цепь, цепь! Ах, да! «Фландрская цепь счастья»... Листовка, которую обнаружили сегодня жильцы моего дома и я сама... Ну что ж, она и вправду существует, только не и х, а наша цепь. Она обходит мир, она обойдет его не трижды, а тридцать три раза трижды, не символом рабства, скованности, неволи, но символом нерушимого единства, вечной преемственности, неразрывности наших жизней и деяний, — звено в звено, шаг в шаг, век в век, жизнь в жизнь, поколение в поколение, народ за народом, революция за революцией. Нашу цепь не порвать, потому что это цепь жизни, я — звено ее, и вся она, с неведомых ее истоков уходящая в бесконечность, — моя!

И как будто бы в ответ на эту думу, чистым высоким голосом сразу в несколько уличных рупоров запели фанфары: то был сигнал отбоя!

И тотчас на Старо-Невский высыпали люди, трамваи звякнули, задребезжали, залились звонками и скрежетом, побежали, громко сигналив, автобусы, все ожило, заговорило, зазвенело, казалось, даже пронзительно золотые лучи осеннего солнца заверещали над Старо-Невским, даже стекла в домах, голубевшие небом, даже асфальт под ногами — все было полно исступленно-веселого звона и гудения, а надо всем

несся серебряный, чуть грустный голос фанфар: они возвещали конец бомбежки, ужаса, смерти, они возвещали возвращение к обычной суете и жизни,— что может быть лучше?! Это был обыкновеннейший ежедневный городской шум,— какая же это, оказывается, радость, что же мы раньше так злились на него?

«Мы потребуем, чтоб сигнал отбоя играли целый час, когда объявят победу»,— подумала я, на ходу вскакивая в трамвай, и мне показалось, что победа совсем недалеко! Как я любила скрежещущий, звенящий трамвай, сердитую кондукторшу, граждан, толкавшихся, но счастливо оживленных,— какое это все было милое, дорогое и, главное, мое! Но раз я заканчиваю рассказ о «дне вершин» словом «мое», день, так похожий на ощущение сопричастности с миром в Угличе, я должна выполнить обещание, данное еще в первом отрывке, в главке «Это мое!»,— рассказать о валдайской дуге.

Валдайская дуга. Я услышала ее в Угличе, где жили мы с мамой, пока отец воевал с беляками на юге. Она хранилась в музее, в бывшем тереме Димитрия-царевича, а темно-красный кирпичный терем стоял на крутом, отвесном берегу Волги и был окружен небольшим, но очень густым садиком с древними задумчивыми деревьями, с огромными темными кустами сирени, такими огромными, что внутри них были настоящие небольшие пещерки. И под плакучими ветвями древних берез, между клубящимися кустами сирени вились ярко-желтые песчаные дорожки, а за теремом стояли настоящие солнечные часы столбиком, которые были еще при царевиче Димитрии. Он глядел на них и, наверное, уже понимал, сколько времени они показывают,— ведь ему было уже тогда целых семь лет. Он еще глядел из этого садика, с обрыва, на тот берег Волги, а там стоял удивительный сосновый бор: очень прямой и густой, ствол к стволу навтыжку, темно-синий, неподвижный, он стоял вдоль берега тремя ровными большими нисходящими ступенями, вернее уступами,— казалось, что это три полка огромных красноармейцев в своих острых буденовках-шлемах плечом к плечу стоят напротив нашего Углича и охраняют его. Особенно были похожи на красноармейцев уступы бора ранними зимними вечерами, когда как раз за бором в сиреновой морозной дымке садилось очень красное солнце и верхушки-буденовки сосен просвечивали и сочились красным.

Но в теремном садике зимой было гулять нельзя — большие, тоже какие-то древние, очень уютные, но совершенно непроходимые сугробы заваливали его. Поэтому мы любили бегать в теремном садике летом, в жаркие дни, когда такой отрадной прохладой веяло с Волги и из пещерной глубины сиреневых кустов тоже тянуло душистой лесной сыростью. Здесь было очень хорошо, и было почему-то приятно знать, что ходишь по тем же дорожкам, по которым ходил царевич Димитрий — такой, как на иконе: в длинной белой рубашке, с розовыми ладонями, которые он, как крылышки, держал открытыми над плечами, и аккуратное золотое кольцо сияния неотступно кружилось над его головой.

Мы уже знали, как убили царевича: вот он в такой же жаркий весенний день гулял по этим самым дорожкам, подняв ладони, с крутящимся сиянием над головой, а из дремучих, буйно цветущих кустов сирени высочил Данила Битяговский с длинным блестящим острым ножом и зарезал царевича — ножом по горлу.

И мы нарочно обходили кусты сирени — чудилось: вдруг выскочит оттуда Битяговский да как кинется на нас!.. Правда, мы ему ничего такого не сделали, ну а что ему сделал царевич?! Зачем было убивать его — ведь хоть он и был царевич, что, конечно, не так-то уж хорошо,

как мы узнали после свержения нашего петроградского царя, но ведь он же был еще маленький, он еще не понимал, что нехорошо быть царевичем, он даже бусы носил, как девчонка,— Битяговский-то и обманул его бусами, чтобы царевич поближе подошел к нему и закинул голову.

В музей же, в палаты, где когда-то жил царевич, мы попали не скоро, чуть ли не через год, как приехали,— мама все никак не могла собраться: то устраивалась в школу, то мы все время кочевали с квартиры на квартиру, то надо было сажать картошку и ходить на субботники за шишками для электростанции и ландышами для аптеки. Но наконец мы все-таки собрались и, умытые, даже с бантиками в косицах, отправились в музей с мамой и еще двумя знакомыми по Петрограду. Сухощавый и благообразно седой заведующий музеем встретил нас очень учтиво и сначала водил вокруг музея и объяснял, что и как тут было, потом повел в подвал, показал очень интересный фонарь, похожий на целую часовенку, и большую деревянную некрасивую телегу, напоминавшую гроб на огромных колесах. Это и взаправду оказалась повозка, на которой везли гроб с телом Кутузова в Россию. Почему она попала в Угличский музей — заведующий объяснял, но я пропустила это мимо ушей, потому что устремилась глазами к другому предмету, стоявшему за гробом-повозкой. И наша мама, правда, очень вежливо дослушав про тело Кутузова, тоже спросила о том же предмете — что это такое, неужели дуга? Она спросила это, наверное, потому, что и она и тетки наши, собираясь по вечерам за Невской, любили петь песни про ямщиков, которые мчались по Волге-матушке зимой и под звон бубенцов и колокольчиков горевали о покинутых или замерзших невестах или сами замерзали в степи, шепча имя любимой жены, моля о ее счастье. Песен о тройках и ямщиках за Невской пели много. Они были то пронзительно грустные, то отчаянно веселые, я знала их почти все и больше всего любила песню о том, как в степи глухой замерзал ямщик...

А жене скажи,
что в степи замерз
и свою любовь
на тот свет унес...
А еще скажи —
пусть не печалится.
Пусть с другим она
перевенчается...

— А-а... Это старинная валдайская дуга,— сказал хранитель музея, и сухое седое лицо его потеплело.

Мы подошли поближе. Огромная, плавная, пологая, она слабо светилась, мерцала в полумраке пожухшей, но тем более достоверно сказочной красотой своей—синими, пунцовыми и зелеными розами на бледноматовом золоте, и была похожа на небольшую, но самую настоящую деревянную радугу. А в центре радуги-дуги висел большой потускневший колокольчик, справа и слева от него располагались колокольчики поменьше и круглые, узорчатые бубенцы: да, это была та самая дуга — из песни!

И колокольчик, дар Валдая,
Звенит и плачет под дугой...

И хранитель музея, чуть улыбаясь, протянул к ней руку, раза два или три мягко качнул ее из стороны в сторону, тряхнул. Ох, как она залилась, зазвенела, зарыдала, захотела, как живая, и все это было сразу: и острая, пронзающая грусть, и взвившееся веселье, этот сум-

сшедший звон серебряный, ударивший в каменные своды и рухнувший с них, как сверкающий ливень, наполнив собой все — подвал, сердце, жизнь!

Я уж больше и не слушала и не слыхала ничего из того, что говорил хранитель, я только угрожающе прошептала Муське: «Это мое» — и все смотрела на валдайскую дугу... А когда хранитель сказал, что теперь можно пройти в палаты, наверх, сердце у меня сжалось, и я сказала с отчаянием:

— Дяденька... потряхните ее еще разочек... пожалуйста!

Он улыбнулся и потряхнул мою — мою дугу-песню, дугу-сказку. Краткую, огнистую рассыпь ее помню я до сих пор...

Ты хоть раз, хоть раз еще раздайся,
в жизни, в песне, в плаче, наконец,—
о любовь моя, дуга валдайская,
сердце, омертвевший бубенец...

...Но когда я была в Угличе в 1953 году и пришла в музей, в терем царевича Димитрия, там в подвалах уже не было ни кутузовской колесницы, ни моей валдайской дуги. И только знаменитый углический корноухий колокол был в тереме на том же самом месте, и вот именно кратким рассказом об этом колоколе и закончу я свой «день вершин».

Корноухий колокол. Он назывался так потому, что был опозорен и лишен одного уха за преступление свое против царевой власти: в тот миг, когда убили царевича Димитрия, люди ударили в этот самый колокол, и он загудел набатным звоном. И по зову его сбежались угличане и увидели ребенка, лежащего на песчаной дорожке в крови, с перерезанным горлом... Не моя задача, как вы понимаете сами, исследовать, зарезался ли царевич сам в припадке эпилепсии, спровоцировали ли народ Нагие,— важно было для него, народа, по-моему, то, что во имя каких-то непонятных ему дворцовых интриг «обидели дитё», да не просто обидели, а убили. Но ведь это извечная боль, это непреложный закон для русского человека, сформулированный впоследствии Федором Достоевским: «Нельзя, чтобы плакало дитё!» А тут — обидели, убили маленького, беззащитного. И вот угличане, прибежав по зову колокола, совершили самосуд над убийцами ребенка. Они растерзали убийц.

В тот день, с убийства ни в чем не виновного ребенка, с набата, возвестившего об этом, началось Смутное время.

«О граде ты, граде, богоспасаемый граде Угличе! Горькую чашу испил ты за русскую землю...» — сказано в летописи...

В этой чаше едва ли не наибольшую долю горечи составляет история, начавшаяся в Угличе после самосуда над Битяговскими. Борис Годунов жестоко расправился с угличанами. Двести человек были казнены как изменники и убийцы. Множеству других за смелые речи отрезали языки, шестьдесят семейств были осуждены на ссылку в Сибирь, в Пелымь.

Не остался безнаказанным и колокол, возвестивший о пролитой крови ребенка и начале великой народной трагедии: колокол был сброшен с колокольни, лишен крестного знамени, ему отрубили одно ухо, вырвали язык, и на площади публично, при народе, было нанесено ему сто двадцать ударов плетью. Затем корноухий колокол (так отныне стали звать его) был приговорен к ссылке — туда же, куда отправлялись шестьдесят углических семейств, в Сибирь. Ссылные угличане должны были тянуть его на себе до места ссылки.

И они шли в Сибирь и тянули на себе колокол на особом станке, вроде салазок.

Они шли целый год — летом и зимой, весной и осенью; они, меняясь в упряжке, тянули очень тяжелый колокол по болотам, по трактам и бездорожью, по лесам и горам. Не раз падал со станка корноухий колокол — края его зазубрились, и весь он потемнел, но трещины не дал. Многие угличане не дошли до Пелыми, умерли в дороге, некоторые — в упряжке под колоколом. Но никто из них на корноухого не роптал: они тянули за собой своего глашатая, они тащили с собой своего певца и поэта. Да, так было, хотя, конечно, никто из угличан не осознавал этого, и еще целых двести пятьдесят лет должно было пройти, чтобы Лермонтов сказал о поэте:

Звучал, как колокол на башне вечевой
Во дни торжеств и бед народных.

...Наконец с первой партией ссыльных мятежный колокол прибыл в Тобольск. Тогдашний тобольский воевода, князь Лобанов-Ростовский, велел сдать его в приказную избу, где он и был записан так: «Первоссылный неодоушевленный с Углича».

И целых триста лет пробыл корноухий колокол в ссылке. Не раз русские образованные люди, любящие родную историю, просили правительство возвратить колокол на родину — в Углич. Цари — один за другим — упорно отказывали в этом, свыше столетия отказывали. И только в 1892 году, когда юридически и удалось доказать, что «первоссылный неодоушевленный» полностью отбыл срок наказания, было разрешено возвратить колокол в Углич.

...Колокол возвращался торжественно, по Волге он плыл на особом, лишь для него предназначенном пароходе, еще в дороге были возвращены ему и ухо и язык, и встречали его торжественно — главное духовенство, народ, интеллигенция. А в Угличе, куда колокол прибыл поздно вечером, недалеко от берега было сооружено для него нечто вроде невысокой звонницы, куда его и подвесили на ночь, и всю ночь стоял вокруг колокола-бунтаря почетный гвардейский караул. Утром же при огромном стечении народа был торжественный молебен, а затем вместо крестного хода все угличане прошли под колоколом, и каждый из них дергал веревку, привязанную к его языку, и язык колокола бил без перерыва в его щербатые края, и колокол гудел и пел, как тогда, триста один год назад, только много часов подряд...

Однако на колокольню корноухий поднят не был: даже духовенство понимало, что возвращена и торжественно принята не религиозная реликвия, а бунтарская, народная. Духовенство и правительство вынуждены были вернуть колокол на родину и почетно встретить его, но к богослужениям этот колокол призывать народ не мог, ему не доверяли этого! Поэтому колокол повесили в музее-палате Дмитрия, но тоже таким образом, что можно было пройти под ним. И вот я помню, как тогда, когда мы жили с мамой в Угличе и я еще верила в бога, мы каждый год пятнадцатого мая — в день царевича Дмитрия — шли к обедне в церковь «Дмитрия-на-крови», а потом, как и все угличане, проходили через музей, под колоколом, и ударяли в него, и над самой головой раздавался его густой, стонущий, угрожающий, какой-то темный звук, идущий откуда-то издалека, из бездонного прошлого, и в то же время как будто из твоей груди. И если валдайская дуга отзывалась и звенела в сердце снежно-искрящейся неистойвой печалью и радостью, то гул колокола исходил из души, как некий сумрачный восторг, почти гибельный, но желанный.

...Приехав в город детства, я не застала там уже валдайской дуги и не услышала ее серебряного рыдания... И садик вокруг музея был вроде

ощипан, да и в самом музее много чего не было. Молодой и, как говорится, «не шибко образованный» заведующий музеем, с круглым равнодушным лицом, равнодушно водил меня по музею, почти ничего не в силах объяснить, и у меня было только одно желание: чтобы он молчал, чтобы не мешал он мне прислушиваться к нахлынувшим звукам, запахам, воспоминаниям милого и сурового нашего детства. И когда мы вошли в палату Дмитрия и я увидела колокол на том же самом месте, я и его гудение услышала в себе... Но мне захотелось проверить себя: так ли я слышу его после стольких лет такой моей жизни, после Великой Отечественной войны, после ленинградской блокады? Я знала, что обычно проходить под колоколом давно не существует и, вероятно, просто забыт... И вдруг неодолимое, странное желание охватило меня. Мы были одни в палате с заведующим музеем.

— Можно, я ударю в этот колокол? — спросила я его.

Он взглянул на меня, как на помешавшуюся, — он ведь не знал старинного обычая да навряд ли знал и историю колокола.

— Пожалуйста, — испуганно сказал он.

И я встала под колокол и с силой дернула за веревку. И он запел и загудел над моей головой, как тогда, но звук этот для меня все-таки был полон теперь новой силы и нового значения: это был голос, предупреждающий всех, кто вновь вздумал бы обидеть дитё войной, голодом, сиротством, что возмездие на страже, что колокол-поэт первым призовет к нему.

Прикоснувшись к щербатым, густо и грозно поющим краям колокола, я сказала про себя не так, как в детстве, но продуманно: «Это мое!»

Так шла я из-за Невской заставы в начале сухого, золотого октября сорок первого года, безмерно бесстрашная и радостная, опьяненная сознанием своего бессмертия и бессмертия всего, что меня окружает и окружало раньше, и даже того, что было еще до моей памяти.

Но ни я, никто, никто из нас не знал, что по тем же самым испуганным, вершинным, озаренным дорогам мы, ленинградцы, будем ходить по-другому и очень скоро...

Путь к отцу. И вот всего через четыре месяца я пошла той же дорогой, но только обратной: я шла из города за Невскую заставу. Я шла к отцу в первых числах февраля тысяча девятьсот сорок второго года.

Шла к отцу и слез не отирала:
 трудно было руки приподнять.
 Ледяная корка застывала
 на лице отеком у меня.
 Тяжело идти среди сугробов:
 спотыкаешься, едва бредешь.
 Встретишь гроб — не разминуться с гробом.
 Стиснешь зубы и — перешагнешь.
 Друг мой, друг, и я, как ты, встречала
 сотни их, ползущих по снегам.
 Я, как ты, через гробы шагала...
 Память вечная таким шагам.
 Память вечная, немая слава,
 легкий, легкий озаренный путь...

Тот, кто мог тогда перешагнуть
 через гроб, — на жизнь имеет право...

Это стихи из тех, что пишутся, вернее записываются, в дневниках, на полях главной книги. Но я записываю их редко, не знаю почему. Они записываются где-то не на бумаге, сказать — в сердце? Высокопарно... Скажем: они запоминаются. Их время от времени бормочешь про себя, только для себя. Иногда для самых близких людей — внезапно.

Большинство таких — дневниковых — стихов у меня не записано. И это стихотворение, как многие такие, забывалось, потом вспоминалось неожиданно и отчетливо. Что-то прибавлялось в него, что-то произвольно отбрасывалось — и вот наконец записалось. Как в каждом из таких стихов, здесь все верно, кроме одной строчки: я не плакала в тот день, когда шла к отцу. Я плакала за всю блокаду один раз, когда шла из госпиталя, где умирал Николай...

Отправляясь за Невскую, я снарядилась обстоятельно. Товарищи по Радиокomiteту, где я давно уже жила на казарменном положении, снабдили меня каждый чем мог. Мне налили в появившуюся откуда-то бутылочку с делениями (в таких бутылочках дают в консультациях детям-искусственникам молоко) жидкого, чуть сладкого чая, кто-то подарил две папироски, я взяла свой хлебный паек. Это было в то время уже целых двести пятьдесят граммов хлеба. Я решила есть понемножку и ни за что не съедать весь хлеб сразу, хотя думала только о том, что в противогазе моем лежит хлеб — целых двести пятьдесят граммов с довесочками... Да, на боку у меня висел противогаз, тот самый противогаз, который еще в октябре казался нашей Авдотье главным спасением от всех ужасов войны. «Ты, Лялеца, цуть цто — лезь в противогаз», — убеждала она меня... В те же дни казались еще спасением бумажные кресты на стеклах. Как старательно летом 1941 года — неужели это было всего семь месяцев назад? — наклеивали мы эти кресты на окна! Некоторые чудачки перестарались: просто закрепивание скон их не устраивало, и они вырезали из бумаги сложные узоры и целые картины. До сих пор на Фонтанке окно одной из квартир было изукрашено тропическими пальмами, а под пальмами восседали условные бумажные обезьяны. Быть может, обитатели этой квартиры хотели как-то отыграться, отшутиться от войны, думали, что это поможет?

Ничто не помогло! Ничто не помешало смерти войти в наши дома: ни бумажные кресты, ни затейливые узоры и картинки на стеклах, ни противогазы, тщательно проверенные, которые по сигналу воздушной тревоги мы немедленно открывали и приводили в положение «на товсь». Нам ни разу не пришлось надеть их, смерть не дохнула нам в лица душающими газами, она просто вошла в каждого из нас как предельная слабость плоти, как грызущий голод, как постоянный ледяной озноб...

Вместо противогазов люди носили на лицах шерстяные маски и полумаски всех цветов, у кого какая шерстяная, или вязаная, или гарусная тряпка нашлась. Красные, черные, зеленые, синие маски с узкими щелочками для глаз шли мне навстречу.

А резиновая маска из сумки противогаза давно уже была выброшена. В сумке помещался чаще всего «малый дистрофический набор»: одна-две полулитровые баночки, ложка, пища, если она была у человека.

Когда я вышла в дорогу, в противогазе моем была пустая баночка, бутылка с чаем и хлеб, хлеб — двести пятьдесят граммов хлеба!

Я знала, что идти нужно будет долго. Надо дойти до завода Ленина, потом долго по Шлиссельбургскому. Надо будет даже перейти Неву, подняться на крутой правый берег. От Радиокomiteта это примерно километров пятнадцать — семнадцать. Я очень истово собиралась в дорогу и вообще исполнена была какой-то странной истовостью, удивив-

тельным спокойствием. Да нет, пожалуй, даже не спокойствием, а таким мертвым безразличием, нет, вернее даже — неизведанной тихостью, странной кротостью. Я не была уверена, что дойду до отца, и решила и не загадывать так далеко. Я решила: во время дороги буду ставить себе микрозадачи: вот сейчас я у этого фонарного столба. Надо дойти до следующего. Потом опять до следующего. Потом до Московского вокзала. А там видно будет! Надо переставлять ноги, не торопясь, никуда не спеша, стараясь идти по тропинке и не оступаясь в снег.

И вот я пошла. Сначала по Невскому, от одного фонарного столба до другого. От одного до другого...

«Антон Иванович сердится». У нас в Ленинграде перед самой войной должна была пойти музыкальная кинокомедия под таким названием, и потому почти к каждому фонарному столбу прикреплена была довольно крупная фанерная доска, на которой большими цветастыми буквами было написано: «Антон Иванович сердится». Больше ничего не было написано. Кинокомедию мы посмотреть не успели, не успели снять в первые дни войны и эти афиши. Так они и остались — под потухшими фонарями — до конца блокады.

И тот, кто шел по Невскому, сколько бы раз он ни поднимал глаза, всегда видел эти афиши, которые, по мере того как разворачивалась война, штурм, блокада и бедствия города, превращались в некое предупреждение, напоминание, громкий упрек: «А ведь Антон Иванович сердится!» И в представлении нашем невольно возник какой-то реальный, живой человек, очень добрый, не все понимающий, ужасно желающий людям счастья и по-доброму, с болью, сердившийся на людей за все те ненужные, нелепые и страшные страдания, которым они себя зачем-то подвергали.

Под фонарные столбы после обстрелов подтаскивали изуродованные трупы горожан. Дистрофики обнимали фонарные столбы, пытались устоять на ногах, и медленно опускались к их подножию, чтобы больше не встать... Антон Иванович сердился. Ах, как он сердился, печально сердился на все это! И так совестно иногда становилось перед Антоном Ивановичем — ч е л о в е к о м. Хотелось сказать за себя и за всех людей земли: «Антон Иванович, дорогой, добрый Антон Иванович, не сердитесь на нас! Мы не очень виноваты. Мы все-таки хорошие. Мы как-нибудь придем в себя. Мы исправим это безобразие. Мы будем жить по-человечески».

Но в тот день я не обратилась к Антону Ивановичу с этой безмолвной тирадой или мольбой. Мне и он был душевно не под силу. Даже перед ним я не могла оправдываться. Да и вообще мне было не до него, и ни о чем не могла я думать, сосредоточившись на том, чтобы аккуратно переставлять ноги, двигаясь от столба к столбу.

А Антон Иванович сердился и становился все грустнее, все грустнее... Вот дошла до Московского вокзала. Поглядела на часы: стоят.

Вступила на Старо-Невский. Там снова от столба к столбу. А слева от Московского — до самой Александрово-Невской лавры — цепь обледевших, засыпанных снегом, тоже мертвых — как люди мертвых — троллейбусов. Друг за другом, вереницей, несколько десятков. Стоят. И у Лавры на путях цепь трамваев с выбитыми стеклами, с сугробами на скамейках. Тоже стоят. Наверно, всегда, всегда теперь так будут стоять. Невозможно представить, чтобы все это когда-нибудь двинулось, зазвенело, зашелестело по асфальту. Неужели мы в этом когда-то ездили? Странно! Я шла мимо умерших трамваев и троллейбусов в каком-то дру́гом

столетии, в другой жизни. Жила ли я на сто лет раньше сегодняшнего дня или на сто лет позже — я не знала. Мне было все равно.

Тропинка вилась посередине улицы. Но здесь она была еще довольно широкой. Я услышала позади себя скрип полозьев. Остановилась и оглянулась: женщина везла на саночках мужчину. Он был привязан к санкам полотенцем, но сидел и был явно еще живой. Я вяло подумала: куда же она его везет? Потому что уже начинались амбары, среди которых лежал когда-то, целых четыре месяца назад, последний, самый ликующий, самый высокогорный отрезок моего пути в «день вершин». Я не вспомнила о нем ни на мгновение. Зато, взглянув на амбары, я подумала: «Это зернохранилища. Хранилища зерна. Да, ведь когда-то во всех этих амбарах было зерно — рожь, и даже между амбарами под навесами тоже лежали груды ржаного зерна. Я помню это. Когда я ездил за Невскую, я видела груды ржаного зерна».

При мысли о ржаных зернах рот мой наполнился холодной слюной. Я вспомнила, как растирали мы в руках спелые ржаные колосья летом, когда жили в Заручевье, там, где я узнала о дневных звездах. На мгновение мне точно пахнуло в лицо запахом ржаного поля... Если б вдруг хоть один колосок растереть, всыпать в рот и долго перемалывать зерно зубами, — ох, как мы на своих супах истомились по «твердой еде»!

«Сейчас выну хлеб и съем его весь», — подумала я, и в глазах у меня потемнело. Я остановилась, рывком расстегнула противогаз... и вдруг мне удалось подавить внезапно вспыхнувшее, единственное за всю дорогу живое чувство. Я сказала себе тихо, но вслух:

— Нет, у завода Ленина. Сяду. Отопью глоточек чайку. Съем хлеба.

И снова, на миг нарушенная, воцарилась во мне нехорошая покорная тихость. Я стала двигаться дальше и до сих пор помню, что всю дорогу была удивительно кроткой, спокойной и как-то очень готовой умереть. Даже не умереть, а раствориться в этом снеге, в этих огромных сугробах, в заиндеветших багрово-кирпичных амбарах, в низком грифельном небе.

Эта кротость, как мы уяснили потом, была действительно началом смерти. Как раз в этом состоянии человек начинал все говорить с употреблением суффикса «чка» и «ца»: «кусочек хлеба», «корочка», «водичка» — и становился безгранично вежливым и тихим.

Правда, были такие, что зверели, но о них как-нибудь потом...

Перекур. Уже за Невской тропинку мою пересекала поперечная. И так случилось, что в ту минуту, когда я подошла к этому малому перекрестку, столкнулась я с женщиной, замотанной во множество платков, тащившей на санках гроб, собственно говоря, даже не гроб, а что-то вроде комодного ящика. Может быть, это даже и был комодный ящик, заколоченный сверху фанеркой. Она тащила его, всем корпусом наклонясь вперед, почти падая. Я остановилась, чтобы пропустить гроб, а она остановилась, чтобы пропустить меня, выпрямилась и глубоко вздохнула. Я шагнула, а она в это время рванула саночки. Я опять встала. А ей уже не сдвинуть с места санки: наверное, они наскочили на какую-нибудь выбоинку или бугор на тропинке, и стоят они прямо около моих ног. Она ненавидяще посмотрела на меня из своих платков и еле слышно крикнула:

— Да ну, шагай!

И я перешагнула через гроб, а так как шаг пришлось сделать очень широкий, то почти упала назад и невольно села на ящик. Она вздохнула и села рядом.

- Из города? — спросила она.
- Да.
- Давно?
- Давно. Часа три, пожалуй.
- Ну что там, мрут?
- Да.
- Бомбит?
- Сейчас нет. Обстреливает.
- И у нас тоже. Мрут и обстреливает.

Я все-таки раскрыла противогаз и вытащила оттуда драгоценность: «гвоздик» — тонюсенькую папироску. Я уже говорила, что у меня их было две: одну я несла папе, а другую решила выкурить по дороге, у завода имени Ленина. Но вот не утерпела и закурила.

Женщина с неистовой жадностью взглянула на меня. В глубоких провалах на ее лице, где находились глаза, вроде что-то сверкнуло.

— Оставишь? — не сказала, а как-то просвистела она и глотнула воздуха.

Я кивнула головой. Она не сводила глаз с «гвоздика», пока я курила, и сама протянула руку, увидев, что «гвоздик» выкурен до половины. Ей хватило на две затяжки.

Потом мы встали, обе взялись за веревку ее санок и перетащили гроб через бугорок, на котором он остановился. Она молча кивнула мне. Я — ей. И опять, от столба к столбу, пошла к отцу. Встреча с женщиной, тащившей комодный ящик-гроб, и перекур с нею ничего не шевельнули во мне тогда. Я только подумала: «Теперь не присяду до завода Ленина. А у завода съем кусочек хлебца».

Ступеньки во льду. ...Я мерно, бездумно шла вперед и по дороге встречала еще и еще гробы, и мертвецов, которых везли на санках зашитыми в простыни или пикейные одеяла, и мертвецов, лежавших в снегу ногами к тропинке. Почти все они были разуты — ну что ж, правильно, обувь их нужна была тем, кто еще жил и шагал по тропинкам мертвого, цепенеющего и несдающегося города.

У завода Ленина, откуда когда-то очень-очень давно — в детстве и юности — начинался «город», потому что до завода ходила конка, а от завода трамвай, — у завода Ленина, бывшего Семянниковского, я присела на бетонную скамеечку, огибавшую бетонную диспетчерскую будку (выстроенную, конечно, в стиле Корбюзье), аккуратно съела «кусочек хлебца» и пошла дальше по Шлиссельбургскому. Наша школа не вызвала никаких воспоминаний. Я не посмотрела и вправо — на Палевский, где пять месяцев назад под воем и громом снарядов неспешно, торжественно умирала моя бабка, благословляя все четыре стороны света и моля о спасении Москвы, не взглянула на перекресток, где среди библейских серебряных облаков мы стояли с отцом и спеша говорили о Николае, о его работе «Лермонтов и Маяковский», о поэзии, о будущем...

И ведь это я теперь пишу, теперь вспоминаю этот ледовитый путь, а тогда я вовсе и не отметила, что вот — не взглянула в сторону отчего дома, не подумала о его последних обитателях... Повторяю, у меня тогда почти не было чувств, не было человеческих реакций. Вернее, были одни суженные, первичные реакции.

Я только замерла, когда дошла до Невы, до перехода к папиной фабрике, потому что уже смеркалось и первые, нежнейшие, чуть сиреневые сумерки, спустились на землю. Сиренево-розовой, дымчатой была засугробленная Нева и казалась необозримой, свирепой снежной пустыней. Отсюда до отца было дальше всего, хотя я видела через Неву

его фабрику и знала, что влево от главных корпусов стоит старенькая бревенчатая амбулатория.

В противогазе у меня остался совсем маленький кусочек хлеба, граммов сто, и я подумала, что, наверное, у отца найдется же кружочка кипятка и мы поделим этот кусочек и съедем его. Как только я приду — сразу и съедем. Эта мысль придала мне силы, и я пошла через Неву.

«Теперь скоро, теперь скоро, но боже мой, как далеко!»

Очень узенькая тропинка через Неву была твердой, утоптанной, но какими-то неверными, чересчур легкими шагами: она была ребристой, спотыкающейся. Правый берег высился неприступной ледяной горой, теряясь вверх в сизо-розовых сумерках. У подножия горы закутанные в платки, не похожие на людей женщины брали воду из проруби.

«Мне не взобраться на гору», — вяло подумала я, чувствуя, что весь мой страшный путь был напрасен.

Я все же подошла к горе вплотную и вдруг увидела, что вверх идут еле высеченные во льду ступеньки.

Женщина, невысказанно похожая на ту, что тащила гроб, в таких же платках, с таким же коричневым пергаментным лицом подошла ко мне. В правой руке она держала бидон с водой литра на два, не больше, но и то клонилась направо.

— Поползем, подруга? — спросила она.

— Поползем!..

И мы на четвереньках, рядышком, тесно прижавшись друг к другу, поддерживая друг друга плечами, поползли вверх, цепляясь руками за верхние вырубки во льду, с трудом подтягивая ноги, со ступеньки на ступеньку, останавливаясь через каждые два-три шага.

— Доктор ступеньки вырубил, — задыхаясь, сказала на четвертой остановке женщина. — Дай ему бог... все легче... за водичкой ходить...

Но я не подумала, что это она говорит о моем папе. Ей было труднее, чем мне, потому что я цеплялась за верхние ступени двумя руками, а она одной, другой рукой она переставляла со ступеньки на ступеньку бидон с водой. Вторую половину пути мы переставляли бидон по очереди, то я, то она, и так доползли до верха и дошли до ворот фабрики.

Фабричный двор, и бревенчатая амбулатория, и палисадник около нее из резных балясинок, где уже много лет каждый год хлопотал над розами папа, — я совершенно ничего, решительно ничего не узнала и долго стояла перед крылечком амбулатории, туго соображая: куда же это я пришла? Может, я зашла на соседнюю фабрику Варгунина или вообще... совсем не туда? Что это за странная деревянная избушка, полуразобранный заборчик из балясинок? Я никогда в жизни их не видала... А я тут бывала с детства и почти в такой же, только ярко-розовый день, испугленно морозный, искрящийся, пришла сюда много лет назад, чтобы взглянуть на первое свое напечатанное стихотворение в стенной газете папиной фабрики, посвященное смерти Ленина.

Я не вспомнила об этом тогда.

Приглядевшись, я все же убедилась, что это папина больница, и равнодушно отметила, что вот и все неживое — то есть здания, заборчик, сугробы — тоже может умирать. Да, все это было мертвое, вернее, как бы перенесенное на «тот свет», где все, конечно, иное: то же самое, но без души. В безмолвии и безлюдии заиндевшего леса, даже в снежной пустой степи есть жизнь и есть душа, а тут ее не было. Все было, и, казалось, ничто не жило.

Секрет земли. В маленькой передней амбулатории, еле-еле освещаемой из соседней комнаты, на деревянной скамейке с высокой спинкой,

на скамейке, похожей на вокзальную, лежала женщина. Она была в ватнике, старательно укутана платком и лежала на боку, подложив сложенные ладони под правую щеку. Так спят на вокзалах транзитники в ожидании поезда дальнего следования. Но она не спала. Она была мертвая. Я увидела это сразу, как вошла.

«Наверно, их у папы много», — подумала я, шагнула в соседнюю комнату, и там, за деревянной загородочкой из пузатых столбиков, за столом сидел мой папа.

Низенькая толстая свеча башенкой («ишь, какие у него свечи!..») снизу освещала его лицо. Он очень отекал, даже при свече видно было, что лицо его приняло зеленовато-голубой оттенок... Но волосы на висках и на затылке, легкие полуседые волосы блондина, еще топорщились и курчавились, и глаза его, большие, выпуклые, голубые, в мерцании свечи казались особенно большими и голубыми.

Я молча стояла перед загородочкой, перед папой. Он поднял отекавшее свое лицо, взглянул на меня снизу вверх очень пристально и вежливо спросил:

— Вам кого, гражданка?

И я почему-то ответила деревянным голосом, слышным самой себе:

— Мне нужно доктора Берггольца.

— Я вас слушаю. Что вас беспокоит?

Я смотрела на него и молчала. Не рыдание, не страх, нечто неведомое — что-то, что я не могу определить даже теперь, — охватило меня, но тоже что-то мертвое, бесчувственное. Он участливо повторил:

— На что жалуетесь?

— Папа, — выговорила я, — да ведь это я — Ляля!..

Он молчал, как мне показалось, очень долго, а вероятно, всего несколько секунд. Он понял, почему я пришла к нему. Он знал, что Николай был в госпитале. И папа молча вышел из-за барьерчика, встал против меня и, низко склонив голову, молча поцеловал мне руку. Потом, рывком подняв лицо, твердым и как бы слегка отстраняющим взглядом взглянул мне в глаза и негромко сказал:

— Ну, пойдем, девчонка, кипяточком напою. Может, поесть что-нибудь соорудим!.. — И добавил, чуть усмехнувшись: — «Ши-то ведь по-солёные...»

Я поняла его цитату и услышала всю горечь, с которой он сказал ее. Он очень любил Николая. Но ни о нем, ни о смерти его мы не говорили больше ни слова.

Мы вошли в маленькую, слабо освещенную каганцом кухню амбулатории. Свечку папа принес с собой и тут же потушил ее. Это была государственная драгоценность, ею папа пользовался только на приемах.

Две женщины в халатах поверх ватников — одна низенькая и черноглазая, другая очень высокая, с резко подчеркнутыми истощением чертами лица, — всплеснули руками, увидя меня.

— Лялечка, — почти пропела низенькая, черноглазая, — как... как вы выросли!..

— Это Матреша, — сказал папа, — не узнаешь? Матреша, лучшая санитарка. А это — Александра Ивановна... Тоже не узнала?

— Папа, да ведь я у тебя последний раз лет пять назад была...

— Возможно, — бросил он и тихонько захлопал в ладоши. — А ну-ка, бабоньки, чем богаты? Кипяточку нам с дочкой!

Матреша стала хлопотать у маленькой плиты, что-то жарить на сковородке. Отвратительная вонь распространилась по крохотной кухне.

ке. Я догадалась, что это какой-нибудь технический жир. Пахло омерзительно, но — о, как здесь было тепло!..

Я сняла платок, пальто, вязаную шапку, косынку, надетую под шапку. Я осталась в одном лыжном костюме с непокрытой головой.

— Как у тебя тепло, папа!

Матреша подхватила:

— Тепло! Палисадничек понемножку разбираем. Доктор горюет, да ведь что ж, надо греться-то, правда?

— Правда.

— Лялечка! — воскликнула она. — Может, помыться хотите? Можно даже до пояса. И ноги можно помыть... Я за водой схожу.

Но я вспомнила о ледяной, почти отвесной лестнице, по которой только что карабкалась, и замахала руками.

— Нет, нет, нет, я не грязная, мы там, в Радиокomitee, следим за собой. Вшей в нашей комнате нет. Воду из подвала берем, из бывшей котельной, какая-то странная щелочная вода из лопнувшей трубы по утрам брызжет, но тепленькая бывает. Нет, мы следим за собой. Мы обязали женщин даже губы чуть-чуть подкрашивать. И в зеркало смотреться, чтобы никакой копоти в ноздрях, в углах глаз, в ушах не было. Ведь если хозяйка не смотрится в зеркало — значит, зеркала занавешены, значит, в доме смерть. Вот мы и обязали наших женщин смотреться в зеркало, следить за собой.

На меня напала какая-то болезненная болтливость. Я очень долго молчала последние дни, а тут от тепла, исходящего от печурки, от людей, окружавших меня, я опьянела. Меня вдруг стало клонить в сон, покачивать, и в то же время хотелось говорить, говорить о чем угодно.

Я вытащила остаток своего пайка и «гвоздик»-папироску. Отец захлебнулся от счастья.

— Вот это да! — сказал он, благоговейно беря «гвоздик» своими большими умными руками хирурга. — Богато живете, мужики!

Нечто вонючее и странное на сковородке было подано на стол. Мой ломтик хлеба мы по-аптекарьски аккуратно поделили на всех четверых, разлили по кружкам кипяток — тоже всем ровнехонько-ровнехонько, сели у столика, и было так тесно, что мы невольно прижимались друг к другу, как в битком набитом вагоне... Маленькое пламячко каганца металось из стороны в сторону, тени наши, уродливые и страшные, качались на стенах комнатки, и от этого еще больше казалось, что все мы куда-то едем — далеко-далеко, на поезде дальнего следования. А та, в передней, просто ждет своего...

Скрипнула дверь, и в щель просунулось чье-то коричнево-пергаментное лицо, непонятно, мужчины или женщины, чем-то закутанное и обмотанное, в огромной ушанке, напыленной поверх женского платка.

Ярко светящиеся темно-желтые глаза глянули из-под ушанки.

— Доктор, мы вот...

— Не студить комнату! — крикнул отец. — Залезай весь!

В дверь протиснулся человек (это все-таки был мужчина), он протянул отцу на ладони что-то в бумажке.

Папа раздул ноздри и зашевелил бровями.

— Ну, ну, не валяйте дурака! Опять?..

— Доктор, — протянул дрожащим голосом человек, — не обижайте! Серdito фыркнув, отец взял маленький сверточек.

— Ну ладно, спасибо, но чтоб в последний раз!.. Как там у вас, все в форме?

— Пока все, — прохрипел человек. — Сегодня, слава тебе, господи, тихо, вчера зажигалками замучил...

— Я к вам через часок загляну,— сказал отец.— Ступай. Да не рыпайся, иди тихо. Если что, сразу ко мне!

Пятясь задом, человек чуть-чуть приоткрыл дверь и протиснулся в эту щель, без улыбки, но приветливо кивая нам.

— Пожарная охрана,— сказал папа и, высоко подняв указательный палец, строго взглянул на меня, точно ждал возражения.— Герои! Львы! Люди! Еле дышат, а большого пожара ни разу не допустили. Любят наш объект, комбинат имени Тельмана.

— Чего он принес тебе? Съедобное?

— Деликатес! Около завода «Вена» — пивоваренный, помнишь? — у нас теперь раскопки всюю идут, барду раскапываем многолетней давности. Раскапывают это все с трудом египетским, разогревают, лепешки пекут. Стоматит чудовишный от этого «деликатеса». Столько народу со стоматитом в день на прием приходит! Ну, а как уговорить, чтоб не жрали этого? Матреша, разогрей-ка нам лепешечку!..

Лепешка показалась мне очень вкусной.

— А у нас на Кузнечном бадаевскую землю продают,— сказала я.— Когда бадаевские склады горели, оказывается, масса сахара расплавленного в землю ушло. Первый метр — сто рублей стакан, второй — пятьдесят. Разводят водой, процеживают и пьют...

Когда мы поели, Александра Ивановна куда-то ушла, а Матреша опять предложила мне помыться, и я опять отказалась, вспомнив Неву и лестницу, а вспомнив ее, не по необходимости, а движимая чем-то умственным и полузабытым, сказала:

— Отец, ты совсем не бережешь себя...

— То есть? — спросил он удивленно.

— Ну вот... ступеньки во льду вырубаешь...

Он взглянул на меня почти с состраданием.

— Дура ты, дочь моя и знаменитая поэтесса города Ленина,— беззлбно сказал он.— Ибо произносишь все это всуе, без веры...

Мы помолчали, и, словно продолжая не обрывавшийся разговор, он негромко, задумчиво стал говорить.

— ...А у нас за Невской, мне рассказывали, на одном заводе, кажется Александровском, в литейной старик один был — формовщик. Ну, из тех старых колдунов, которые грамоты не знали, а дело свое знали так, что и заграничные инженеры руками разводили. На Обуховском, например, был в свое время такой литейщик... Отольют, скажем, ствол для пушки — ну, надо его дальше обрабатывать: сверлить там и все такое,— я не понимаю. В общем, массу труда человеческого класть. А вдруг отливка-то бракованная, с этими, как их,— ну да,— раковинами? Тогда этого деда и зовут: «Дед, послушай, есть в стволе раковины или нет?» Он молоточком постучит, ухо к металлу приложит. и говорит: «Раковин нет, можно обрабатывать». Или наоборот. И что ты думаешь — хоть бы раз ошибся! Пробовали ему не верить, разными тогдашними научными методами проверять, а выходило все, как дед говорил. Ну вот и формовщик у нас такой же был. Знал он особый секрет земли. Особый состав ее, такой, чтобы отливка никогда не имела браку, по вине формовщиков, конечно. И никогда, ни разу у него браку не было. Его спрашивают: «Дед, почему у тебя браку не бывает?» А он только посмеивается: «Петушиное слово знаю». И молчит. Ну, в ноябре прошлого года завод, разумеется, встал. Народ разбрелся, только охрана — как вот у нас. А старик чувствует, что помирает: эвакуироваться в свое время отказался. Он тогда своей старухе и говорит: «Сквалыжник я,— говорит,— и скряга, и грешник великий,— говорит,— хоть в бога и не верю. До сих пор свой секрет земли никому не передал. А теперь — некому. Кроме тебя.» Да

ты женщина, притом немолодая, к литейному делу никакого отношения не имеешь. Ну, делать нечего — край. Я не помру, пока ты мой секрет не усвоишь. Пойдем». Та: «Куда?» — «На завод, в литейную». Повела она его под ручку в литейную, довела — и стал он ее обучать своему секрету земли. Составу, пропорциям... Представляешь — двое голодных, полуумирающих стариков, одни в холоднющей литейной... Но ведь каждый божий день, оба истощенные, тащились они в литейную — и трудились, копались в холодной земле. Да еще старик старуху заставлял съедать половину его вечернего супа, говорил: «Я так и так помру, а ты должна выжить, чтоб потом, когда завод заработает, секрет земли всем формовщикам открыть». И ведь выучил ее! И когда она при нем несколько раз состав этот, с его секретом, воспроизвела, лег старик и говорит: «Слава тебе, господи, с чистой совестью на тот свет ухожу». И на другой день помер. Вечная ему память — имя его я обязательно узнаю. А старуха, говорят, жива, даже, говорят, эвакуировали ее, заботятся: ну как же, такой секрет — это ж важно...

Он помолчал и сказал еще задумчивей, точно говорил только с самим собою:

— А может, к тому времени, когда завод заработает, и не нужен будет стариковский секрет. Изобретут нечто более точное, научное. Неважно. Не в этом дело... (Он помолчал, пожал плечами.) А может, и не изобретут. Выше любви человеческой — разной... к родной земле, к человеку, к женщине или женщины к мужчине, — выше этого ничего, Лялька, изобрести нельзя... Нет, не изобретут... «Ибо тайна сия велика есть»: секрет земли...

И ему, наверное, хотелось поговорить, пофилософствовать даже, с близким человеком, и он много говорил в тот вечер, а мы ведь тогда совсем мало говорили — инстинктивно берегли силы.

Папа рассказывал, как организует стационар на своей фабрике.

— Вот хожу по Невской заставе с нашими фабричными властями и привожу в стационар кадровых наших ткачей и ткачих. Я ведь их всех знаю — слава богу, двадцать лет на фабрике... Эти у меня не умрут! Ну, черт же побери, ведь когда-нибудь фабрика-то заработает! И сукно нужно будет людям, одежонка-то за войну пообтреплется, а?

— Наверное, — сказала я.

Мне было почему-то противно думать о сукне, даже затошнило, когда я его себе представила, — серое, жесткое, и почему-то его надо еще разжевать...

Я совершенно опьянела от вонючей еды, от кипятка, от тепла, меня клонило куда-то в сторону, я стала не то засыпать, не то умирать. Черноглазая Матреша первая заметила мое состояние.

— Доктор, — сказала она, — а дочке-то спать пора.

И уже тоном приказа добавила:

— Снимайте валенки, я вам ноги вымыть помогу. Я все ж таки тут снежку натаяла, согрела.

— Мне не снять валенки, Матреша.

— Ну-ка, выпей, — сказал отец и дал чего-то горького.

А Матреша ловко, хотя и с трудом, стянула валенки с распухших ног моих и погрузила их в ведро с теплой водой. О, какое это было блаженство, ясное, младенческое блаженство! Теплая вода и чьи-то ласковые, родные и властные руки, расторопно скользящие по ноющим ступням, — то санитарка Матреша, стоя на коленях, мыла и растирала мне ноги, и мне почему-то не было стыдно, что мне, взрослому человеку, моют ноги, а она поглядывала на меня снизу вверх милыми своими

круглыми глазами и приговаривала чуть нараспев, точно рассказывала сказку про кого-то другого, и я, как сквозь сон, слушала ее.

— ...А шла-то издалёка, из города, да ведь все по снегу да по льду... Умница, к палочке шла, правильно надумала... А ведь как на папочку похожа, до чего ж похожа, портрет вылитый...

Я вздрогнула, как вздрагивают, просыпаясь, и взглянула прямо в глаза Матрешы: санитарка смотрела на меня с такой любовью, что мне стало ясно: эта женщина тоже любит моего отца...

Княжна Варвара.— Ну, а теперь я тебя уложу,— сказал папа и повел меня по своей маленькой бревенчатой амбулатории в какую-то комнатушку. Я легла на койку, а он сел рядом на низенькую табуретку и даже зажег ту свечку, башенкой, с ней было светлее, чем с каганцом, и казалось теплее.

— Отец, чего ты казенный свет палишь? — пробормотала я, кивнув на свечу.

— Ничего, я на минутку. Ты сейчас уснешь, а я зайду к своим пожарникам и к дистрофикам в стационар... Хочу все-таки образцово-показательно наш стационар поставить... Как думаешь, девчонка, поставлю?

— Конечно. У тебя персонал хороший.

— Ах, хороший! — самозабвенно, упоенно почти пропел отец и, смутясь, добавил: — Не воруют!

Он так любил людей — и не человечество вообще, что легче всего, а именно людей, обычных, грешных,— что стеснялся говорить о своей любви к ним, как о чем-то самом интимном. Поэтому он иногда — от ревнивейшей любви — людей обругивал, сердился на них, как Антон Иванович, или говорил о них нарочно грубовато, как сейчас. Он не понимал, что виден людям насквозь со своим страстным и чистым сердцем мудреца и всегда большого ребенка... Он считал себя... циником!

— Нет, верно, хорошие бабенки,— поправился он.— Люди! Ведь Матреша-то каждого так моет, кого приводим, как тебя сейчас... Нет, работать с ними можно... но... но... эх, девчонка!.. Княжну Варвару мне бы сюда!

...Уже говорила я, что запомнила себя очень рано, еще до первой империалистической войны. Помню я и день, когда папа — невероятно красивый в мундире с блестящими пуговицами, с огромной шашкой на боку, с пышной своей золотой шевелюрой — уезжал на войну, помню, как бурно шумели в этот солнечный и ветреный день под окнами наши клены и тополя, как кричала бабушка Ольга, и плакали тетки, и голосила Дуня, и молча стояла рядом с папой бледная и тоже очень красивая мама. А может, я и не помню этого, а вообразила все уже потом? Нет, помню, помню, потому что, когда рисуется передо мной картина прощания с красивым и в новой красоте своей почти незнакомым папой, возникает во мне и тогдашнее чувство смутной тревоги, страха, беды, оттого что громко, ликующе лопочет, шумит сочная летняя листва и с ликованием ее сливается надсадный плач женщин. А мама молчит, а отец так прекрасен...

...Он стал работать на войне хирургом во фронтовом санитарном поезде, и в тот же санитарный поезд, тоже в первые дни войны, поступила сестрой милосердия княжна Варвара Николаевна Б-ва. Она носила такую же косынку с красным крестиком, как наша тетя Варя, но, как рассказала нам потом мама, происходила из очень знатного и древнего рода, была настоящей русской княжной. А тут надо сказать, что в детстве для меня и Муськи среди множества сказочных героев не было

никого прекрасней и любимей русской княжны. Мы, конечно, еще очень любили Лисичку-сестричку и Серого волка, но это — из зверей, а из людей милее всех была нам Снегурочка и прекрасней, главное всех — русская княжна, она же царевна Лебедь. Ну разве можно было сравнить с нею какую-нибудь гриммовскую или андерсеновскую принцессу — даже маленькую грустную Русалочку? Нет, лучше всех была наша русская царевна Лебедь.

Месяц под косою блестит,
А во лбу звезда горит;
А сама-то величава,
Выступает, будто пава...

Вот такой и представлялась нам княжна Варвара.

Мы никогда не видели ее в жизни, не видели даже ее фотографий, мы знали о ней из беглых рассказов матери, из случайно услышанных разговоров о княжне между родными и знакомыми.

Княжна Варвара все время работала вместе с отцом на фронтах империалистической, а после Октябрьского переворота, когда отец тотчас же подался в Красную Армию, княжна Варвара пошла вместе с ним и всю гражданскую войну работала старшей хирургической сестрой в санитарном поезде «Красные орлы», начальником которого был мой отец. Санпоезд «Красные орлы» воевал на юге против Врангеля, Каледина и других беляков, дважды поезд чудом вырывался из белогвардейского окружения, многократно был под огнем, принимал короткие, но ожесточенные бои и перестрелки — княжна Варвара ни на минуту не отходила от отца, ни разу ничего не испугалась, ни разу не воспользовалась отпуском.

Четырежды смертной хваткой хватал нашего папу тиф — сыпной, брюшной, возвратный, паратиф, — и четыре раза княжна Варвара вытаскивала его из смерти.

Мы жили в те годы в древнем городке Угличе и узнавали об этом от мамы: четыре раза долго-долго не было никаких вестей от отца, а потом вдруг приходило совсем коротенькое письмецо, и мама горько и долго плакала над ним, а потом вела нас в церковь Димитрия-на-крови, ставила на колени перед страшными темными иконами и чужим, жестяным, не маминым голосом говорила:

— Дети, помолитесь за княжну Варвару. Она опять спасла жизнь вашему отцу.

Давным-давно, целых три года, не было уже в России ни царей, ни князей, ни столбовых дворян, все были просто люди, граждане и товарищи, а цари, князья и царевны остались только в сказках, но мама все еще говорила о красной сестре Варваре Николаевне — «княжна Варвара».

Быть может, именуя так женщину, которая волей судьбы заняла ее место в жизни и сердце любимого ею человека, она находила какое-то, пусть крохотное, утоление своей ревности — утоление тщеславием? Все-таки не кто-нибудь, а родовитая княжна спасла жизнь ее мужа, отца ее детей.

Потом отец приехал в Углич и увез нас в Петроград, к дедушке и бабушкам, за Невскую заставу, и началась новая, петроградская жизнь, петроградская школа, и я так и не увидела никогда княжну Варвару, и только глубоко-глубоко в душе, как еле видный лунный серп при восходе солнца, сохранился вообразенный в детстве образ.

...И вот отец первый раз в жизни заговорил со мной о княжне Варваре в тот день, когда я, овдовев, пришла к нему из города.

— А где она сейчас, папа? — спросила я.

— Не знаю,— помолчав, ответил он,— я почти не встречался с нею с тех пор, как привез вас из Углича.

И я поняла, что он расстался с ней из-за нас, с тех пор, когда после гражданской войны собрал семью и вернулся в нее, главным образом к нам — ко мне и Муське... Я ничего больше не стала спрашивать у него о княжне Варваре, но облик нестареющей, стройной, пленительной женщины на мгновение мелькнул передо мною в холодных потемках блокадного жилища...

...Я увидела ее через три года после Великой Отечественной войны в больнице, где лежал отец. Тифы гражданской войны, голод и беды блокады все-таки нагнали и доконали его гипертонической болезнью. Он был отличный врач и понимал, что умирает, и как же он тосковал, что расстается с жизнью, со всем, что так любил в ней,— а он любил многое: труд, людей, пространство, зверей, розы... Он не боялся смерти, он просто иногда не мог скрыть тоски своей по уходящей жизни. Он даже сказал мне однажды тем мальчишеским жалобным голосом, которым когда-то жаловался, что его не берут в народное ополчение:

— Лялька, девчонка... Ты теперь знаменитая — напиши ты кому-нибудь, пусть мне настоящего женьшена пришлют, а? Скажи — просит мой папа, старый доктор.

— Хорошо, папа,— покорно отвечала я,— я напишу Самуилу Яковлевичу Маршаку. Он постарается...

— Я знаю! Я знаю, что он постарается...

Надо сказать, что в самом начале тридцатых годов — в 1931 и 1932,— когда Самуил Яковлевич Маршак редактировал первые мои детские книжки, папа как-то прибежал ко мне страшно оживленный. Каким молодым он был еще тогда! Как часто и упоенно хохотал — именно хохотал, а не смеялся!

— Лялька! — закричал он чуть ли не с порога.— Я в газетине вашей читал, что Маршак твой в Германию едет.

— Да. А почему ты так взволнован этим?

— То есть как — почему? Вот рецептики. Один — на меркузал, другой — на люминал. Понимаешь, там у немцев фармакопея знаменитая — байеровская, у нас еще таких лекарств делать не научились. Понятно?

— Пока нет.

— Ах, господи! Все-то вам разжуй и в рот положи. Ну, у меня одна ткачиха, хорошая такая баба, отекает страшнейшим образом — меркузал ей нужен. А одному ткачу — хороший такой мужик, старательный — люминал. У него какие-то припадочки, типа эпилептических, хочу попробовать люминалом его полечить. Ну, так вот, пусть Маршак из Германии привезет мне меркузалу и люминалу. Только непременно байеровского.

— Папа, да ты... да ты пойми — это неприлично, неудобно. Ему же за все это валюту выкладывать придется. Неудобно мне!

— Очень даже удобно. Скажи — просит мой папа, старый доктор. Маршак умный, он все понимает, он пишет отлично: «Крокодил, крокодил, крокодилище!»

— Да это и не Маршак, а Чуковский.

— Верно. Спутал. Но у Маршака не хуже. Про вас, про всех писателей:

Разевает щука рот,
А не слышно, что поет...

— Это Самуил Яковлевич вовсе не про нас писал! Ты просто демагог.

— Про вас! Я читатель, мне виднее... В общем, я знаю, что он человек хороший. Ребята его стихи любят... На рецептики. И попроси Самуила Яковлевича. Скажи — мой папа, старый доктор, просит. Для своих ткачей.

И я, пропадая от стыда, все-таки просила Самуила Яковлевича, а он так просто и охотно брал папины рецептики, что стыд мой исчезал, и он два или три раза привозил то, что просил отец... Наверно, до сих пор не знает Самуил Яковлевич, сколько папиных ткачей и ткачих помог он папе поставить на ноги, спасти от смерти...

— Я напишу, папа, обязательно,— повторила я и не написала, потому что знала уже от врачей, что дни его сочтены, что осталась неделя, много — две. Я знала — необходимо дать телеграмму Муське и матери, чтоб они приехали, но я боялась, что папа поймет, почему мы все вокруг него собрались, и просто не знала, что делать.

В один из таких вечеров, когда он особенно тосковал и дышал уже трудно, мне сказали, что меня просят выйти в вестибюль — там ко мне кто-то пришел.

Я вышла. С диванчика поднялась незнакомая женщина и шагнула ко мне навстречу. Она была высокой, грузной, полуседой, причесанная на прямой пробор, с маленьким старомодным пучком волос на затылке, с широким красным простонародным лицом, чем-то очень похожая на нашу Дуню, только у Дуни нос был уточкой, а у этой — чуть-чуть дулькой, и глаза были другие — мягко-серые, пушистые, смотревшие умно и печально.

— Здравствуйте, Лялечка...— сказала она, протягивая мне руку.

— Здравствуйте,— ответила я, недоумевая, кто же эта старуха.

Она обеими руками сжала мою правую ладонь и держала, не отпуская, пристально вглядываясь в меня, чуть улыбаясь уголками крупного, наверное когда-то красивого, рта и грустными, умными глазами.

— Как же вы похожи на отца, Лялечка,— негромко сказала она и, спохватившись, добавила: — Впрочем, простите, мы же знакомы только заочно, да и то это было давно... Я — Варвара Николаевна Б-ва.

Я невольно вздрогнула, вскинула голову, и, наверное, на лице моем выразилось удивление, может быть испуг, потому что, вновь бегло и грустно усмехнувшись, она прибавила:

— Да, это я. Я пришла попросить вас — помочь вам ухаживать за вашим папой. Я узнала, что он в тяжелом состоянии...

Так это была красная сестра — княжна Варвара, царевна Лебедь нашего детства?

Старая грустная женщина в простеньком ситцевом платье стояла передо мною, ничем, совершенно ничем, не напоминая княжну Варвару, представшую душе в древнем Угличе, в годы гражданской войны и бедственного детства, немного даже неуклюжая, оплывшая женщина... И все-таки было в ней что-то от детского моего представления. Что — я еще не могла понять и жадно вслушивалась в ее голос, а она говорила:

— Я уже договорилась с врачами, они доверяют мне пост возле вашего папы... Пойдемте к нему, Лялечка... Простите, я не могу называть вас иначе.

— Пойдемте,— почти механически ответила я, и мы пошли.

Отец лежал, тяжело дыша и прикрыв глаза, но я видела — он не спал.

— Папа,— окликнула я его,— к тебе пришли.

Он повернулся, увидел Варвару Николаевну, и лицо его преобразилось, точно осветилось изнутри и помолодело в самозабвенной, счастливой улыбке.

— Варюша,— протянул он с нежностью неизъяснимой,— родная. Ты со мной?

— С вами, докторёныш, дорогой мой,— ответила она, склоняясь над ним и целуя его руки, в то время как он прижимал к губам ее ладони,— конечно, с вами, где же мне еще быть?

— Что ж... как в поезде «Красные орлы», товарищ княжна... смогрим вместе в глаза смерти...

— Как в поезде «Красные орлы», товарищ начальник,— ответила она и вдруг негромко, счастливо, коротко засмеялась,— как в поезде «Красные орлы» — ничего не боимся...

Я вздрогнула. Это был голос валдайской дуги.

...На этот раз княжне Варваре не удалось вытащить отца из смерти. Но с приходом ее он стал просветленно-спокоен, он не метался и не тосковал, как раньше, точно был уверен в своем выздоровлении, он больше ни разу не спросил меня — попросила ли я Маршака прислать ему женьшень, он не испугался приезда мамы и Муси, а даже шутил с ними; он умер на руках у красной сестры своего боевого санитарного поезда...

Слава мира. А в тот вечер, когда я лежала у папы в амбулатории, он сидел рядом, поглаживая мне то руку, то голову, как иногда делал в раннем моем детстве, когда у нас была корь или ангина.

И оттого, что он вот так поглаживал мне руку и лоб, оттого, что возник у нас разговор о княжне Варваре и сказочный облик ее на мгновение засветился в холодном полумраке блокадного жилища,— в лицо мне дохнуло детство, и я вспомнила о Палевском.

— Папа, а что на Палевском? Как тетя Варя? Дуня?

Он долго молчал, неподвижно глядя на свечку.

— Они умерли от голода. Тетка Варя — по дороге в госпиталь. Авдотья — на своей фабрике, на дежурстве. А дом прошило снарядом.

— Значит... там никто не живет?

— Нет. Никто. Там теперь одни сугробы...

Он вновь замолчал, замолчала и я. И вдруг с отчетливостью и достоверностью галлюцинации услышала, как поет (пела?) Дуня:

А как родимая сторонущка...

Дуня всегда выводила тонким, «долгим» голосом только эту строку, потом обильные слезы душили ее и не давали петь дальше. И вот умерла тетя Варя — «по дороге в госпиталь», — то есть на той самой дороге, которой сегодня пришла сюда я... Умерла Дуня, так и не спев своей заветной песни-плача, не обновив в Гужове своего золотисто-серебряного плата, ее Скобская губерния с дремучими лесами и бесстрашным братухой занята немцами и вся в непроходимом, холодно серебрищемся снегу, и вымерший, полуразрушенный дом наш тоже занесло снегом, снег стелется по всей России — только снег, снег и снег и такое же нескончаемое, безмолвное горе, как у меня. Медленно-медленно просыпалась в душе боль, а значит, и жизнь, но я тогда еще не понимала этого.

— Папа,— сказала я вслух,— по-моему, я уже не живу...

— Вранье,— сердито возразил отец.— Живешь. Если б не жила — легла бы и сюда не пошла бы.

— Нет, правда. Мне совсем не хочется жить. Верней, все равно...

Он ответил печально и ласково:

— Дуреха! А я, например, очень хочу жить... Знаешь, я даже коллекционером стал.

— Что же ты... коллекционируешь?

Он засмутился.

— Да всякую ерунду... Это, быть может, тоже какой-то психоз. Все коллекционирую, что могу: открытки, пуговицы, семена роз.

— Пуговицы? Зачем?

Из-за свечи, из сумерек, не знаю, из какого времени, из каких столетий, прошлых или будущих, он взглянул на меня невероятно чистыми голубыми глазами и сокрушенно признался:

— Знаешь, может быть, это некрасиво, особенно у нас, в Ленинграде, но у меня такая жажда жизни появилась! Немыслимая — как первая любовь — жажда. Нет, даже не жажда, а жадность... Вот-вот-вот... И до того хочется все сберечь, сохранить, просто вот... к самому сердцу прижать! Ну все, что на свете есть: и пуговицы, и открытки, и семена роз. Прижать все к сердцу, до последней пуговицы, чтоб не исчезло...

Как доверчиво смотрел он на меня, поверяя всю эту несусветность, эту «великую дичь» нашего времени, как увлеченно, верней заговорщицки, добавил:

— Знаешь, мне обещали прислать семена особых роз. Называются они «слава мира». Это такие, знаешь, большущие, медленно распускающиеся розы золотистого цвета с чуть-чуть оранжевым ободком по краям. Они вообще-то на юге растут, да и то не везде, но я их здесь разведу, вот около своей амбулатории. Жалко, конечно, что Матреша за зиму палисадник сожжет, ну ничего, другой соорудим. Весной я эти розы посажу, летом они должны расцвести... Приедешь взглянуть, а? Как думаешь — хорошо будет?

— Хорошо, — ответила я, с удивлением прислушиваясь к тому, как рядом с нарастающей болью в сердце возникает еще какое-то чувство.

Быть может, то, что Матреша вымыла мне ноги, как мать или старшая сестра, и то, что пожарник принес лепешку из земли — щедрый дар голодного голодному, и оттого, что папа рассказывал о старом формовщике, а теперь говорил о розах, именуемых «слава мира», о том, как я приеду к нему, — «значит, будут даже ходить трамвай?» — от всего этого и многого, еще не осознанного, — да, — рядом с болью встало в моей душе некое спокойное и стойкое чувство. Оно, пожалуй, было похоже на гордость, но не было ею. Повторяю, теперь-то я понимаю, что все это было возвращением жизни. «Конечно, отец прав, — подумала я, — я жива, я хожу, я дошла до него... К черту, не прислушиваться к себе, делать все, что можешь! Господи! Да ведь у меня еще две передачи впереди — и на город и на эфир, — надо их сделать как следует... Сейчас посплю, а завтра — крайний срок послезавтра — пойду в Радиокomitee и буду работать. Лучше умереть на ходу и в работе. Но я не умру. Я выживу назло всему, что сделано со мною и с нею... с родимой стороношкой. Она жива, и она тоже выживет. А сейчас мы с ней будем спать... Она и я. Мы устали. Сейчас ночь. Мы будем спать».

— Папа, кажется, я буду сегодня спать, — сказала я, — потуши наконец государственную свечку...

Он положил мне на лицо большую свою докторскую ладонь, и я целовала ее, как в детстве...

— Ну спи, спи, это лучше всего... А летом ты увидишь у меня в палисаднике розы «слава мира»...

Он встал и, прежде чем затушить свечу, окружил ее желтый огонек ладонями и показал округлым движением, какие розы будут большущие и как будут распускаться.

— Вот так, понимаешь, вот так — огромные, золотые, — говорил он, пошевеливая пальцами, — вот такой величины могут быть! А? Здорово?!

А я смотрела на его руки: освещенные изнутри, просвечивающие по краям розовым, они как бы сами источали почти ослепляющий золотисто-розовый свет;

руки русского доктора, хирурга, спасшие тысячи и тысячи солдатских и иных жизней, вырубившие во льду ступеньки к проруби, сейчас действительно похожие на огромный невиданный цветок;

такие же прекрасные, как руки бабушки моей, чугунные на вид, перевитые темными венами, узлами и мозолями, руки, которыми благословила она в дни штурма города меня и всю страну нашу;

такие же властные и добрые, как руки Матрешки;

такие же большие, и умелые, и бесстрашные, как руки старого заставского формовщика;

руки, источающие свет и силу, знающие и передающие друг другу и будущему секрет земли, трудовые руки — как высшая, подлинная, вечная слава мира.

«Да, я увижу папины розы летом», — подумала я твердо и просто, как о чем-то обычном и само собой разумеющемся, — так, как говорил об этом отец...

Путь возврата... С тем же чувством спокойной твердости пошла я на второе утро обратно в город, все по тому же пути, по которому почти мертвая шла сюда позавчера.

Я знала теперь, что буду жить. Я должна жить и работать, потому что работа моя нужна людям, я уже знала об этом. Я не испытывала, повторяю, от этого сознания ни гордости собой, ни счастья. Я просто шла и делала дело: обдумывала предстоящие свои радиопередачи, вперемежку с ними тихонько бормотала внезапно возникающие строки стихов, которые необходимо было написать ко дню Красной Армии — тоже по заданию Радиокomiteта...

Я знала уже, о чем они будут: вот — о сегодняшнем дне Ленинграда, о себе как одной из ленинградок, о том, что было главного с нами за восемь месяцев войны, о том, что мы чувствуем, как водем сейчас, о том, что голодные, теряющие самых близких людей, сами умирающие, мы любим жизнь и поэтому обязательно победим.

Мне не терпелось написать об этом, написать всю правду, не щадя ни себя, ни читателя, хотелось, чтоб вышло хорошо, достойно сограждан моих, хотелось скорее отдать им это. Вот этой женщине, везущей на саночках запеленутый в простыню труп, вот этому командиру, попавшему навстречу, — он идет за Невскую, наверно на фронт, в 51-ю, — и Матреше, и папе, и тем женщинам, с которыми ползла вверх по ледяной горе от проруби...

Теперь, когда я обдумываю все три похода — сперва из-за Невской, потом за Невскую и обратно, — вспоминается одна индийская мудрость, ставшая известной мне уже после нашей победы в изложении Ивана Бунина... Я излагаю ее менее сложно и тонко, чем он, но уверена, что точно передаю сущность.

Так вот, индийская мудрость гласит, что человек должен пройти два пути в жизни: путь выступления и путь возврата. На пути выступления человек находится в тех своих личных границах, куда заключена

часть единой жизни; человек живет главным образом только собой, живет корыстью чисто личной, жадной «захвата», жадной «брат» — для себя, для своего племени, для своего народа. На пути же возврата теряются границы его личного и общественного «я», кончается жажда «брат» и все более и более растет жажда «отдавать» — взятое у природы, у людей, у мира. Так сливается сознание и жизнь человека с единой жизнью, с единым «я» — начинается его подлинное духовное существование.

Повторяю, я приблизительно излагаю изложенное другим, и это положение, эту мудрость на нашу — на мою — жизнь нельзя, конечно, наложить так, чтобы все точки их совпали.

И все-таки мне кажется, что головокружительно-счастливый и страшный путь мой в октябре 1941 года из-за Невской заставы, несмотря на все ощущение слитности с жизнью всеобщей, был все еще в какой-то мере «путем выступления», а вот путь от отца, когда главным желанием было отдать, как можно больше отдать согражданам и своей земле необходимых для ее дела сил и слов, — это, вероятно, было началом моего вступления на «путь возврата».

Нет, не прекратилась и не умерла во мне «жажда брат», даже от прошлого, но «жажда отдавать взятое» — преобладает.

Отдавать не только то, что ты взял, но отдавать преображенным в слове, прошедшим через душу, ставшее ее сущностью.

Об этом — только другими словами — говорила я в начале моих записей в главке «Дневные звезды» и на этом же обрываю их, как всегда неожиданно для себя... И, дочитав эти записи, некоторые могут спросить: «Да, в самом деле! Ведь ты обещала нам дневные звезды — где же они?»

На что я отвечаю: «Я раскрыла перед вами душу, как створки колодца, со всем его сумраком и светом. Загляните же в него! И если вы увидите хоть часть себя, хоть часть своего пути, — значит, вы увидели дневные звезды, значит, они зажглись во мне, они будут все разгораться в главной книге, которая всегда впереди, которую мы с вами пишем непрерывно и неустанно...»

1958—1959 гг.



АЛЕКСЕЙ КАСАТКИН

★

ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Стряхнув покров дорожной пыли,
Развесив русые чубы,
И — величавые — застыли
Вдоль по околице дубы.

А воздух в пору сенокоса
Что брага пенная в ковше.
Притихла ночь, прильнувши к плёсу.
Легко и радостно душе!

Легко и радостно.
А все же,
Хоть духом и тверда всегда,
Душа спокойно спать не может,
Качаясь в речке, как звезда.

В ней беспокойство не погасло
Средь загустевшей тишины,
Покуда мир надежным пряслом
Не отгорожен от войны.

Ей снятся взрывы Хиросимы.
И даже малый звук вдали —
И тот не пролетает мимо...
Ее судьба — судьба Земли!

* * *

В том мало толку, мало проку.
В том честь тебе не велика,
Что с нами ты.
Но ты ведь — сбоку!
Лопатой двигаешь — слегка!

Копнешь разок, посмотришь косо
И, как уставший чересчур,
Маячишь, словно знак вопроса:
«Когда же будет перекур?»

Тебя не трогает, что рядом
Фуфайки сбросили давно,
Пот выступил на лицах градом,
В глазах товарищей темно.

Ты не смущаешься нимало,
Что среди нас один такой,
Что, хоть рожден под стягом алым,
Живешь за нашу спиной!

В ЧАЩЕ

Здесь ельник и глухой и застарелый,
Лишайником обросший у корней.
Здесь ствол, однажды рухнув, перепрелый
Так и сгниет, не обогрев людей.

От сумрака здесь краски все потухли.
Здесь от рожденья серая трава.
И тихо.
Разве только филин ухнет,
Вспорхнет подслеповатая сова.

Лишь солнцем освещенные вершины,
Взлетевшие из чащи в синеву —
В простор ветров и крыльев соколиных,
Живут не в полусне, а наяву!

* * *

День угасавший сразу убыл —
От тучи черной стал темней.
И шевелились, будто губы,
Безмолвно листья тополей.

Комбайн огромной красной птицей
Встал в поле, слух насторожив...
Не градом туча разразилась
На золотое поле ржи.

Она вверху огнем могучим
В себе дотла все выжгла зло,
Чтоб только о дожде певучем
Потом мы вспомнили светло!

Шуя.



ЛЕОНИД ПЕРВОМАЙСКИЙ

★

ДВА РАССКАЗА

Любисток

Большое село, где я работал библиотекарем, лежало на песках на берегу медленной мелководной речки Берестовой. До города отсюда было тридцать километров. Шесть дней в неделю я выдавал книжки из большого дубового шкафа без стекол, который попал сюда из какого-то помещичьего имения. Иногда приходилось разносить по избам-читальням антирелигиозные брошюры и агрономические плакаты. Жил я в клети у сельского кузнеца Прокофия Ивановича, у него же и столовался. С вечера мне ставили крынку молока, накрытую длинным толстым ломтем хлеба, отрезанным от целого каравая. Спал я на широкой лавке, застеленной рядом, надо мной висели старые хомуты и шлеи, смазанные для сохранности пахучим дегтем-катраном. Маленькие мышата, попискивая, безбоязненно танцевали по клети. Спасал меня от них рыжий мордастый кот с порванными ушами, угощаясь за это молоком из моей крынки.

Раз в неделю, чаще всего в среду, я просыпался до рассвета, едва начинало сереть, и отправлялся в город. В соломенном брыле, в широких полотняных штанах, босиком, я проходил сонными улицами села и у моста через Берестовую окунался в прохладную утреннюю воду. Собственно, моста не было, его начали строить перед мировой войной для железной дороги, которая должна была связать наш город с большим промышленным центром на юге, и не достроили. В воде стояли почерневшие сосновые сваи, кое-как связанные между собой продольными балками. Мало кто решался ступить на полусгнившие бревна. С обеих сторон к мосту подходила высокая песчаная насыпь недостроенной железной дороги, давно уже поросшая бурьяном,— по насыпи до города было ближе, чем степной дорогой.

Со страхом в сердце переходил я этот мост. Небо надо мной, над речкой, над лугами медленно светлело. Качался камыш, отражаясь в неподвижной воде. Я шел по насыпи, ставя босые ноги в мягкий мелкий песок, и всем существом своим чувствовал радость рассвета, который вставал над землей такой чистый и такой счастливый, что воспоминание о нем кажется мне навеки утраченным сном.

Когда впервые я ступил на насыпь, дорога показалась мне долгой и трудной, я не знал, смогу ли пройти ее и стоит ли двигаться в такой далекий путь для недолгой встречи с товарищами, которых я оставил в городе. Но простор, медленно наполнявшийся солнцем, неощутимо брал меня в объятия, песня жаворонка западала в душу, перед глазами было столько красоты — длинное село под насыпью слева, волны теплого

хлеба, далекий горизонт, весь в бледном голубоватом мареве, песок под ногами, ящерицы в бурьяне, сама бесконечность пути, — что все это наполняло меня радостью, я слился с дорогой и не заметил, как дошел до города, не почувствовав усталости, счастливый, немного задумчивый, но бодрый.

Солнце поднималось все выше. Песок уже прогревался, и ящерицы с плоскими головками кидались с протоптанной тропинки в тень под бурьяном, когда я приближался. Я шел не спеша, углубившись в созерцание давно знакомой дороги. Чаще всего я отдыхал на полпути, в холodge под тыном крайней хаты бесконечно длинного села, которое раскинулось слева под насыпью.

В селе дым вставал над трубами, серый кизячный дым, — он колебался с минуту в воздухе и бесследно таял, оставляя после себя только горький знакомый запах.

Сидя на низкой траве, я завтракал огурцом и краюшкой хлеба, которые лежали у меня за пазухой, завернутые в чистую тряпочку. Меня уже знали в этой хате. Со двора наклонялись грудью на тын два белоголовых паренька и спрашивали о том о сем, а иногда их мать выносила мне из хаты ковш холодной воды. Я любил этот тын, и холодец под ним, и белоголовых ребят, и их молчаливую мать; она глядела на меня добрыми глазами не очень счастливой женщины — муж ее попал в плен во время мировой войны, да там и остался при какой-то немке. Я приносил ребятам книжки, и они тоже любили меня.

Наверно, я так задумался в то счастливое утро, что прошел мимо знакомого места, и заметил это лишь тогда, когда оно было уже далеко позади.

«Не стоит возвращаться, — подумал я, — отдохну у железнодорожной будки, там есть колодец...»

Будка стояла под насыпью, я никогда никого не видел около нее, хоть казалось, там кто-то все-таки жил. На огороженном тыном подворье бродило двое-трое цыплят, на веревке иногда висело какое-то разноцветное белье, под окном цвели мальвы и ноготки. Тропка вилась от порога к колодцу среди густой-густой травы. Я знал каждый уголок этого двора, хотя никогда там не останавливался. От него дышало запустением, был он словно мертвый, несмотря на его колодец, белье, мальвы, ноготки и маленький клочок обработанной земли за тыном, где росли громадные подсолнечники. Окна будки всегда были завешены изнутри, двери прикрыты...

Теперь, увидев ту будку издали, я ускорил шаги, думая про тень, про холодную воду в колодце, — должно быть, ранний зной все-таки утомил меня. Возле будки я остановился на минуту. Двор лежал под насыпью, словно у меня на ладони, все в нем было как всегда, только земля под мальвами и ноготками была мокрая, будто недавно политая, да одно окошко стояло открытым, хотя и было завешено изнутри. Я спустился по тропинке с насыпи, толкнул сколоченную из кольев кривую калитку и вошел во двор. Цыплята с криком кинулись через тын в подсолнухи.

Колодец был глубокий; я громыхнул ведром, спуская его в воду, и в ту же минуту услышал за собой звонкий насмешливый голос:

— А кто тут хозяйничает не спрося?

Откинув дерюгу, из окна выглядывала девушка. Глаза у нее были пронзительно-веселые, тяжелая русая коса лежала на плече, быстрыми смуглыми пальцами она вплетала в нее красную ленточку.

— Позвольте воды напиться, — пробормотал я, ставя ведро на сруб и снимая свой широкополый соломенный брыль.

— С этого бы я и начинала! — Девушка весело кивнула русой головой и исчезла за занавеской.

Я пил воду, припав губами к холодному озерку, что колыхалось в ведре, расплескивая на неясно уродливые куски мой лоб, глаза, облупленный нос. Она засмеялась у меня за спиной, смех ее был похож на воркованье голубки.

— Боже мой, да так ведь только телята пьют! Подожди, вот я вынесла тебе ковш.

Медный ковшик, сделанный из гильзы снаряда, блестел у нее в руке. От стыда я готов был провалиться сквозь землю, но не мог оторвать глаз от девушки.

Она стояла передо мной, стройная, высокая, в длинной сборчатой юбке с маленькими красными и белыми цветами по темному полю и в голубой блузке с короткими рукавами, из которых легко выплывали тонкие смуглые руки. Русая коса лежала на плече, вокруг лба волосы завивались совсем белыми, словно выгоревшими на солнце, кудряшками. Серые глаза смеялись от счастья. Я невольно склонил голову перед ее красотой и невольно увидел ее маленькие смуглые ножки с припыленными розовыми ногтями. Она твердо и вместе легко стояла на влажной земле у колодца.

— Может, ты и есть хочешь? — Ее веселые серые глаза вдруг потускнели.— Меня зовут Любкой, Любиной или Любистком... Как тебе больше нравится?

Я вытащил из-за пазухи свой завтрак, она вынесла из хаты миску вчерашнего зеленого борща и стояла надо мной, пока я ел, сидя под журавлем на колодезном срубе. Я ни о чем не спрашивал ее, потому что боялся спугнуть свой удивительной сон, она сама доверчиво рассказывала все о себе, не спрашивая, кто я, откуда и куда иду.

— Хороший борщик? Это я сама варила. Я все умею сама. Бабку забрали в больницу, я присматриваю за ее цыплятами... Хочешь, я еще тебе налью? Я учусь в Павлограде, в педагогическом... Тут мне очень нравится, но в городе лучше, можно в кино, и в саду каждый вечер музыка играет... Ты стихи любишь?

Я не признался ей, что пишу стихи: меня всегда охватывал, как огнем, горький стыд, если кто-нибудь узнавал о моих безнадежных попытках рифмовать.

Любина закрыла глаза, взялась обеими руками за конец своей толстой косы и, перебирая крепкими пальцами красную ленточку, продекламировала:

За горами гори хмарами повиті,
Засіяні горем, кровію політі,
Споконвіку Прометея
Там орел карає...

Кто был этот Прометей — я не знал, но мне жаль было непоколебимого мученика, которому каждый божий день долбили ребра и выклевывали печень. Она выговаривала это имя с такой любовью и силой, что зависть закрадывалась мне в грудь. От ее рук пахло горько ноготками, голова гордо поднималась на тонкой шее, словно цветок на стебле...

Я опоздал в тот день к товарищам в город, они напрасно ждали у комсомольского клуба и пошли без меня в заросли столетнего сада под покатыми валами старой крепости, поросшими густой холодной травой. Я нашел их лишь после полудня. Стыдно признаться, но впервые мне было неинтересно с ними. Мы лежали на животе в траве, положив голову на ладони и упершись локтями в твердую землю. Козы городской бедно-

ты слонялись поблизости, иногда подходили и смотрели на нас янтарными глазами. Небо было нестерпимо синее, сюда не долетал шум города, и, если кто-нибудь произносил хоть слово, человеческий голос казался ненужным в этой зачарованной тишине. К счастью, никто не спросил, что со мной, потому что не мог же я признаться, что чувствую в груди легкую и болезненную, праздничную пустоту, словно оставил свое сердце на срубе колодца, на полпути меж моей библиотекой и родным городом.

Вечером мы смотрели в кино интересный фильм «Красные дьяволята», но что в нем было — я до сих пор не знаю. С экрана плыли на меня серые веселые глаза, тонкая рука вплетала красную ленточку в русую косу.

Я оставил товарищей в кино, не досмотрев картины, вышел на насыпь за городом и направился в чулан кузнеца Прокофия Ивановича, где меня ждала крышка молока, накрытая ломтем черного хлеба. Может быть, думалось мне про маленьких мышат, которые танцуют вокруг этого ломтя, может быть, вспоминался мордастый кот с порванными ушами — он умел сбрасывать хлеб на пол и спивать сливки. Напившись, он уходил из чулана, тогда мышата лакомились хлебом, а я оставался без ужина.

Месяц стоял в высоком синем небе. Негустые огоньки города вскоре исчезли у меня за спиной. Я шел насыпью среди тихой ночной степи, облитой холодной голубизной. Тропка в бурьяне блестяла, как ручеек, хлеба по обе стороны склонялись до самой земли, ожидая жатвы. Иногда ветерок порхал по ним и перемещал темные тени, тогда ячмень и пшеница поблескивали тяжелым золотом, а овес — зеленоватым серебром. Край небосвода был темен, сливался с землей, лишь кое-где в степи стояло, словно вылитое из сияния, одинокое дерево — верба или тополь. Тревога и счастье пели в душе, — никогда не чувствовал я такой тревоги и такого счастья. Свежая прохлада этой ночи опьянила меня, я снял брыль и нес его в руке. Воздух касался лба еле ощутимыми касаниями, оставляя на губах неуловимый запах... Легко дышалось — от всего сердца.

Я, как всегда, слился с дорогой и не чувствовал ни времени, ни усталости. Впервые я шел ночью, и все кругом казалось мне сказкой. Я боялся проснуться, мне хотелось, чтобы эта лунная ночь тянулась без конца — такова была сила ее очарования.

Маленькая продолговатая тучка, по краям прозрачная, а в середине из темных полосок, напознала на месяц. Кругом сразу потемнело, только где-то впереди, далеко, свет проливался на блестящие волны хлебов. В этих лунных сумерках проступила передо мной тонкая девичья фигура. Любка стояла босиком на краю насыпи, до подбородка укутавшись вязаным платком. Я остановился, не дойдя двух шагов до нее. Ветерок сдул, сдвинул с месяца тучку, и я увидел, как заблестали серые Любкины глаза. Она подошла сама и прислонилась плечом к моему плечу.

Так мы медленно шли по насыпи, и тропинка бежала у нас под ногами, как ручеек. Я молчал, боясь звуком своего голоса нарушить тайну этой ночи. Я чувствовал тепло тонкого девичьего плеча, от волос ее горько пахло ноготками, она смотрела на тропинку и тоже молчала, придерживая спрятанными руками платок под подбородком. Забелели хаты длинного села под насыпью, крайнюю хату под окнами перерезала тень плетня, под которым я привык отдыхать. Любка остановилась.

— Ты придешь?

Она повернулась ко мне, и лицо ее показалось мне осунувшимся и не таким веселым, как утром.

— Через неделю, — прошептал я. — Чаше меня не пускают... В среду.

Она вдруг раскрыла платок, взмахнув им, как крыльями, платок соскользнул с плеч — месяц глянул на ее девичью сорочку и закрылся тучкой. Любка подхватила платок с земли и, словно испугавшись темноты, побежала от меня...

Я жил, как в тумане: не узнавал никого и никто не узнавал меня. Неделя... Через неделю я ее увижу.

Началась жатва. Никто не заходил в библиотеку, разве только старая учительница, которая жила при школе и на каникулы не выезжала из села, да носатый фельдшер из больницы, что ходил в пенсне и в какой-то детской белой шапочке на плоском черепе.

Кузнец Прокофий Иванович поглядел на меня вечером, вернувшись из кузницы, и удивился:

— Ты, случаем, не болен, парень?

Я был здоров, как никогда: все пело во мне, я не ходил, а словно летал над землей, грудь моя была, как парус, раздуваемый ветром счастья.

Заведующий Домом крестьянина, усатый Левченко, невиданный в свете растяпа в вышитой сорочке, меньше всех был способен заметить, что со мной творится. Он велел мне переписать все книжки в новый каталог по кеттеровской системе, которой сам толком не знал, почему не смог и мне объяснить. Книг было не много, но я сох над ними и убежал бы, не дождавшись среды, но, как назло, снова появился Левченко и сказал, что прибыла из города литература, ее нужно забрать в райисполкоме и разнести по избам-читальням.

— Развлечешься немножко. — Левченко поднял на меня свои растрепанные усы. — А то ты уж затомился тут над этой старой рухлядью.

Он растер пальцем пыль на столе и, покрутив головой, вышел.

После полудня я набил полотняную торбу старыми номерами «Безбожника» и зеленоватыми листами агрономического плаката, который состоял из небрежно выполненных рисунков на тему «Какой уход — такой и доход», вырезал палку из орешины в посадке у села и двинулся по знакомому маршруту, проклиная усатого Левченко и тот день, когда я пошел работать библиотекарем в Дом крестьянина.

По селам было пусто, зато в поле тарахтели жнейки, блестели косы и стучали бруски, женщины и девушки вязали снопы и складывали их в копны, дети подбирали колоски. Никому не было дела до меня и до моей проклятой торбы. Избы-читальни стояли запертые, и я оставлял литературу в сельсоветах.

Мне нужно было обойти восемнадцать изб-читален — путешествие не меньше чем на десять дней, потому что в нашей степной округе земли много и села разбросаны на большом расстоянии. А Любисток ждет в будке под железнодорожной насыпью...

Я подсчитал дни — выходило, что две среды она будет ждать напрасно, что я смогу выбраться только на третью. Ну что ж, я все равно шел к ней, только дорога стала длиннее, это от меня не зависело, но я знал, что в конце этой дороги стоит она в своей цветастой юбке и линялой голубой блузке и ждет меня...

Я все время разговаривал с моим Любистком, рассказывал все о себе, даже признавался, что пишу стихи, и мне казалось, что она отвечает мне своим веселым, немножко насмешливым голосом: «Ну, куда там тебе до стихов...»

Она виделась мне то в окне будки перед откинутой занавеской, то возле колодца с медным ковшиком в руке, вся залитая солнцем, кото-

рое золотило ее смуглую кожу и просвечивало в выгоревших кудряшках вокруг лба. Красная ленточка бежала у нее по груди, как ручеек крови, и у меня замирало сердце от боли, словно я пролил эту кровь, поранив Любку неосторожным словом или поступком... Может, у нее надорвалось сердце от напрасного ожидания...

Только один раз она привиделась мне ночью, в лунном сиянии, от которого странно осунулось ее лицо и потемнели смелые серые глаза. Она подхватила платок, который упал с ее тонких плеч, и бросилась от меня... Я невольно ускорил шаг, даже побежал по жаркой солнечной дороге — так ясно среди белого дня врезалось мне в глаза это ночное видение. Напрасно, я не мог ее догнать, разве только что новое село и новая изба-читальня скорее возникли предо мной.

И тут заведующий был в поле, но изба-читальня стояла открытой. Я без помех вошел внутрь. Прохлада чистого помещения с гладко подмазанным полом и закрытыми окнами охватила меня. Я сразу почувствовал всю усталость, что скопилась в теле за дни моих хождений. Я положил на длинный стол торбу с литературой, лег и накрыл лицо брылем. В ту же минуту сон смежил мне веки, словно густым медом обмазав их.

Мне снилось, что я сочиняю стихи. Никогда слова так легко не шли из сердца, никогда так не звенели рифмы, никогда я не чувствовал такой красоты, уверенности и силы в строке, никогда... Я не писал их на бумаге, а произносил вслух, идя по высокой насыпи, пересекавшей бесконечный простор степи, и шелест спелых хлебов, и теплый ветер, и маленькие зеленые ящерицы, и золотые пчелы подпевали мне, а Любина ступала маленькими крепкими ногами рядом со мной, касаясь плечом моего плеча, и слушала, широко раскрыв глаза, от которых шел гжучий свет и наполнял небо, землю, весь мир...

Когда я проснулся и понял, что все это сон, что стихи были во сне и я теперь не смогу вспомнить ни строчки, ни слова, горькое чувство тревоги и одиночества охватило меня. Уже давно свечерело, и в избе-читальне было темно и неприветливо...

На крыльце сидел заведующий, он пришел с поля усталый и долго стерег мой сон. Мы знали друг друга, его изба-читальня считалась лучшей в районе, он был селькором и подписывался — Зоркий. Кулаки, попы и ворюги-кооператоры боялись его как огня. Я отдал ему журналы и плакаты. Мы ужинали у него в садике при свете месяца. Жена его, тоже усталая после долгого дня работы в поле, вынесла нам на сковороде яичницу с большими прозрачными кусками сала, серый непросеянный хлеб и молоко.

— Вот так и работаем — от рассвета до сумерек, — сказала жена Зоркого, мило улыбаясь, — а он же еще и пишет... Будет тебе когда-нибудь за твою писанину.

Большие черные руки ее мужа лежали на белом рушнике, которым был накрыт стол в садике, словно две глыбы черной земли.

— Надо писать, — отозвался Зоркий, не поднимая головы. — Надо всех выводить на чистую воду.

— Правильно! — воскликнул я. — Нечего бояться!

Он поглядел на меня искоса и как будто тоже усмехнулся.

— Пора отдыхать, жена, — сказал Зоркий, вставая.

Она положила для меня свежее рядно и подушку в красной наволочке на узкую лавку за большой расписной печью, пожелала мне покойной ночи и прилегла, не раздеваясь, на край кровати рядом с мужем. Месяц светил в окно. Сон сморил меня лишь под утро. Когда я

проснулся, моих хозяев уже не было в хате. Расписная печь, по которой стлался барвинок и летали маленькие птички, похожие на цветы, наполняла хату красотой и радостью. Накрытая хлебом кружка молока стояла на столе. Не хотелось расставаться с красивой, как пасхальное яичко, хатой этих добрых работающих людей.

Только через восемь дней я вернулся в библиотеку. Растяпа Левченко встретил меня молча, усы его уныло свисали, он развернул на столе номер областной газеты и ткнул корявым, словно обугленным пальцем в какую-то заметку. Я склонился над газетой. Там был еще рисунок: на длинном столе спал парень, укрыв лицо широкополым брылем. Ясное дело, это нарисовали меня, и в заметке говорится тоже обо мне. Посмотрел на подпись — селькор Зоркий.

— Это правда? — глядя в окно, спросил Левченко.

Я не ответил. Внешне — и в заметке написали правду, и рисунок был похож, но внутренней правды тут не было. Но как я мог объяснить этому растяпе, что сон мой никому не повредил, что я был усталый и голодный и что написал заметку хороший человек, который так мне понравился, которого я полюбил и не мог уже разлюбить!

Я не пошел обедать к кузнецу Прокофию Ивановичу, купил бублики в кооперации, ими и пообедал.

Все уже, должно быть, прочитали эту заметку. Лучше было не попадаться никому на глаза.

Весь день до вечера переписывал я книжки в каталог, строчки плыли у меня перед глазами, а в мыслях тем временем зрело решение, которое я должен был немедленно осуществить.

Левченко вошел в библиотеку, когда я уже зажег лампу, постоял у стола и сказал, удовлетворенно усмехаясь:

— Ишь какой ты усердный! Что значит нагоняй на всю область...

Уже серело в окнах, когда я кончил записывать книжки в каталог, запер шкаф без стекла и вышел на крыльцо. Село спало за тынами. Никто не видел, как я перешел площадь и улицу, потом луга, перелез через мост и двинулся по насыпи — в областную редакцию, доказывать, опровергать... Что именно? Чего я хотел? Не знаю. Может быть, чувствовал я необходимость оправдаться перед белым светом, который улыбался мне всей своей красотой, который я любил без памяти, как любят только поэты и дети, а больше всего, наверно, хотел я восстановить свою чистоту в глазах девушки, которая назвалась травкой и взошла в моем сердце, как на доброй теплой почве...

Длинное село осталось уже позади, я не остановился возле крайней хаты. Ребята были уже во дворе, я помахал им рукой и двинулся дальше. Мне нужно было пройти мимо будки под насыпью... Я шел быстро, и, наверно, от этого так стучало сердце, словно хотело сказать: остановись, куда ты спешишь? Но я знал, куда я спешил, — глянуть в серые глаза и рассказать им про мой сон, вдохнуть запах ноготков и увериться, что все это мне не снилось, что я вспомню эти стихи из сна, запишу и принесу их моей милой красной ленточке, которая бежит по груди Любистка, как ручеек крови...

Должно быть, я шел с закрытыми глазами, потому что будка под насыпью возникла передо мной как-то внезапно, словно я раскрыл глаза и увидел ее сразу, со всем подворьем, с колодцем, с подсолнухами, мальвами под окном и цыплятами... Двери были прикрыты, окно занавешено. Спит еще мой Любисток... Я сел на край насыпи и решил ждать. Ничего из этого ожидания не выходило — каждая минута казалась мне вечностью, солнечной, звонкой, счастливой, но ведь бесконечной! Я на-

брал горсть песка и кинул в стекло... Кинул — и сам испугался своей смелости. Что-то зашуршало в будке, начала медленно открываться одностворчатая рыжая дверь... С минуту никто не появлялся. Потом за раму дверей ухватились темные костлявые пальцы, за порог высунулась сгорбленная старуха и посмотрела на меня вверх из-под руки... Я похолодел и поднялся, словно кто-то медленно поднял меня за волосы. На бабке была знакомая сборчатая цветастая юбка, из-под нее выглядывали искривленные ноги с синими потрескавшимися ногтями...

— Чего тебе нужно, парень? — прошепелявила старуха.

— Позвольте воды напиться.

— Это для такого дела будить старого человека? — Она покачала головой. — Подожди, вот вынесу... Да только сойди к порогу, не понесу же я на насыпь... Высоко, парень, для меня.

Она исчезла в черной пропасти двери. Я сошел с насыпи и встал у порога с почти мертвым сердцем.

Бабка шуршала в хате, что-то там хлюпало, стучало, мне даже показалось, что кто-то тихо смеялся. Наконец она вынесла воду в щербатой черной крынке. Вода была теплая, я давился, глотая ее, а бабка приговаривала:

— Доброго здоровья, паренек... Был у меня медный ковшик, так Любина куда-то его запроторила... Проклятая девчонка, еле досидела, пока бабка из больницы приплелась! И в тот же самый день завязала туфли в платочек да и отправилась в Павлоград...

Я поблагодарил вслух за воду и втайне за весточку. А бабка толковала дальше, радуясь, что есть с кем поговорить.

— Скучно, говорит, у вас тут, бабушка... Прошла мимо меня моя утеха, обещала снова быть, да что-то долго нет...

Старуха, словно что-то вдруг сообразив, взглянула на меня, и я узнал в этих умных выцветших глазах серые, солнцу открытые, счастливые и смелые глаза Любистка.

С минуту я постоял на насыпи. Солнце нестерпимо пылало. Я повернул назад по собственному следу и отправился в библиотеку. Нерассказанный сон остался в моем сердце.

Дурень

За мной прислали машину, и я поехал. Шофер попался разговорчивый, он всю дорогу не закрывал рта, и я услышал от него много интересных историй. Шофер знал все, что происходило в радиусе пятидесяти километров вокруг того районного центра, куда я ехал, и в этом не было ничего удивительного. Пока его начальник занимался своими делами, у шофера было время беседовать с такими же разговорчивыми людьми, как и он сам. Машина свернула с шоссе, медленно шла по разбитому грейдеру. Шофер как раз сообщал мне нечто не весьма утешительное про заведующую районным маслозаводом, когда увидел, что навстречу нам по протоптанной тропинке над дорогой идет, слегка прихрамывая на левую ногу, молодой человек в чистом синем комбинезоне.

— Микола! — крикнул шофер, останавливая машину. — Домой шагаем?

Микола подошел к машине, и я увидел его вблизи. Ему было лет двадцать шесть — двадцать семь, большая красивая голова крепко сидела у него на плечах, русые волосы, не прикрытые кепкой, были аккуратно подстрижены, серые спокойные глаза пристально глядели на мир.

— Ну, как там твои дела?—с неподдельным любопытством спрашивал шофер.— Не передумал?

— Да нет, — ответил Микола, — как решил, так и сделаю.

— Значит, в воскресенье приезжать?

— Приезжай, если сможешь.

— Приеду, — уверенно сказал шофер. — Готовь пол-литра.

— А может, ты возьмешь деньгами?

— С кого другого взял бы и деньгами, а с тебя совесть не позволяет. Сделаю по знакомству.

— Ну, как знаешь, — смущаясь, сказал Микола и искоса взглянул на меня. — Ты, наверно, спешишь. До свидания.

Мы двинулись дальше, машина медленно покачивалась на выбоинах, шофер укоризненно крутил головой, склоняясь над баранкой, и я видел, что его прямо распирает охота рассказать мне про того человека в синем комбинезоне, что теперь уже далеко от нас ковылял по тропинке над грейдером.

— Ну, скажите мне, не дурень этот Микола? — Шофер наконец не выдержал и повернулся ко мне лицом. Глаза его горели, он был глубоко удовлетворен тем, что так верно и точно, одним коротким словом, охарактеризовал своего знакомого. — Это наш киномеханик... Первый дурень на весь район!

Он замотал головой, захохотал и, не дожидаясь поощрения с моей стороны, продолжал:

— Я его с малолетства знаю. Вместе десятилетку кончали. Вот надумал забрать тещу к себе... Сам он живет в селе, жена у него учительница. Двенадцать километров от района. Детей четверо, старшему уже шестнадцатый год...

Я удивленно глянул на шофера: как это может быть?

— Так в том-то и дело, что это не его сын, — перехватил он мой взгляд. — Это его жены, от первого мужа... Давайте я вам лучше все по порядку расскажу.

Он поудобнее устроился на сиденье, переместил руки на баранке и с удовольствием начал рассказывать. Я слушал, не перебивая. Рассказывал он чудесно, хороший артист мог бы позавидовать богатству его интонаций и мимики, паузам и недомолвкам и тому внутреннему самодовольному смеху, ненаигранному, искреннему чувству собственного превосходства над дурнем Миколой, которые переполняли его.

— В школе мы долго не замечали за ним ничего такого. Был парень, как все парни. Правда, знал он больше, чем мы, потому что очень налегал на книжки, и учителя его любили. «Микола далеко пойдет», — только и слышно было от них. Ну как же! Аж двенадцать километров прошел, да тут и остановился. А началось все с того, что десятый класс послали в колхоз на уборку. Он мог бы дома сидеть со своей ногой. «Нет, — говорит, — поеду, все мы должны помогать государству», — словно его что-то тянуло туда. Привезли нас в Ольховатку на грузовике, сбросили у школы, переночевали мы в пустых классах на соломе, утром председатель колхоза поднял нас и поставил на работу. Кого у молотилки, кого зерно взвешивать, кого воду возить... Я работал как работал — да с нас и не требовали много: что сделаем — то сделаем. Микола, поскольку он считал, как бог, поставили на весы. Ну, стой себе, записывай, — что тебе, больше, чем всем, нужно? Так он и за то и за другое хватается, и мешки завязывает, и машины грузить помогает. «Я, — говорит, — колхозный хлеб даром есть не буду, раз меня сюда послали, буду работать на совесть». Обливается потом, пьет воду из

бочки прямо от затычки, ну и на третий день мы идем все утром на работу, а у него температура, горит, как солома в печи... Мы к директорше — она тут же при школе жила с двумя детьми, мальчик и девочка у нее. «Не беспокойтесь, — говорит, — я за ним присмотрю». Возвращаемся вечером — где Микола? А она забрала его к себе, дает ему стрептоцид, поит чаем с малиной, словом, не отходит ни на шаг. На другой день села на машину, что везла хлеб на элеватор, и вернулась с доктором. Доктор послушал, постучал и сказал, что крупозное воспаление легких. Тут как раз мы кончили свою работу. Микола вернулся позднее, когда уже выздоровел, и вскоре мы узнали, что он почти каждый день ходит в Ольховатку к Гаине Константиновне, а по воскресеньям так уж обязательно. Мы начали его спрашивать, что это за хождения. «Я, — говорит, — ее люблю». — «Ну не дурень ли ты, — говорим, — она ж старше тебя на десять лет, и дети у нее, и муж ее бросил!» — «Это для меня не имеет значения», — отвечает Микола. Верите, мы даже на комсомольском собрании ставили этот вопрос в присутствии Миколиной матери — отца у него нет, в партизанах погиб, — но ничего не добились, а секретарь райкома просто рукой махнул. «Он, — говорит, — дурень, и мы ему ничего сделать не можем, в этом ничего антипартийного нет». А наш директор Свирид Карпович Бузиловский — он теперь тут же на пенсии живет — решил это дело не бросать. Вызвал Миколу в кабинет и начал своим тихоньким голосом его сверлить. «Где это в свете слыхано, — берет его на тонкое сверло Бузиловский, — чтобы про ученика десятого класса такая слава шла на весь район? Об этом уже в области знают! Ты у нас первый ученик, мы решили подавать тебя на золотую медаль, а теперь не видать тебе золотой медали как своих ушей, если не выбросишь из головы Гаину Константиновну». — «Медаль вы можете не дать, — говорит Микола, — а того, что у меня в сердце, вы все равно отнять не сможете». Повернулся и пошел. Свирид Карпович постарался, вызвали Гаину Константиновну в район. «Вы должны педагогически повлиять на этого ученика, потому что через вас позор на все наше образование. Неужели вы в самом деле решили женить на себе десятиклассника?» — «Я ничего не решала, — говорит Гаина Константиновна, — я не хуже вас знаю, что Микола еще мальчик, но запрещать ему любить меня я не могу и не буду. Все это пройдет, даст бог, а не пройдет — значит, такая наша судьба». Ну, ей и устроили судьбу. Немедленно сняли с директорства и оставили простой учительницей математики в том же селе и в той же школе. «Ну и пускай», — говорит она, а Микола ходит к ней и в дождь и в снег...

— Чем же она его взяла? — спросил я, чтобы хоть что-нибудь спросить. — Красивая очень?

— В том-то и дело, что ничего красивого в ней нет! — крикнул шофер, азартно двигаясь на сиденье. — Маленькая, худенькая, черненькая... Только глаза, как две фары на лице, так и горят — ночью газету читать можно!

Довольный своим сравнением, он покрутил головой, поправил кепку, зачем-то сдвинутую козырьком на затылок, и продолжал:

— Кончили мы школу, медали Микола, конечно, не увидел, в армию его не взяли из-за ноги, он кинулся туда-сюда искать работу — нужно ведь и мать кормить, сколько можно на пенсию жить? Брался он за все, но ведь без квалификации теперь не очень наработаешь, вот он пристал к киномеханике, ездил с передвижкой, сначала на полставки, а потом взяли его таки на полную ставку, там он работает и теперь. А к Гаине Константиновне, куда бы ни ехал, а заедет, и она, как только в район,

так к ним, с матерью его подружилась, у них, бывало, и ночует, ну просто скандальная история... Надо вам сказать, что до всего этого на Миколу девушки не обращали никакого внимания. Мало ли что он там первый ученик, а все-таки нога... А тут как с ума посходили — герой! Особенно Людочка — дочка председателя райисполкома, она вместе с нами училась, — всех парней поразгоняла, сохнет по Миколе, вот-вот помрет. Я как раз пришел из армии, услышал об этом, специально пришел к нему. «Дурень ты, — гсворю, — Микола, первый дурень на весь район! Это ж тебе счастье само в руки лезет. Брось ты свою Гаину Константиновну, бери Людочку — чего тебе еще хотеть?» А он смотрит мне прямо в глаза и говорит: «Мне ничего не нужно, я свое счастье сам знаю, никогда я не покину человека, который так перестрадал из-за меня». «А ты из-за нее не перестрадал? Ну поигралась она с тобой, пускай скажет спасибо, — что ж ты, в самом деле, должен чужих детей кормить?» Он как вскочит: да как влепит мне в ухо, так, верите, я аж закачался... Три месяца я с ним не разговаривал, а потом пересердился — что ты с дурня возьмешь?

А что он дурень, это уж Микола доказал окончательно. Заболела Поля, дочка Гаины Константиновны, и не просто заболела, а оказалось, что менингит. Мало того, что Микола сам не отходил от девочки, — мать переселил к Гаине Константиновне, все, что было в хате, продал, ездил в Киев доставать лекарства, возил врачей, извелся весь, исхудал, ходит зимой в каком-то пиджачке на рыбьем меху, а девочку на ноги поставил. Ну, разумный человек снял бы тут шапку и сказал: теперь между нами долгов нет, Гаина Константиновна, на том и будьте здоровы. Но оказалось, что Поля осталась на всю жизнь неполноценной идиоткой. Не знаю, было ли что-нибудь у них до тех пор с Гаиной Константиновной, но только после этого наш Микола приходит с ней в район и — прямо в загс. Вы знаете, Первого мая на улице столько народу не было, как в тот день собралось у загса... Они вышли, будто так и полагается. Гаина Константиновна улыбается, он ведет ее под руку, а народ гудит, народ волнуется, кто смеется, кто вслух разные слова высказывает. Тут как раз ударил дождь, они пешком пошли по такой погоде в Ольховатку, а он, как и теперь вот, без шапки, не знаю, как они уж дошли, но на этом еще не конец.

Объявился бывший муж Гаины Константиновны. Солидный мужчина, где-то он по линии образования в области работал, и, когда дошли до него слухи, что Гаина Константиновна таки вышла замуж, приехал в наш район и — прямо в Ольховатку. Не знаю, какой там был между ними разговор, но видел собственными глазами, как они втроем сидели в нашем ресторане и говорили между собой, будто ничего не случилось, выпили мирно бутылку вина, а уже около машины, когда прощались, — тут я не утерпел и подошел послушать. «Благодарим, Федор Гаврилович, — говорит Микола, — ни мне, ни Гаине Константиновне ничего от вас не нужно, и о Поле не беспокойтесь — все, что в моих силах будет, я буду для нее делать...» Федор Гаврилович жмет Миколу руку и говорит, это я сам слышал: «Вы благородный человек, Николай Иванович, я очень рад, что Гаина нашла с вами счастье...» Ну, это он так говорит, а я знаю, что в голове у него другое: послал бог дурня моим деткам за отца... Сделал из машины ручкой — только они его и видели.

И что ж вы думаете, успокоился Микола на этом? «Не может быть, — говорит, — чтоб советская медицина не имела средств окончательно вылечить Полечку!» Гаина Константиновна математику преподает, Миколина мать в огороде возится, а он читает медицинские журналы, пишет

письма всем знаменитым врачам, просит совета, что делать с Полечкой. Ну надо же такую заботу взвалить себе на шею? А к тому же на нем еще и кинопередвижка, это ж надо по селам поездить, да еще поступил он заочником в Политехнический институт, задания ему идут, когда тут будешь готовиться к сессии? Разорваться можно! И вдруг приходит из Москвы, из какой-то клиники, письмо — привозите Полечку. Гаина Константиновна, может, и поехала бы, да как раз срок ей пришел — легла в больницу и принесла двойню. Везет же человеку, а? Микола ног под собой от счастья не слышит, записал близнецов, да автобусом в Киев, да на поезд, да в Москву. Через неделю вернулся. Полечка осталась в клинике, и, верьте не верьте, продержали ее там почти год — ну, вы скажите мне, зачем на идиотов столько средств государство тратит? — а через год Микола привез ее в Ольховатку совсем здоровой. Ну, может, остался у нее какой дефект, это трудно сказать, но с виду вполне нормальный ребенок.

Гаина Константиновна на Миколу молится, Микола сдает экзамен за третий курс, дети растут, все уже в районе давно успокоилось, перестали про них говорить. Ну и живите себе, люди добрые, тихонечко-легонечко, без прецедентов, — сколько ж можно весь район баламутить? Надо ж и себе и людям покой дать. Так с неделю тому приходит ко мне Микола и просит перевезти ему тещу в Ольховатку. Какую тещу? Разве у тебя есть теща? «Есть, — говорит, — бывшая свекровь Гаины Константиновны, старая женщина, лежит больная, без присмотра, все про нее забыли...» — «А кто же должен помнить?» — «Помнить должен Федор Гаврилович, первый муж Гаины Константиновны, да у него и так много забот, человек на ответственной работе...» — «Ну, — говорю, — сколько б ни было у него забот, но она ж ему мать!» — «В том-то и дело, — говорит, — что не мать, а мачеха, и жили они не очень мирно между собой...» — «Ну, а ты тут при чем? Какое тебе дело до чужой мачехи? Что тебе, чужое горе допекает? Закрой глаза да иди себе своей дорогой». — «Если бы, — говорит, — все так думали, мир давно провалился бы!» Ну, не дурные? Пришлось пообещать, что перевезу, все ж таки вместе школу кончали, и денег я с него не возьму, поставит поллитра, и будем квиты...

Через три дня на той же машине, с тем же шофером я возвращался домой. Мы выехали из райцентра раным-рано. Накануне выпал дождь, выбоины на грейдере залило водой, ехать было тяжело, зато придорожные поля радовали глаз свежей зеленой щеткой озимых. Шофер опять рассказывал мне какую-то историю. Вдруг он оборвал на полуслове. Навстречу нам по узенькой тропинке над дорогой шел киномеханик. Он был, как и прошлый раз, в синем комбинезоне, без шапки, но уже не один. Впереди него как-то несмело шла маленькая женщина в пиджаке мужского покроя. Красивые каштановые волосы, не прикрытые платком, словно короткую волну, относило легким утренним ветром ей за плечи. Увидев машину, киномеханик и его жена остановились. Недовольно бормоча что-то под нос, шофер выключил скорость и притормозил.

— А мы тебя ждали, — не сходя с тропинки, чтобы не ступить в грязь, сказал Микола.

— Ты знаешь, какая шоферская работа, — начал объяснять шофер, — думаешь одно, а зависишь от начальства...

— Когда же теперь тебя ждать?

Пока они уговаривались, я осторожно смотрел на Гаину Константиновну — она выглядывала из-за Миколиного широкого плеча, словно из-за надежной, крепкой стены. Зря говорил шофер, что она некрасивая.

Правда, лицо у нее было не из тех ярких женских лиц, что сразу привлекают к себе внимание. Скорее светлые, чем темные волосы обрамляли ее высокий чистый лоб — откуда шоферу пришло в голову, что она черная? А главное, глаза — они смотрели так открыто, так пристально и искренне, что казалось, от их темно-серой глубины ничто не могло укрыться. Они словно обнимали мир, полные доброжелательности и еле уловимой печали, от которой никогда не защищена человеческая любовь... Глаза Гаины Константиновны излучали любовь и ласку. Глядя на нее и на ее мужа, я невольно подумал, что хорошо им идти по одной тропе, — такая сила спокойного и верного чувства светилась на их лицах...

Шофер включил мотор. Они махнули на прощание рукой и, не глянув на меня, пошли своим путем.

Перевела с украинского А. Громова.



АЛЕКСЕЙ МАШКОВ

★

КРАЙ НЕХОЖЕНЫЙ

РЕЧОНКА

В ней достанешь ногой до дна,
И ее перепрыгнуть можно.
Дорости до реки она
Не смогла в берегах таежных.

Но зато ни одна река
Не сравнится с ее теченьем;
К морю мчится издалека
В незатейливой рыхлой пене.

Там, где выдался гор отрог,
Повернула круто в сторонку, —
Будто кто-то в бараний рог
Попытался согнуть речонку.

Изворотлива, озорна,
По дремучей тайге с прискоком
Вновь бежит и бежит она
К той же самой цели далекой.

И твердит на бегу взახлеб,
То валун задев, то корягу
— Не осилишь преграду «в лоб» —
Обойди, но назад — ни шагу!

ЗАПОЛЯРНЫЙ ДОЖДЬ

Налетевшая с шумом гулким
Туча дыбится в вышине,
Будто это в огромной бурке
Всадник вылетел на коне.

Капли — брызгами водопада,
Ветер яростный — ходуном.
...Дождь умолк.
Тишина.
Прохлада.
И так молодо все кругом!

Окна — настезь!
 И сердце — настезь!
 Воздух свежестью напоён.
 С нашей дружбой
 И с нашим счастьем
 Породился навеки он!

ЕСЛИ ЛЮБИШЬ

Сопки с елями пьют по-свойски
 Холодка ночного настой,
 И, как звезды, мерцают блёстки
 Августовской росы густой.

Приутихли речные плёсы,
 И по ним, неглубоким, вброд,
 Раскудлатый, седоволосый,
 Вперевалку туман бредет.

Задушевный напев трехрядки
 Манит к речке на бережок.
 И выходишь ты из палатки,
 Хоть и плечи усталость жжет.

Ночь цветами, смолой духмяна,
 Льнет тропинка к ногам твоим.
 И ни темени, ни тумана,
 Если любишь и сам любим!

ОЛЕНЬ

Вблизи опушки — небольшой пригорок,
 И по нему олень бродил с утра.
 Рога покачивались между елок
 Дымками догоревшего костра.

Хотелось разглядеть его поближе,
 Он только был по книгам нам знаком.
 И, наши поторапливая лыжи,
 Ему навстречу мы пошли гуськом.

Сперва олень застыл оцепенело,
 Потом рогами вдруг потрянул со зла,
 И в чашу вековую полетел он,
 Как пушенная прашуром стрела!

Смоленск.



ВЛАДИМИР КОРОТКЕВИЧ

★

ЗАЯЦ ВАРИТ ПИВО

Туман с низин ползет лениво
Над нивой голой и пустой.
«Смотрите, заяц варит пиво», —
Так люди шутят меж собой.

А мне и впрямь, пожалуй, видно,
Как он хлопочет у огня,
Трегубый, серый, безобидный,
Над варевом из ячменя.

Береста искрами стреляет,
А он приладил котелок,
Присел и щепкою мешает,
Отведав, сплевывает вбок.

Уж он-то пиво сварит густо.
Его закуска — бурачок,
Травинки, заячья капуста,
Прогорклых веточек пучок.

Хлебнут по маленькой с зайчихой,
Немножко деткам поднесут,
С оглядкой, тоненько и тихо —
«Цвела морковка» — заведут.

Увидишь — спугивать не надо
Ушастого с его семьей.
Должна же быть у зайца радость
Перед суровою зимой.

*Перевел с белорусского
Яков Хелемский.*



А. МАРЬЯМОВ

★

ИДЕМ НА ВОСТОК*

Вечер в Речной

1. Кузин едет в Тад-Ягу

До поселка геологов мы с Кузиным добрались уже под конец рабочего дня.

Я ожидал увидеть новостройку: первые дома из свежего теса рядом с палаточным городком,— так это обычно здесь выглядит.

Но поселок в Речной оказался совсем не таким.

Вездеход отгромыхал пять часов по тундре и выскочил из болотного бездорожья на короткий, с километр, отрезок шоссе, мощенного щебенкой.

— Вот здесь и вертолет садится,— показал водитель туда, где шоссе обрывалось перед небольшой котловинкой, до краев наполненной стоялой водой.

Где-то рядом свистнул паровоз.

Это было так неожиданно, что показалось звуковым миражем. Но невдалеке в самом деле проползла маленькая дряхлая «овечка», таща за собой несколько груженых лесом и углем платформ.

— Ветка сюда подходит,— снова пояснил водитель.

Я видел устои недостроенного моста в Салехарде, знал, что в Лабытнангах кончается недавно сооруженная железная дорога. Она сворачивает туда от станции Сейда, не доезжая Воркуты...

Тут я вдруг ухватил то, что никак не давалось мне сегодня, что вспоминалось и не могло припомниться с той самой минуты, как я услышал здесь это непривычно звучащее название: «Лабытнанги».

Как-то в Москве, на перроне Северного вокзала, проносясь с воскресной дачной толпой к пригородной электричке, я увидел чинный дальний поезд и автоматически прочитал на бегу табличку одного из вагонов: «Москва — Лабытнанги».

Название было незнакомое и чудное. Я подумал, что ошибся второпях, но странное слово угодило в ритм тронувшейся электрички, оно не отставало и ускорялось: ла-быт-нан-ги, ла-быт-нан-ги... И это было похоже на имя индейского племени из старой детской книжки: где-нибудь в майн-ридовских жарких пампасах воинственные лабытнанги в уборах из ярких перьев могли кидать лассо, гоняясь за дикими мустангами...

Теперь пестрая картинка, возникшая когда-то в воображении, казалась убогой.

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 6 с. г.

Строить здесь железную дорогу — это не мустангов ловить!

Зимой — трехмесячная безрассветная ночь.

В небе — блуждающие зеленые отсветы; призрачная и тревожная игра северного сияния. Метет, завиваясь по небу, разгораясь багряно и синевато, снова оставляя над тобой только слабый зеленый и пронзительно зеленый туман, и опять вспыхивая и падая к земле многоцветным дождем света, который не светит, и огня, который не греет, падает и не долетает донизу, повисает вьющейся, словно ветром взметаемой, полыхающей бахромчатой занавеской. Недаром северянин назвал сполохами эту все еще до конца не разгаданную игру света в полярном небе: она полошит сердце.

Говорят: сполохи — к морозу.

Но вот и ночь кончится и сполохи погаснут, а все кажется жестким от мороза самый воздух, словно ударяешься об него лицом, обжигаясь. Метет пурга, заметает все, что сделано накануне. Сперва расчищай, потом двигай дальше. Звенит ковш экскаватора, ударяя в мерзлый грунт, неподатливый, как металл.

«Двенадцать месяцев зима, остальное — лето», — усмехается здешняя поговорка.

Но это не так. Есть и лето.

Вот оно, сейчас, это лето.

Кружит у горизонта незакатное солнце. Оттаивает с самого верха, превращаясь в топь, тундровая вечная мерзлота. Торопливо растет трава. Торопливо цветут жалостно-милые нежно-розовые и блекло-синие цветы. Торопливо хлопочет тихая птичка — пуночка. В одну ночь вырастают — над сивым оленьим мхом, над крохотной, стелющейся, битой морозным ветром полярной березкой — огромные подберезовики и красноголовые подосиновики. И нигде, кроме как на Севере, не увидишь такого неба, с его ясной, студеной чистотой; с зеленоватой, как у рассветной весенней воды, глубиной; с царским багрецом и охрой неугасимой зари, разметанной по краю, там, где сходятся, не сходясь, небо с землей и где дымчато синеют невысокие зубы Полярного Урала — древний Камень новгородцев, Пай-Хой ненцев оленеводов.

Навсегда может приворожить к себе человека эта неброская, скромнучая прелесть северного лета, хоть она и не легка тому, кто пришел сюда не глядеть, а трудиться.

Шпалы, положенные зимой, может засосать болотная тундра: бывает, летом нужно заново переложить километры пути. Дом, который ты построил, отогрел под собой мерзлоту; фундамент заколебался в зыбкой почве, треснули стены — чини теперь, укрепляй, перестраивай.

Да и в тихом воздухе вьется не только безобидная пуночка. Звенит свирепый, как тигр, комар. Серым облаком висит мошкара; облако кажется неподвижным, но куда бы ни двинулся ты, как бы ни пробовал от него отвязаться, оно остается с тобой, вокруг тебя, беззвучное, всепроникающее, покалывающее, почесывающее, досаждающее все пуше и пуше. Ты сгребашь мошкуру ладонью с лица, досташь из ушей, из-за воротника; если ты не в сапогах, а в ботинках, она умудрится пролезть в дырочки для шнурков и нажечь ноги. Ты пробуешь мазаться диметилфталатом — облако мошкары висит теперь малость подалее; оно будто ждет, будто знает, что острый, отталкивающий запах твоего хитрого снадобья не вечен; но зато теперь сама антикомариная жижа ползет тебе в глаза, шиплет, горчит во рту... Есть еще накомарник. Но долго ли можно смотреть на свет сквозь его частую, черную, к тому же еще густо облепленную мошкарой сетку? Черт с ним! Пусть обсядет мошкара. Есть для нее самое верное слово: «гноус»;

гнус — вот это уж точно. Но в конце концов можно и к гнусу привыкнуть...

И ты работаешь.

Работаешь в пургу и в мороз.

Ходишь по болотам.

Смахиваешь с лица полные пригоршни черной давленной мошкары и делаешь свое дело.

И вот как раз тогда, когда и бороться против гнуса тебе надоело, когда ты привык укладываться и засыпать при незаходящем солнце, а зимой делить сутки на «день» и «ночь», невзирая на постоянную темноту, прерываемую лишь коротким багровым рассветом, в котором сливаются в одно утренняя заря с вечерней, а солнце так и не успевает взойти; когда вместе с другими старожилками ты усвоил ироническую формулу «двенадцать месяцев зима, остальное — лето», — вот тут-то именно и начинаешь ты ощущать, что от Севера тебе уже не уйти никуда, что ты, как говорится, привязался к нему сердцем и навсегда останешься благодарен ему за то, что здесь, как нигде, так часто и так полно ты чувствовал свою силу и, испытывая себя трудом, имел право оставаться довольным собой.

А откуда же узнаёт здесь человек это счастливое право — быть собой довольным, не хватая, но работая еще более споро и не впадая в отупляющее и ленивое самодовольство?

Оно рождается, это право, от ощущения того, что тобой довольны другие.

Здесь, на Севере, чувство единого дружного коллектива развито необычайно сильно. Взаимная приглядка, проверка не нарочиты, не навязчивы. Но тот, кто попытался бы здесь «прожить зайчиком», переключив свою работу на чужие плечи, подлизываясь к одним и пренебрегая другими, склочничая и ссорясь, — такой индивидуум окажется естественно извергнутым из коллектива. Он вынужден будет уйти. А тот, кто остается, — тот полюбит Север навсегда, верно и благодарно. Тот, кто жил и работал хотя бы и здесь, куда нас с Геннадием Кузиным привез теперь вездеход из Лабытнангов, всегда будет помнить, что вот он построил железную дорогу там, где никто и никогда прежде не строил железных дорог.

Было трудно?

Да, было.

Но теперь об этом очень приятно вспомнить. И когда вспоминаешь, то чуточку нравишься себе — тот, тогдашний, который зимою вылезал из спального мешка в выстуженном бараке, умывался снегом, обжигался о железный рельс, сгружая его с пятитонки на морозе, разметал высокий сугроб у дверей, следил за игрою сполохов, летом не обращал внимания на мошкарку...

Нынче здесь кричит «овечка». Идут платформы с углем и лесом. Нынче здесь обыкновенная цивилизованная жизнь, штабные тылы наступления, и, чтобы снова испытать эту чистую радость наступления и победы, надо уходить дальше, на новую «передовую».

«Острым и скудным» назвал здешнее житие человек проезжий, случайный на здешней земле.

Урожденный северянин Михайло Ломоносов словно спорил с ним, сопоставляя лет тридцать спустя север и юг в зазорном двустии. Он считал, что юг человеку вреднее:

Лишает долгой зной здоровья и ума;
А стужа в севере ничтожит вред сама.

Те, кто проложил здесь рельсы и ушел дальше в тундру, согласны с Ломоносовым. Когда они повторяют приезжим южанам свое «двенадцать месяцев зима», прислушайтесь-ка — вы услышите не жалобу, а такой даже вызов: «Мы-то, мол, хлебнули, и ничего. А ты — попробуй! Выдюжишь?»

...Вездеход въехал в Речную.

Геологам здесь передали старый поселок строителей железной дороги.

Иные домики пришли уже в ветхость и стоят заколоченные, покосившиеся. Другие подновлены, свежезалатаны и заселены.

На улице много ребят.

Вездеход останавливается у одноэтажного дома, обшитого тесом.

На крыльце покуривают люди.

По сторонам крыльца — клумбы, на которых попробовали, но так и не стали расти сгоряча посаженные, а потом никем не ухоженные цветы, те, что цветут сухим желтым огоньком и на юге называются «ноготками».

— Вот она, контора,— сказал водитель.

Мы вышли, вездеход укатил, и оглушающий его треск сменился стуком и шорханьем работающего где-то близко движка. Свет здесь сейчас никому не нужен: солнце исправно работает круглые сутки. Значит, движок то ли качает воду, то ли работает на какую-нибудь мастерскую.

Контора была как контора.

Треск арифмометров из-за закрытых дверей. Хлопотливые девушки. В комнате, куда мы с Кузиным сунулись, чтобы узнать, где сидит начальник,— спор двух юных бородачей в зеленых штормовках с откиннутыми на спину капюшонами.

— Про эти консервы ты забудь. Они у меня сегодня вертолетом уйдут. На Тад-Яге ребята на одних сухарях четвертый день сидят. Все погоды не было.

— Ну да,— яростно атаковал второй бородач.— А я уезжал, так у нас и сухарей не оставалось. Яблочный компот да греча. Пробовал ты компот с гречей варить?!

Он даже задохнулся, представив себе такое блюдо.

На первого компот с гречей не произвел впечатления.

— Прилечу в гости, попробую,— неожиданно мирно сказал он.— А ты, между прочим, Песков, всегда прибудняешься. К грече у тебя, кроме компота, еще и шпиг есть. А завтра придет из Лабытнангов тушенка, придет хлеб, все получишь, что причитается...

Он заметил нас и объяснил, как пройти к начальнику.

Немолодая секретарша в такой же зеленой штормовке постукивала на портативной машинке в тесном предбанничке у дверей кабинета.

Самый кабинет оказался просторной — в четыре окна — невысокой горницей. Ачкасов выглядел так же молодо, как спорщики, что препирались из-за консервов. На вид ему можно было дать лет двадцать пять. Зеленую штормовку носил и он, но из-под нее виднелась свежая голубая сорочка с галстуком; лицо его было свежeweбрито.

Широкий, дощатый, без ящиков, стол его был удобен для работы. На тщательно выглаженной рубанком некрашеной крышке высокой стопкой лежали книги. Потом, пока Ачкасов говорил с Кузиным, у меня было время взглянуть на корешки. Тут лежали общие работы по геологии, петрографии и материалы об исследованиях Северного Урала; книги были подобраны не случайно, и меж страниц торчали закладки...

К столу Ачкасова ребром приставлены еще три — поменьше. Они составлены так, как принято ставить столы для совещаний; вдоль них — две длинные, тоже некрашенные лавки.

На лавках сидели еще три бородача в штормовках. Они «поднима-ли» геологическую карту, заштриховывая цветными карандашами готовые контуры Заполярного Приуралья, и это занятие придавало ачкасовскому кабинету сходство с полевым штабом. Кроме того, присутствие сосредоточенных и молчаливых бородачей говорило о том, что хозяин горницы не ищет в своих делах уединенной конфиденции.

Мы познакомились.

Кузину Ачкасов сказал:

— Как же, ждали!

И занялся устройством его дел.

Вот теперь-то я и смог заняться разглядыванием книжных корешков, исподволь прислушиваясь к беседе и наблюдая за Ачкасовым.

Пожалуй, он был не так молод, как показалось сначала. Маленького роста, но широкой кости, он был подвижен и кругл. Живая подвижность придавала ему молодой вид. Но лицо усталое; под глазами — мешочки, по мешочкам — морщинки...

Первые вопросы он задал, обращаясь к Кузину на вы: как, мол, добрались, как дорога и не собирается ли уже Кузин в обратный путь?

Этот последний вопрос был задан шутливо, но не только шутка слышалась за ним. Видно, нередко случалось здесь, что человек придет, оглядится и начинает помалу ладиться восвосяи.

Люди здесь нужны.

Но нужда в людях, как говорил Иван Никитич и как показывал нынешний разговор, перешла теперь в иное, более высокое качество, чем это может представляться людям, думающим о Севере по старинке.

Дело обстояло именно так, как объясняли нам в Москве товарищи, которые занимаются набором и переселением рабочих.

В Речной, как и всюду на Севере, было бы весьма затруднительно отыскать свободное штатное место не только для человека, вовсе не обладающего какой-либо специальностью. Нужды в «людях вообще» экспедиция не испытала с самых первых дней своего существования; такое явление могло быть в здешних широтах разве лишь в начале тридцатых годов и давно уже всеми позабыто. Большинство штатных мест в экспедиции укомплектовано специалистами разного рода, да и обширный поселок основательно перенаселен. Сейчас нужны здесь строители. Впрочем, Ачкасов слишком хорошо знает, что в этом он не одинок: строители требуются нынче на всех широтах нашей земли. С нетерпением ожидали здесь Кузина: без водителей (а водитель тут непременно должен быть опытным и очень умелым) простаивают два вездехода в геологических партиях и несколько грузовиков на главной базе.

Беседа с Кузиным, Ачкасов размышлял, что оставлять нового водителя на базе, в Речной, сейчас трудновато.

Мест не хватает даже в общежитиях.

К приезжему Ачкасов приглядывался с живым интересом: как будет Кузин реагировать на рассказы о предстоящих ему — неизбежных поначалу — житейских неудобствах? С чем приехал этот человек на Север? Чего он здесь ищет? Оба прощупывали друг друга. И каждый, исподволь направляя беседу по нужному ему руслу, добивался от собеседника прямоты и полной искренности. Большого труда на это не понадобилось:

стоило задать нужный вопрос — и ответ давался быстро, кратко и с недвусмысленной ясностью.

Я невольно слушал эту беседу, но думал о своем.

Человек везде может жить так, как он хочет жить. Точнее — так, как умеет он оборудовать свою жизнь.

Кого из нас не потрясали описания трудного аляскинского быта в северных рассказах Джека Лондона? И жестокость морозов, и сводящее с ума «белое безмолвие», и одинокие — на грани смерти — скитания в бескрайности снежных просторов.

Но пробовали ли вы, читая эти рассказы, взглянуть на географическую карту? Ведь описанные события происходят-то на той же примерно широте, на какой у нас стоит Архангельск. Или Котлас. Или другие, такие же старые, издревле обжитые и никого не отпугивающие города.

А, ужасаясь свирепости холода, вспоминали ли вы, что термометр, на который глядят лондоновские герои, разграфлен по системе Фаренгейта? Переведите-ка пугающие вас градусы в привычные мерки Цельсия, и окажется, что при таком морозе у нас даже школьные занятия не отменяются, и сельские ребятишки бодро бегут с сумками за несколько километров, перебрасываясь в пути снежками.

Трудные тропы? Но ведь видели же мы не только с земли, но и с высоты полета, — когда в тундровом бездорожье можешь сразу глазом увидеть весь многодневный путь со всеми его препятствиями, которые нужно здесь одолевать человеку, — как прочно стоит на таком бездорожье жилая изба!

Значит, дело не в высоких широтах, не в жестоких морозах, не в трудности скитаний.

Дело в ощущении отъединенности. Именно оно, это ощущение, делает нестерпимой не такую уж сильную стужу и неодолимым не самый тяжелый путь.

Человеку трудно, когда он остается один.

Более того, оставаясь один, он перестает быть человеком. Одинокого ведет не сила духа, а сила инстинкта.

Робинзону необходим Пятница.

До появления Пятницы Робинзон находил выброшенные морем подарки, прятался от зверей, инстинктивно берегся от смерти, но еще не совершал подвига. Его подвиг начинается после встречи с Пятницей — потому что только с этого момента он от существования возвращается к жизни. Присутствие другого человека сообщает проступкам Робинзона сознательную, одухотворенную целеустремленность.

Кстати, у прототипа, чьим подлинным приключением воспользовался для своей книги Дефо, — у матроса Александра Селкирка — товарища не оказалось. Селкирк действительно был выброшен на совершенно необитаемый остров. И он возвратился оттуда психически раздавленным, навсегда потеряв свое место в жизни. Для того чтобы сделать одинокого моряка, потерпевшего кораблекрушение и предоставленного самому себе, литературным героем (то есть не просто описать незаурядное приключение, но и показать подвиг человеческого духа), Дефо расширил и населил остров и дал матросу не только врагов, но и друга.

Если бы рассказ о Мересьеве ограничивался описанием того, как тяжело раненный летчик пробирается через лес, долго и трудно преодолевая физические страдания и борясь со смертью, — такой рассказ излагал бы только приключение; повесть о торжестве духа, о вдохновляющей

и всепобеждающей силе высокой идеи начинается со встречи летчика Алексея Мересьева с товарищами по госпитальной палате, с полковым комиссаром Семеном Воробьевым...

Есть два слова, которые звучат похоже, но обозначают понятия, совершенно противоположные: подвиг и подвижничество.

Сравним любой известный нам подвиг с подвижничеством столпников и молчалников, чьи жития рассказаны в четьих минеях.

Вспомним самое известное.

Подвиг Николая Островского — это преодоление смерти во имя того, чтобы остаться включенным в коллектив и продолжать приносить ему пользу.

Подвиг Александра Матросова — это презрение к смерти во имя жизни и победы идущих рядом, во имя торжества общего дела.

И прежде всего всякий подвиг — это деяние.

Подвижничество схимника, который при жизни ложится в гроб и отказывается от общения с другими людьми, — не деяние, не поступок, а, напротив, намеренное самоотключение даже и от мысли о возможности совершать какие-либо поступки. Здесь торжествует не сила духа, но покорность и слабодушие, доведенные до крайнего своего предела. Это, так сказать, искусственный паралич, добровольная духовная смерть, опережающая смерть физическую...

Север ждет не подвижничества, а подвига — щедрого деяния и немелкого, как на всякой целине, труда. Работы здесь не убавилось. Напротив, ее стало больше. Она открывается человеку везде — там, куда собираются разведчики, и там, где они уже прошли. Этот нынешний Север романтичен, как никогда, хотя он и перестал быть краем той наивной романтики, которая здесь искала робинзонад.

Чувство отъединенности, оторванности исчезло не только у людей, живущих в самых отдаленных поселках материка, но даже и в лагерях полярников на дрейфующих океанских льдинах. Радио доносит родные голоса за тысячи километров. Авиация сократила дорогу от заполярных льдов к черноморским пляжам до считанных часов.

И люди на Север уже не вербуются, а переселяются — в порядке организованного набора.

Различие тут не в словах, а в коренной сути.

Сибирь знала переселение давно.

Происходило оно по-всякому. Но мы еще побываем в районах только что поднятой целины и сами увидим, чем отличается недавний новосел целинного совхоза от курского, полтавского, саратовского переселенца, что отправлялся в Сибирь шесть-семь десятков лет тому назад.

Переселение же на Крайний Север происходит в таких масштабах и в таких формах впервые.

— Жить можно, — говорит заполярный Адам своей Еве и везет ее в уже обогретый им рай, куда яблоки доставляются преимущественно в консервах, но зато и не приносят с собой библейских двусмысленных сложностей...

Вот и Ачкасов у Кузина спрашивает первым делом:

— Женат?

Кузин почему-то смущается и качает головой.

— Не успел.

— А собирался? — настаивает Ачкасов.

— Да вроде пока и не собирался...

Ачкасов улыбается одними губами — глаза сосредоточенны и серьезны — и деловито отмечает:

— Значит, здесь придется женить.

Эта сторона биографии нового водителя занимает его неспроста: женатый прочнее осядет; холостяк может отбиться от рук — затянут в компанию какие-нибудь бузотеры, замутят парня, потом возись...

А Кузин, видно, Ачкасову понравился — и по разговору и по бумажкам, которые Геннадий добыл из кармана гимнастерки, заколотого английской булавкой, а Ачкасов проглядел с привычной беглой внимательностью. И именно оттого, что новый водитель (без которого уже второй месяц простаивает вездеход в семнадцатой партии, и с нею можно пообщаться только при помощи вертолета) понравился Ачкасову, он естественно, без нарочитого наигрыша, без игры в напускной демократизм, стал обращаться к Кузину уже не на вы, а на ты.

Кузин, естественно, продолжал отвечать Ачкасову, обращаясь на вы, но я чувствовал, что разговор греет Геннадия: ему стало теплее и проще.

Чужая беседа текла своим путем; у меня все еще оставалось время отвлекаться мыслями в сторону, и мне вспомнилось, что у такого одностороннего «ты» есть свои противники.

Не думаю, однако, чтобы они были правы и чтобы их обобщенные умствования о «крепостнических пережитках», якобы за этой формой взаимодействия скрывающихся, смогли искусственно искоренить старый обычай, родившийся в крестьянской семье, а вовсе не на помещицьем дворе. Неприятной такая форма становится только тогда, когда она нарочита, — как неприятно, впрочем, все нарочитое. Отвратительно такое «ты», когда избалованный и развязный городской подросток обращает его, скажем, к пожилому шоферу, обслуживающему его отца на казенной машине. Но это уже совсем другое.

Вообще же это одностороннее «ты» — сугубо индивидуальная краска в языке. Одному можно: у него эта краска естественно вяжется с характером, дорисовывает его; другому никак нельзя: краска кричит и раздражает.

Вероятно, со временем такая форма исчезнет сама собою. Но радоваться этому не стоит. Не «пережиток» исчезнет с нею, но лишь еще один самобытный оттенок речи, которая с течением времени остругивается, заглаживается, теряет выразительность и гибкость.

Мы нередко забываем корни слов и первородное их значение.

Бывает, удивисься, встретив в старой книге замечание о каком-либо человеке, что тот, мол, «кнейстовою злостью надмен был».

Слово «надменный» сохранило для нас лишь одно, вполне определенное значение. Но — быть надменным чем-либо? Приходится припоминать. Конечно же, ведь это старая совершенная форма глагола «надуть», наполнить. Значит, может быть и воздушный шар, надменный водородом, и человек, надменный злостью. И — вот оно, нынешнее единственное, а когда-то только переносное значение: человек вообще надменный, то есть *на д у т ы й* человек, как мы часто и говорим тоже.

Странно встретить в книге XVIII века и рассказ о человеке, который изумился, стал вследствие этого делать нелепые телодвижения и драться и был за свое изумление связан при помощи смирительной рубашки.

Для нас изумление — чувство безобидное.

Когда-то это слово в точности соответствовало прямому значению своих корней: человек из ума вышел — изумился.

Можно было удивиться до изумления. Это была гипербола.

Со временем к гиперболе от частого употребления настолько привыкли, что изумление вовсе перестало обозначать сумасшествие; оно осталось простым синонимом удивления...

Даже самые искренние поборники заботы о языке порой теряют ощущение сказанного ими или даже написанного слова.

Я знаю писателя, который, торопясь, говорит собеседнику, подвернувшись не вовремя:

— Бежать надо, потолкуем накоротке...

Но «накоротке» никогда не определяло по-русски понятия времени. Можно быть накоротке с кем-либо. Это равносильно выражению: «Иванов с Петровым — на короткой ноге...»

В пространной статье другого писателя, часто и верно напоминающего в своих выступлениях о том, как важно сберечь богатства народной речи, я прочитал как-то фразу: «Шлем древнего витязя вымер».

Автор хотел сказать, что нынче, мол, никто уже не носит таких шлемов, какие бывали у витязей в древности; предмета нет, а слово в речи осталось.

Мы говорим: «в лесу вымерли звери».

Мы можем сказать: «город вымер», подразумевая, что в городе, о котором говорится, вымерло все живое.

Так или иначе, «вымер» — всегда будет относиться непременно к живым существам, но не к вещи, не к неодушевленному предмету.

«Шлем вымер»? Но это вызывает лишь шутливые догадки о том, кем же мог быть населен древний шлем...

...Рядом идет и возвращает к себе чужой разговор.

— Придется тебя здесь женить, — сказал Кузину Ачкасов.

Тракторист, который должен стать водителем вездехода в той самой семнадцатой партии, что базируется на Тад-Яге и ждет вертолета со съестными припасами, все больше нравится начальнику экспедиции.

Есть у Кузина располагающая открытость. Сегодня на катере как легко разговорилась с ним Варвара Брагина! А ведь она не из тех, что запросто вступают в беседу с незнакомым попугачиком. Но там Кузин больше слушал, чем говорил. Да и я двое суток провел с ним вместе, но только теперь вместе с Ачкасовым узнал, что Кузин служил в танковой части и имеет значок отличника боевой подготовки. В Рязанской области — до военной службы и потом, после демобилизации, — он водил трактор в лугомелиоративной станции, в ЛМС.

— Похоже, — сказал он теперь, вспоминая, как пёр наш вездеход напрямик по болоту, ломая невысокий тундровый кустарник, приминая фиолетовые цветы морозики и со скрежетом выкарабкиваясь на берег из медленных неглубоких ручьев. — Вы в Мещере бывали?

Ачкасов с сожалением покачал головой.

— Не приходилось.

— Похоже, — уверенно повторил Кузин.

Он, конечно, говорил не о пейзаже.

Пейзаж здешних мест на мещерский не походил вовсе.

Но Кузин видел, как ведут себя гусеницы вездехода на нашем пути, приглядываясь к водителю, припомнил свои мещерские рейсы — как рубил он там фашинник, еще и еще подбрасывая ветки под гусеницы в жидкую грязь, — и успел сказать себе, что здесь, пожалуй, будет не труднее: похоже. Там тоже случилось попотеть...

Почему он решил бросить насиженное гнездо и подаваться за тридевять земель?

— Очень просто, — с той же готовностью объяснил Кузин. — Газеты читал. Воевать не пришлось мне, а попробовать себя интересно. Вот и решил.

Ачкасов усмехнулся.

— Ну, а там работал — разве себя не пробовал?

— Там привык. Очень обыкновенно казалось.

— Здесь поживешь, тоже обыкновенно покажется. Тогда что?

Теперь Ачкасов стал серьезен, а Кузин отвечал с понимающей улыбкой. Верно. Вот и дорога показалась похожей, и этот первый разговор о будущей работе тоже шел так, будто никуда он далеко не уезжал, а просто из одной ЛМС переходил работать в другую. Ехал удивляться; думал сразу увидеть непохожую жизнь, особенных людей, а пока все было обыкновенно. Только солнце не зашло ночью, и будто тянулся от самой Тюмени один нескончаемый день...

Но Кузин сказал:

— Про это загадывать рано.

Ачкасов рассказал ему про Тад-Ягу.

Несмотря на то, что, ожидая приезда новых рабочих, Ачкасов любил себе представлять их обстоятельными, прочно оседающими семейными людьми, он испытывал теперь облегчение от того, что Кузин оказался холостяком. Жену в Тад-Ягу не пошлешь. Наверно, и муж попытался бы отвертеться, пристроиться здесь, на главной базе. И, конечно, семейному подавай отдельную квартиру, ну хоть комнату, а где ее взять? Экспедиция достраивает два дома: в одном четыре квартиры, в другом шесть. И Ачкасов уже сейчас ежится при мысли о том, как трудно будет выбрать, заселяя эти дома, десять, ну двенадцать, четырнадцать новоселов из тех девятнадцати отцов семейств, что маются сейчас по общежитиям, и которые все ему нужны, и каждый из которых твердо уверен в том, что именно для него работают сейчас и торопятся плотники, печники и водопроводчики. И жены у всех прикидывают, куда лучше ехать за новой мебелью — в Салехард или в Воркуту — и как эту мебель лучше расставить на новом месте...

Бородачи за длинным столом не поднимали голов от своих карт. Изредка они перешептывались, не поворачиваясь друг к другу и продолжая выхватывать цветные карандаши из плоских коробок. Фиолетовые и кроваво-красные линии ложились рядом волнистыми полосами; что-то желтело среди них и зеленело: схема застывшего кровообращения земли, след остановленного движения расплавленной магмы, вкрапления изверженных пород и изначальных химических элементов — анатомированное тело планеты.

Ачкасов подошел к двери и назвал секретарше какую-то фамилию.

В его движениях, в том, как он отложил бумаги, отставил кресло, снова взял его, возвратившись от двери, была та властная резковатость, какую мне случалось замечать именно у молодых администраторов. Здесь — след бессознательной игры, вошедшей в привычку, и вместе с тем сопротивление усталости. Движение становится резким, когда делаешь его через силу. Ачкасов мало спит. По глазам видно.

В кабинет пришел четвертый бородач, знакомый — тот, что не испугался компота с гречей.

— У вас вертолет в Тад-Ягу когда идет? — спросил Ачкасов.

— Сегодня хочу послать, Филипп Васильевич, — осторожно ответил бородач, очевидно привыкнув уже в свои молодые годы оставлять за собой лишь намерения, высказанные в предположительной форме, а право на решительную определенность резервировать за начальством.

Ачкасов кивнул одобрительно.

— Познакомьтесь, Сергей Ильич, — сказал он бородачу и представил ему Кузина.

Бородатый Сергей Ильич оказался заместителем Ачкасова по хозяйственной части.

Потом я узнал, что Сергею Ильичу двадцать шесть лет. Два года назад он окончил Геологический институт. В этой же экспедиции проходил практику на последних курсах; на полученном здесь материале делал дипломный проект; сюда же снова приехал, защитив свой диплом. Ачкасов узнал его, когда еще не был начальником. Они несколько раз оказывались вместе в дальних походах.

Однажды шли вдвоем по руслу горной реки.

Набрели на занятное обнажение пород, увлеклись, задержались дольше, чем рассчитывали.

После третьего внепланового дня Ачкасов вдруг вспомнил, что продукты у них давно должны бы кончиться, но Сергей с прежним спокойствием добывал из мешка и из карманов пачки пшеничного концентрата, гороховые супы, щедро пересыпанный табаком сахар. Он отделял чай от соли и посылал Ачкасова искать ветки для костра, успокоительно повторяя:

— Я запасливый. Еще на недельку хватит, а там, гляди, морощка поспеет. Прокормимся. Можешь быть спокоен, Филипп. Со мной не пропадешь.

Обнажение его тоже интересовало. Сергей лазил по отвесной скале, трудолюбиво отбивая пробы. Он каллиграфически делал надписи на аптечных пакетиках, в которые прятал мелкие находки. Чертил аккуратные планы. И, несмотря на все это, Ачкасов чувствовал, что истинное гордое удовлетворение Сергей испытывает не на скале, а когда сходятся они вечерами в усыпанной пепельным шифером котловинке, на берегу неширокого лопочущего потока — там, где расставлена их тесная, на двоих, палатка.

Сергей забирался в палатку, копошился у своего мешка и выходил, игриво вертя перед собой консервную банку.

— Чавыча в собственном соку. Имеются возражения?

Он был аккуратен. С крутого склона над палаткой узким белым языком стекал ледничок. Рядом лежал нетающий ослепительный снег. Каждое утро Сергей забирался туда и докрасна натирал снегом темное, загоревшее под северным солнцем тело. Однажды, когда Ачкасов дожидался его, думая, что пора все же сворачиваться и отправляться на базу, Сергей вернулся, жестоко растираясь полотенцем и сосредоточенно сказал:

— Послушай, Филипп. Ты на свой вкладыш когда-нибудь смотришь?

Вкладыш — белый чехол в спальном мешке. Простыня и пододеяльник, сшитые вместе, с прорезью, чтобы человек мог забраться внутрь. Ачкасов удивился вопросу.

— А что?

— Да то, что вкладыши у нас черные, как у попа ряса. Стираться пора!

— Ты тут в самом деле вековать собрался? — засмеялся Ачкасов. — Да без мыла какая стирка? У нас и для умывания-то обмылочек...

Сергей по обыкновению полез в мешок. Там нашелся и нераспечатанный кирпичик мыла.

— Знаешь, — восторженно сказал Филипп, — в тебе сидит прирожденный хозяйственник! Только как ты умудрился тащить все это на горбу за сто километров?!

— Я выносливый, — деловито объяснил Сергей. — Но и ты тащил тоже. Я ведь и в твой мешок кое-что подкинул...

Они шутливо поругались, потолкались плечами, как молодые медведи, норовя столкнуть один другого в ручей, и принялись стирать земля-

ничным мылом вкладыши из спальных мешков: вкладыши в самом деле успели заметно потемнеть.

Год спустя, когда Ачкасова назначили начальником экспедиции, он вспомнил этот поход и предложил Сергею идти к нему в заместители. Тот отнекивался, даже возмущался. Твердил, что диплом он защитил вовсе на другую тему; что прежний зам хоть и получил от геологов прозвание «Мурлетка», но с делом, мол, справлялся, как надо, и будет справляться не хуже... Наконец Сергей сказал, что при его характере ему с такой должности прямая дорога — в тюрьму.

— Ты такое слово — обэхаэс¹ — знаешь? — шел он на Филиппа.— Знаешь обэхаэс?!

Но разжалобить Ачкасова ему не удалось.

— «Дело пестрых» в кино смотрел,— сказал тот,— и Шейнина читал тоже... Дай бог, ближе мы с тобой никакого обэхаэса не узнаем. А что касается Мурлетки, то у него все в порядке, кроме одного: на геолога в поле ему решительно наплевать. А у тебя этого не будет.

Так Ачкасов нашел у Сергея нужную струнку, вовремя сыграл на ней, и тот согласился.

С тех пор они перешли на вы и стали называть друг друга по имени-отчеству даже с глазу на глаз. Это было одно из правил неписаного кодекса служебных взаимоотношений.

Сергей Ильич привык. Он все реже вспоминал о своей дипломной работе и, только когда прилетал в какую-нибудь геологическую партию к черту на рога — в горы или на берег Карского моря,— непременно вооружался геологическим молотком и уходил с ребятами «в поле».

Ни у кого не складывались такие аккуратные пакетики для образцов из вошеной бумаги, никто не умел так каллиграфически делать на них надписи черной тушью. В то, что для других было привычным, будничным делом, Сергей празднично вкладывал неудовлетворенную страсть.

И, улетаая в дальний лагерь, он никогда не забывал забежать в последнюю минуту на почту, проверить, нет ли там еще какого-нибудь письма для ребят, к которым он собрался. Он придумывал для них приятные неожиданности. «Митька Шабалин жаловался, что шахматы из Ленинграда не взял,— припоминал Сергей.— Таньку Холшевникову дразнят пастилой бело-розовой; она пастилу любит, и сама на пастилу похожа...» Он забегал в лавку, покупал шахматы и пастилу на свои деньги, прыгал в кузов грузовика и уезжал к вертолету.

Строгая костромская старуха Кузьминична, которая прибирала в холостяцком общежитии, где жил Сергей, и поила ребят чаем, вечно ворчала, будто Сергей тратит на эти подарки все свои деньги.

— Что у тебя, в каждой партии девка есть, что ли? — удивлялась Кузьминична.— Как слетал, так и все. Сидишь, голый чай хлещешь. А не умеешь деньги держать — на книжку ложь.

Сергей выхлестывал третью кружку чаю и уходил смотреть, какие привезли обои для нового дома.

— А свою комнату ты такими обоями оклеил бы? — жестко спрашивал он у десятника, ездившего за обоями в Воркуту.— Это, если ребенок днем поглядит, его же ночью кошмары будут давить...

— Так других-то не было,— оправдывался десятник.

Сергей находил решение:

— Ты их давай наизнанку. А по ним — клеевой краской. Понял?

¹ ОБХСС — отдел борьбы с хищением социалистической собственности.

И бежал на разгрузку лабораторного оборудования, полученного из Москвы.

Такой был у Ачкасова заместитель, но все это я узнал про него позже.

Сейчас Сергей Ильич знакомился с Кузиным.

— Вот пусть сегодня и летит в Тад-Ягу,— сказал Сергею Ачкасов.

На лице заместителя отразилась сложная борьба. «Пусть» — это почти приказ. Но...

— Не возьмут,— сказал Сергей.— Рейс у меня полностью загружен, а вертолетчиков вы сами знаете.

— Чем загружен?

На людях Ачкасов разговаривал с замом так же отрывисто и резко, как двигался по кабинету, как отставлял стул. Привычная игра, она уже стала естественной для обоих.

— Посылаю продукты,— объяснил зам.

— И человека посадить некуда?

Сергей повторил:

— Вертолетчиков знаете... Они ведь с карандашиком каждый килограмм подсчитывают. Математики...— Но тут же он их и оправдал:— В Тад-Ягу бензина приходится брать побольше.

— А если сотню килограммов сбросить?

Вот этого Сергей и боялся. Он комплектовал сегодняшний груз, словно укладывал собственный чемодан в дорогу: все казалось одинаково необходимым и срочным. Ачкасов угадал его мысли и усмехнулся. Сергею стало легче.

— Не хотелось бы,— возразил он и кивнул на Кузина.— Я его завтра постараюсь отправить.

Можно бы, конечно, возразить, что если завтра будет еще один рейс, то часть груза дождется его спокойнее, чем добирающийся до места работы водитель. Но Ачкасов решил не нарушать планов зама.

— Ладно,— согласился он. И велел Сергею Ильичу устроить Кузина на ночевку, обеспечить питанием и, как говорится, познакомить с обстановкой.

Геннадий Кузин ушел вместе с заместителем начальника экспедиции; я его не встречал больше. Он вошел в мой дорожный дневник в самом начале нового этапа своей жизни. Вошел прямой и открытый, легко сходящийся с людьми. Мы славно прожили с ним те два дня, когда наши пути случайно совпали. Мне очень хотелось бы проследить за его судьбой, слетать с ним в Тад-Ягу, написать, как устроился он на новом месте и нашел ли то, что искал. Но дорога строит сюжет книги по-своему; она приводит к тебе людей и уводит их как раз тогда, когда новые знакомые стали тебе интересны и тебе захотелось поближе познакомиться с ними и больше о них рассказать...

Секретарша соединила с кем-то телефон Ачкасова и, показавшись в дверях, назвала фамилию:

— Бычко на проводе.

К штабной обстановке шло и это.

Взяв трубку, Ачкасов отвечал упомянутому Бычко, что про катер он знает, что его рация держит с этим катером прямую связь и что через часок он вылетит вездеход в Лабытнанги.

— Приеду,— подтвердил он, заканчивая разговор.— У вас все?

И, положив трубку на рычаг все с той же отрывистой резкостью, будто трубка обожгла ему пальцы, обернулся ко мне.

— Теперь потолкуем с вами.

Бородачи продолжали заниматься своим делом.

2. Тундра, Ачкасов и немного воспоминаний

О полете на Большую Хадыту́ мы договорились быстро и без труда. Ачкасов прикинул:

— Завтра, вы слышали, вертолет пойдет в семнадцатую и еще — в девятую. Послезавтра...

На ближайшие три дня приходился добрый десяток неотложных полетов.

На Ямал нужно было везти людей. На юге (юг у Ачкасова был, конечно, особый; к этому надо было еще привыкать: его юг лежал на сотни километров к северу от Полярного круга) — на юге нужны бурильные трубы. В шестую партию Ачкасов должен слетать сам. Там есть, кажется, интересные находки...

Я узнал, что со Щучьей реки нужно срочно вывозить повара Чуракова: у него болят зубы, а это в здешних местах нельзя оставлять без внимания; что на Байдарацкую губу полетят геофизики со своей аппаратурой, а одной этой аппаратуры хватит на два, если не на три рейса. В общем, выходило так, что вертолет можно будет выделить на несколько часов, необходимых для рейса к географам и возвращения в Салехард, только на четвертый, считая от нынешнего, день.

Мы договорились, и Ачкасов выписал наряд для пилота.

Снова приходила секретарша. Она сказала, что радист опять связывался с катером. Катер предполагает к двадцати трем ноль-ноль прибыть в Лабитнанги. Была еще «эрдэ» (так называла она радиogramмы) из шестой партии. Там уточняют находку. Пока все подтверждается...

Эту радиogramму она положила на стол, и Ачкасов нетерпеливо стал ее перечитывать, удовлетворенно похмыкивая.

Про катер же, который упоминался при мне уже не впервые, всякий раз говорилось с налетом некоторой таинственности и нервозности. Можно было заключить, что вниз по Оби спускается, надвигаясь на экспедицию, некое начальство, и атмосфера напряженного ожидания сгущается с каждой милей, пройденной катером. Взгляд секретарши явственно выражал сочувствие Ачкасову — ему, видно, предстояло сегодня еще много дел. Впрочем, никаких замечаний по этому поводу она себе не разрешила, лишь коротко осведомилась:

— Я могу идти?

— Конечно, — разрешил Ачкасов.

Шел седьмой час. Рабочий день окончился. Но июльский полярный день светил неугасимо.

Бородачи тоже зашевелились. Они стали собирать карандаши, сворачивать карты и прощаться. Ачкасов задал им несколько вопросов, те отвечали. Это был краткий разговор, почти сплошь состоявший из геологических терминов, непривычных географических названий, условных наименований той карты, над которой работали здесь геологи. Я смог уловить только то, что Ачкасов спрашивал, сколько сделано сегодня и много ли еще работы осталось. Геологи отвечали, что осталось немного и завтра, к полудню, карта будет готова.

— Мы пообедаем и вернемся, — пообещал старший из них, уславливаясь, где будет оставлен для них ключ от кабинета. Его борода была трехцветной: в рыжей и черной поросли пробивалась седина, — эта борода не была больше приметой нетерпеливой молодости, как у остальных, и, пожалуй, уже пора было сбривать ее. Но тут, наверно, действовала своеобразная диалектика: молодежь запускала бороды, поспешая к солидной мужественности, а старый геолог не брился, не желая про-

щаться с привычками легкомысленной юности. Теперь он замкнул неоконченные карты в сейф и вышел вместе с остальными.

О прерванной ими работе мы и заговорили с Ачкасовым.

Это была часть той большой геологической карты всего Советского Союза, о которой рассказывали в Москве, в министерстве геологии.

Много ли места среди всех наносимых на карту огромных пространств нашей земли займет изображение — в сравнительно общих к тому же масштабах — района работ этой экспедиции?

Но там, где без нее лежал бы, пусть небольшой, но белый, неведомо что в себе скрывающий клочок земли, мы увидим теперь щедрые драгоценные россыпи: приходи и бери.

Карта покажет нам месторождение железных руд. Оно еще не подсчитано в точности. Но руда по качеству хорошая, и можно с уверенностью сказать, что ее здесь много.

— Перспективное место, — коротко отмечает Ачкасов.

Дальше к югу разведан природный газ.

В изобилии есть здесь бурый уголь.

— Ждем бокситов.

Бокситы — это алюминий.

Ачкасов забегает мыслью вперед. Он и его товарищи «чуют» здесь бокситы, еще не увидав их глазами. Так показывает им, как сказал бы военный штабист, нанесенная на карту обстановка: в таких формациях, в окружении тех сопутствующих элементов, какие уже встретились тут геологам, непременно должен обнаружиться и алюминий. И поэтому слова Ачкасова об ожидании бокситов звучат уверенно.

Работа над картой подходит к концу, и это итог восьмилетнего труда геологов в здешних местах.

Первый итог.

Потому что работа не только продолжается — фронт наступления разворачивается еще шире.

Вот что рассказал в тот вечер Ачкасов, прерывая время от времени свой рассказ, чтобы снова выйти к радисту и узнать, как движется катер по Оби из Березова в Лабитнанги...

В составе экспедиции работает около двадцати отрядов и геологических партий. Радиус их действия — примерно до пятисот километров от главной базы во всех направлениях. Впрочем, на север от Речной разведчики ушли еще дальше.

Бюджет экспедиции в нынешнем, 1958 году составил семнадцать миллионов рублей. На 1959 год экспедиция получит почти вдвое больше. Тут бухгалтерская цифра оказывается наиболее красноречивой: она сама говорит о масштабе работ, об их размахе.

Изменился самый метод поисков.

Раньше геологи по-кустарному, вслепую тыкались в случайные неразведанные места. находка чаще всего бывала удачей — плодом «везения». Случалось, что богатое месторождение оставалось незамеченным, а отмечалось лишь тощее дальнейшее ответвление его. Бедная руда казалась нестоящей, и ее оставляли без внимания. А сокровище-то было спрятано рядом, но о нем никто не подозревал.

Теперь поиски ведутся последовательно: квадрат за квадратом. Это стало доступным благодаря развитию науки, благодаря новой технике, которой вооружен нынче геолог. Рассказывая о работе экспедиции, Ачкасов упоминал геофизиков и гравиметристов, магнитологов и сейсмологов; оказывалось, что и здесь, как во всякой почти сфере деятельности современного человека, действует содружество многих наук.

Гравиметрист знает законы земного притяжения. Отклонение от этих законов говорит ему о структуре пород, складывающих земную кору.

Сейсмолог пробирается в недра земли со взрывчаткой и слушает эхо глубинного взрыва. Кривая записанного его аппаратами звука ничего не скажет непосвященному: прихотливая, скачущая линия, и только. Но сейсмологу она покажет землю в разрезе: здесь звук миновал карстовые породы, тут его отразили известняки, здесь... «Да, вот к этому,— говорит он, всматриваясь в какие-то ему лишь понятные линии на кривой сейсмограммы,— к этому стоит приглядеться внимательнее...»

Так находят нефть и природный газ.

У экспедиции в Речной есть лаборатория, оборудованная на самолете: аэромагнитная съемка упростила доступ к самым дальним и трудным районам. Данные, полученные с самолета, поведут геологов наверняка. Одна из полевых сейсмологических лабораторий смонтирована на катере. Сейсмологи могут заглянуть не только под покров земли, но и под воду. Взрыв производится в глубинах Оби. Нефть может оказаться и под речным дном.

В прошлые годы, рассказал Ачкасов, разведка здесь была организована так: главное внимание уделялось какой-либо одной крупной поисковой партии. Остальные работали мелкими и слабооснащенными группами, ведя тот самый поиск наудачу, вслепую, о каком он рассказывал прежде. Теперь и сил и техники хватает на то, чтобы вести рассчитанные далеко вперед, последовательные изыскательские работы на всем широком фронте одновременно. За геологами идут геофизики; они уточняют находки, наносят на карты точные контуры обнаруженных месторождений, рассчитывают их ресурсы. За геофизиками, когда наступит время, пойдут строители...

И еще одно, существеннейшее изменение.

Прежде работа геолога делилась на два сезона: летом — «в поле», зимой — в лаборатории. Нынче эти два этапа слились. Лаборатория находится не за тридевять земель, не в Москве или Ленинграде, как это обычно бывало, а тут же, на главной базе, на расстоянии часа-полтора воздушного пути от самых отдаленных отрядов. Образцы поступают сюда и исследуются еще тогда, когда геолог находится в поле. Радио тут же сообщает ему о результатах. Если понадобится, геолог прилетит на несколько дней, посидит над микроскопом, над анализами и возвратится в поле. И поэтому нет больше надобности прерывать все полевые работы на зиму.

— Геофизическую разведку,— говорит Ачкасов,— мы этой зимой собираемся продолжать. Зимой-то ведь у нас передвигаться даже удобнее. Пошлем санно-тракторный поезд. Работают же так в Антарктике! Может, видели, фильм такой был — «Шестой континент», кажется... В балках отлично можно оборудовать лаборатории...

Балок — так называется небольшой домик, смонтированный на мощных полозьях. По хорошему снегу сильный тягач может тащить за собой два-три таких домика. А что до снега, то уж чего-чего, а снега тут хватит...

Так вот, значит, как все это выглядит.

Самолеты и катера. Вездеходы и тягачи. Стационарные и походные лаборатории, оборудованные современной аппаратурой, в которой действуют электроны и полупроводники и еще неведь какие хитроумные вещи и которая способна на такую зоркость и тонкость, что могла бы показаться умнее и сложнее человека, если бы не знать, что человек не только сам ее выдумал, но еще и не на такое способен... Ну и, наконец, сами люди. Сотни людей, занятых самой разной работой; от постижения

процессов, происходивших в земной коре миллиарды лет тому назад, до выпечки насушного хлеба. Профессора, которые с вечностью запанибрата (для них мамонты и ледники — ясные дела вчерашнего дня, о каких и толковать-то неинтересно: к этой поре все уже сложилось, все металлы и минералы были на нынешних своих местах, и мамонт включен ими в понятие «нашего времени»), и люди повседневного, будничного подвига: летчик, сажающий машину на незнакомом ему тесном озере, подрывник, бегущий на лыжах со взрывчаткой в заплечном мешке и со спичками в непромокаемом пакете... Все они, эти люди, или, во всяком случае, подавляющее большинство из них, привыкли мерить свои дела так же просто, как только что прикинул по чужому примеру свой замысел Ачкасов: «Работают же так в Антарктике...» Они примериваются не по легкому, а по трудному: «Другие смогли же, почему и нам не суметь?» Эта формула укоренилась в нашей жизни. Вероятно, иначе и не могло быть в обществе, которое живет, имея перед собою осознанную, ясную цель и которое так отчетливо видит свое завтра, что может торопить его приближение. Вспомните, как случалось вам идти от села к селу. В открытом поле путь долог и утомителен. Но показались дальние крыши, поднялся среди них колодезный журавль и — нет усталости; и, будто сам собой, невольно ускорился шаг... И именно благодаря тому, что стремление не отстать от ушедшего вперед вошло в привычку и задает скорость общему движению, так быстро становится у нас нормой то, что вчера еще представляло собой явление исключительное. Читаешь, что где-нибудь на юге сталевар, имярек, выжал за смену из своей электропечи на две-три тонны стали больше, чем давал прежде. Глядишь, месяца не прошло, а уже за сутки по семь-восемь тонн металла прибавляют десятки других сталеваров — под Москвой, на Урале, везде, где можно применить тот же метод. Имя первого еще остается славным: в нем продолжает жить инерция начального толчка — пример и призыв. Но есть уже кто-то другой, кто еще на полтонны, на тонну обогнал цифру, обозначающую недавно наивысший предел, достигнутый одним только человеком на всю страну... Так и у хлеборобов и у доярок. Так у шоферов и лесорубов. Так и маршрут, за который когда-то группа летчиков получила самые первые Золотые Звезды Героев, превратился незаметно для нас в нормально действующую пассажирскую трассу, по которой можно слетать, не становясь ради этого жертвой кораблекрушения, но купив билет в пассажирской кассе Аэрофлота...

Здесь, в Речной, жили люди того же обычая, той же закваски. Только обычай этот становился тут еще приметнее, потому что приметнее было само их дело: люди жили на самом краю дня; они шли, а за ними вставало солнце и оживала земля.

И когда в вечернем разговоре с Ачкасовым приоткрылась вот так жизнь на этом форпосте дружного похода в будущее, — все, что показалось прежде разрозненным и лишенным внутренних связей, приобрело вдруг общий смысл. В одно связались и хлопоты плотников, строящих напротив один из двух новых жилых домов поселка геологов, и жужжание возвратившегося вертолета, и слышный из-за раскрытого окна командный басок Сергея:

— А ну, мужички, раз, два, взя-яли!..

Он забрасывает на полторатонку ящики с продуктами для обитателей Тад-Яги. Нужно спешить, вертолет уже садится...

Сергей захлопывает задний борт грузовика, лезет в кузов, машина трогается; радист за тонкой стенкой ачкасовского кабинета вызывает шестую партию: «Прием, прием...»; Геннадий Кузин проходит мимо — он возвращается из столовой с двумя новыми знакомыми; лежит рядом

со свежей высокой травой ноздреватый нестаявший снег; женщина под самым окном окликает другую: «Вера Сергеевна, в магазин демисезонные пальто привезли, сходим посмотрим, а?»; напротив строится дом; жужжание в небе умолкло — вероятно, вертолет уже стоит на шоссе... Все эти пестрые приметы складываются вместе, одно к одному: люди расположились в тундре домовито и прочно. Их победу здесь знаменует не торжественно воткнутое в снег древко привезенного с собой флага, не салют из поднятых к небу дустволок, но вот эта обыденность устоявшегося быта, обычность повседневных забот, обрывки линия афиши давнего киносеанса рядом с незаполненным графиком соревнования строителей на размытой дождем и снегом фанерной доске.

Конечно, Ачкасов и его сподвижники не первыми пришли сюда и не первыми так прочно осели в тундре. Здесь и до них стояли селения с многовековой историей, со своим сложившимся бытом. Но можно сказать, не опасаясь впасть в преувеличение и исказить истину, что ж и з н ь, — если понимать это емкое слово так, как привыкли понимать его мы, непременно включая в него созидательное деяние, — такая жизнь пришла сюда только в последние десятилетия вместе с людьми, которые, какой бы профессией они ни владели, были строителями по самому своему духу. До их прихода жизнь здесь была существованием. Существование подчинялось природе, определялось ее жестокими прихотями; вперед ничего не загадывалось, «день да ночь — сутки прочь» — недаром здешние заполярные день да ночь складывались в целый год... Строители пришли со своей мечтой, зажгли ею здешних исконных обитателей, превратили обитание в созидание, загадали жизнь на завтра и на послезавтра, наполнили существование целью и смыслом, проложили по тундре железную дорогу, превратили старый Обдорск — место купеческого торга с северными оленеводами и охотниками, поселение нескольких сотен людей — в город Салехард, центр национального Ямало-Ненецкого округа, с промышленностью, со школами и техникумами, с большим речным портом, с населением в несколько десятков тысяч человек, занятых разным — своим и вместе с тем общим — делом. А дело это, коротко говоря, такое: заставить тундру работать на коммунизм.

На форпостах, которые выдвинулись от Салехарда вперед, в тундру, это общее содержание жизни ощущалось еще приметнее; оно-то и объединяло все разрозненные приметы. И за обыденной устойчивостью быта не примолкало, а, напротив, пуще слышалось энергичное биение здорового пульса. Неустанно-деловитое шорханье и пыхканье работающего движка словно отсчитывало над поселком мерные толчки крови в сосудах.

А нервная система этого организма — разветвленного, разбросанного на пространстве в сотни километров, протянувшегося в снежные горы и к холодному морю — сходилась в просторной четырехкоконной ачкасовской горнице.

Если прикинуть все это по привычным меркам военной поры, выходило, что здесь находится штаб выдвинутой на передовую дивизии, со вклинившимися в тундру батальонами, с приданными самолетами, с наблюдательными постами и непрерывно действующими взводами разведки.

И тоже — как часто бывало в военную пору — в центре нервной системы всего этого организма стоял молодой офицер, сам прошедший школу наступления на передовой и быстро — через ступеньку — довольно высоко прошагавший по отвесной лесенке должностей и рангов,

Вот он, Ачкасов.

Как же прошел он свой путь?

Первое впечатление обмануло меня. Конечно, ему больше, чем двадцать пять.

Но и морщинки его, и вошедшая в привычку начальственная резкость, и набавляющая годы усталость в глазах тоже обманчиво преждевременны.

На самом деле Ачкасову — двадцать девять.

Он получил институтский диплом в 1953-м, пять лет назад.

Прошло немного больше года с тех пор, как он стал во главе крупной комплексной геологической экспедиции с годовым бюджетом почти в два десятка миллионов рублей, с обширным районом работ, с большим количеством очень разных — по уровню, по роду работы, по характеру и привычкам — подчиненных ему людей, которыми надо руководить в своеобразных условиях. Время успело показать, что он справляется с этой сложной задачей.

Среди научных работников экспедиции есть не только молодежь, вроде тех, что сидели над картой. И в Речной, и в отрядах и партиях, работающих в поле, есть геологи в годах, с именами, с известными научными трудами. Есть такие, под началом которых Ачкасов начинал работать, у которых учился. Что ж, они и прежде считали его способным; не ставят под сомнение его авторитет и теперь. «Начальник не должен знать больше всех,— говорят они.— Он должен уметь ориентироваться». Что же касается людей, занятых в экспедиции такими делами, к каким Ачкасов раньше не имел никакого касательства, то и они считают молодого начальника толковым администратором: он умеет расспрашивать, советоваться и верно схватывать самую суть вопроса.

Так или иначе, а работа экспедиции стала при Ачкасове более четкой; отдельные звенья связались теснее, и вместе с тем виднее стали результаты. Взять хотя бы карту: за один последний год сделано по крайней мере столько же, сколько за семь предыдущих. Правда, нельзя все это относить за счет одних лишь личных способностей Ачкасова. Ему повезло. Назначение Ачкасова произошло в ту именно пору, когда и до геологов дошла реорганизация системы управления, упразднение ненужной, сковывающей централизации.

— Застал я еще это,— рассказывает Ачкасов, чуть даже поеживаясь.— Вы представьте. Я здесь вижу: в четвертом, к примеру, отряде интересные дела начались. Рапортовать рано еще. Конкретного-то пока ничего нет, но предположения интересные и небезосновательные... С разведкой торопиться надо: проворонишь время — значит, год потеряли. С природой хочешь не хочешь, а считаться тут приходится. Значит, я в отряд должен срочно людей подкинуть, снаряжения прибавить. Дорогу вот-вот развезет. Нужно успеть, пока снег на зимнике крепкий — машины проходят. Запоздал — значит, с вертолетом потом месяц провозишься, да и все это раз в десять дороже выйдет... Но решить сам ничего не могу. Надо, чтобы Москва скомандовала. Жди, пока там референт разберется — ему оттуда виднее... Разберется, доложит по начальству. Может, поддержит, а может, и не поддержит. Ну, и придет разрешение расширять фронт работ как раз в то самое время, когда уже нужно начинать все планировать на будущую весну...

Он трясет головой, будто отгоняя дурной сон, и добавляет:

— Добро бы еще начальство было одно. А то ведь система подчинения у нас была такая, что хоть справочник себе составляй: кому и по какой линии ты подчинен, с кем что должен согласовывать и перед кем как отчитываться...

Он перечислил названия институтов и главков. Их в самом деле набиралось около десятка. Находились они не только в Москве, некоторые начальствующие инстанции помещались и в Ленинграде. Однако и те и другие были достаточно далеки от места работы экспедиции. Поддерживать с ними непрерывный контакт, завися от них во всех мелочах, было нелегко.

— Ну, а теперь?

— Теперь совсем по-другому. Многое можно решать на месте, без согласования. Ну, и начальство... Во-первых, одно. Во-вторых, сидит поближе. Теперь проще..

Ачкасов рассказал, что все теперь «собрано в один кулак» и его экспедиция, так же как и несколько других, работающих поблизости, подчинена новому управлению, созданному в областном центре — в Тюмени. Как складываются отношения? Нормально складываются. В управлении работают геологи, хорошо знающие местные условия. «Мы для них не дальние пасынки. По-деловому сговориться всегда можно — тем более, что в мелочах сообща копать теперь не приходится. Вот так!» — сказал Ачкасов и снова вышел к радисту.

Теперь ему пора было торопиться.

Надо перекусить, собраться и — на вездеход. «Вам ведь тоже в Лабытнанги? — спросил он. — Значит, вместе». Если минут через сорок выедем, Ачкасов как раз успеет к прибытию катера. «Вот так!» — снова закончил он, и мы вышли, столкнувшись с возвращающимися на сверхурочную работу бородачами.

Он показал, откуда пойдет вездеход; мы сговорились о встрече. По дощатому — в две неширокие доски — тротуару Ачкасов пошел к своему дому.

Теперь я знал, что таинственный катер, чьи позывные так наэлектризовали атмосферу в Речной, вез по Оби то самое начальство из Тюмени, о котором мы только что толковали в ачкасовском кабинете. Выезд Ачкасова в Лабытнанги был частью «дипломатического протокола» встречи — обрядным действием. И, как всякий обряд, он требовал торжественности и... известного нервного напряжения.

Ачкасов и этот обряд совершает привычно, со знанием дела.

Нет, конечно, ничего удивительного, ничего из ряда вон выходящего в том, что человек в двадцать девять лет оказывается умелым администратором немалого масштаба, легко осваиваясь со всеми требованиями и тонкостями порученного ему дела.

Двадцать девять лет — не детский возраст.

На заводах к этому времени уже перестают называть инженера «молодым специалистом». В колхозе неженатый тридцатилетний бригадир или зоотехник уже вызывает сожаление: пожилой мужчина, а бесприютный. Если ему вздумается поухаживать за юной звеньевой, та удивится: «Вот уж от вас не ждала, такие солидные...» Разве вот только в искусстве можно проходить в «молодых художниках», «молодых актерах» или в числе поэтической молодежи лет до сорока, а порой и больше. Отчего это? Но ведь и в искусстве так не всегда было...

Двое мальчишек прогнали мимо меня к речке старую автомобильную камеру. Из кино вышли люди. Солнце опустилось к горизонту, но не собиралось исчезать за ним: пройдет низко над тундрой и снова начнет возвращаться к зениту.

Я дошел до невысокого обрыва над речкой.

Под обрывом лежал снег, быстрая река вилась в зелени, вспениваясь на обкатанных валунах, валявшихся в русле.

Стало совсем тепло.

Поселок остался позади. Оттуда слышался работающий движок. Внизу возились ребята, стalkerивая в воду камеру, привязанную к длинной веревке. Что это они придумали?..

Но прежняя мысль не отставала.

«Ведь не всегда так было...» Когда Александр Фадеев напечатал «Разгром», его никто не называл «молодым прозаиком». Ему не было и двадцати пяти, но об этом просто никто даже и не подумал; никому до этого и дела не было: жил, как жило поколение, написал о том, что переживал и обдумал,— естественный багаж для двадцатипятилетнего человека... И, когда вышел первый том «Тихого Дона», никого не удивило, что автору и двадцати не исполнилось, когда он принимался за работу над таким романом...

Никто тогда не успевал ходить в «молодых». Работа не ждала. Торопило само время: «Давай, покажи-ка, на что ты способен, и принимайся за дело».

Тут различие между тогдашним и нынешним понятно.

Иным тогда было самое вхождение в неустоявшуюся, взбаламученную, небывало яркую жизнь.

«Аттестат зрелости» чаще всего предшествовал учебе. Человек сперва утверждался как самостоятельная, зрелая личность, к тому же как личность сознательная, верная избранной идее, а уж потом начинал этот человек наверстывать то, чего ему недоставало: знания, привычку к систематичности, диалектическое понимание окружающей действительности. Он не успевал стать «молодым специалистом» своего дела, но просто работал — взахлеб, взапой — и становился «старым студентом», точнее «старым рабфаковцем», совершенствуясь в том, что начал по праву таланта.

Людей выносило как бы на гребнях неулегшегося шторма.

Но волны редко выносят неумелых пловцов.

Когда шторм затих, можно было приняться за обучение пловца, стихийно вымахивающего здоровой саженькой, законам дыхания и изяществу стиля...

Речь идет о так называемой «молодежи» в искусстве. Но замечали ли вы, что и теперь, в наши устоявшиеся, упорядоченные дни, вовсе не ко всякому автору первой повести, первого цикла стихов — независимо от возраста — и не всегда непременно приклеивается эта (похожая на предостерегающий знак на заднем стекле машины, где баранку держит начинающий водитель) этикетка: «молодой прозаик», «молодой поэт».

Не так часто это, правда, бывает, но в тех случаях, когда за дебютом стоят и жизненный опыт и владение формой, как-то никому и дела нет до возраста автора. Молодой? Тем лучше. Но особого разговора это не стóит.

И, напротив, к иному эта этикетка («осторожно, молодой!»), рассчитанная, казалось бы, на недлинный срок — ну, скажем, от первой до второй книжки,— прирастает надолго и прочно. Напоминание про свою молодость-зеленость превращается в некий костылик: отними его, и подкосятся хилые ножки. И попробуйте приглядеться к любому из таких случаев: всегда одно и то же. Годы шли, а жизненного опыта не прибавлялось; мысли чужие, да и тех на грош; вместо беспокойного, ищущего мастерства — монотонное ремесло. А вместо молодости... так, черт-те что, дряблая душонка под сивой щетиной...

Нет, Ачкасова, слава богу, не следует в т а к о м смысле считать молодым, несмотря на годы.

Его однолетков можно встретить на самых крупных заводах — иногда главными инженерами, чаще начальниками цехов; их можно повстре-

чать среди директоров совхозов и в райкомовских секретарских кабинетах в немалых и нелегких районах. И думается, что если за три—пять лет после нормально законченной институтской учебы молодому по годам человеку не так уж сложно пройти путь, подобный пути Ачкасова, то это само по себе убедительно свидетельствует о здоровом развитии нашего общественного организма. Значит, устойчивая упорядоченность не повлекла за собой косности. Значит, обилие возникающего нового не позволяет наслоиться неодолимой преграде для молодых сил: уживаются и старые и молодые, места хватает, ловчить, тесня друг друга, не надо. (И, значит, если существует карьеризм — а он еще существует, — то в нем проявляются дурные свойства данного человека, несправедливое стремление занять не положенное по способностям место, но отнюдь не объективно вынуждающие к борьбе за положение причины, коренящиеся в общественном устройстве.) Почему же, однако, из всего выпуска, с которым учился Ачкасов, такой же примерно путь, как и он, прошли лишь еще двое-трое его коллег? А остальные? Отчего они продолжают и сегодня делать то же, с чего начинал когда-то Ачкасов? Такие вопросы случается слышать нередко. Но это пустые вопросы. Порой за ними влекутся унылые выводы: «Одни ушли вперед, другие отстали. Одним много, другим мало. Выходит, то, что говорили нам в школе и пионерском отряде о пути, одинаково открытом для всех, на самом деле неправда». Так говорят те, кто, представляя себе жизненный путь, хотел бы увидеть и поводыря, который поведет их по этому пути за руку.

Но поводыря нет.

Открытый простор — это значит, что человек, созревший для путешествия, должен выйти за порог, обдуманно уложив весь свой дорожный багаж. Ему осталось оглядеться, выбрать свое направление и пройти его до конца.

Верно выбрать и суметь пройти — тут решают склонность и талант, целеустремленность характера и дисциплина воли.

Скулят те, кто запутался у самого порога. Обидно ведь самому признаваться в том, что не хватило способностей, — убогит себя ссылкой на объективную несправедливость способней и проще.

И тут снова приходит все тот же, все чаще и по самым разным поводам навертывающийся вопрос: «Ну, а тогда как будет?» При коммунизме — как оно будет возмещаться, это различие, в способностях, в силе характера? Ведь не придем же мы тут к искусственному поравнению!.. Но, может быть, сила характера и не понадобится вовсе, так укажут и легки будут все дорожки?

Но это, конечно, не так.

Думая о коммунизме — каким он будет и как станут при нем жить люди, — мы порой устремляемся в мир зыбких и туманных абстракций и представляем, что все тогда будет совсем по-иному и что не останется ничего похожего на нынешнюю нашу жизнь. Но ведь наивно представлять, будто все изменится сразу: наступит предназначенный день, друими проснутся люди и будет их окружать волшебное, за одну ночь, изменившаяся жизнь. Разве смогли бы мы год от году яснее ощущать приближение коммунизма, если бы не созревали исподволь рядом с нами его приметы, если бы не складывались уже начатки тех отношений между людьми, какие будут существовать и тогда? В пестроте жизни и ее повседневности разглядеть начатки нового нелегко, а оценить и понять их — еще сложнее. И не надо думать, что коммунизм — это синоним «легкой жизни» в упрощенном житейском понимании этого слова. Не надо думать и того, что всеобщая сытость повлечет за собой и всеобщее самодовольство, уничтожая соревнование в различных областях челове-

ской деятельности. Соревнование будет. А вот карьеризм, зависть, расталкивание соседей локтями, обманное суесловие вместо честного труда, стремление к месту не ради того дела, какое нужно на этом месте делать, а ради благ, с этим местом связанных,— вот эту старинную подоплеку злого соперничества общий достаток может истребить начисто...

Молодой город рядом. Потому, верно, так и напоминает здесь о себе завтрашний день.

И потому же, вероятно, резко шибает здесь и то, что кажется ненужным, зря сюда принесенным, отжившим.

В атмосфере молодого товарищества и живого, очень конкретного дела особенно приметна несуразность условной начальственной «надутости». И от преувеличенной ритуальности, от перерасхода нервной энергии перед прибытием начальства — нет-нет, да и покоробит тоже.

Конечно, старших надлежит уважать.

Конечно, правильно, что Ачкасов выедет в Лабытнанги, чтобы встретить там своего начальника. И очень хорошо, что за Полярным кругом, в низовьях Оби, можно пользоваться в деловой поездке личным катером, поддерживая в дороге радиосвязь с берегами. Но, дожидаясь Ачкасова, снова и снова выбегавшего в радиорубку, я порой не мог отделаться от коварного сомнения: а не подчинено ли в данном случае это техническое удобство ритуалу больше, чем делу?

Есть ведь в таком ритуале свое едва уловимое «чуть-чуть», свои почти не ощутимые грани, пролегающие между искренней сердечностью и тем казенным «трепетом», который как бы обезличивает «подчиненного» перед особой «начальника». И с невольной ревнивой приглядкой хотелось следить: а не оступается ли Ачкасов, удерживаясь на этой тонкой грани — не слишком, правда, существенной для определения его деловых качеств, но весьма наглядной для постижения человеческой сути.

...Встреча как обряд — это мне запомнилось с детства.

Тогда был тоже июль, лето 1921 года. Родной мой украинский городок стоял (как, впрочем, стоит и теперь) у Днепра, на песчаных обрывах, там, где Днепр выходит из соснового бора на степное приволье. В лесу и в степи еще недавно роились бесчисленные «степные» и «лесные» кулацкие банды: Маруся и Ангел, Зеленый и Кривда, все они побывали в нашем городке, оставляя по себе пожарища и могилы. Но вот уже с полгода в город не врываются ни тачанки, ни всадники; с бандами было покончено. Стояли знойные и тихие дни. В полдень уездный военком Рябокоть выходил из военкомата на уличный солнцепек. На военкоме были желтые сапоги и алые суконные галифе с широкими леями из желтой кожи. Крепкое смуглое тело виднелось из-под распахнутой холщовой рубахи, заправленной в галифе. Над ухом, по синему бритому черепу, багровел свежий заживающий шрам. Рябокоть верил, что под солнцем шрам заживет скорее. Он усаживался на бревнах, сложенных еще до революции здесь, при дороге: прежний хозяин мазанного голубой краской домика, реквизированного под военкомат, собирался тогда что-то пристраивать к своим владениям. Военкомату места хватало. Бревна лежали без надобности. Рябокоть томился на них, выпростав рядом с собой деревянный футляр с маузером и опираясь на шашку с пышным пунцовым темляком. У противоположного конца бревна так же томился на привязи высокий гнедой жеребец военкома под кавалерийским седлом. Жеребец и шрам были получены Рябокотем в один день, полгода назад. В январские сумерки отряд чоновцев догнал атамана Кривду у села Василицы. Кривда наскочил на Рябокотю и рубанул его, но сгоряча промахнулся. Рябокоть застрелил атамана в упор из маузера. Жеребца Кривды Рябокоть взял себе и назвал Бандитом. Они подружились. Сидя

на бревнах, Рябокоть говорил с гнедым, а Бандит косил на военкома влажным выразительным глазом и вздергивал кверху великолепную тонкую морду. Ординарец выносил из военкомата хозяйский самовар и ставил его в дорожную пыль. Рябокоть пил чай, кружку за кружкой, и вел беседы с Бандитом и с окрестной уездной живностью, вяло бродившей в жаркой пыли: со псом, курицей и вислобокой бурой козой. Военком задавал им несложные вопросы. «Что, жарко тебе? А?» — осведомлялся он у обессиленного дворняги. А козу, которая обдирала с забора еще деникинских времен афишу «Гала-представления в пользу раненых воинов», он резонно поддразнивал: «Капуста, наверно, вкуснее?» И снова наливал в кружку кипяток из стоявшего на земле самовара.

То ли от времени, то ли вправду от солнца, шрам его заживал.

Никаких тревог давно уже не было.

Чоновцы возвратились к своим привычным трудам на махорочной фабрике, на гвоздильном заводе и на обеих лесопилках (только рафинадный завод еще стоял: упродком не мог наладить подвоза свеклы).

И вдруг в этом знойном затишье, что как бы легло рубежом между отгремевшей гражданской войной и еще не начавшеюся страдой утверждения новой, отвоеванной жизни, — в этой июльской уездной тиши прошел слух, будто проедет через местную станцию в специальном вагоне нарком Луначарский.

Рябокоть стряхнул дрему.

Томимый жаждой деятельности, он решил, что в революции (которую он искренне и по праву считал своей, нося еще с германского фронта партийный билет за подкладкой фуражки) наступил момент, когда ей, революции, понадобилась не только его, Рябокотья, солдатская отвага, но и фельдфебельская его любовь к «порядку», к «чину» — десятью годами царской солдатской службы вбитое чиновничество.

Два следующих дня он прожил полной и деятельной жизнью.

По утрам, за час до начала «присутствия», и в предвечерье, по два часа после окончания служебного времени, военком школил конторщиков и счетоводов первых уездных советских учреждений — упродкома и унаробраза, усовнархоза и утрамота.

Он учил их — хилых белобилетчиков, отринутых даже неразборчивой и жадной недавней войной, — рассчитывать «на первый-второй», вздваивать ряды, поворачиваться налево кругом и согласно кричать: «Здравия желаем!»

Это происходило на плацу, обсаженном сухими и пыльными акациями. Плац пустовал с тех пор, как из соседних казарм выступили семь лет назад к Мазурским болотам стоявшие здесь сумские гусары. Еще догнивали оставшиеся после них пучки лозняка, связанного для учебной рубки, да посредине плаца торчала покосившаяся облезлая карусель, построенная предприимчивым балаганщиком при Петлюре. Но и карусель не собирала здесь столько зрителей, сколько сбегалось под сень акаций в часы учений, предшествовавших встрече наркома.

Гнедой Бандит радостно играл под ожившим хозяином. Рябокоть поднимал его на дыбы перед шарахающей шеренгой.

— Глухонемые вы, что ли?! — кричал он, бледнея. — Губами шевеление делаете, а голосу не слышать!..

Больше всего хлопот причинял военкому долговязый счетовод по фамилии Ляш.

За сутулыми плечами Ляша висело много лет беспорочной службы в местной конторе Азовско-Донского банка, в двухэтажном доме на главной улице. Ляш продолжал приходить в тот же дом и тогда, когда черная стеклянная доска банковской вывески сменилась железной таблич-

кой уездного финотдела. Он сел на тот же стул, у того же стола, надевал те же серые сарпинковые нарукавники, придвигал к себе те же отполированные собственными пальцами счеты и писал те же аккуратные столбики цифр, словно не допускал никакого вторжения внешних событий в свой упорядоченный и тесный мир. На плацу выяснилось, что Лящ не представляет, как можно ходить, размахивая руками,— сперва левой, а потом правой. Если уж махать, то обеими руками вместе. А когда все поворачивались налево кругом, Лящ еще долго и сосредоточенно обдумывал, что же ему надлежит сделать в этот трудный момент. И его сутулая спина оставалась торчать среди лиц всей шеренги, освоившей наконец военкомовскую науку.

Этот феномен приводил Рябокonia в недоуменное оцепенение.

Очнувшись, он слезал с коня, подходил к Лящу и поворачивал его за плечи. Две пары страдальческих глаз встречались тогда взглядом. Но как они были непохожи! Укоризна — и беспомощность, обжигающий пламень — и тоскливая покорность...

— Ай-яй-яй,— говорил Рябокonia и долго качал головой из стороны в сторону.

На второй вечер он вывел Ляща из шеренги.

— Иди, друг, домой,— сказал Рябокonia.— Не будет из тебя человека.

Играл медный оркестр клуба совработников. Городские мальчишки под акациями беззастенчиво смеялись. Сутулый Лящ волочил ноги по просторному плацу, взметая облачка пыли и размахивая руками — обеими сразу.

На третий день учения были назначены в служебное время. И прямо с плаца Рябокonia повел своих выучеников к находившемуся оттуда поблизости вокзалу.

Железная дорога жила еще без расписаний. Но на этот раз поезда долго ожидать не пришлось.

Паровоз приволок десяток теплушек и один желтый вагон бывшего «второго класса».

Рябокonia кинулся к классному вагону. Дверь тамбура открылась, и в ней показался немолодой бритый человек, чем-то похожий на Ляща,— может, тем, что одет он был в такую же, как у Ляща, черную толстовку, повязанную узким трикотажным, в продольную белую полоску, галстуком.

Чеканный рапорт Рябокonia несказанно удивил его.

Между военкомом и проезжим состоялся короткий диалог, которого никто не мог слышать, потому что медь совработников гремела в полную силу.

Но зато все видели, что произошло в следующую минуту.

Рябокonia трижды поцеловал растерянного пассажира. Держа его в железных объятиях, военком поднялся на ступеньки вагона, втолкнул человека в толстовке в тамбур и плотно закрыл за ним дверь.

— Здравия желаем! — жалобно и нестройно воскликнули упродкомовцы и уфинотдельцы. К ним присоединился отлученный Лящ, стоявший в стороне, среди неорганизованных зрителей.

Рябокonia подал требовательный знак машинисту. Паровоз свистнул; желтый вагон вместе с теплушками покатился к Днепру. Дверь тамбура снова открылась, человек в толстовке что-то кричал, но клубные трубы заглушали его слова бравурным тушем.

— Ну вот,— неуверенно и совсем не командным голосом сказал Рябокonia и обмахнул раскрасневшееся лицо буденовкой, обнажая синий череп с пунцовым шрамом.

— Вольно! — скомандовал он затем как ни в чем не бывало и разрешил расходиться.

Сохранить в тайне истинный смысл происшедшего организатору встречи, однако, не удалось. В тот же день городок знал, что Луначарский действительно проезжал через ближнюю узловую станцию, но сворачивать на нашу ветку с проходившей стороной магистрали не стал ввиду совершеннейшего отсутствия надобности. Стало также известно, на чью долю пришлось горькая чаша незаслуженных, чужих почестей: к ночи доковылял в город с соседнего полустанка командированный к нам за гвоздями кременчугский кооператор в черной толстовке. Военкому он старался на глаза не попадаться, но о вокзальном своем приключении рассказывал охотно и не без гордости.

Товарищи долго посмеивались над Рябоконом.

— Расскажи, как нарком у тебя рапорт принимал, — не уставал подуживать его председатель ревкома. — Он ведь человек штатский. Небось выправочка тебе не понравилась, то-то ты поезд так срочно отправил...

Мне было тогда двенадцать лет. Я учился в трудовой школе с агрономическим уклоном. Летом мы работали на школьном огороде. Там было слышно, как двинулся с плаца оркестр, как протяжно и торжественно заржал Бандит, резко стронутый в рысь Рябоконом, и мы, не сговариваясь, побросали лопатки и тяпки у сухих картофельных холмиков, подчиняясь неодолимому призыву. Нас возмущенно останавливал добрый седоусый воспитатель из старых земских агрономов, Кондрат Лукич Тищенко, именуемый по школьному обычаю того времени Колутищем, а иначе — Прозябением. Он приносил в школу и читал нам книжки, изданные полтора-два года назад и переплетенные в темную кожу, проточенную книжным червем. В этих книгах злаки нежно и жалостливо назывались «прозябениями»; Колутищ произносил это слово с любовной выразительностью. Он пытался объяснить нам тогда многое, что мы сумели понять лишь гораздо позднее. Он искал тайный смысл в самом названии Вольно-экономического общества, которое в XVIII веке печатало любимые его книги, не только не отставая от современной агрономии, но, по мнению Колутища, во многом предвосхищая ее. Теперь-то я понимаю, что и революцию Колутищ принял главным образом из-за того, что презирал прежних хозяев земли, с которыми довелось ему проработать лучшую часть своей жизни и которые не понимали землю и не любили ее, утратив то мудрое проникновение в законы произрастания злаков, каким обладали их деды. Колутищ восторженно втолковывал нам, как философское постижение этих законов формировало и Радищева и французских энциклопедистов. Но, двенадцатилетние остолопы, мы ни черта не умели понять из его воодушевленных речей, предпочитая копать в щедрых мальчишеских трофеях недавних битв, которыми завалены были наши парты, ранцы и домашние ящики. Колутищ был для нас добрым и смешным Прозябением, и мы не вняли ему, призываемые маршем на старый мотив «Белой акации» и торопясь поглядеть на первый опыт утверждения нового этикета.

То, как маршировали знакомые нам пожилые люди, как играл оркестр и как восхищавший нас военком целовался с неизвестным проезжим, — нам понравилось. Нам казалось, что все было правильно, торжественно и красиво. Очень довольные, мы возвратились к тяпкам, картошке и всепрощающему Колутищу.

Несколько лет спустя в другом — большом — городе я слушал лекцию настоящего Луначарского. Но старое воспоминание мешало мне слышать и понимать слова: я пытался представить, как бы вот этот, на-

стоящий Луначарский, отнесся к церемониалу, затеянному в его честь Рябоконею. И вдруг я понял, что вся эта старая забавная история оставалась бы сущим анекдотическим пустяком, если бы не таилось в ней под спудом нечто иное — существенное и важное.

Сам Рябоконею, его неутоленный поиск нового «чина» — вот что тут было на самом деле существенно и важно.

Собственно, Рябоконею был хороший мужик — искренний и храбрый солдат революции. Когда он шел за Фрунзе на Перекоп и потом, когда вел чоновцев против Кривды и Ангела, — Рябоконею твердо знал, за что дерется. Революционную идею он с помощью партии усвоил во всей необычайной, величественной ее широте. Крестьянин, солдат, он стал понимать смысл необходимых преобразований если не в «мировом масштабе», как тогда говорились и думалось, то уж, во всяком случае, в масштабе всей своей отвоюванной земли, всего своего освобожденного народа. Но, постигая, что делать со всей землей, он еще оказывался беспомощным в собственном доме.

В области этической, эстетической он оставался в кругу лишь тех представлений, какими снабдил его собственный жизненный опыт.

Когда-то Рябоконею видел квартиру своего взводного офицера. Привыкшему в детстве к убожеству батрацкой хаты, а потом к бесприютной казарме, ему эта квартира показала воплощением достатка, довольства, полноты жизненных благ. Теперь он сам получил квартиру бежавшего за Петлюрой богатого грабара. В квартире оставались тяжелые резные шкафы, пузатый буфет — то же, что было у взводного. И Рябоконею уже сам стал искать плюшевые, с помпонами, покрывала для столов на несдвигаемых слоновьих ногах — в точности такие, как те, что всегда лежали на этих столах, покуда не прихватил их с собой грабарь-хозяин. Для Рябоконею вся эта добротная, тяжеловесная и пыльная прочность — с о л и д н о с т ь (вот оно, поправившееся ему слово!) — становилась как бы символом его нового общественного становления, его заслуженного, завоеванного подъема.

Предревкома, заходя в гости, подтрунивал над военкомом. Говорил про обрастание. Что-то даже поминал про мещанство. Но к столу садился с удовольствием. Уездные пайки были скудными. А Рябоконею земляки из ближней деревни подвозили то мучки, то картошечки, а то и сальца. И борщ у военкомши был вкусный.

Слова про обрастание и мещанство повисали шуткой.

Да и что мог предревкома предложить Рябоконею и его жене взамен того быта, какой у них заводился?

Сам он довольствовался аскетической неустроенностью холостяка-горожанина: пустая комната, солдатская железная койка, стол покрыт газетой в пятнах от керосина и воблы, книги на подоконнике и на полу, весь гардероб на одном гвозде. Тут была и застарелая бивачная привычка, тянувшаяся от студенческих мебелишек и ссыльных кочевий. Но была и доля сознательного протеста против мещанской духоты, остервеневшей ему с детства в отчем чиновничьем доме. Однако не мог же он всерьез требовать от Рябоконею, чтобы тот проникся такой же враждебностью к величественному буфету и мощноногим столам! С чего бы? Рябоконею встречался с этими самодовольными державными уродцами во второй раз в жизни, и на этот раз чувство обладания приносило ему удовлетворение. Что же тут можно было поделывать?

И предревкома с горечью признавался себе, что Рябоконею поднимается к мещанству. Для множества людей, которые до революции привыкли видеть мещанство над собой, это было неизбежно. Его эстетика неразрывно связывалась для этих людей с его сытостью. Жизнь

заставляла их мечтать о сытости мещанства, лишая такой роскоши, как размышления об эстетике. Да, что тут можно было поделывать?

— Но это только в быту, — успокаивал себя предревкома, глотая жирный и густой борщ. — Зато в остальном Тодось Рябоконеь — отличный хлопец, идейный, горячий! Шкаф его не одолеет...

В основном он был прав.

Формы жизни не поспевали за новым ее содержанием. Вот в чем было тут дело.

Председатель уездного ревкома одного лишь не говорил себе — может, чувствовал, но не хотел говорить, не до того еще тогда было. Он не говорил, что рано или поздно, а стычка в таких случаях неизбежна. Мещанский шкаф требует для себя слишком много места; с идеями ему тесно, и когда-нибудь он попытается их из своего окружения выдворить.

Не знаю, как с Рябоконеь, — я рано потерял его из виду, — но знаю многих, кого шкаф сумел одолеть.

Что же до тогдашнего Рябоконея, то шкаф еще не смел посягать на его идеи. В полированной поверхности отражался незаживший шрам на синем черепе нового хозяина. Шрам был слишком свеж. С этим тягаться было пока рано. И все же исходившая от шкафа солидность, взяв себе в союзники остатки старой солдатской «словесности», крепко вколотенной когда-то в Рябоконея его взводным, стала по-своему влиять на привычки военкома и на некоторые его повседневные критерии. Он начал чаще вспоминать о внешних формах субординации. Естественное проявление чувств, если оно происходило не в кругу равных рангом людей, стало ему казаться неуважительным беспорядком.

Еще недавно забубенно смешливый, готовый до колик хохотать над незамысловатой шуткой и рассказывать у походного костра пересыпанные солеными прибаутками нескончаемо длинные окопные анекдоты-сказки — он теперь и смех свой почел «несолидным» (кроме как в кругу «ровни», за столом, на вечеринке уездного начальства). В обычной обстановке он лишь снисходил на шутку и похихатывал коротко, сдержанно и негромко. На шутку «снизу» он строго косился: чаще всего она казалась ему неуместной. Он насильственно укрощал свою страстную и естественную натуру, запрещал себе дружелюбную простоту, нес себя, не роняя, хотя опаска «уронить» была зряшной. Надуваясь, бессознательно равняясь на собственный шкаф и тем самым отдаваясь во власть его, он терял много больше.

Эта власть подчиняла себе манеру поведения Рябоконея, его быт, и он — применительно к шкафу — принимался вправлять новое, буйное содержание своей жизни в ветхие формы, которые ему подсказывал старый, узкий сословный катехизис.

Выходило, что забавный конфуз с несостоявшейся встречей наркома имел корешки, в которых забавного было не так уж много.

Эта старая история вспоминалась порой и позже.

Припомнилась она и в Речной, в кабинете Ачкасова.

Нет, в этом кабинете не громоздились претенциозные пустяки.

Напротив, Ачкасов сумел обставить свое рабочее место удобно и просто, не нагромождая вокруг себя ничего излишнего и тяжеловесного.

Но дело тут было не в обстановке.

Прощаясь с Кузиным, оставляя непосредственное, искренне возникшее в беседе дружеское «ты» и возвращаясь к привычной начальственной сухости, Ачкасов окликнул тракториста, пошедшего было к двери:

— Головной убор забыли.

И показал на стул, где лежала кузинская кепка.

Не проще ли так и назвать: кепку — кепкой?

И про ушедших из кабинета геологов он счел нужным объяснить, что вот, дескать, теснота заставляет... И добавил, что работа срочная, спешная — «даже и питание вовремя некогда принять». А извиняться-то было ни к чему. Именно она-то и была хороша, эта атмосфера общей дружной работы. И то, что он всерьез, нешуточно, называет кепку «головным убором», а житейский обед «приемом питания», вызывало досаду. За этой тяжеловесной несвободой речи, за некоторой наигранностью движений и интонаций, за едва уловимыми, но все же, несомненно, существовавшими здесь искусственными усилиями, затраченными на создание дистанции между начальником и подчиненными, ощущалось пронафталиненное дыхание того же пузатого шкафа. От него когда-то пошел написанный устав пережиточных сословных условностей. И он до сих пор продолжал навязывать людям свою сковывающую диктатуру.

Эстетические вкусы Ачкасова были свободны от этой власти. Это было очевидно. Откуда же подбиралась она к его этическим представлениям?

Немногое пока говорило о ее присутствии. Чуть-чуть было здесь излишне отчужденной (к тому же явственно нарочитой, преднамеренно тренированной) жестковатости, направленной «вниз»; чуть-чуть угодливой торопливости, устремленной «кверху», к подплывающему начальству. Вот все, что можно было в тот вечер приметить. И можно еще было порой ощутить, как — сознательно ли, нет ли — выстраивается в угоду условности та естественная непосредственность, какая лучше всего и во всех обстоятельствах способна сохранить человеческое достоинство.

Откуда же это шло?

Что-то могло гнездиться и дома, в разговорах и нотациях отца. Мог в школе попасться сухарик-вожатый: заготавливал ребятам казенные тексты выступлений, произносимых у электрического «костра» с бумажными полосками, раздуваемыми сухим вентиляторным ветром; причесывал отрядную газетку, ворчливо гасил «неуместные» улыбки и шуточки. А может, то же было и в институте. Или, может, на первых шагах самостоятельной работы повстречался такой вот руководитель и бессознательно был воспринят как образец должествующего «правильного» поведения. Разно могло тут быть, потому что живуча моль из старого шкафа. Вот и шкафа нет, а она, глядишь, и без него обошлась — угнездилась, мелькает, уворачивается. Попробуешь ее хлопнуть — на ладони ничего, а моль снова перед глазами...

На Севере воздух здоровый Микробов в нем, говорят, нет. Может, и моль не уживется. Во всяком случае, серьезно говоря, именно здесь, где на каждом шагу встречаешься взглядом с блестящими юношескими глазами, где вся жизнь проникнута азартной вдохновенностью наступления и радостью только что пережитых побед,— здесь все создано для дружного делового товарищества и все протестует против затхлости, против пустой искусственности, против любых неделовых ухищрений служебной искренности...

...Под торфянистым обрывом, у беспокойно-говорливой речки, возились ребята. Они отпускали камеру на длинной веревке. Камера прыгала по валунам, вертелась в пене, поднималась стоймя. Ребята бежали за нею. Один скинул с себя разом штаны и майку, ступил в воду, взвизгнул от холода, выскочил на берег и снова ринулся в речку.

— Витька, мамке скажу! — крикнул было другой, но тут же и сам очутился в воде.

И уже все они плескались, вопили, выскакивали, бегали и боролись, согреваясь,— голые, в синей, покрытой от холода гусиными цыпками коже и беспредельно счастливые.

Был первый день, когда и заполярный июль вступал в свои права.

Часы показывали позднее вечернее время, пора было возвращаться в поселок. Солнце вовсю светило в блеклом и чистом, бездонно-глубоком небе. Навстречу громче и громче татахкал неугомонный движок. Домовитые дымки стояли над трубами.

— Это ведь тоже Ачкасов,— сказал я себе.

За всем этим был Ачкасов, были и другие. Дружное молодое товарищество. Веселые бородачи, вон тот подгулявший плотник, суровая костромская старуха Кузьминична из общежития холостяков. Жители.

Если и начнет тут заводиться что не надо — тундра уберет. А жизнь здесь правильная. Все в движении, в наступлении, в том же быстром течении, как тундровая речка, что мчится через валуны, нигде не прибываясь под берег и не подергиваясь застойной ряской.

В поселке, у общежития, орудовал колуном, разбивая на щепки ненужный ящик, неугомонный Сергей Ильич.

— Заходите! — крикнул он. — Вы же ничего не знаете! Сегодня же нам первую молодую картошку прислали! Мы же сейчас будем картошку есть. В мундире! Такое питание!..

Он едва уловимо подшутил над кем-то, хорошо ему знакомым.

Это было славно. Чудесно.

Но на картошку в мундире времени уже не оставалось.

Мотор вездехода работал. На противоположной стороне улицы показался Ачкасов.

Мы сели в кабину, похожую на внутренность малого танка. Вездеход пошел. Мощеная дорога оборвалась почти сразу.

Тундра.

Шум мотора, лязганье трак не давали говорить. Можно было только смотреть.

Еще из школьных учебников я запомнил, будто бы картины тундры печальны и однообразно-унылы. Если смотришь на серую фотографию, это кажется верным. Но здесь... Редкостной мягкости и нежности зелень была перед нами. Казалось, она такой только что вышла прямо из-под снега и такой же, не успев пожелтеть и привянуть, снова уйдет под снег, когда оборвется короткое лето. Зацветали неяркие цветы. Речки возникали меж кочек, а порою внизу и вверху была одинаково легкая, студенной сединой подернутая голубизна чистых стылых озер и необычайно высокого и просторного неба.

Вездеход шел быстро. Под траки ложился, хрустко ломаясь, невысокий кустарник, и снова было похоже, что это такой вот особенный, без пушек и пулеметов, танк идет на свою передовую.

И для пущего сходства там, перед нами, утренняя заря схватилась с вечерней в беззвучной битве. На солнце напоззли синие тучи. Из-за них рвались длинные пламенные языки. Свет не прятался, не покорялся. Солнце никуда не ушло. Оно вдруг поднялось над тучами и снова двинулось к закату, начиная новый день полярного лета.

Нелетные дни

Четыре дня назад мы простились с Ачкасовым на пристани в Лабитнангах.

Катера еще не было, а белый теплоходик на Салехард как раз отправлялся от причала, и я так и не увидел ачкасовского гостя, так и не узнал до конца всех красок и обстоятельств хлопотливой полночной встречи.

Допускаю, что оба — и Ачкасов и гость его — думали об этой встрече куда меньше, чем я. Для обоих это происходило естественно и непринужденно; шло, как повелось, как было принято, вот и все тут.

Теплоход, шедший в Салехард, назывался иначе, но был в точности такой же, как тот, что привез меня поутру в Лабытнанги, даже попадались среди пассажиров знакомые лица: тоже управились, видно, с делами и возвращались домой. Вот и я теперь о Салехарде, о своем гостиничном номере, в котором еще и получаса не успел прожить, думал уже, как о доме, а Речная и Лабытнанги были мне лишь коротким дорожным пристанком, где все виделось новым и неожиданным.

Салехард я умел уже представить себе в точности: как выйду за портовый турникет, как поведет меня оттуда кверху старая лежневка, где меж досок выступает болотная тундровая вода, и какие стоят по сторонам этой лежневки двухэтажные деревянные дома, и даже какие бегают там по доскам грязно-белые, чрезвычайно деловитые дворовые лайки с завернутыми в толстый бублик хвостами. Конечно, это был уже дом.

Теплоход, несмотря на ночное время, был так же полон, как утром.

Но на этот раз мы возвращались в Салехард из Лабытнангов — из городского поселка, куда приходит поезд и где есть постоянная удобная связь с Большой землей. Поэтому среди окружающих преобладали теперь не ближние, едущие налегке пассажиры — деловые мужчины с портфелями или женщины с авоськами, — но сошедшие с вечернего поезда серьезные дальние путешественники с дорожными пожитками, запрудившими все проходы.

Многие из них, вероятно, ехали на Север впервые.

Мне стало интересно вызвать на разговор кого-нибудь из таких новичков, и я подсел к семье, которая спустилась в кормовую каютку: мужчина лет тридцати пяти, моложавая женщина в городском пальто и в шелковом платочке и девочка лет шести-семи. Они сидели среди чемоданов, корзин и узлов.

Пересекая реку, наш теплоход забирал теперь кверху. Путь к Салехарду должен был быть еще на час длиннее, чем дорога оттуда в Лабытнанги. Ночное солнце держалось низко, за тундровыми кустами. Свет был белесый, вода и небо одинаково обесцветились, от реки тянуло свежестью; даже в каютке было прохладно. Спать не хотелось.

Разговор с соседями завязался легко.

Семья ехала из Архангельска. Ехала прочно. Был уже продан деревянный — «в три окна» — домик на Соломбале. («Со всей мебелью продали, не возиться же», — сказала женщина со счастливой легкостью освобождения, за какой угадывалась мечта о том, что теперь вся их жизнь пойдет по-новому и станет лучше, чем прежде.) Домик строил отец женщины; в войну он утонул на тральщике, расстрелянном неприятельской подводной лодкой; овдовевшая мать жила со старшей дочерью в Холмогорах; соломбальский домик перешел в собственность к младшей, но похоже, что в домовладелицы она не годилась и собственность тяготила ее.

— Завмаг один купил, — весело сообщила она, — сосед знакомый. Я объявление на стенку приклеила, а он приходит, уже и объявление у него в кулаке, сорванное. «Считай, — говорит, — договорились»...

— Ну и обставил он тебя, — хмуро заметил муж.

— Может, на сколько там и обставил, — так же беззаботно согласилась женщина, — зато волынки не было и — деньги на стол!..

«Будь моя воля, все было бы, конечно, сделано обстоятельнее и разумнее», — говорил всем своим видом мужчина. Губы его оставались недовольно поджатыми, и на лице синела уже дня четыре не бритая в дороге щетина.

В отношениях этой четы довольно скоро можно было уловить своеобразный оттенок. Муж тут состоял на положении «слабого пола», жена верховодила в доме, приводила все в движение своей неутомимой энергией и деятельной волей, и вместе с тем, с истинно рыцарской самоотверженной широтой, умела она создать для мужа иллюзию его первенства и самовластия, которое не всегда осуществляется лишь из-за недостатка времени и желания с его стороны.

— Папке нашему на новое место захотелось, — сказала она, косясь на мужа и одним движением сдвигая на плечи платок и открывая светлые волосы, уложенные вокруг головы толстой, туго сплетенной косой.

Выходило так, что стоило «папке» захотеть на новое место, и тут же Надежду (так звали женщину с косой) вызвали в райком партии и спросили, не хочет ли она перевестись на работу в Ямало-Ненецкий округ. Вот она и сделала так, как мужу хотелось: согласилась без разговоров. В самом деле, отчего бы и не поехать? Мужу-то в Салехарде работа всегда найдется. Он хороший моторист, работал в Архангельске на рыболовных судах. «Тут за него обеими руками ухватятся, правда?» — сказала она с ободряющей уверенностью и опять покосилась на мужа. Поджатые губы его немногo распустились. Он не сказал ничего, но видно было, что внутренне он вполне разделяет эту уверенность: да, если тут живут разумные люди, то они непременно должны ухватиться за него обеими руками.

Но переводили-то — я теперь уже знал это — не мужа, а жену. Какая же у нее специальность?

— Учительница я, — сказала женщина.

Постепенно выяснилось, что учительствовать она когда-то начинала на Печоре, в школе одного из ненецких поселков.

Там познакомилась с мужем: он пришел с рыбаками на путину.

Вместе уехали в Архангельск, жили там восемь лет в солоMBOLьском деревянном домике. В городе знание ненецкого языка ей было ни к чему.

Но вот по какому-то поводу в райкоме «подняли» анкеты коммунистов-педагогов, нашли у Надежды упоминание о давней работе в ненецкой школе, вспомнили обкомовский запрос на эту тему (была, оказывается, про это переписка между Салехардом и Архангельском) — и состоялся разговор, исход которого Надежда и выдавала теперь за волшебное осуществление мужниной сокровенной мечты.

Предложили — поехала.

Предложили — продала дом с обстановкой, собралась, связала узлы, обрядила дочурку и двинулась на новое место без оглядки и сожаления...

Что-то тут еще должно было быть.

Ну, «легка на подъем»...

Ну, рассчитывала на то, что в Салехарде будут приплачивать «северные», которые в Архангельске — городе старом и издавна обжитом — не полагаются, а в Салехарде «пойдут» и мужу и ей. Был, верно, и этот деловой расчет...

Но в Архангельске жилось им, судя по всему, не худо и достаточно сытно, и вряд ли можно было одним этим расчетом объяснить быстроту и легкость решения, и живой блеск в глазах, и ту интонацию

радостного освобождения и живой надежды, которая то и дело ощущалась в ее рассказе.

Что-то тут еще должно быть.

Дорога была достаточно длинная.

«Что-то» успело обнаружиться в конце концов под спудом косвенных слов, оброненных супругами. И оказалось это «что-то» самой житейской пружинкой; она-то и ускоряла переезд, показавшийся Надежде избавлением от настигавшей ее беды. Беда же состояла в том, что муж, по ее мнению, «попал в дурную компанию». Он чересчур много пил в последний год.

Все это было высказано при мне не в форме упреков; в разговоре Надежды с мужем и в том, как она поминала о нем в беседе со мной, не было ни злых, колющих шпилек, ни утомленного ворчания. Напротив, семейная история Надежды и ее мужа стала понятной из шутливых и беспокойно-ласковых фраз, где снова и снова подчеркивалось, что «муж всему голова» и что все будет очень хорошо — куда лучше, чем было прежде.

Говорила, впрочем, одна Надежда.

Девочка Валя, дочь ее, крепко заснула, пригревшись среди узлов, а муж — известный на Двине и Печоре моторист Семен Прокофьевич — участвовал в разговоре больше мимикой, видом своим изображая загадочность: «Поживем — увидим».

Я спросил у Надежды, где же рассчитывает она осесть. Ведь не ради же работы в самом Салехарде понадобилось ее знание ненецкого языка? А вдруг направят ее в школу куда-нибудь в глубину материка, где не будет ни реки, ни моря, ни рыбаков?

— Нет, — уверенно возразила Надежда.

Она сказала, что когда ее будут направлять, то с семейными обстоятельствами непременно посчитаются, и тут же упрямо свернула разговор на проторенную дорожку: вообще, мол, дело не в ней. На Ямале больших ненецких рыбацких селений много. Мотористы там нужны. А куда «папку нашего» пошлют, там и ей место найдется.

Говоря это, она снова пристально глядела в непроницаемое и небритое мужнино лицо.

И тут же Надежда перешла на незнакомый, жестковато звучащий для непривычного уха язык. Она обратилась к соседям, сидевшим рядом со мной.

Я сперва не обратил внимания на этих соседей, теперь пригляделся.

Иссиня-черные, прямые, блестящие волосы были особенно приметны — и у мужчины и у женщины. У обоих широкие округлые лица с крупными, резко обозначенными чертами, с крутыми дугами скул. Но и эта широкая плоская округлость лица и непривычно преувеличенная резкость всего, что на этой плоскости выступало, не лишали лицо соседки женственности. У женщины были очень живые, смешливые глаза и очень здоровый, кирпично-красный цвет лица. Но женственным был и мужчина. То есть, конечно, «женственность» тут не самое верное слово; он был похож на мужеподобную старуху, и в этом повинно было не столько лицо — желтоватое, морщинистое и почти безволосое, — сколько мелко клетчатый старушечий платок, покрывавший голову под шапкой и завязанный у подбородка широко разлетающимися концами.

В хлопотах, которыми был полон мой первый салехардский день, я не приглядывался к лицам встречных; в Речной и вовсе не было времени оглядеться. Теперь я понял: ненцы. Это и есть ненцы, которых ожидал и хотел я увидеть, еще только добираясь до Салехарда.

Я думал, что увижу их одетыми в малицы, пришедшими в город с нартами и оленями. Но на женщине было зеленое драповое, в рубчик, пальто; серый пуховый платок, как и у Надежды,—сдвинут на плечи; на широко расставленных массивных ногах — блестящие резиновые боты. У мужчины под синим пиджаком была синяя же, в мелкую белую полоску, косоворотка. Только вот голова была убрана своеобразно, и я подумал: а не болят ли у него зубы?

Зубы у соседа не болели. Я еще успел потом насмотреться на эти платки. Оказалось, что они просто приняты здесь как деталь мужского одеяния, такая же, как пимы или малица. А может, даже и больше: не было же на соседе ни малицы, ни пимов, а платок был, и над завязанными его концами торчала обкуренная погасшая трубка; в каютке курить не полагалось, и пассажир привычно посасывал пропитанный табачным запахом холодный чубук.

То, что Надежда заговорила с ними по-ненецки, не удивило соседей. Среди здешних русских старожилов многие говорили и по-ненецки, и по-хантыйски, и на языках манси и коми.

Случалось в старину в Обдорске даже и так, что ненецкий язык приживался в быту иногo русского дома: много сердитых записей есть по этому поводу у миссионеров, наезжавших в эти места лет двести назад.

В начале разговора я не только уловил приветствие, но и понял его.

— Дорово,— сказала соседям Надежда.

— Ань-дорово-те,— отозвались и мужчина и женщина.

Какая же старая русская форма угадывалась за словом, невесгь когда вошедшим в обиход северных оленеводов (и не только ненцев, потому что в точности то же приветствие услышал я потом и в якутских селениях)? «Ан, здорово-те» — ведь это еще новгородцы поздоровались так с ними века и века назад, и, наверно, дружелюбно, по-доброму прозвучали эти слова, пришлись людям по сердцу, раз оставили они их и для самих себя и вот уж веками привыкли встречать тем же радушным пожеланием друг друга. Только немного изменилось — приноровилось к здешнему выговору — звучание слов: смягчилось «н», исчезло не произносимое здесь «з», но все равно узнается и согревает в чужом языке сбереженная восточка от тех, кто первым дошел до здешней далекой земли.

Но дальше слова перестали быть понятными.

Вот чему-то улыбнулись все грое. Вот стали серьезными...

Вот о чем-то обстоятельно заговорил мужчина.

Семен Прокофьевич тоже слушал разговор и, видно, понимал его. Он наклонился ко мне и, легонько кивнув в сторону соседа, сообщил:

— Деловой...

Надежда услышала замечание мужа и быстро обернулась.

— Слышал? Вот видишь! Только заговорила...

Разговор стал общим.

Надежда торжествовала: стоило ей упомянуть про мужа-моториста и про то, что он собирается в здешних местах работать, но пока еще ни с кем не сговаривался, как сосед сразу заинтересовался.

Евай Еволю — звали соседа.

Он бригадир в прибрежном ямальском колхозе. В Лабитнанги ездил по колхозным делам. Дел набралось много. Нужно было побывать и в порту, и на железнодорожной станции, и в строительном управлении.

— Однако, думал, не управлюсь маленько. Туда пойдя, сюда пойдя. А начальник не думал — Евай Еволю к нему придет. Он меня не дождался. Это мне его, однако, подождать надо... Там подожди, здесь подожди...

Бригадир рассказывал весело и неторопливо, довольный собой.

В Лабитнанги прибыл строительный материал, отпущенный их колхозу. Евая Еволю послали принять этот материал, сдать его на надежное хранение, организовать доставку в колхоз. И вот...

— В три дня управился,— сообщил Евай Еволю.

Бревна, доски и кровельное железо для постройки шести домов получены и заперты на складе. Вывозить их оттуда надо быстро. Деньги у колхоза есть. Мото-дору, то есть большую здешнюю рыбацью моторную посудину, давно собирались купить, не раз про это на собраниях говорилось. Вот вместе с мотористом и выбрать бы дору получше, да так, чтобы уж моторист на ней и остался. А с первым рейсом и материал бы перегнали... «Колхоз, однако, не бедный, жалеть не придется...»

Евай Еволю снимает шапку и развязывает платок. В руке появляется записная книжка, мусолится карандаш, делаются первые прикидки касательно дори, возможной ее грузоподъемности и веса материалов, которые надо доставить в колхоз.

— Деловой,— повторяет Семен Прокофьевич.

На предложение бригадира он отвечает уклончиво, но от встречи в Салехарде не отказывается.

— Ты, однако, где жить будешь? — спрашивает Евай у Семена Прокофьевича.

Отвечает Надежда:

— А не знаем еще. Вещи пока на пристани в камере оставим. А там определят куда-нибудь.

Видно, что Евай Еволю опасается: не потерять бы след нужного человека. Он не только деловой мужик, но и настойчивый. Он говорит, что пусть тогда моторист сегодня придет к нему. А найти его легко: в Салехарде он живет в Доме народного творчества, как раз напротив гостиницы «Север». Дом сейчас закрыт, и там поставили койки для приезжих. Сегодня же пусть и приходит.

— Завтра,— возражает Семен Прокофьевич.— Сперва осмотреться надо.

— Осмотреться,— задумчиво повторяет Евай, будто разжевывая непривычное для его слуха слово. Но смысл слова ему понятен. Он соглашается: — Однако, маненько осмотришь.

Мото-дору для покупки он начнет искать уже сегодня, а завтра с утра будет ожидать Семена Прокофьевича.

Надежде разговор нравится.

Уже возникают какие-то ниточки, начинающие связывать ее с почвой, на которую она еще не ступила, с местами, которые она еще не вполне себе представляет. Запоминаются адреса, назначаются встречи...

И ненцы попутчики нравятся ей тоже.

Пока муж ее толкует с Еваем, Надежда торопливо шепчет мне:

— Вы не знаете, какие это люди хорошие. Вот говорит он с тобой и — весь тут. Ничего не спрятано. Что подумал, то и сказал... Открытые они очень и честные...

Надежда заговорила с женщиной. Я-то подумал сперва, что она жена бригадира Еволю и ездила вместе с ним. Но оказалось, они просто из одного колхоза и в Лабитнангах повстречались случайно.

Мария Окоэтто работает в оленеводческой бригаде, а теперь возвращается из Нарьян-Мара, с краткосрочных курсов.

За иллюминатором тянулся все тот же низкий, ровень с водою, берег. Шел второй час ночи. Солнце поднялось выше. На гладкую воду легли теплые розовые отсветы, винт теплохода отслаивал тонкие текучие пласти, они ширились, ширились и бесшумно накатывались на берег, пропадая в траве.

Прошел встречный буксир с глубоко сидящей баржей.

Косо черкнула чайка, падая к реке — вдогонку мелькнувшей у поверхности рыбе. Птица промахнулась, снова взмыла вверх, и ее злой, резкий вскрик слился с гудками, которыми поздоровались буксир с теплоходом.

Мария показывала Надежде купленную для сына игрушку: большого резинового крокодила. Мария надувала его, потом выпускала воздух и веселилась, когда большая игрушка опять становилась плоской и легко укладывалась в чемодан, к книжкам с нарисованными на обложках зелеными оленями и с непонятными мне, хоть они и напечатаны были русскими буквами, ненецкими словами названий.

Женщину забавляла не только игрушка.

Она радовалась, вспоминая о сыне и представляя, как удивится тот превращению плоского куска резины в невиданного на Оби странного зверя...

...Полвека назад, когда ненцев еще принято было называть «самоедами», писатель Н. Гарин записывал в своем дорожном дневнике:

«Я вспоминаю самоеда Архангельской губернии, когда впервые, в дебрях северной тундры, я увидел его, вышедшего вдруг на опушку своей тундры. Неподвижный, как статуя, в своем белом балахоне, таком же белом, как его лайка, его белый медведь, его белое море и белые ночи, безжизненные, молчаливые, как вечное молчание могилы. Не жизнь и не смерть, не сон и не бодрствование, не конец и не начало — какая-то мертвая полоса и в ней вымирающий самоед. Их тысяча или две, и не рождаются больше мальчики...

— Надо, надо мальчиков,— говорит тоскливо самоед.

Но мальчиков нет, а рождающиеся изредка редко выживают: и мальчики и девочки — все умирают от той же черной оспы, и напрасно в опорожненную меховую торбу мать сует новое свое произведение — оно заражается».

В этой картине белый цвет — как в Корее, которую тоже видел Гарин,— становится цветом траура.

И, видно, долго ныла и мучила душу писателя память о злосчастии маленького северного народа, потому что лишь годы спустя, после путешествия на Север и совсем в других местах вспомнил он и записал эти свои горькие слова о вымирающих самоедах.

Но слова, сложенные как реквием маленькому народу, принадлежат теперь, слава богу, истории. А история сорок лет назад так же круто повернула пути людей на севере старой России, как и во всех других ее местах. Вот-вот должен был вымереть, исчезнуть с лица земли ненецкий народ — не зря Гарину виделся этот трагический близкий конец. Но революционный поворот и ненцев вывел из «мертвой полосы» и белому цвету Севера вернул свет жизни.

Нынче в тундре живет около двадцати тысяч ненцев. И мальчики у них рождаются. И о черной оспе напомним порою разве только изрытое буграми лицо старого оленевода; уже по крайней мере три десятилетия ненецкие стойбища не видели черной оспы.

...Теплоход вышел из рукава на широкое русло недалеко от того места, где река разливается надвое и уходит влево — Хаманельской Обью, а направо — Обью Надымскую.

Мы шли к середине русла, и оба берега теперь едва виднелись.

Впереди что-то сверкало. Это ночное солнце играло в высоких резервуарах с горючим близ Салехардского порта.

Но самый порт еще увидеть было нельзя, путь до него оставался не близкий.

В каютке стало жарко.

Надежда и Мария Окоэтто продолжали негромкий разговор. Крокодил снова лег в чемодан. Семен Прокофьевич спрашивал у Евая, каков был в прошлом году трудовень у колхозных рыбаков, и тот отвечал обстоятельно и удовлетворенно. Было слышно сонное посапыванье маленькой Вали.

Я оставил попутчиков и поднялся на палубу.

Солнце уже пригревало, а свежий речной ветер как бы снимал с лица солнечное тепло, и оно не успевало стать жарким.

Утро начиналось отлично.

Невысокий гибкий паренек с сосредоточенной серьезностью дирижировал хором: три девушки и второй парень расселись у кормового флагштока. Исполняли они любимую многими поколениями русских студентов украинскую песню «Ой, що ж то за шум учинився».

Скривившись, точно от зубной боли, дирижер укорил коллегу, старательно выжимавшего басовое рокотание из своего ломкого тенорка:

— Ну и выговор же ж у тебя жестокий!

По мягкому «г», по тому, как он произнес «выговор же ж», несложно было угадать в дирижере коренного украинца. И точно так же угадывался коренной ленинградец во втором паренёке — по бледной и тонкой коже лица, по белесым ресницам, по мягким волосам, которые, как хотел, трепал речной ветер; наконец, по тому, едва уловимо обесцвеченному, словно отполированному и лишённому каких бы то ни было местных примет говорку, какой свойствен именно урожденным ленинградцам из тех семей, где старики еще любят называть себя «петербуржцами» или «питерцами». Он и в украинской песне произносил привычно, по-русски, окончания слов — «учинился», «оженился», — причиняя тем самым почти физическое страдание своему приятелю.

— А ты терпи, Терещенко,— мирно сказал белобрысый,— запорожцы не то терпели...

Все засмеялись, и песня оборвалась.

Туристские рюкзаки лежали в ногах у хора.

Ребята ехали налегке, как едут студенты на практику.

Когда я заговорил с ними и спросил, куда и зачем они едут, Терещенко таинственно-мрачным шепотом объяснил:

— Звероводы мы...

У него выговорилось «звироводы». И это «и» прозвучало с напевной протяжностью, а лицо при этом приняло такое угрожающее выражение, будто в рюкзаках они везли живых тигров и могли выпустить их в любую минуту.

Но ехали они заниматься не тиграми, а песцами. Ехали из Ленинграда (и рюкзаки не обманули) на студенческую практику. Ребятам было известно, что самая дальняя из здешних песцовых ферм находится где-то на самой северной оконечности Ямала, в местах, где в начале тридцатых годов находилась одна из первых комсомольских полярных зимовок. И все пятеро хотели попасть именно туда.

Потом они пели попеременно старые песни, и фронтовые песни, и переделанную на свой лад песню, которая удостоверяла, что они действительно не кочегары и не плотники, но звероводы и таежники. Пели то весело, то задумчиво, и Терещенко уже не дирижировал, а запевал сам, и у него оказался довольно сильный и славный баритон. На корме собиралось все больше народу, и я еще успел познакомиться там с плотником Сергеем Панковым, который ехал к брату, тоже плотнику, живущему в Салехарде уже третий год и довольною жизнью; с молодым парикмахером Игорем, местным жителем, принявшимся с горячностью объяснять Сергею, как отыскать брата в незнакомом городе, и успевшим вконец запутать беднягу; со счетоводом почтовой конторы, который проводил в Лабытнанги, к поезду, гостившую у него мать и возвращался домой, жалуясь на то, что не выпавшись придется идти на работу. Петр Петрович и Петр Сергеевич — так обращались друг к другу два обстоятельных, в летах, человека, донашивавшие упраздненную форму без петлиц и нашивок, — оба были лабытнангскими транспортниками: один — железнодорожник, другой — водник, и оба корпели над конспектами, готовясь к совещанию в окружке, куда их вызвали вчера телефонным звонком... Пассажиры как пассажиры. И знакомства, по большей части, без примет какой-либо несбыточности и экзотики. Пригородный рейс, ощущение близости нормально живущего города и — после солнечной ночи — наступление обычного летнего дня.

Так и окончилась вторая переправа через Обь.

Когда пассажиры вышли за ворота речного порта, Салехард еще спал.

И все было, как запомнилось, как представлялось в дороге.

В прямой улице, уходящей кверху, двухэтажные деревянные дома отбрасывали длинные тени на дощатую лежневку. Кончился некрутой подъем на прибрежный пригорок. Ровная широкая улица легла теперь плоско. Между лежневкой и узким — в три доски — тротуаром росла трава. Свежая афиша на заборе сообщала, что в окружном Доме народов Севера труппа Тобольского драматического театра покажет нынче вечером «Тристана и Изольду». За забором строился большой бревенчатый дом. Подальше — второй. Строителей еще не было на площадках в этот ранний час, но имена бригадиров, цифры и сроки их обязательств читались на кумачовых полотнищах, прибитых к светлым бревнам: деревянный город строил новое жилье, стараясь не отставать от каменных своих собратьев. Нужда в площади была тут не меньшей. Конечно, строительный материал другой; но жить в деревянном доме можно так же удобно, как в кирпичном или железобетонном.

И кстати, деревянный северный город, даже в безлесной тундре, всегда имеет свои неповторимые уголки — уютные и покоряющие душу. В Салехарде так влечет к себе небольшой квартал рядом с построенным на старинный лад просторным бревенчатым домом, обшитым тесовыми досками и крашенным белой и голубой краской, где разместились Ямало-Ненецкий окружной партии и окружной исполком. Улица эта тихая, мостовая ее похожа на деревянный пол в избранной и чисто подметенной горнице. (Вот написал «мостовая» и усомнился было: а можно ли этим словом назвать дощатый настил? Но тут же вспомнилось, что и «мост», и «мостить», и «мостовая» — все эти существительные и глаголы живут именно с давней поры деревянного строения и лишь потом перешли на булыгу, на асфальт, на каменные опоры и металлические арки; а в Новгороде археологи откапывают из-под земли как раз такие вот мостовые, как та, что прячет под собой на салехардской улице зыбкую тундровую почву). Тут, на этой недлинной улочке,

есть и палисадники у домов с посаженными кем-то и заботливо выхоженными кустами. А рядом, за аккуратным и свежим, как внутренняя выбеленная стена, забором, зеленеет в неглубоком овражке — тоже искусственно выращенный — городской сад. Только потолка нет над улочкой-горенкой. Над ней опрокинулось глубокое северное небо, и вечерами на мостовой-полу гулко стучат шаги: парни и девушки спешат в городской сад; там сколочена танцплощадка и рядом с нею — деревянная раковинка, где по субботам и воскресеньям играет баян, а в другие вечера — радиола. И солнце не заходит над этим садом даже ради тех, кому его вечерний свет над скамейками совсем не кстаети.

Я видел эту улочку только летом.

А зимой нет, верно, ни сада, ни улочки-горенки. Всюду снег, в снегу прокопаны неширокие коридоры, и шаги людей, обутых в пимы или валенки, откликаются тогда не дробным стуком, а звучным, протяжным скрипом...

Сейчас в улочке-горенке тоже пусто и чисто.

Только у деревянного крытого рынка начинается ранняя городская жизнь. Останавливается оленья упряжка, и две женщины со скуластыми, изжелта-смуглыми лицами, одетые в темные — мехом внутрь — малицы, снимают с нарт корзину с крупной, свежей, по-рыбацки едва подсоленной нельмой. Разрубленная рыба розовеет и золотится. Еще привезли женщины на продажу несколько пар «чижей». Это невысокая обувь для ребят, шитая из «камуса», то есть из кожи, содранной с ног оленя. По светлому, отливающему серебром меху вышит скромный красно-белый узор... Несут еще рыбу. Пыжьян (скорее похоже на фамилию), сырок (название вызывает в памяти прилавок молочного магазина, изюм и цукаты, но здесь оно обозначает крупную и необыкновенно вкусную в горячей ухе рыбу), вездесущий, отливающий радугой окунь... Несут корзинки с яйцами и бидоны с молоком. Только зелени не видно, а то ничем бы не отличался этот рынок от любого другого. Стоит поодаль такси, и широкоплечий усатый мужчина уговаривает шофера:

— Кабанчика, понимаешь, привезти надо.

— Не повезу я твоего кабанчика в легковой машине, — не сдастся шофер. — Он мне всю кабину изгадит.

— Кабанчик?! — искренне возмущается усатый. — Он же чистенький. Вчера закололи.

Все это — и «кабанчик», и «чистенький», и «вчера закололи» — произносится с нежностью. Кажется, шофер должен бы почувствовать, что он делает святое, доброе дело, если привезет сюда на продажу такого славного, такого дорогого усатому человеку, такого чистенького кабанчика. Но тот остается неумолимым. Если везти, то в грузовой машине, а грузовые еще с базы не выходили...

Знакомые собаки хлопчут на лежневке. Они куда-то бегут, деловито встречаются, обнюхиваются, небрежно приветствуют друг дружку коротким вилянием хвоста, даже не распрямляя для этого закинутый на спину कुдлатый бублик. Это прямые потомки серьезных и работающих ездовых псов, выродившихся в бездельничающую уличную свору. Вряд ли кому-нибудь из них довелось самому побывать в упряжке. И похоже, будто сами они этого стыдятся и оттого изо всех сил стараются изобразить преувеличенно-неумную деловитость.

В гостинице «Север» дверь еще заперта.

Стоит ли звонить, будить дежурную?

Можно пройти прямо на аэродром, передать вертолетчикам наряд и сговориться с ними о полете в горы. Вертолетчики уже, наверно, проснулись. У них день начинается рано.

Салехард построен как бы углом. В вершине этого угла, при впадении в Обь реки Пóлуй, лежит старая часть города, речной порт и административный центр. Вниз по Оби — консервный завод со своим поселком. А вверх по течению Полуя, на правом его берегу, — новые кварталы, называемые «вторым отделением»: коттеджи, клуб и больница, редакции двух газет — ненецкой и русской (обе называются «Красный Север»), и в здании, построенном под депо не дошедшей сюда железной дороги, — гараж городской автобазы. Оттуда как раз и выезжают сейчас навстречу, грохоча по прыгающим бревнам лежневки, три грузовых такси. Наверно, первому из них суждено отправляться за «чистеньким» поросеночком...

Между всеми тремя районами, заполняя собой незастроенную площадь внутри угла и прилегая к еще одной речке — Шайтанке, — раскинулся большой пустырь. На нем пасутся коровы, принадлежащие ферме городского отдела снабжения, и стреноженные лошади — транспорт консервной фабрики; в овражках, в нестаявшем снегу, блестит битое стекло и жестяные банки, а у самой Шайтанки обвисло на мачте черное белое осиное тулово полотняного «ветродуя»; там стоит ушедшая в землю халупа с пристроенной к ней невысокой деревянной башенкой, и вокруг, на непросохшем и вязком еще пустыре, виднеются колесный «антон», маленький санитарный «ЯК» и вертолет, над которым только что начали шумно раскручиваться куполообразные лопасти.

— Раскочегариваем, — объяснил, поздоровавшись, чернявый худой паренек. Он сидел подле вертолета на баке для горючего и зачищал какие-то контакты, из чего явствовало, что он механик. Остальные члены экипажа были внутри машины.

Потом лопасти остановились. Пилот спрыгнул на землю. Он был так же молод, как и механик, — небольшой, прочно и ладно сбитый. Фамилию, знакомясь, он пробурчал невнятно, но вскоре выяснилось, что звать его надлежит Славой. Так обращались к нему все.

Наряд он взял и сунул в карман.

— Главное, чтоб погода продержалась. А то начнут переходить задания с одного дня на другой...

Интонация не обещала ничего хорошего. Было ясно: в то, что полет состоится, как обещано Ачкасовым — через три дня на четвертый, — Слава не верит.

Если вам повстречается летчик, испытывающий недоверие к дальним дорожным планам, к попыткам рассчитать течение событий, заглядывая на несколько дней вперед, — знайте: скептицизм воспитала в нем метеорология.

Когда мы познакомились со Славой, утро стояло отличное.

Солнце поднималось в безоблачном небе.

Но Слава глядел куда-то далеко, за Обь.

— Видишь? — спросил он.

Там синели невысокие горы. Вершины их казались расплывчатыми, будто размытыми в небесной сини. Стоило приглядеться внимательнее, и становилось понятно, что весь Полярный Урал накрыт сплошной темной тучей с рваными белыми краями. Нечего было и думать, что в такую тучу может быть впущен метеорологами стоящий рядом маленький вертолет.

— И долго это может держаться?

Я старался задать вопрос беззаботно и легкомысленно. Вряд ли это мне удалось.

— Неделю может. Может и больше, — черство ответил Слава.

Он взглянул на часы и послал своего «второго» к диспетчеру, за погодой.

Несмотря на круглосуточный день, погода для вылета давалась только с шести часов утра по московскому времени. На этот раз вертолетчикам нужно было лететь на юг — тот самый условный здешний «юг», о каком поминал в Речной Ачкасов; день там был такой же, как и здесь, — ясный, безветренный; «второй» возвратился быстро, лопасти завертелись снова, и я не успел заметить, как остался один на пустыре, возле порожнего старого бака.

С этого утра жизнь моя потекла неопределенно и зыбко.

Все теперь зависело от погоды.

В Салехарде дни стояли такие же ясные и жаркие. Но не это называлось погодой. Слово «погода» относилось лишь к метеорологическим условиям на сегодняшней трассе вертолетчиков. Выпустят ли их туда, где должны они нынче выполнять очередное задание? Сократится ли срок до нашего вылета на Ханмэй — к восточным вершинам Полярного Урала?

Ровно в шесть по московскому времени, в ту самую минуту, когда Игорь (так звали «второго») должен был отправляться к диспетчеру перед полетом, я просыпался в гостиничном номере, словно разбуженный звонком будильника. Если вертолет взлетал, его ворчливо-бубнящий рокот ясно слышен был над утренним городом и казалось, будто он недовольно всем сообщает: «брум-брум, брум-брум, й-ду в тун-дру...» И сам вертолет виден был в небе. Неторопливый, похожий на сытое насекомое с пухлым отвисающим брюшком и длинным тонким хвостом, он шел к Оби, чтобы начать свой трудовой день с посадки в Речной, а уже оттуда, с людьми и грузом, лететь на дальние стоянки геологических партий, возвращаться в Речную и опять улетать по новому маршруту. Под вечер ворчание вертолета снова слышалось над Салехардом: трудовой день окончился, вертолет возвращался на отдых, но он ворчал так же хмуро и недовольно и отчетливо выговаривал те же слова, хотя на этот раз сообщение, будто бы он «идет в тундру», было явной неправдой. Просто у него был дурной, сварливый характер. Но еще хуже было, когда его голоса не слышно было вовсе и ворчание мотора не нарушало тишины раннего салехардского утра.

Тут уж ничего нельзя было с собой поделывать; оставалось лишь плестись через овражки и буераки на аэродром, зная, что прогулка не сулит никаких неожиданных радостей. Вертолет будет стоять на месте, и экипаж, не получив сегодня погоды, будет возиться возле машины, делая все, до чего «руки не доходили» в страдные дни полетов...

Экипаж — это четверо славных и дружно живущих ребят; каждому лет по двадцать с небольшим.

Сами они себя называют: «вертолетчики».

Слава серьезен, обстоятелен, почти всегда сосредоточен. Он — единственный в четверке «женатик».

Собственно, жену его — Веру — можно считать пятым членом экипажа. Когда в воздух не выпускает погода и «вертолетчики» остаются в Салехарде, они держатся все вместе, и Вера тоже не разлучается со всей четверкой.

Как это часто бывает даже и в молодых семьях, они со Славой во многом похожи. Вера так же уравновешена и обстоятельна; она спокойна улыбочиво и весело, как бывают спокойны молодые женщины, вполне удовлетворенные сложившейся жизнью. Конечно, она волнуется, когда Слава уходит в полет и она остается одна, но ее волнение выкачивается лишь в том, что Вера старается тогда держаться поближе к

диспетчерской вышке, и когда там на деревянном балкончике появляется Степан Фомич, пятидесятилетний вылетающий летчик с непокрытой лысиной и добрым морщинистым лицом, с колодкой линялых орденских ленточек, пристегнутой вверх ногами к старой кожаной куртке,— Вера перебрасывается с ним несколькими шутивными фразами и потом, как бы невзначай, спрашивает:

— Как там «мой»? Говорил что-нибудь или помалкивает?

Добрый Степан Фомич не всегда дожидается этого вопроса. Иногда он сообщает сам:

— «Твой» в Усть-Юрибее сидит. Потом еще в Мордыху собирается. День сегодня хороший. Рано не жди...

И неизменно прибавляет к своему сообщению — в одних и тех же словах,— что вот, дескать, очень жаль, что он, Степан Фомич, занят тут сегодня до самого вечера, а то могли бы они вдвоем, пока мужа нет, ого, как повеселиться! Завялись бы в ресторанчик. Или в кино? А что, почему бы и нет?!

И оба весело смеются.

Шутка повторяется и при Славе. От частого употребления она не становится менее забавной для всех троих.

Сегодня вылета не было.

«Вертолетчики» копошатся у машины.

Вера подходит к ним одновременно со мной. Она пришла с другой стороны пустыря, от домов «второго отделения», а точнее — судя по набитой авоське — из тамошней ближней лавки.

— Гони-ка еще десятку,— говорит она с ходу Славе.— Не хватило. Буду вас сегодня жареной осетриной кормить. Там вот такенных осетров привезли.

Она показывает, каких там привезли осетров, а Слава послушно протягивает ей десятку. Возражает только штурман Володя.

— Плюнь,— лениво говорит он Вере.— День-то какой! Купаться надо. Живи, как в Гаграх. Какие там еще осетры...

Но Вера уже скрылась в домике, чтобы тут же выскочить снова, сунуть леденец соседскому двухлетнему Сережке и, степенно помахивая опорожненной авоськой, направиться ко «второму отделению». Менять свои планы она не привыкла. Решено жарить осетра, значит так оно и будет.

— Вы, мальчики, купайтесь,— говорит она, проходя мимо Володи.— Я еще вас на речке застану.

Живут они со Славой в комнате, где должна находиться касса аэропорта. Обсохнет пустырь, начнут рейсы — надо будет придумывать что-нибудь другое. Постоянные квартиры у экипажа — в большом зауральском городе; туда вертолетчики возвратятся, когда будет выполнено задание. Никакие здешние «временные неполадки» Вере не волнуют. Особенно теперь, когда салехардское лето оказалось теплым и когда выдаются такие дни, как сегодняшний: солнечно, муж никуда не летит, все хорошо...

Холостяки живут в «пилотской». В комнате стоят шесть коек, но, кроме трех вертолетчиков, других жильцов в ней пока не имеется. Два маленьких подслеповатых окошка прорезаны на уровне земли: домишко глубоко ушел в землю. У коек — табуретки. На каждой — горка книг. И у всех троих — учебники. Механик Ваня прилежно читает английские книжки. На его табуретке лежит томик рассказов Джозефа Конрада, несколько технических брошюр и тетрадка с аккуратными столбиками выписанных новоузнанных слов. Все трое учатся. Вера их консультирует. Так и должно быть: она педагог по профессии, преподает физику

в старших классах, и летние каникулы позволили ей уехать с мужем в Салехард.

«Мальчишки» ее слушаются.

Вот и теперь они послушно поднимаются и бредут, как было им велено, к Шайтанке.

Что ж, Володя прав. Проведем этот нелетный день, живя, «как в Гаграх». Будем купаться. Потом ребята будут есть осетрину. Потом...

Про то, что им остается делать потом, говорит Ваня:

— На танцы пойдем.

Он и сейчас движется танцующей походкой, гибкий и загорелый, с успевшими посветлеть от солнца тонкими усиками. Рядом с ним Володя кажется увальнем. Он веселый, добрый и безотказно работающий парень. Слава шутит, что Володя, мол, и на медосвидетельствование ходит «за весь экипаж». Врачам вертолетчики должны показываться после каждого полета. Остальные легкомысленно норовят увильнуть от бдительного медицинского ока; один Володя послушно позволяет всякий раз измерять кровяное давление, аккуратно делает положенное число приседаний и снова мерит давление — «до», «после»... Это не потому, что он внимательнее, чем другие, относится к собственному здоровью. Нет, тут говорит в нем привычное уважение к чужому труду: врачам так велено, отчего же им не помочь?..

Мы спускаемся к речке.

Непонятно, отчего сегодня нелетный день.

Воздух дрожит от всамделишного июльского зноя. Дрожит на горизонте гряда Полярного Урала. Даже над нею нет никаких туч, и ясно видны снежные верхушки над иззубренной сине-лиловой стеной.

— Красота? — издевательски спрашивает Слава, перехватив мой взгляд, вождеденно устремленный к Ханмэю. И тут же пытается успокоить сомнительным утешением: — Туда тоже нельзя. Ветер, говорят, сильный.

Шайтанка довольно широка и очень мелка.

Первый жаркий день не согрел воду. Илистое дно тоже очень холодное и глубоко засасывает ноги. Игорь и Ваня резвятся, согреваясь, валят друг друга в воду и шумно брызгаются.

Вдруг Слава останавливает их.

Кто-то громко выкликает его по имени с пригорка, на котором стоит аэропортовский домик. Это соседка-уборщица, мать маленького Сережки.

— Слава! По-го-ду да-а-ли! — кричит она.

Ребята выскакивают из воды, натягивают брюки на мокрые, невыжатые трусы и бегут к машине.

Когда я догоняю их, Игорь возле вертолета уже занят обычным передполетным делом. Он сосредоточенно складывает и множит какие-то цифры на листке потрепанной записной книжки. Машина капризная, перегрузки боится, вес груза и горючего нужно высчитать точно.

Лопаста вертятся, мотор оглушительно трещит.

— На юг разрешили, — торопливо объясняет Слава. — Если сегодня полетаем по плану, — завтра можно и на Хадыту...

Но и сегодня уже пятый день ожидания. И из этих пяти дней два были нелетными. Я предчувствую, что еще день-другой, и метеорология воспитает и из меня скептика-пессимиста.

Вертолет отрывается от земли, и как раз в это время на околице пустыря появляется Вера с высоко торчащим над ее авоськой осетровым хвостом.

Она останавливается и смотрит вслед улетевшей машине.

Когда Вера возвращается к домику, на балкон выходит Степан Фомич. По закоренелой фронтовой привычке, он свертывает из треугольного обрывка газеты изящнейшую «козью ножку» и щедро засыпает ее махоркой.

— Жаль, дежурить мне тут до самого вечера,— начинает он.

Вера привычно смеется.

К аэропортовскому домику подходит еще один здешний знакомец.

Он тоже нетерпеливо, не первый день, дожидается своей очереди на полет. Работать он должен для ачкасовской экспедиции, работа у него важная и срочная, и полетит он поэтому раньше, чем я. Это геофизик, защитивший в прошлом году диплом в Ленинградском университете. Здесь он теперь начальник гравиметрической партии.

Зовут его так же, как и работающего вертолетчика: Володя. И оба Володи успели прочно подружиться.

Несмотря на жару, Володя-второй (так зовет его экипаж вертолета) одет в меховую, с некогда черным, а теперь побуревшим и просаленным верхом, выдавшую виды пилотскую куртку. Володя длинен и тощ, но куртка велика даже на его рост; она болтается на нем, как на вешалке, Володя выглядит в ней нескладно, но ему кажется, что встречные не о куртке, но о нем должны думать — будто это он сам «видывал виды»; именно таким он сам себе нравится и предпочитает терпеть зной, чем обезличить себя, сбросив куртку и оставшись в обычной мальчишеской ковбойке.

К геофизике Володя испытывает всепоглощающую любовь и преданность. Стоит с ним поговорить самое недолгое время, и он любого сумеет убедить в том, что судьбы всего человечества зависят от геофизики, и только от нее; все остальное — второстепенно. Впрочем, нет. Существует еще на свете поэзия. О стихах, так же как и о распределении силы тяжести на земной поверхности, Володя способен говорить часами: слушать стихи, читать стихи, чаще чужие, но изредка и свои, стесняясь и бормоча.

Две страсти живут в нем обособленно, не соприкасаясь.

Геофизике нет доступа в стихи. И никакой поэтической вольности нет места в трезвых рассуждениях Володи о геофизике, в которой увлекают его именно определенность, расчет, кропотливость работы с тонкими и точными приборами.

Эта раздельная жизнь ума и сердца будет длиться, наверно, до тех пор, пока на смену разбросанности юношеских исканий не придет с накопившимся опытом уверенная и спокойная цельность. И, может быть, тогда соприкоснутся, взаимно обогащаясь и по-новому наполняясь, оба Володины увлечения.

Сейчас в стихах он больше всего говорит о дороге, о движении.

Хороша для него любая дорога.

Из вагонного окна впервые открывался ему и увлекал его мир.

И в отношении вагонного пассажира к этому открывающемуся миру можно порой угадать именно гравиметриста.

...Башка обмелеет, как речка в зной,
Слипаются веки потём.
И сон, блаженный сон поездной,
Глотаешь раскрытым ртом.

А поезд качает тебя во сне
Каждым своим колесом.
И мир в окне остается вне,
Бесплотен и невесом.

Но ты из окошка о нем не суди:
 Картинка — поле и лес,
 На дальней станции ты сойди,
 И все обретет вес.

И собственный вес, и вес рюкзака
 Почувствуешь ты, сойдя,
 И станут весомыми облака,
 Ударив каплей дождя..

Конечно же, только гравиметрист, стремясь непременно ощутить вес каждого видимого предмета и тем самым утверждая его реальность, может так отнестись к картине открывающегося в дороге мира.

Но мне запомнилось еще одно его стихотворение, и я думаю, что оно хорошо именно своей поэтической невесомостью, очень личной и вместе с тем убедительно ясной живописью.

В коротком стихотворении говорится об иве:

Эти листья ивовые
 (У дороги — куст),
 Искренние, не льстивые,
 Горькие на вкус.

Ива — с глазами серыми,
 Ива — с губами горькими,
 С ласковыми беседами,
 С наивными отговорками.

Ищущая, трепещущая,
 Ловящая свежие веяния,
 Не знающая убежища
 От собственного сердцебиения!

Такие стихи читал Володя-второй, когда мы вернулись к Шайтанке и снова полезли в мелкую прохладную воду, а потом обсыхали на подступающей к речке невысокой луговой траве.

Рядом с голым Володей лежала в траве меховая пилотская шуба. Но в Салехарде это не было так уж удивительно. От Степана Фомича я уже знал, что прогноз на завтра обещает похолодание и снег с дождем. Не обязательно принимать это на веру. Дня два назад синоптики пророчили тепло и солнце, а вместо этого то и дело зарядами налетал тяжелый и мокрый снег, и из окна гостиничного номера было видно, как ложится снег на футбольное поле стадиона и сразу тает и убежавшие было под навес футболисты снова бегут тренироваться, чтобы не упустить даже короткое время между зарядами мглистого снегопада: афиши, расклеенные по городу, уже сообщают о воскресном матче Салехард — Березов...

Но на этот раз синоптики могли и не ошибиться.

С экспедицией, ушедшей на Пай-Хой почти две недели тому назад, все еще не было никакой связи. Однажды я снова встретил Ивана Никитича, заместителя начальника экспедиции, недавнего моего пароходного попутчика на пути в Лабытнанги. Он тоже не имел еще никаких сведений от ушедших географов. Но это его не волновало. По словам Ивана Никитича, уговор был такой: ежели ничего не случится, то и передавать нечего; а если явится какая-либо срочная надобность, то из гор будет передан по радио сигнал «SOS», о нем Ивану Никитичу несомненно станет известно, и он будет срочно добираться на Ханмэй.

Такое энергическое условие показалось мне удивительным, но Иван Никитич объяснил, что радиосвязь — штука не дешевая. За то, чтобы иметь свои позывные, свою волну, и за то, что кто-то — скажем, салехардская почта — будет на эту волну в определенный час «выходить», платить надо много, а какие-то суммы перечислены в бюджет экспедиции с опозданием. Терять из-за этого время не стоило. Санно-тракторный поезд ушел, ни о каких тревогах в эфире пока слышно не было, и Иван Никитич полагал, что экспедиция благополучно добралась до цели и расположилась подле озера Большая Хадыта́, в верховьях Щучьей реки, как было намечено. Лошади в Лабытнангах отъелись и отдохнули и завтра выходят туда же.

Снова шевельнулось у меня сомнение: а не окажутся ли неторопливые земные скорости и старинный испытанный транспорт в одну лошадиную силу надежнее и быстрее небесных скоростей, зависящих от капризной заполярной погоды?

Но ко времени встречи с Иваном Никитичем улетел на гравиметрическую разведку и Володя-второй. Моя очередь уже подошла. И надо было торопиться, чтобы не стояло дело.

Пессимистом я так и не сумел стать: я все же верил, что завтрашний день непременно будет летным и мы за два часа сумеем добраться туда, куда лошади будут идти несколько суток...

В ожидании отлета я ходил в музей.

Там стояли облезлые чучела лис и оленей, бурый медведь и белый медведь, неразличимые от покрывшей их пыли, и крупные, будто металлические, рыбы с осыпавшейся чешуей. В другой комнате к стенам были прислонены трухлявые от времени колоды, заканчивающиеся грубо, но уверенно вытесанной человеческой головой с плоским, круглым, как тарелка, лицом. Узкие глаза не глядели. На колодах намечены были линии рук, сложенных низко, на животе. Эти сонные коротконогие бездельники дремали в своих углах, и казалось, что даже в дремоте их не оставляют простые, но недобрые мысли. Но такое впечатление не могло быть справедливым. Вытесанные болванчики изображали сядэев. А сядэи считались добрыми духами. Ненец, который сто, а может, и двести лет назад вылавливал из моря почерневший в воде «плавник» — бревно, прибитое течением к берегу, — и из него тесал этого сядэя, тот ненец верил, что в бревне оживает его заступник; стоило помазать деревянные губы мороженой рыбой и свежей оленьей кровью, и сядэй поможет ненцу: приведет зверя в силки и рыбу в сети, выведет из чума болезнь, отсрочит смерть. Человеку, если ему худо и тяжело живется, очень нужно верить в то, что у него есть заступник. Пусть это будет кусок дерева, выточенный собственными руками, — даже и тогда можно поверить, что в дерево вошла таинственная дружелюбная сила. Такая вера держалась здесь сотни и десятки сотен лет. И только два-три десятилетия назад, когда сразу переменялась тут жизнь, когда не сядэй, а доктора изгнали из чумов черную оспу и пошли в наступление на туберкулез и трахому, когда заступником ненцу стала своя, живая, бедняцкая власть, — деревянные болванчики с темными от жира и крови губами задремали в музеях темным деревянным сном. Разве изредка еще повстречается в тундре или на пустынном морском берегу разбросанная куча камней, а в камнях — поваленный небольшой истукан среди истлевших лент, оленьих рогов и песцовых скелетов.

Может, в скучном музейном безделье и завелись у сядэев недобрые мысли.

И кафтан шамана висит тут же, рядом, вместе с потемневшим от дыма и времени «пензером» — шаманским бубном.

Кафтан облакал когда-то очень маленькое, будто детское, тело. Он обшит множеством погремушек, похожих на старые монашеские вериги. Такие же погремушки висят и на бубне. Очень шумной должна была быть шаманская пляска: громыхание железа, гулкие удары по оленьей коже, одержимость иступленного кружения, тусклые отсветы очажного огня на старой парче и на жестяном переднике с гремучими висюлями, надетом поверх кафтана, тонкоголосое бормотание, сдавленные, исторгнутые из чрева вскрики, эпилептическое падение во внезапно наступающей тишине — таким был обряд устрашающей, темной веры. Но я слышал о нем только рассказы стариков; увидеть своими глазами шаманскую пляску было уже невозможно.

Потом в ямальском селении — три чума на берегу Карского моря — мне еще показали маленького старичка. Поросшее редкой щетинкой сморщенное личико выглядывало из-под ситцевого платка. Старичок сидел на перевернутой лодке и чинил сеть.

— Он был тадибей,— сказал бригадир колхозной рыбацкой бригады.— Теперь с нами рыбачит.

У ненцев шаман зовется тадибеем.

— Значит, рыба у вас должна хорошо ловиться,— попробовал пошутить я.

— Однако, розно бывает,— серьезно возразил бригадир.— Бывает хорошо, бывает, однако, плохо...

В музее был и еще кафтан — старинного алого сукна.

Сто с лишним лет назад березовский полицмейстер передал этот кафтан обдорскому князьку Тайшину как царский подарок. Князек был столь же мал ростом, как и неведомый тадибей. Но в алом сукне он, наверно, казался себе великаном. Может быть, именно этот кафтан связан с историей одного предательства, и цвет его должен бы напоминать о пролитой честной крови.

История эта происходила в ту самую пору, когда Пушкин рассказывал о благородном Дубровском, а восемнадцатилетний Лермонтов то откладывал начатый роман о двойной жизни горбуна Вадима, который был разбойником Красной Шапкой, то снова возвращался к рукописи и писал о ней в письмах с юношеской страстной горячностью: «...мой роман становится произведением, полным отчаяния; я рылся в своей душе, желая извлечь из нее все, что только способно обратиться в ненависть...»

Так вот, как раз тогда в Обдорской тундре жил ненец по имени Ваули Пиэттомин, из старинного бедняцкого рода Нёнянг, что по-ненецки означает «Комар». История жизни Ваули, его подвига и гибели до странности напоминает истории Дубровского и Вадима, с тем, однако, различием, что здешний Дубровский французскому языку обучен не был да и вообще грамоты никакой не знал, двойной жизни не вел, ходил в малице, оружием его были дедовский лук, отцовское кремневое ружье и еще пастушеский «тынзей» — аркан для ловли оленей; потому что Ваули и сам был из пастухов и с детства «каслал», как здесь говорится, то есть кочевал с оленьими стадами ненецких богачей: летом к побережьям Карского моря, а зимой в глубину тундры. О Ваули Пиэттоmine сохранились не только предания, но и документы, и — удивительное дело — все они говорят о том, что этот ненецкий пастух, который восстал на богачей, собрал вокруг себя несколько сот бедняков и так полюбился своему народу, что любовь эта не померкла до наших дней, — что неграмотный этот пастух обладал программой более широкой и ясной, нежели тот смутный протест против несправедливости личной и социальной, каким жила ненависть Дубровского и Вадима.

Ваули не только отбирал оленей у богатых и делил их между бедняками. Он ставил требования русским чиновникам и хотел, чтобы до самого Петербурга дошли эти его требования: вдвое уменьшить ясак, дешевле продавать хлеб и товары. И вот еще примечательная черта: не было в ту пору дружбы между ненцами и их соседями — коми, ханты и манси; но к Ваули шли батраки отовсюду, и всех он принимал, не различая по крови.

Кто знает, как и с чего это началось; скорее всего — как у Дубровского, как у Вадима — с личной обиды. Но уже с 1825 года имя Ваули Пиэттомина встречается в сибирских — березовских и тобольских — полицейских бумагах: Ненянг уже кружил по тундре, кусал богатых, беднота к нему льнула, и он был недостижим на протяжении целых четырнадцати лет, пока не стал жертвой первого предательства.

Это было так.

Хозяин тысячного оленьего стада Худи Хозовыко узнал, что Ненянг приближается к его чумам. Хозовыко разослал нарты за всеми своими сородичами. Худи съехались к стойбищу старшего в роде, обходя дорогу, по которой шел Ваули. Они не стали расставлять там свои чумы, но спрятались, устроив засаду.

Пришел Ваули.

Хозовыко встретил его подобострастно, много кланялся, задавал по-ложенные по этикету вопросы.

Ваули сказал, что заберет у Худи сотню оленей, это будет справедливо: стадо у Хозовыко большое, он даже и не заметит, что у него стало на сотню оленей меньше, а Ваули идет сейчас от Лонгот-Югана, там у людей животы пустые, детям снится еда и после таких снов они умирают. Ваули отведет им сотню оленей, и тогда те, кто еще не умер, доживут до весны и смогут ловить рыбу в Лонгот-Югане.

Хозовыко согласился: если Ваули нужны сто оленей, пусть он их наловит в стаде. А тем временем Хозовыко приготовит для дорогих гостей угощение.

Разговор был мирный.

Ваули и его люди поймали тынзеями сто оленей и пошли в чум к Хозовыко.

Очаг не горел.

Жирники тускло светили.

Звездный свет из-за откинутого полога выбросил тень вошедшего Ваули далеко вперед.

Четверо Худи, молодые и самые сильные в роду, прятались под нюками — оленьими шкурами, обтягивающими чум. Теперь они выскочили и кинулись на Ваули, скручивая ему тынзеями руки и ноги.

Вслед за Ваули успел войти в чум Магири Вайтин. Его схватили старшие Худи.

Остальные, услышав шум, испугались и убежали.

Ваули Пиэттомина и Магири Вайтина, связанных, отвезли в Обдорск и сдали князьку Тайшину. В нарты запрягли оленей из той сотни, которую Ваули выловил, чтобы перегнать на Лонгот-Юган, где дети видели еду во сне, а наяву умирали от голода.

Князек передал пленников обдорскому заседателю Соколову, потом из обдорской съезжей избы их отправили в березовскую тюрьму, и там оба ненца оставались, когда суд в Тобольске принимал решение по их делу.

Даже в этом решении было записано, что Ваули отнимал у богачей часть добра, чтобы «бедным самоедам не лишиться жизни».

И, так записав, суд определил — бить за это Пиэттомина и Вайтина плетью, по двадцать ударов, и сослать затем в Перчинскую волость Сургутского отделения.

Это происходило зимой, в начале 1839 года.

Так Ваули и Магири попали в работники к одному из сургутских купцов.

Лето они проработали, разгружая паузки и таская тюки.

А потом березовский земский суд получил донесение, что «Пиэттомин и Вайтин 28 августа бежали в места сзоего причисления».

Вскоре беглецы появились под Обдорском, и четьреста бедняцких чумов сразу собрались там, где объявился Ваули Пиэттомин.

Теперь помощниками его стали: брат Ваули — Тогомпада Пиэттомин, дядя их — Моттай Таск и, понятно, прошедший вместе с Ваули через все испытания Магири Вайтин. Люди Ваули были охотниками. У них было несколько кремневых ружей, копыя, ножи и луки. И Худи Хозовыко стал плохо спать; он думал, что Ваули опять придет в его стойбище и уж теперь-то сотни оленей будет ему мало.

Но Ваули не пошел к Хозовыко. Ему было противно смотреть на такого плохого, бесчестного человека.

Каслали по тундре и другие хозяева, кроме Худи; и у них тоже оленей было слишком много для одного чума. Ваули приходил к ним, говорил, сколько надобно ему оленей, ловил их тынзеем и угонял, но в чум ни к кому больше не заходил и от угощения отказывался: как бы не оказалась слишком горькой оленья печенка...

Год спустя пошел слух, что Пиэттомин задумал поход на Обдорск.

Он снова вернулся к давнему своему замыслу. В Обдорске стало известно, что Ваули идет туда добиваться, как записывал один из современников этих событий, чтобы «цены на казенную муку и русские товары понизить, а на рухлядь (то есть на меха) повысить и принудить князя Тайшина выдать из казенных магазинов муку».

Дело обернулось так, что березовский исправник Скорняков не смог даже отпраздновать Новый год. Оставив дома рождественскую елку, он сел в розвальни и санным путем, в первый день 1841 года, прибыл в уstraшенный Обдорск.

В доме купца третьей гильдии Трофимова состоялся чрезвычайный военный совет.

Порешили выслать к Ваули в тундру своего лазутчика.

Нужно было сделать так, чтобы Ненянг залетел в приготовленную для него сетку один или, во всяком случае, с наименьшим количеством спутников.

В тундру пошел Николай Нечаевский, торговый человек, прожженная душа. Он хорошо говорил по-ненецки, с Ваули встречался не раз, и можно было рассчитывать, что Ненянг — душа благородная и чистая, привыкшая, несмотря на пережитые невзгоды, ожидать от каждого открытой честности, — ему поверит.

Так оно и вышло, и Ваули во второй раз пошел навстречу коварному предательству.

Нечаевский отправился в тундру восьмого января и нашел чумы Пиэттомина в полутора ста верстах от Обдорска. В это время с Ваули было уже шестьсот человек.

Нечаевского Ваули встретил дружелюбно.

Торговец рассказал, что в Обдорске все тихо, началась Крещенская ярмарка; против Ваули власти ничего не собираются предпринимать, он может идти в городок спокойно.

Нечаевский настоятельно звал Ваули поехать вместе с ним в санях, в одиночку.

Тут кое у кого из близких друзей Пиэттомина шевельнулись подозрения, они стали говорить, что, может, лучше бы и повременить с походом на Обдорск, но Ваули не согласился с ними. Человек говорит — с чего бы ему не верить?..

Но одного Ваули не отпустили. В какой-нибудь час все чумы были свернуты и уложены на нарты, и к городу двинулись все шестьсот человек.

Они подошли к Обдорску и остановились.

Ваули послал в город Сали Яптика — за Тайшином.

Князек послушно пошел на зов и привел с собой старшин.

И Тайшин и старшины прикладывались к руке Ваули в знак покорности, и это окончательно убедило Пиэттомина в том, что он не зря поверил торговцу.

С сорока человеками вошел он в город, направляя оленьи упряжки небольшого аргиша (так называется по-ненецки санный поезд, состоящий из нескольких упряжек) к деревянной избе Тайшина.

Двадцать человек осталось стеречь нарты; двадцать вошли в дом следом за Ваули.

И тут же поднялся за ними на крыльцо исправник Скорняков.

Дом был окружен казаками.

Казаки устроили засаду и в комнатах.

Ваули Пиэттомин был теперь уже не просто Ненянг, докучающий окрестным оленеводам. Он был опасный государственный преступник, о нем знала политическая полиция в Петербурге, ради его поимки стоило пожертвовать рождественскими и новогодними неприсутственными днями; Скорняков знал, что в случае удачи на его дворе еще будет праздник.

Когда Ваули схватили, он услышал с улицы громкое гиканье. Казаки ринулись к нартам. Олени рванулись сами, не дожидаясь, пока хорей — длинный и тонкий шест погонщика — стронет их с места. Нарты налетали на нарты. В окно были видны вздернутые головы, отягченные ветвистыми рогами, и печально-испуганные влажные оленьи глаза.

Метельной стеной встал снег, взлетевший из-под маленьких крепких копыт. А когда он улегся, нарт уже не было. Во дворе по-ребячьи смеялись, что-то изображая и, наверно, вспоминая, как тут все только что было, десятка два веселых и сильных казаков в старых мужичьих тулупах и высоких шапках.

Такой же казак подталкивал Ваули в спину, к выходу в сени, а тот недоуменно оглядывался, и глаза у него были такие же, как у оленей: печально-испуганные и влажные.

Вместе с Пиэттомином были схвачены еще четыре ненца, случайно подвернувшиеся под руку; так, для острастки.

Ваули Пиэттомин из рода Ненянг считал, что если жить по справедливости, то оленей хватит на всех людей, которые кочуют по тундре, и никто не должен умирать с голоду — ни у Лонгот-Югана, ни на Тазреке, ни у берегов Байдарацкой губы. Шестнадцать лет он искал этой простой своей правды, забирал лишки у богатых и отдавал бедным, но жизнь от этого не становилась справедливее...

На этот раз суд сослал Ваули на пожизненные каторжные работы в Восточную Сибирь, след его потерялся, и в Ямальской тундре о нем больше никогда и ничего не было слышно.

Исправник Скорняков за свой испорченный праздник был высочайше пожалован орденом Владимира четвертой степени.

Бродячий торговый человек Николай Нечаевский получил медаль «За усердие».

Наставленные отцами-миссионерами, православные старейшины самоедских, зырянских, остяцких и тунгусских богатых родов вознесли благодарственные молитвы за избавление и пожертвовали Николаю-чудотворцу звериных шкур на триста рублей ассигнациями.

В то же самое время и князек Тайшин получил от царского имени тот кафтан алого сукна, что висит нынче в салехардском музее.

Кафтан шит на очень малорослого человека. Кажется, будто носил его двенадцатилетний мальчик. Вероятно, Тайшин и был похож на старого мальчика с желто-пепельным, сморщенным и невозмутимым лицом. Он целовал Пиэттомину жесткую руку на верность, заманивая того в смертный капкан, но память об этом не мучила Тайшина. Напротив, он был доволен своим умом и своей увертливой хитростью. В торжественные дни Тайшин надевал алый кафтан с приколотой большой медалью, какие раздавались тогда почетным гражданам и волостным старшинам. Он и был на положении волостного старшины; ему следовало бы именоваться «князьцом», как повелось еще с Грозного, но Тайшин любил, чтобы его звали «князем», и купец третьей гильдии Трофимов, корысти ради, называл его именно так.

Теперь от самоедского князя только и осталось, что кафтан, спрятанный под стекло от моли.

Недобрая память о Тайшине пожила короткое время в народе и давным-давно умерла.

Остался еще дом его — невзрачная и затерянная в разросшемся нынешнем Салехарде, прочно когда-то строенная, а теперь покосившаяся и ушедшая в землю изба-пятистенка. На доме приколочена памятная доска, но она напоминает не о «князьце», а о том, что здесь 14 января 1841 года предательски схвачен был Ваули Пиэттомин. Впрочем, старожилы поговаривают, что и дом, дескать, вовсе не тот; настоящий, по их словам, стоит подалее и выглядит еще невзрачнее. Музейная директорша, ворчат старожилы, поленилась искать и прибила свою доску на первый ветхий дом, который ей подвернулся.

Рассудить этот спор трудно. Старых планов Обдорска нет. Да, может, и не так уж это важно: тот дом или не тот. В обоих живут новые люди; постирушки сушатся и подле избы с доской и подле избы, на которой этой доске следовало бы быть, по мнению старожилков. Висят пеленки из голубой и розовой байки, и машет ветер рукавами просоленных пóтом сорочек.

В обеих избах живут и растут люди, которым оленей хватает.

А про Ваули ненцы поют песни, как про живого, будто он и не уходил никогда из тундры и дожидался до исполнения своей мечты.

Вот какие дела были в тундре, когда Пушкин писал про Дубровского, провидя уже и те далекие грядущие времена, в какие его прочитает «и ныне дикой тунгуз».

Выходит, и тунгус и самоед и в те поры не были такими уж дикими, как это должно было казаться за тысячи верст непроезжих снегов...

...В задней музейной комнатке весело горит огонь в большой железной печке: день холодный, сырой и опять нелетный.

Здесь хорошо сидеть над старыми рукописями и книгами.

Студент ненец, археолог по специальности, молчаливо возится, приводя в порядок какие-то ветшающие экспонаты.

Он показывал мне полосу толстой, хорошо выделанной кожи. Две узкие прорези были прикрыты выпуклыми медными козырьками, похожими на глазные веки. Так они и должны были выглядеть; это были

очки — снежные очки, защищавшие от нестерпимого блеска зимней тундры глаза русского воина в XVI столетии. Над медными веками, поверху, двумя дугами-бровями — тонкая бисерная инкрустация.

Очки надевались под шишак и завязывались сзади тесьмой.

К очкам студент относится уважительно: они говорят ему, что русский воин знал Север и шел в снега, приготовившись ко всему, что его там ожидает.

Но из-за снегов домой вести от него доходили, оборачиваясь озорной солдатской сказкой, и долго еще новгородские и валдайские монахи в своих кельях со всею серьезностью, превращали веселые солдатские небылицы в ту причудливую географию, которую читал я в салехардском музее.

«Над морем живет иная самоедь; называется — линная. Летом месяц живут в море, а на суше в то время не живут, понеже в тот месяц тело на них трескается и они тот месяц в воде лежат, а на берег не могут вылезти.

В той же стране, за теми людьми, у моря, есть иная самоедь: от низу до пупа люди мохнаты, а от пупа вверх — как и прочие человеци. А еда их — рыбы и мясо; а торг их — соболи да песцы, да пыжи, да оленье кожи. За теми людьми иная самоедь такова: вверху рты, рот на темени, а не говорят; а коли едят и они крошат мясо или рыбу да кладут под колпаки или под шапку, и как начнут есть, то они плечами движут вверх и вниз.

Иная самоедь такова, как и прочие человеци, но зимой умирают на два месяца, умирают же так: кто где будет те месяцы, тот тут и сядет, а у него из носа вода изойдет, как от потока, да, не дойдя до земли, замерзнет. И если какой незнающий человек из другой земли эту сосульку оторвет и спихнет его с места, то он умрет и уже не оживет, а если не спихнет с места, то тот оживет, узнает его и скажет ему: «О чем мя еси, брате, поуродовал?»

А оживают, как солнце на лето поворотится. Тако же на каждый год оживают и умирают.

В той же стране есть такова самоедь: по телу аки человеци, но без голов; рты у них меж плечима, а очи в грудех. А еда их — головы сырые оленье; и коли им есть, то они головы оленье кладут себе в рот на плечах и на другой день измещут из себя оттуда же».

В этих монашеских записях северная «самоедь» как бы срослась с носимыми ею малицами и парками из оленьих шкур — сама покрылась оленьей шерстью. Правда повлекла за собой прихотливо-хвастливую («вот какого дива нагяделся я в странствиях») небылицу, сочиненную хожалым человеком; рассказы торговых и ратных людей сплелись с древними легендами географии Геродота и Страбона, для которых дымкой неведомого был еще подернут весь мир, простирающийся к северу от Черного моря. За дымкой в точности виделось одно: с Севера можно вывезти драгоценную мягкую рухлядь — песцовые и пыжиковые меха, горностая и лису-сиводушку. И мифические хищные птицы, стерегущие в снежных горах золотую руду и сверкающую самоцветную россыпь, придуманы были людьми, которые, несомненно, знали об Урале не только легенды, но и достоверную правду.

Старые записи находил и показывал мне тот же ненец студент.

Он привел в порядок древние очки, отнес их в музейный зал, замкнул в застекленной витрине и воротился к теплой печке уютных, заваленных книгами, чучелами и божками музейных задворков.

Я спросил, из какой он самоеди — из линных или, может, из тех, у кого рот под шапкой? Он засмеялся, поправляя огонь, присев к печке

на корточки, как в чуме, одетый в синий, затянутый «молниями» лыжный костюм. У него были прямые блестяще-черные волосы, живые глаза, круглое, но вместе с тем сухощаво-энергичное лицо.

Звали его Сэротэтто. Степан Сэротэтто.

Один из Сэротэтто ходил с Ваули Пиэттомином. Несколько Сэротэтто были и среди тех богачей, у которых Ваули отбирал излишек оленьей. Старинное ненецкое родовое имя.

И вдруг, как ни разу еще, ощутился тут во всей его силе внезапный рывок истории, который совсем недавно разорвал монотонный круговорот здешней жизни.

Веками — да что веками, тысячелетиями! — время стояло здесь на месте, почти ничего не меняя. На рубеже XX века Гарин увидел ненца таким же, каким мог увидиться тот новгородскому гостю шесть и семь столетий назад. Как стали в снежной пустыне избушки Обдорска при Иване-царе — так и простояли триста лет с лишком: те же избы, те же заботы и те же судьбы.

Но теперь я раскапываю затертые временем следы этих судеб лишь в музее.

Смешливый парень Степан Сэротэтто помогает мне; он готовится стать учителем истории; он хорошо знает прошлое, но даже и ему, историку, собственный его путь уже не кажется достойным удивления, исключительным, пройденным благодаря какой-то особой, ему одному выпавшей удаче. Степан принадлежит, вероятно, к самому первому поколению, родившемуся здесь после большого исторического перелома в судьбах своего народа, но уже и для этого поколения новые законы жизни естественны; они разумеются сами собой.

Оказалось, что в маленьком салехардском музее становится особенно слышным время: оно стояло неподвижно — и вдруг двинулось и идет вровень со временем всей страны, быстро и прочно наславившая новое на новое. И новое сразу становится естественным и привычным...

Выходя из музея, я слышу со двора знакомый резковатый голос директорши. Она принимает дрова.

Музейная директорша полна неистощимой энергии. Она занимается множеством дел одновременно. Она готовит устройство школьного буфета на наступающий учебный год, рекомендует девушку, приехавшую из Вологды, на работу в местную библиотеку, организует воскресную массовку с выездом на катере за реку Полуй, звонит по десятку телефонов подряд и каждый разговор начинает с подобоострастно-парикмахерской формулы, которая неведомо отчего привилась у нас и разошлась повсеместно:

— Вас беспокоит...— и называет себя по имени-отчеству.

Она обожает все, что имеет отношение к канцелярии.

— Возьмите бланочек,— говорит она.

— Подпишите формочку...

Сэротэтто мог бы и не рассказывать, что директоршу с год назад «перебросили» в музей из какого-то торгова. Это было и без его слов вполне очевидно. «Устройство» разного рода дел создавало для директорши привычную стихию, в которой ей дышалось легко и собственное существование становилось оправданным и понятным. И только обильный и недвижимый музейный «инвентарь» тяготил ее не по-женски сильные плечи, привыкшие деятельно пробиваться в толпе. Но и этот — она верила: недолговременный — крест свой директорша несла мужественно и безропотно; в музее было тепло, уборщицы наблюдаемы были со строгостью, научный сотрудник являлся вовремя, что-то делал, писал, чинил, приколачивал, объяснял экскурсантам-школьникам про каменный век

и про красные чумы. В суть его дела директорше вникать было некогда; помочь она не могла, но и мешать не мешала. Она всегда торопилась и второпях могла и в самом деле, как твердила молва, прибить памятную доску не на том доме.

Но и постоянная, невыкипающая директоршина хлопотливость как бы продувала музей уличным сквознячком и тоже помогала ощущать движение времени.

— Ты куда, лешак, бревна валишь, однако?! К сараю подъехать не мог?! — покрикивала она сейчас в музейном дворе и тут же откликнулась на голос Сэрэтэтто, зовущего ее из окна к телефону:— Попроси подождать у трубочки. Бегу я!

Моросил обещанный синоптиками холодный дождик со снегом.

Но стоило лишь перебежать через дорогу, и можно было снова укрыться в тепле и пообедать в ресторане, называемом, конечно, так же, как называется здесь и газета, и кино, и гостиница — «Север».

Людей там было не много. Обеденный час окончился. Но компания, сидевшая за двумя составленными столами у широкого трехстворчатого окна, забралась сюда, как видно, с утра. Шум и обилие бутылок на полу и на соседнем подоконнике свидетельствовали, что градус за этими столами поднялся выше будничного уровня. Кто-то обиженно повторял:

— Да что ты мне про Обь говоришь, а ты на Двине плавал?

Но никто ему не говорил ни про Двину, ни про Обь. Ему говорили, что надо выпить еще, а он пил и снова упрямо повторял одни и те же слова, все повышая голос и раздражаясь.

Я пригляделся и узнал недавнего попутчика своего, Семена Прокофьевича.

Видно, так и не поехал он с Еваем Еволю — у того давно должны были выйти сроки, — и Евай, наверно, успел уже купить мото-дорою и возвратиться в свое селение.

— А ты на Двине плавал?! — угрожающе спрашивал Семен Прокофьевич, ни к кому не обращаясь, и вдруг замолчал и сник.

К столу подошла Надежда.

Она тронула мужа за плечо и что-то ему негромко сказала.

Шум за столом стал еще громче. Надежду приглашали, усаживали. Она отказалась. Заторопившись, она бросила мужу:

— Я тебя у вешалки жду.

Когда она проходила мимо, я не выдержал и поздоровался с ней.

Надежда поглядела невидящими глазами, потом узнала меня, ответила и быстро, на ходу, объяснила:

— Завтра в Яр-Сале едем. Условия хорошие. У колхоза флот целый. Школа. Там хорошо будет. А то вот нашел компанию...

Громыхнул упавший стул. Семен Прокофьевич поднялся и пошел за Надеждой, стараясь твердо ступать и прямо держаться.

В одиночестве я оставался недолго. Вскоре пришел и подсел ко мне «ветролетчик» Володя.

Он заказал малосольную нельму, блины и, обладая от природы добрым характером, поспешил сказать мне самые приятные слова, какие я только мог услышать:

— Я тебя и в гостинице искал. Завтра в шесть ноль-ноль — к вертолету. Наверно, летим. Прогноз хороший...

(Окончание следует)



ОЛЕГ ДМИТРИЕВ

★

ВОСПОМИНАНИЕ О ЦЕЛИНЕ

Можно вспомнить о многом —
О спорах,
О ссорах,
О долгих
Разговорах под небом,
Расцвеченным ярким огнем...
Об одном пустозвсне,
Надсадно кричавшем о долге,—
Только лучше не стоит...
Не стоит и думать о нем,
Если столько других —
Ну совсем на него не похожих,
Самых разных —
Веселых и грустных
Ребят и девочек!
Можно вспомнить об осени —
Днях золотых и погожих,
И о песнях душевных —
Ах, как эти песни звучат!
Но, глаза закрывая,
Я вижу:
На солнце сверкая,—
Полновесные зерна,
Как ветер, поверхность рябит —
Льется, точно река,
Золотая пшеница,
Такая,
Как медали¹ на куртках
У наших ребят.

ТЕЛОГРЕЙКА

Воспеваю телогрейки ватные!
Воспеваю!
Пусть на задний план
Отойдут пред ними шубы важные
И пушистые пальто-реглан.
Не для славы, не для поклонения

¹ Медали за освоение целины.

Телогрейки верное тепло
 Боевое наше поколение
 Всем другим одеждам предпочло —
 Просто потому, что в ней сподручнее
 Выполнять за совесть, не за страх,
 Дело,
 что нам Родиной поручено,
 В самых неприветливых местах.
 Города в тайге заблещут стеклами —
 Каждый молод и неповторим...
 Мы тогда простые наши стеганки
 В местные музеи водворим,
 Чтобы, седовласые романтики,
 Мы сказали через много лет:
 — Не в плащи крылатые,
 а в ватники
 Романтизм наш гордый был одет!
 ...Мной не много по земле похожено
 И не много сделано,
 но я
 Счастлив, что потерта и поношена
 Телогрейка
 личная
 моя!..

НАША ГЕОГРАФИЯ

Я гляжу на карту: Днепр и Волга,
 Крым, и Закавказье, и Урал —
 Здесь я проходил, там жил недолго,
 Тут совсем недавно проезжал...
 Я люблю поездки и походы,
 Жить люблю от дома далеко.
 Только все, что видишь мимоходом,
 В общем, забывается легко.
 Юность!
 Во сто раз бедней она бы
 Стала, если б вспомнить я не мог,
 Как на виноградниках Анапы,
 Чуть темнело, мы валялись с ног;
 Как в тайге под стук тяжелых капель
 (Дождь дней десять кряду лил да лил...)
 И во сне
 тянул я чертов кабель
 И морошку сапогом давил;
 Как на целине, в районной чайной;
 Прикатив с зерном издадека,
 До чего же здорово
 случайно
 Встретить факультетского дружка!..
 Древний Киев, Ленинград и Сочи,
 Пусть вы несказанно хороши —
 Только там, где ты прожил рабочим,
 Оставляешь чуточку души!

Пусть не всем понятна эта мерка —
Не на каждой карте ведь найдешь
Суоярви.

Или Усть-Тальменка —
Что за город?

Чем он так хорош?
Но они со мной в большом и в малом.
Мне они — как лучшие слова.
Если жизнь мою сравнить с романом,
Каждый город — целая глава.
Ну, а у других — они другие,
Города и первые дела.
Так вот география России
В нашу биографию вошла.



ЮРИЙ КУРАНОВ

★

ЛЕТО НА СЕВЕРЕ

Пыщугане

Полет от железнодорожной станции Шарья до районного села Пыщуг похож на прыжок кузнечика. Самолет разбежался, оттолкнулся, пролетел двадцать минут над лесами, густо обступившими золотые от солнца поляны, пролетел вдоль Ветлуги и мягко ткнулся в широкий луг сельского аэродрома.

Издали, с пригорка, спокойно поглядывают на приезжего длинные бревенчатые дома, вытянувшиеся в цепочку. С противоположной стороны подпирает село высокий холм. Неохотно расступились перед топором могучие леса, открывая увалистые богатырские дали. На холме шумит березовая роща. Днем сюда приходят школьники на уроки физкультуры, а вечерами здесь веселится молодежь. Под холмом — ключ. Над ним небольшой теремковый сруб. Ключ ложится в желоб, здесь пыщуганки стирают белье в хрустальной студеной воде.

Между лесами затеряны поля, засеянные рожью, пшеницей и льном. От цветущего льна поля выглядят голубыми. Вокруг живут светловолосые и трогательно близкие к природе люди. Любовь к земле, хозяйственное отношение к природе растет здесь в людях с детства. Я вышел за грибами с шестилетним Мишей, увидел белый гриб, загоропился и прямо с землей выдернул его.

— Ты так не делай,— вежливо, но твердо сказал Миша,— ты его лучше ножиком бы отрезал, ведь от корешка новые грибы вырастут.

Девушки из Шарья, приехавшие на уборку, прямо по пшенице помчались в обед на Пыщуг купаться.

— Куда вас леший по хлебу потащил, вот я вас вожжами попужну!— кричит, как взрослый, десятилетний Ленька и впрямь берется за вожжи.

Ласточкин взгляд

Ласточка никогда не смотрит искоса, прищуренно, исподлобья, она всегда смотрит прямо своими маленькими черными глазами, и трудно понять, о чем она думает.

Я поселился на чердаке в душную июльскую ночь, когда в комнате спать было уже невозможно. По шаткой еловой лестнице я взобрался на бревенчатый потолочный настил, накрыл в углу широкие снопы прошлогоднего льна простыней и радостно лег в темноту. Где-то горизонтом шла гроза. Она рассылала в жаркую летнюю ночь решительные широкие раскаты. Гром, уже почти обессиленный в пути, оживлялся под сухой приветливой крышей и долго бродил по чердаку от одного угла к другому. Казалось, что каждое утомленное духотой бревно бе-

режно взвешивает в себе далекий грозовой удар, выслушивает его со всех сторон и любовно передает в другое такое же отзывчивое бревно.

Проснулся я оттого, что почувствовал на себе взгляд. И стоило мне только открыть глаза, как две ласточки, упав откуда-то из-под крыши, заметались надо мной с настоятельным и сердитым криком. Слов, которые выговаривали они, я не понимал, но смысл всего выкрикивавшегося стал мне ясен, как только я увидел над собой прилепленное к кровле маленькое гнездо. «Зачем ты пришел сюда? — кричали ласточки. — Разве тебе мало всего этого огромного дома? Ведь ты человек, тебе ничего не стоит построить хороший большой дом там, где тебе захочется! Нам уже поздно начинать строить другое гнездо в другом доме». Пока две ласточки в лучах пробившегося в щели солнца требовательно летали надо мной, я с эгоизмом, который еще с давних времен укоренился в отношении человека ко всякому животному, решил перетащить сюда, на чердак, стол и все свои книги.

Всю первую половину дня ласточки так и не садились в гнездо. Они только подлетали то к одному, то к другому окошку чердака, заглядывали внутрь и с криком улетали прочь, завидев меня. К вечеру они прилетели в сопровождении третьей ласточки. По тому, как та держалась, было ясно, что она старше и мудрее их и приглашена дать решительный совет.

Она прямо и быстро влетела в дальнее окошко и принялась издали разглядывать меня, шумно хлопая крыльями. Две другие тоже влетели, но вели себя так суетливо и громко, как девушки, после долгого колебания бросившиеся в холодную воду. Они кричали на меня, друг на друга и делали вид, будто вот-вот меня смертельно напугают. Старая же ласточка, видя человека, сидящего за столом и мирно занимающегося своим делом, покружилась несколько минут, села на окошко против моего стола, заглянула мне в лицо, подумала и, что-то спокойно сказав молодым, умчалась. Видимо, эта коротенькая птичья фраза означала что-то успокоительное, потому что с этого момента поведение ласточек резко изменилось. Они дружно принялись за работу.

Никогда и нигде я не встречал существа, которое бы так увлеченно и безропотно трудилось. С рассвета до сумерек ласточки носили в своих крошечных клювах землю, травинки, перо. Они клали каплю земли на уже подсохший край гнезда, на каплю — тоненькую сухую ветку, сверху опять каплю земли. Когда остов гнезда был готов и издали стал напоминать прилепившийся к скале средневековый замок, ласточки начали устраивать его изнутри.

Следя за этими двумя существами, я старался понять, что дает им столько подъема. «Если в их головах гнездится хотя бы маленькая частица разума, — решил я, — то они живут уверенностью, что плоды их труда невозможно использовать, как оружие против них самих».

А между тем в поведении ласточек наметилась резкая разница. Видя меня днем склонившимся над бумагами, а ночью спокойно спящим, самец перестал обращать на меня внимание. С соломинкой ли, с перышком ли — он влетал на чердак и, чуть обогнув меня, прямо над столом садился в гнездо. С наступлением сумерек он так же просто прилетал спать. Супруга же его во всем оставалась верной тому характеру поведения, который считается обязательным для ее пола. Как и всякая молодая женщина, она была в высшей мере недоверчива и подозрительна. Она бранила меня ежеминутно и громогласно всякий раз, когда появлялась на чердаке. И я, и супруг ее, и она сама отлично понимали, что брань эта уже не выражает ее отношения ко мне и не имеет никакого смысла. Тем не менее просто ради приличия она считала себя обязанной

быть строгой. Чтобы дать ей возможность забраться на ночь в гнездо, я должен был уходить вниз и возвращаться на чердак только с темнотой.

В темноте все мы мирно отдыхали. В досках поскрипывал ветер, иногда гулко падали капли дождя, но чаще всего нас окружала какая-то добрая живая тишина. В этой тишине ласточки иногда разговаривали во сне. Порой они что-то пели протяжно и восхищенно. Наверное, в эти минуты им снились далекие земли с голубым морем, накатывающимся на песчаный берег, с высокими маяками, с горячими большими пирамидами. Порой же они шептали что-то быстро, горячо и ласково, и я догадывался, что им снились их будущие птенцы. Временами одна из ласточек вдруг начинала браниться, и мне становилось ясно, что ей приснился я. Так, прислушиваясь и весь уходя в их тоненькие ночные голоса, я засыпал сам.

В одно из утр между супругами произошел серьезный разговор. Она влетела на чердак и стала кружиться надо мной, не решаясь сесть в гнездо. Он прилетел следом и недовольно смотрел на поднятую вокруг меня суету. «Хватит»,— вдруг сказал он сердито и громко. Она, совсем было уже расхрабрившаяся, опять свернула в сторону. «Хватит. Надоело»,— повторил он тем же голосом. «Ах так!»—воскликнула она, бросила соломинку и направилась к окошку. Он надулся и сел так, что загородил собой все отверстие. Лететь над моим столом у нее не хватило духу, и с новым криком она стала носиться по чердаку. «Бессовестный! — кричала она.— Выпусти меня сейчас же из этой западни! Если ты не дорожишь своей жизнью, то пощади хоть меня! Я не хочу, чтобы меня поймал этот огромный человек и превратил в жалкую игрушку. Никогда! Ну за что, за что мне такое наказание!» Он сидел молча и смотрел на нее такими глазами, что она еще некоторое время покричала, похлопала крыльями и села под самой крышей на перекладину. Тишина продолжалась недолго. Она взмахнула крыльями и направилась к гнезду, но опять свернула и села уже над самой моей головой. Он молчал, но продолжал смотреть все так же укоризненно и строго. «Я уже ничего больше не понимаю. Делайте со мной, что хотите»,— сказала она покорно и печально, вспорхнула и села в гнездо. Он тоже вспорхнул, тоже сел в гнездо и тихо сказал ей: «Молодец». Тогда она вылетела из гнезда, пролетела над моим плечом, села в окошке напротив и заглянула мне в лицо. Я поднял взгляд, и глаза наши встретились. Она долго смотрела на меня маленьким черным взглядом, и с этим мгновением установилась между нами теплая и ясная музыка.

Эта музыка рождена струящимся воздухом лета, счастливым птичьим гомоном, раскинувшимися по ветру березами, волшебными запахами родных покосов. В ее звучании оживают и сами превращаются в мелодии шаги вороны, севшей на крышу, беспорядочная беготня воровьев, клюющих на кровле березовое семя, осторожный и мимолетный скок синицы вдоль конька. С ее звучанием слова, воспоминания и желания становятся значительнее, властнее и самостоятельнее. Она парила день и ночь, как легкое дуновение ласточкиных крыльев, промелькнувших перед самыми ресницами.

Но однажды утром эта музыка вдруг тревожно оборвалась. Где-то глубоко во сне я почувствовал это и проснулся. Ласточка опять взволнованно металась надо мной. Опять в ее речах слышалось опасение. Я взглянул на табуретку и увидел на ней выброшенное из гнезда пробитое и опустевшее яичко. Две такие же опустевшие скорлупки я нашел возле своей постели, на бревнах. На чердак ворвался отец с большой черной мухой в клюве. Он был похож на самолет, потому что мчался прямо и стремительно, а муха редела, как настоящий мотор. С этого

утра таким многотонным жужжанием наполнилось все пространство под нашей крышей, и вместе с жужжанием мирно возобновлялась старая теплая музыка.

Только музыка стала гораздо стремительней, потому что весь день ласточки уже совершенно не знали покоя. Аппетит вылупившихся птенцов был громаден, издали они были воплощением пожирания. Сами еще крошечные, чуть подернувшиеся синеватым редким пухом, они превратились в один сплошной разинутый клюв, и пища попадала тому, кто скорее успевал подставить его под добычу. Правда, так кормила детей только мать, которая была еще очень молода. Отец же поочередно клал пищу в рот каждому сынишке справа налево. Вскоре кошка разорила гнездо на чердаке соседнего дома, и кормильцев под нашей крышей стало трое. Уже знакомая старая ласточка принялась помогать молодым, она кормила птенцов тоже справа налево. Мать и отец спали в гнезде, сидя по краям его, а старая ласточка пристраивалась на перекладине под крышей сарая. Во сне она тоже часто разговаривала таким же горячим и ласковым голосом, каким говорили во сне молодые ласточки, пока у них еще не было детей.

Но вскоре наступило такое утро, когда я проснулся оттого, что в щеку мне кто-то тепло и трусливо ударил куцым крылом. Прямо с подушки из-под моего носа смотрел на меня любопытствующим наивным взглядом почти оперившийся птенец. Второй птенец сидел на изогнутом колене трубы и тоже смотрел на человека. От взрослых ласточек молодые отличались только тем, что на их хвостах еще не было двух прямых черных стрел. Третий брат сидел в гнезде и робко поглядывал в пропасть, отделявшую его от бревенчатого настила. Очевидно, этот брат не совсем проворно успевал подставлять свой рот под материнскую добычу, и недостаток сил теперь проявлялся в нем нерешительностью.

Он выпрыгнул из гнезда только в полдень, когда я уже сидел за столом, а остальные братья старательно исследовали пыльные просторы повети и чулана. Он выпрыгнул в сторону стола и упал на огромный том «Всемирной истории», одетой в богатый зеленый переплет. Я продолжал писать, и это ничем не объяснимое появление синих неисчислимых букашек из-под пера повергло юношу в изумление. Его маленькие черные глаза по-охотничьи оживились, и видно было, что только врожденная корректность, свойственная всем ласточкам, не дает ему броситься на эти букашечьи рати. В мягком полусвете чердака обложка отсвечивала на белую грудь молодой ласточки зеленой, черным перьям крыльев тоже придавала какое-то фантастическое сияние, так что весь птенец преображался в странную, незнакомую птицу.

Весь день птенцы разгуливали по дому, и в голову им не приходило вспорхнуть на окно, глянуть на улицу. Перед сумерками на чердак влетел чужой, заблудившийся птенец. Он устало бросился в гнездо. Немедленно с повети приковывало все оперяющееся юношество и с любопытством начало осматривать пришельца. Молодежь ночевала, потеснившись, а отец и мать — на тонкой перекладине под крышей сарая. Утром появилась старая ласточка, она о чем-то поговорила с заблудившимся бродяжкой и улетела с ним вместе, да так уж больше и не возвращалась.

А для оставшихся братьев путь на улицу был открыт. Один за другим они вспархивали на окно и, взъерошенные от ветра и неумения сидеть прямо, выглядывали с чердака.

О солнце! Каким океаном простора и света встретил их мир! Сколько птичьих криков реяло между землей и высокими сверкающими облаками! Сколько невиданных огромных деревьев с малиновыми шишками

шумело праздничной хвоей! Сколько величественных ленивых коршунов парило под солнцем, и каждому птенцу казалось, что уж он-то обязательно станет такой же большой и сильной птицей. А под ногами открывалась такая высота, что сердце сладко ежилось от одного только воспоминания, как ловко и просто бросались отец и мать с окна спиной вниз, почти не раскрывая в первое мгновение крыльев.

На проводах через дорогу сидели взрослые ласточки. Они смотрели на детей.

В полдень я видел, как те же двое родителей грозно и яростно гнали через поле ястреба. Огромный и неуклюжий, он трусливо уходил от них над самой жнивой. Они нагоняли его, они взвизывались над ним, падали ему на голову и били ее маленькими храбрыми клювами.

С этого дня чердак опустел. Одну ночь птенцы просидели над окошком, тесно сбившись плечом к плечу и глядя, как величественно занимается в небе желтая звезда Арктур. С тех пор никто не знает и не видел, где они ночевали. Только все видели, как счастливо носились ласточки над домами, сараями, над облетающими золотыми липами, над радостным рабочим гулом, в котором потонули поля. Они носились и друг другу навстречу, и друг от друга, и друг за другом вытянутыми огромными кругами, как маленькие черные планеты. И дом, и сарай, и липу они заткали темной сеткой стремительного мелькания, так что стало казаться, будто все летит вместе с ласточками в синее осеннее небо.

Вскоре все опустело, и не только на чердаке, но и вокруг стало тихо. Только слышался бережный плеск навсегда опадающих листьев. Птицы улетели, а остались только те, кто не надеялся дотянуть до теплых далеких стран. В такой высокий ясный день я спал на стогу свежей соломы в поле под проводами. Где-то глубоко, в легком полевом сне, я почувствовал на себе взгляд. Я открыл глаза. Прямо передо мной сидела на проводе ласточка и смотрела на меня маленьким прямым взглядом. Это была знакомая старая ласточка. Ее взгляд прозвучал в моей жизни как прощальный отзвук любимой песни.

Медовый месяц

Отгремели грозы. Земля просохла. Речки позолотели на своих обнажившихся песчаных мелях. Редко теперь пчелу в поле встретишь.

Это оттого, что липы покрылись цветами. Словно маленькие желтоватые парашюты раскрылись на липовых ветках. Прохладный сладковатый запах распространяют эти цветы. Пчелы с благодушным жужжанием целыми роями выюются над липами. Наступил самый солнечный русский месяц — июль.

Славяне, торговавшие липовым медом с пышной Византией, с суровыми и храбрыми варягами, с порывистыми и поэтичными хазарами, с беспощадными завистливыми торками, еще десять веков назад дали месяцу цветения лип имя — липень.

Золотая синь

Синева — воплощение простора. Нет ничего свободней и безграничней неба. Золото — воплощение стойкости. Там, где другие металлы превращаются в прах и ржавчину, золото не теряет ни искры своего блеска.

И о том и о другом я небожно подумал, когда зашел на почту сдать заказное письмо, а из окошечка меня осветило совершенно необычным светлым взглядом. Это не было простое ощущение радостной легкости от синего взгляда, тут глаза были синие, но с тончайшей примесью золотого блеска. Это впечатление усиливалось благодаря тому, что над глазами сияли брови цвета утреннего солнца, а выше клубились такие же светлые кудри.

— У вас есть братья или сестры? — спросил я, когда девушка выдала мне квитанцию.

— Есть, — ответила она, насторожившись, но, заметив, что я хочу завести шуточный разговор, смутилась и закрыла окошечко.

Вскоре произошла еще одна встреча. По дороге шел трактор, а я стоял за обочиной, ожидая, когда уляжется пыль.

— Далеко? — спросил меня паренек-тракторист.

Лихо перемазанное лицо его давало все основания думать, что умывается он исключительно сажей. Но с чумазого безусого лица плеснуло той же чистотой иссиня-золотоватых глаз.

Я вскочил в кабину. Так и есть. Его первая старшая сестра работает на почте, зовут ее Лида, сегодня вечером она придет на выходной в деревню. Вторая старшая сестра на алтайской целине, и я не запомнил ее имени, потому что это не важно. Трое младших братьев рыбачат здесь на реке, а мать неподалеку косит с бригадой сено. Отец уже пять лет как бросил семью. Все это я успел узнать, пока мои дневные планы позволяли пользоваться услугами гусеничного транспорта.

Вечером я намеренно возвращался берегом реки и, конечно, наткнулся на тех, кого надеялся встретить. Свесив ноги с обрыва, два малыша в штанишках с лямками крест-накрест сидели в траве и околдованно смотрели на реку. На берегу стоял с удочкой старший, такой же бело-волосый. Из его оттопыренного кармана торчал вздрагивающий рыбий хвост. Мальчик ловил пескарей и складывал их в карман, а братья молча смотрели на него, восхищенно наострив маленькие прозрачные ушки.

Из-за леса поднялся далекий женский зов:

— Шу-рик, пошли домой!

— Шурик, мамка зовет, — сказал один из малышей.

— Слышу, — ответил Шурик и стал сматывать удочку.

Только теперь они заметили меня и одарили тремя уже знакомыми мне взглядами. За лесом их встретила поджидающая мать.

Мы с бригадиром Касьяном лежали в траве и смотрели им вслед.

— На отца они хоть немного похожи? — спросил я.

— Ни один, — ответил Касьян, — хоть бы вот на лучинку какую! Пантелей-то, он ведь такой жук был. А Евгения — молодец, всех в себя детей нарожала. Ух, он злился!

С холма, из-под облака, где сбегает в деревню тропинка, пришел тоже далекий, но более звонкий крик: «Мамка! Обожди! Ма-ам!»

— Лида идет, — сказал Касьян, и лицо его согрелось тихой внутренней улыбкой.

С холма бежала Лида с босоножками в руках.

— Вот на ком парням-то жениться надо! — Касьян показал папирской на бегущую с холма девушку.

— Почему? — спросил я.

— Или не видишь, какая порода у них? Не дети, а золото будут.

Дождевая россыпь

Земля велика, но ходить по ней хочется осторожно: ведь никто не знает, какие стрелы какой новой жизни готовятся пробиться там, куда ты готовишься ступить.

Разве не этому научил меня сегодняшний дождь?

Я лежал в лесу на нежной моховой подстилке, положив затылок на мягкую, рыхлую землю между жилистыми корнями старого пня.

Внезапно в лесу почернело, ударил резкий ветер, налетела туча. Она шумно хлестнула по осинам и елям тяжелыми теплыми каплями. Я вскочил и бросился под широкую, густо обвешанную молодыми шишками ель.

Ливень хлынул во всю силу и заполнил лес, небо, траву, ветви белеватой струистой мглой. С небольшими перерывами он продолжался два часа. Под елью стало влажно, как в хорошей русской бане.

Когда гром умолк, и солнце широко пробило унизанную каплями хвою, я поверил, что гроза ушла, и выбрался из-под укрытия. Первое, что меня поразило, — это маленькое углубленье, оставшееся на земле от моего затылка. Оно дружно горело полдюжиной крошечных, новорожденных подосиновиков, которые здесь называют красноголовиками.

Человек на дороге

Овраг до краев залит душным комариным звоном. На дне оврага перед вскинутым кустом татарника сидит в траве у валуна человек со скуластым, жестко скроенным лицом. На лице его залегло выражение напряженности и полета. Человек одет в серый старый плащ, голова и шея закутаны белым бабьим платком, поверх платка — кепка. В последних лучах солнца человек быстро и сочно вбивает кистями в продолговатый картон вечерние очертания татарника и торопливо вытирает кисти о валун.

На раскаленных быстротечных минутах заката картон превращается не в обычную картинку, а появляется настоящий портрет растения, жадно вскинувшегося в небо тревожными пылающими цветками. Это не просто куст — это чаща рвущихся к свету стеблей, листьев, уже несколько тронутых возмужалостью, но еще не огрубевших. Татарнику нужно рваться, потому что на нижнюю половину куста уже напоззла холодная окутывающая тень, она скоро охватит все растение.

Если в эту минуту вежливо спросить сидящего, где здесь живет Алексей Козлов, он резко ответит, кивнув кистью за спину: «Там». Это значит, что нужно оставить художника и подняться из оврага к двум одиноко стоящим избам у опушки леса. Избу Козлова здесь уже найти нетрудно, она отмечена травянистой лужайкой под окнами, густо вымазанной красками самых немислимых сочетаний. Это свидетельство того, обо что и как чистит художник свою палитру. С его возвращением на повети, где раньше хранилось сено, а теперь помещается мастерская, раскрывается редчайший и трудно передаваемый словами мир: это сумерки, подсвеченные гроздьями поздних рябин; это вечерние взгорья, охваченные тревожно бегущими травами; это летние ночи, когда луна просвечивает сквозь тучу и похожа не то на комету, не то на размытый кусок янтаря; это полуденная приподнятая равнина с тропинкой под скользящей тенью летнего облака; это зеленый бугор высотой до неба — и там столпились синие горбоверхие избы, и гнутся над деревней колодезные журавли, и узкая оставшаяся полоса облачного неба подернута желтым ветром.

В каждом картоне — отблеск высокой красоты, в них много колористического мастерства, в картинах столько любви к родной земле, к ее поэзии, к ее самым укромным красотам, что не удивишься, если узнаешь, что пятнадцать лет назад Алексей Козлов добровольно выпро-сился на фронт рядовым.

В одном из далеких украинских сел на берегу Ворсклы, окро-вавленной текучими бликами пожарищ, он был тяжело ранен в правую руку. В ту самую руку, которой теперь пишет. Прошла война. Козлов окончил Костромское художественное училище и долгое время работал в деревенских школах учителем черчения и рисования. От села Красного, что под Костромой на Волге, до Пыщуга и Павина встречаются теперь Козлову его бывшие ученики, ставшие летчиками, трактористами, учи-телями, агрономами.

Художник живет один. Он сам готовит и обязательно пригласит отужинать. За столом может случиться, что Козлов вдруг перестанет жевать и примется из-под пустой ложки разглядывать какой-нибудь кусок леса или неба за окном. Не стоит обращать на это внимания, тем более, что грузди засолены удивительно вкусно, а картошка поджарена не особенно небрежно.

Иногда Козлова можно увидеть на дороге из Трошина в Пыщуг, куда он ходит за картоном. Он идет походкой человека, сворачивающего за угол, настороженно поглядывая на перелески, речки, угоры. По напряжению лица его, по взгляду нетрудно понять, что земля полна для него ежесекундно свершающихся событий, обновлений, угасаний, а он силится найти во всем этом наиболее созвучное, наиболее яркое, что может быть прочувствовано до конца.

У дороги пестро одетые женщины в платках сгребают сено.

— Здравствуйте, Алексей Никифорович,— говорит одна из них, разо-гнувшись и прикрыв от солнца загорелое лицо.

— Здравствуйте! — отвечает Козлов и объясняет:— Ученица моя. Я ее года четыре назад в Шарье учил. Теперь в столовой работает да на лето в колхоз вот приехала. Она меня знает, а я-то вот ее имени не припомню.

Дорога уходит в пашни, прохваченные перелесками и озимью. Все это растянуто по мягким, плавно вступающим один в другой холмам. Они наполняют сердце тонкой музыкой слияния глубоких и неуловимых тонов и линий.

Это же чувство, сходное с успокаивающим парением затухающих качелей, есть в работе Козлова, которая называется «Тишина». На ней изображены вечерние холмы с лилово-сиреневыми полосами пашен, отороченных темным узким лесом, дальше луга, озими, леса. Все уходит в туманную, становящуюся равниной даль, где разлита тонкая поздняя синева. Картина наполняет в высшей степени русским ненавязчивым лиризмом, размышлениями, какие порой приходят с музыкой Калиникова.

— Тысячу раз ходил я уже по этой дороге,— прерывает размышления Козлов,— иногда надоедает она, как вспомнишь, что идти надо. Стоит же выйти, и в каждый новый случай видишь ее по-новому, словно впервые.

Нужно расставаться. Хочется долго смотреть вслед ему, человеку, который в тысячный раз может с чувством обновления пройти по старой дороге, для которого каждый уголок земли полон неповторимой, непре-кращающейся жизни.

Он уходит навстречу новым своим замыслам, поднимаясь на холм настороженной походкой человека, сворачивающего за угол.

Возвращение

За неделю до свадьбы бросила Павла Леньку и ушла из лестранхоза с Кондратом Верстой, нанявшись косить травы в дальний колхоз. К вечеру того же дня голубые Ленькины глаза потемнели от водки. Возвращаясь по бревенчатой дороге в лестранхоз, Ленька так гнал машину, что бревна визжали, раскатываясь по закаменевшей от зноя земле. Не убавив скорости на повороте, он врезался машиной в ельник и сам едва успел выскочить из кабины в последнее мгновение.

На дальних лугах, потонувших в малиновой пене кипрея, застала Павлу весть о том, что Леньку посадили. Об этом рассказала ей девочка, случайно завернувшая сюда из малинника.

Павла перестала косить. Прошла к шалашу. Бережно положила косу в траву и надела сапоги.

Все до словечка слышавший Кондрат швырнул свою косу в сторону, обернулся и молча смотрел вслед уходившей.

Наша деревенька лежала на ее пути. На следующий день Павла и зашла к соседке выпить. Глаза у Павлы были такие же голубые, как и у Леньки; шуря белые длинные ресницы, она спросила:

— Ленька-то, поди, уж в Костроме?

— Третьего дня увезли,— ответила соседка, помолчала и спросила: — Кондрата куда же дела?

— Косит, сатана.

Павла села на землю, сняла сапоги, склонила голову, развязала косынку и уронила на колени облако белых искрящихся волос.

— Чего же ты теперь за ним идешь, или раньше не разглядела? — спросила соседка жестко.

Павла собрала волосы, повязала косынку, встала и, не глядя, ответила:

— Тюрьма не могила, было бы кому ждать, так выдюжит.

Она сняла пояс, связала сапоги, перекинула их через плечо и ушла, не попрощавшись.

Дальний родственник

В Крыму и на Кавказе у самого моря растут гордые и величественные кипарисы. Надрезь ствол его — увидишь широкие сочные кольца, свидетелей привольной и счастливой жизни дерева из года в год. Надрезь ствол кипариса — от красноватой влажной раны потянет терпким и освежающим запахом. В нем можно почувствовать и легкий запах песка, наливающегося утренним солнцем Ливана, и теплый аромат загорелых плеч финикийских моряков, проспавших всю звездную ночь на открытых кипарисовых палубах. Многие могут напомнить знающему человеку это дерево. У нас в России с самых давних времен собирали и высоко ценили изделия из этой живописной древесины.

Здесь в лесу можно встретить дальнего родственника южного красавца, простой северный кустарник — можжевельник, покрытый дымчатыми голубыми ягодами. С виду он неказист, короткие колючие иглы его совсем не похожи на мягкую праздничную хвою кипариса. Но у простых людей этот низкий кустарник снискал самое теплое внимание. Хозяйки промывают можжевельными мочалками кадушки, прежде чем солить в них грибы или огурцы, чтобы выгнать запах плесени. Пышугане коптят на можжевельном дыму мясо, а желтоволосые жены литовских и карельских рыбаков — рыбу. Сибирячки можжевельным настоем умываются.

В отличие от изнеженного южного родственника, можжевельник забирается далеко на север, растет на горных вершинах, вблизи вечных снегов. Он покорежен свирепыми вьюгами, поломан ветрами, и если где-нибудь на Таймыре вы срежете ветку толщиной в большой палец взрослого человека, то на срезе можно будет насчитать сотню тончайших годичных колец, говорящих о многолетнем мужестве этого скромного кустарника.

Березовые напевы

Уходит конец июля. Синее небо подергивается белесоватостью. Листва на деревьях стала жестче, а ветер — храбрее и шире.

Слушай, слушай, как звенят в эту пору раскинувшиеся на все небо березы! Ты все здесь услышишь: и предчувствие надвигающейся осени, и лесные летучие песни, и гаснущие птичьи гомоны, и сладостное ощущение полета, которое охватывает на ветру березовые ветви.

А смотри, смотри, какой золотой снег сыплется в поля и рощи! Уже под ноги тебе целый сугроб намело. Подними, встряхни на ладони рыжеватые легкие снежинки и догадайся, что это молодое березовое семя. Из каждого семечка по березе вырасти может. Ох и сколько же звона прибавится тогда в ветреный день над Пыщугом! А под ноги уже настоящий остров рыжего снега надуло.

Нашествие

Ночью просторы черны и холмы кажутся сплошь затянутыми лесом. Над деревушкой в такую пору нависает ощущение оторванности. Лампы не светят, только у околицы горит распахнутое в звезды окошко да устало сидят девчата, приехавшие из Шарьи на уборку. Медленно одна вытягивает пародию на вологодские частушки:

По деревне идетё,
поетё, играетё,
моё сердце надрываетё
и спать не даетё.

Нехотя замолкает. Вторая осторожно, словно высвобождая мелодию из-под каких-то приятных воспоминаний, поет мальчишескую запевку:

Эх, конь вороной,
белые копыта,
когда вырасту большой,
налюблюсь досыта.

И опять тишина. Из-за леса ветер гонит под окна запах перестаивающей ржи. Вдруг за ближним лесом, из оврага, кто-то огромный мазнул по небу длинным желтым пальцем. Через некоторое время выбираются из оврага и двигаются с рокотом на деревню два пока еще неразличимых огромных существа. Они, осторожно переваливая через выбоины, опасливо ощупывают незнакомую землю длинными желтыми пальцами.

— Самоходки с Кубани идут, — сонно говорит с полатей Санко, разъездной почталъон, а вследствие этого самый осведомленный человек, — сегодня утром их цельную полсотню пригнали.

Девушки по пояс высовываются на улицу, и луч, уже подобранный к деревне, внезапно подпрыгнув, бьет им в глаза. Девушки зажмурива-

ются, смеются, закрыв лицо руками, прячутся за простенок, а потом через крыльцо выбегают на улицу.

В деревню вползают комбайны, добродушно ворочая во тьме белыми глазами и свернув на черных горбах длинные угловатые хоботы.

— Говорят, у вас здесь хлеб убрать надо бы? — спрашивает комбайнер, тормозя перед крыльцом.

— Или к нам на уборку? — вскрикивают в голос девушки.

— Много узнаешь, постареешь к утру, — отвечает парень. — Где здесь у вас удобней встать?

— Где ни встанешь, все возле нас, — смеются девчата с подчеркнутым равнодушием, обволакивая комбайнерово мягкое южное «г» ласковым северным оканьем.

Парень выключает мотор и спускается на землю, глядя, как по увалам осторожно ощупывают непривычные лесные дороги голубые лучи долгожданых прищельцев.

Ветер в еловых стенах

Сухая ель — доверчивое дерево. Она как сердце лесной простоволосой девушки, которой улыбнулся случайный прохожий. Он ушел, он уже забыл о ней, он уже и не помнит леса того, а девушка все верит улыбке, улыбка все живет в ее сердце долгие месяцы и годы. Так и ель, она бережет в своем чутком теле и смертельный удар топора, и рокот хвои, и вспугнутый плеск тетеревиных крыльев.

Из ели здесь рубят дома. Еловые избы — это целые царства никогда не прекращающихся, самых редких и самых долговечных звуков. Охнула половица, и по всему дому разошлись замирающие вздохи. Летят осенние листья, тихим шелестом одевают они избу, слышно, как они прикасаются к стенам, как скользят по ним, как вновь улетают, а может быть, падают на землю. Вздохнула в стойле корова — гул пошел по всему двору. Заворочались в сене детишки — ночные шорохи долго стоят под высокой кровлей сеновала.

Издали дом похож на корабль. Шириной он чаще всего в одну стену, а длиной в две с половиной.

В передней части дома — изба. Справа от порога — русская печь, которая вместе с запечьем занимает четверть избы. Вторая четверть, между окном и печью, отгорожена от комнаты дощатой стеной и служит кухней. Вдоль двух наружных стен комнаты — две длинные лавки. Стены изнутри зачастую не штукатурены. Обжитые и необветренные бревна по цвету напоминают старинную темную бронзу. В таких комнатах красочно звучит людская речь, а весной и осенью не держится сырость. Потолок бревенчатый, однослойный, проконопаченный и тоже без штукатурки. Чердак называется потолком, на потолке, под крышей, живут ласточки.

Вторая половина дома отдана скоту. Весь этот четырехстенник дощатым настилом разделен на два этажа. В нижнем этаже — стойло с дверьми в ограду. Чаще всего там покои коровы, свиньи и кур. Над двором — поветь, на которой хранят сено. Здесь над коровником, над свиарником и над птичником прорезаны в полу окошки, через которые подается корм. По стенам расставлены деревянные кровати-временки, над кроватями холщовые прохладные полога, над пологами — злобный комариный вой. На повети же — кладовая, именуемая чуланом. Первую и вторую половины соединяет по полустенкам узкий поперечный коридор. Его так и называют — мост.

Бывают от этого основного типа и разные отклонения. Построят дом шириной в две стены, или закатят высокое резное крыльцо, или ограду крышей закроют. А колхозник из деревни Черновляне Пашка Куприн поставил дом боком к улице, крышу над мостом прорезал и выстроил мезонин. Многие называют эту надстройку мезиментом и с уважением поглядывают на нее.

Деревни вытянуты на холмах тонкой взгорбленной цепочкой, так что, входя, видишь только одну половину улицы, а выходя, — только вторую. Посреди деревни, на самом взмыве, стоит колодец с огромным журавлем, здесь можно напоить коня или заправить радиатор. В праздник каждая уважающая себя компания считает долгом хотя бы один раз пройти вдоль всей улицы с гармонью.

От высоких, крытых дранкой домов, от коротеньких вскинутых улиц, поглядывающих резными наличниками, резными воротами, высоко прорубленными окошками, веет собранностью, умением построить все так, чтобы и жизнь и работа были сподручны и просты. Может быть, в этих крепко увязавших все хозяйство домах сказывается давнее лесное стремление смекалисто укрыть от случайностей погоды, от злой руки, от зверя каждую животину, каждую нужную вещь, нажитую тяжелым многолетним трудом. Может быть, в этом сказалось желание требовательного человека сделать жизнь простой и красивой. Скорее всего — и то и другое. Во всяком случае, в характере пыщуган явно чувствуется это глубокое, душевное отношение ко всему окружающему. Пыщуганина трудно разозлить, но неожиданно легко обидеть каким-нибудь случайным взглядом или словом. И тут вспоминается Сибирь с ее пятистенниками, с огромными дворами, по которым раскиданы амбары, коровники, дровяные навесы. Вспоминается и основная черта характера коренного сибиряка: его нелегко раскипятить, но на обиду он неподатлив.

Чтобы воспитывать себя, ценить себя и уважать по достоинству, нужно знать свой характер. Для этого необходимо помнить, откуда он пришел, где шел, из чего складывался. То же самое можно сказать и об отношении к жизни целого народа. А ведь характер народа нашего складывался и продолжает складываться из сходных в общем, но богато разнообразных в частности характеров москвичей, ростовчан, даурцев, олонеццев, туляков и многих других. Если город близок тому новому, что рождается нашим общим разумом ежедневно, ежечасно, то деревня стоит на истоках, которые питают нас живительнейшими соками прошлого русского народа, живой водой нашей природы. И разве жилища не определяют характер и жизнь человека? Разве не говорят нам парящие крыши древних китайцев о высокой поэтичности их строителей? Разве не рассказывает золотисто-зеленый сумрак хижин тайтян о благородной живописности их обитателей? Мы строим дома, дома строят нас.

Сухая ель — отзывчивое дерево. На каждый луч, на каждый полублеск отвечает она необычайным и редким цветом. В солнечный полдень, когда обветренные бревна становятся белесоватыми, похоже, что стены, наличники и крыши чеканены из старого серебра. Тогда высокая избушка в Петухах, со своей крышей и трубами на ней, всем своим видом просит, чтобы люди забыли, что в ней просто сушат зерно, а поверили, будто живет в ней Василиса Прекрасная. В серый день, когда по земле идут мгlistые тени от низких облаков, избы кажутся кованными из синего перегретого железа. Теперь чешуя крыш напоминает броню древних витязей, и воинственным холодом веет от нее. Житницы, конюшни, бани превращаются в такие дни в жилища каких-то языческих воинов-отшельников.

Лунные ночи делают избы рубленными из янтаря. Все мягко светится изнутри, и даже длинные жерди прясел, мерцая, уходят в полусвет, за деревню, к лесу. Села же в эти ночи прямо на глазах грозят преобразиться в сказочный град на острове Буяне.

Месяц крадется по южной стороне небосвода. С севера же упираются в небо голубые и малиновые полосы. Они стоят, вздрагивают, уходят в самую высь, шарахаются в стороны и исчезают. Это осенние отблески далеких полярных сияний. Там, в олонецких и архангельских краях, под расцветающими вихрями холодного огня стены и окна стали голубыми, красными, зелеными. Там лежат столичные земли русского деревянного зодчества.

Золотые крыши

Эта бесконечная полевая тропа вьется по угорам, как хитрая сказочница. То она выведет на самую вершину холма, под длинные солнечные облака, то нырнет глубоко в ложину и заплетает в узеньких березовых рощах, там пахнет груздями и прохладной листвой. Справа, слева то и дело выглядывают крошечные деревушки, часто поблескивая на солнце новенькими смолистыми крышами.

Потом тропа осторожно ложится в ручей. Выйдешь из-за кустов, а на берегу сидит человек. Разные люди встречаются на берегах ручьев — то молчаливые, то разговорчивые, а мне сегодня встретился недовольный. Он ел из зеленой кружки зернистую землянику и не сразу заметил меня.

— Далеко путь держите? — спросил я, остановившись над ним.

— Домой, — коротко ответил он и поднял веснушчатое морщинистое лицо.

— А дом далеко ли?

— Отсюда уж, конечно, не видать. А мог бы и тут постоять домище.

— Забавный у вас дом.

— Не столько забавный, сколько неудавшийся.

Я помолчал.

— Вы присядьте, поболтаем, — предложил человек, — дорожные разговоры, сказывают, лечат.

Я собрался присесть, но он сам вскочил и стал быстро рассказывать:

— Присмотрел я в прошлом году здесь себе избенку. Не избенку, а домище. Все честь честью. У нас в пригороде такой дом тысяч на двадцать потянет. А здесь его за тыщу отдавали. Да и не брал еще никто. Ну, я успокоил хозяина — мол, нынешним летом заберу у него хату.

— А отчего же так дешево продавал он? — вставил я вопрос меж его быстрых словечек.

— Никто не покупал, а сам хозяин в какой-то крымский колхоз переводился. Ну вот! А теперь приезжаю, вхожу в деревню, и сердце у меня екнуло: на избе крыша новая. Проморгался, опять посмотрел — свеженькая, чистенькая крыша. Ну, думаю, продал уже, шельмец, кому-то. Захожу в ограду — нет, хозяин на бревнах сидит и сам забор новый тешет. Я к нему с деньгами, а он на них и не смотрит. Сам, говорит, жить в своем доме буду. Ну и погорел я здесь крепко. Вот ведь времена какие пошли, никому нельзя на слово верить.

Человек поправил обеими руками на голове клетчатую кепчонку, словно собираясь бежать от меня, и вдруг выпрямился, ожидая, что я скажу.

— А зачем вам был этот дом? Вы же не собирались переезжать сюда?

— Эх, браток, — ухмыльнулся он, — я бы вывез его, собрал бы дачу и загнал бы за мое почтение. Думать надо!

— Да, действительно стоит подумать,— согласился я.— А вы себе другой такой дом подыщите,— посоветовал я, немного постояв молча.

— Теперь уж здесь вряд ли найдешь такое дело,— сказал человек медленно, как бы прикидывая вслух.— То-то и оно,— добавил он задумчиво и вдруг сердито посмотрел на меня, словно это я не продал ему дом за тысячу. А может быть, он просто спохватился, что слишком болтлив перед незнакомым человеком.

Чтобы избавить его от дальнейших опасений, я не спросил, кто он, откуда, как зовут, а просто попрощался и пошел своей дорогой.

Вновь повела меня по угорам веселая рассказчица-тропа, то вверх, то вниз, навстречу новым деревенькам, новым крышам и новым домам. Шагая, думал я о том, не поступил ли я плохо: может быть, мне стоило присесть у ручья и вылечить того человека беседой. Но потом я решил, что такого человека беседой вылечить трудно, пусть лучше вылечат его золотые смолистые крыши.

Под тенью облака

В ясный день стоит только засмотреться в небо — и увидишь все, о чем думается. Пусть только облаком слегка затянет солнце. Тогда и лучи не спят и ветер прохладный, а сам ты уже в дальних краях, там, где бывал, может быть, очень давно. А осиновая листва струит на ветру осторожный рокот, отдаленно напоминающий звук перекатывающихся сухих гранитных камешков.

Тень облака ушла. А осины все наливают воздух осторожным гранитным рокотом, теряя на ветру пылающие круглые листья.

Я здесь вспоминаю о далеких краях. А там, на гигантах Тянь-Шаня или в лиловых ущельях Камчатки, я стану вспоминать об этих холмах, об их золотых перелесках. Ведь так воскрешаем мы страны прошлого в необъятных просторах нашего сердца.

Так все шире и богаче становится родина, так все счастливее и больнее залегает она в сердце человека.



НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

АЛЬДЖЕРНОН ЧАРЛЬЗ СУИНБЕРН

★

У СЕВЕРНОГО МОРЯ

(Фрагменты из поэмы)

Литературное наследие выдающегося английского поэта Альджернона Чарльза Суинберна (1837—1909) чрезвычайно обширно и многообразно. Оно привлекает живыми откликами на освободительное движение угнетенных народов, богатством образов, красочностью языка, пылким поэтическим темпераментом.

В годы своего творческого расцвета А. Суинберн жил в Лондоне, который в середине XIX века был убежищем политических эмигрантов. Культ Виктора Гюго, общение с Джузеппе Мадзини породили в поэзии Суинберна многочисленные стихи об итальянском национально-освободительном движении: «Песнь времен порядка», «Песнь времен революции». В цикле «Предрассветные песни» нашли свое отражение события 1870—1871 годов во Франции.

Большим мастерством отмечены драматические поэмы Суинберна на античные мотивы — «Аталанта в Калидоне» и «Эрехтей»; глубоким проникновением в историю родной страны отличается трилогия о Марии Стюарт: трагедии в стихах «Шастелар», «Босуэлл», «Мария Стюарт».

Необычайная легкость, с которой Суинберн создавал стихи, вызывала временами некоторое многословие. Поэтому знакомить в переводе с поэмами Суинберна приходится в извлечениях, выбирая все наиболее характерное для его своеобразного стиля.

Особое место в творчестве Суинберна занимает тема моря. В море поэт видит прежде всего животворящее начало борьбы, и это роднит его с малопопулярной в Англии вольнолюбивой традицией Байрона. Образцом этого рода стихотворений является написанная в 1880 году поэма «У Северного моря», фрагменты из которой предлагаются вниманию читателя.

За последние двадцать пять лет жизни Суинберн, страдая тяжелым недугом, не создал ничего, равного произведениям поры его творческого подъема.

Мы те, чем солнце, и ветер, и море
сделали нас.

У. С. Лэндор.

Страна безотрадной развалин,
И море Смерти страшней;
Здесь пустоши Ветер хозяин
Объезжая, загнал коней.
Здесь пустыней бескрайной, иссохшей,
В своей блеклой одежде простой
Простерлась Земля, изнемогши
В борьбе с водой.

Промелькнет стриж мимолётный,
И снует челнок травы,
Соткавший покров плотный
На обрушенных скал гробы,
Словно старой колдуньи спицы
Вяжут саван, надетый землей;
И парят беззвучно птицы
В высоте, над скалой.

Здесь на пастбищах стад не встретить,
 Ни людей, ни собак, ни овец,
 Здесь рыбак не развесит сети,
 И веслом не плеснет гребец;
 Только ветер без усталости воет
 И чешет гриву холма;
 А владык бессмертных здесь двое:
 Океан и Смерть сама.

* * *

Сурова душа Океана,
 А людям его поцелуй —
 Это в борт нанесенная рана,
 Это плеск проникающих струй,
 Это Смерть, пришедшая рано,
 С прощальной запискою буй.

И вздымаются ряд за рядом
 Волны — на приступ земли,
 Но тут же, с прибоем рядом,
 Сыпучие мели легли.
 И, покинув мола ограду,
 Вновь выходят в путь корабли.

Даже буря не может нарушить
 Тесный строй растущих валов,
 Но и море не может разрушить
 Меловых и гранитных рядов —
 И бой океана и суши
 С незапамятных длится веков.

* * *

Мэли, мэли, мэли побережий,
 Мили, мили, мили пустырей,
 Кручи, глыбы, скалы, мох — все те же
 С грозных, страшных, первозданных дней.
 Край тысячелетний и нетленно-свежий,
 Временем забытый в наготе своей.

Вся раскрыта, радостно вникает,
 Окрыляется и растет душа.
 Волны хлопотливо кручи подмывают —
 Рушатся изъеденные. Их круша,
 Море о земном все мысли затопляет —
 Страшная, суровая земля здесь хороша.

* * *

Где-то там, в пелене тумана,
 Мне чудятся корабли —
 В просторах пустых океана,
 Вдали от опасной земли.
 Дерзая и сомневаясь,
 Отсчитывая дни,
 К портам пробиваются, маясь, —
 Всегда одни.

«Что за мыс в тумане маячит?
 Что за мель показал лот?
 И гряда облаков что значит?
 Как найти среди скал проход?
 Вот маяк замелькал, не иначе!
 А не то пароход».

Там, за той меловою глыбой,
 Зеленеют широко луга,
 Лес темнеет короткою гривой
 И верушек топорщит рога.
 Там шелест, жужжанье и щокот
 Над лужайками терпких цветов,
 Полноводных потоков рокот
 И журчанье ручьев.

Но неверною гранью и шаткой
 Отгорожен уют земной,
 И море звериной повадкой
 Гложет злобно утес меловой.
 И осыпаются кручи;
 До новой сплошной гряды
 Отступает утес могучий
 От упорной воды.

То прилива медленной сапой,
 То напором бурунных лавин —
 Что ни день когтистою лапой
 Рвет добычу седой властелин.
 Нет конца их отчаянной схватке!
 Взять верх вода не смогла,
 Но моря мертвая хватка
 На берег легла.

• * *

Земля страшнее развалин,
 И море смерти жадней.
 Весь изъеденный, берег оскален
 Грядюю острых камней.
 И дробится о камни ветер,
 Увязает в песках волна —
 Тут воде расставлены сети,
 И слабеет она.

Изнемогая, затихает,
 Широко раскинувшись, спит;
 Но Ветер покоя не знает,
 Море сонное он тормошит.
 Достижение цели — могила
 Тех страстей, что к цели зовут.
 Но иссякнет ли Ветра сила,
 И ярость, и труд!

Охваченный вечным желаньем
 На свете все пережить,
 Он стремится своим касаньем
 Растворить, унести, покорить.
 Цель безмерна, бескрайна, как море,
 И бессмертна, как пламя и пар,
 И несет она радость и горе
 Ветру в дар.

Потому и глухие стоны
 Среди мрака ненастных ночей,
 Потому и пеан опьяненный
 В честь сияния жарких лучей;
 Упоение вечным уделом —
 Жить, наслаждаться, искать,—
 И сознание, что нет предела
 И напрасно желать.

* * *

Все гляжу я на белые гребни
 Там, где бьет и дробится прибой,
 И все ширится, зреет и крепнет
 То, что вложено в сердце тобой.
 То, что даже тогда не стихает,
 Когда штиля расстелется гладь
 И, усталого, меня обнимает
 Море ласковое, словно мать.

О извивы бухт и заливов!
 О прибой, что грозно ревет!
 Вечный пульс каждодневных приливов
 И отлив, что вдаль зовет!
 Я — песчинка, намытая морем,
 Я — камешек на берегу,
 Я — неслышный в неслыханном хоре,
 Все ж молчать не могу.

Слабый голос мой напрягаю,—
 Вторит он налетевшей волне,
 Тому, что в душе накапливает,
 Пусть оно не по силам мне.
 Есть ли участь завидней на свете!
 Радость, равная этой судьбе!
 Мои думы тебе, ветер,
 Мои песни, море, тебе.

Перевел с английского Иван Кашкин.



ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

АННА МАСС

★

НА ЦЕЛИНЕ

Из записок студентки

Приехали...

— Ура!
— Биологи! Из вагонов!..
— Даешь целину!
— Ой, как здесь красиво!..

Мы выпрыгнули из вагона, сложили в большую кучу наши рюкзаки и огляделись.

Приехали мы рано утром. Блестела трава, еще мокрая от росы. Небольшой лесок окружал поляну. В легком, почти прозрачном тумане расплывались очертания тонких берез и низкорослых кустов ракиты.

Разноцветные «победы» одна за другой останавливались у эшелона. Из «побед» выходили встречающие. Вид у них был очень торжественный. В глубине поляны, под деревьями, на грузовик с опущенными бортами натягивали красное полотно: готовились к митингу.

Местные пионеры, приехавшие встречать нас, собрались в кружок и хором репетировали приветственную речь.

И только наш эшелон производил впечатление несерьезное. Он был разукрашен, как новогодняя елка. На каждом вагоне висели карикатуры, шуточные напутствия, лозунги, которые мы сами сочинили накануне отъезда. Красные, желтые, оранжевые, синие флажки тянулись от паровоза до последнего вагона. Разноцветные бумажные ленты оплетали вагоны, как нити елочной канители.

За четыре с половиной тысячи километров пути от Москвы до Северного Казахстана, куда мы приехали, все эти картинки и украшения несколько не выцвели и не разорвались. Наоборот, на фоне яркой травы и голубого неба они казались даже веселее и праздничнее, чем на московском вокзале.

Итак, дорога осталась позади.

Позади осталось веселое студенческое общежитие на колесах, маленький мир со своим неповторимым дорожным уютом.

Засыпали мы обычно под утро, когда на небе появлялась узкая и неяркая полоска рассвета. В вагоне светлело. Тогда наши глаза закрывались сами собой. Мы едва успевали дотащить до нар и коснуться головой подушки — сразу засыпали.

Днем мы раздвигали двери вагона во всю ширину. Прохладный, чуть пахнувший дымом воздух охлаждал лицо. Казалось, протяни руку — и коснешься ствола дерева, перил моста или столбиков с интригующей, но малопонятной надписью: «Закрой поддувало».

Из окон проходивших мимо пассажирских поездов нам махали руками и весело улыбались незнакомые люди.

Но особенно хорошо было поздними вечерами. Горел фонарь, освещая стенки вагона колышущимся пламенем. Мимо нас в широком квадрате двери с грохотом проносились встречные поезда, мосты, проплывали темные поля, пустынные и огромные.

Красиво — и немного таинственно.

Раздвижные двери вагона были похожи на киноэкран.

Хороши были ужины при свете фонаря. Мы устраивались на рюкзаках и чемоданах вокруг мисок с огурцами, помидорами и другой снедью.

Руководила трапезами обычно Неля Прейкшайте. Она была самым шумным и неутомимым членом нашей бригады.

— Люська! — кричала она. — Не смей свешивать ноги из вагона! Светка! Оттащи Люську от двери!

За день она успевала так накричаться, что к вечеру оставалась без голоса.

На остановках Неля хватала мяч и первая выскакивала из вагона. Следом за ней выскакивали и мы. Устав от неподвижного сидения в вагонах, мы старались набегаться вдоволь, наиграться в волейбол. Бежали к колонкам и умывальникам, брызгались, обливались водой.

И вот мы у цели!

После митинга по прямому пыльному грейдеру нас повезли в совхоз «Возвышенский».

Перед нами, по обе стороны дороги, до самого горизонта расстилались огромные зеленые поля пшеницы. Над полями кружили коршуны.

Мы ехали долго, но пейзаж не менялся: вокруг лежали ровные поля без единого деревца.

Проехали несколько деревень. Белые хаты-мазанки с ярко-синими ставнями выглядели нарядно. В чистых двориках, облокотившись на плетни, стояли хозяйки и смотрели нам вслед, прикрывая от солнца глаза ладонями.

В нашем грузовике ехал парень в низко надвинутой на лоб кепке — один из тех, кто встретил нас по приезде. Всю дорогу мы жадно расспрашивали его о совхозе.

Оказалось, что уборка начнется не раньше чем через месяц. Выяснилось также, что совхоз, в котором нам предстояло работать, вовсе не новый, а существует уже лет тридцать.

Это нас немного разочаровало.

— Целины, девчата, у нас хоть отбавляй, — утешал парень, — сами видите, сколько земли. С пятьдесят четвертого года по одному нашему отделению шесть тысяч гектар подняли... Совхоз огромный, а вот людей маловато. Так что вы не беспокойтесь, работы и до уборки хватит.

Наконец вдаль показались первые дома совхоза. Не доезжая до них, грузовик свернул в сторону и остановился посреди скошенного зеленого поля.

— Вылезай! Приехали!

Нам предстояло жить в небольших дощатых вагончиках. Внутри вагончиков сколочены нары, прибита полка.

Неля сейчас же оказалась в курсе всех дел.

— Девчонки! Значит, так. Вон там копна сена лежит для матрасов. Идите быстрее, набивайте матрасы, подушки. Вон там — кухня, видите дым из трубы? Когда сделаете постели, будем обедать. Ой, ну я побежала...

Устроители нашего быта постарались сделать вагончики красивыми и уютными.

Прямо против двери висел плакат. На нем был изображен человек, который, раскинув руки и ноги, летел вниз головой с какого-то незнакомого нам сельскохозяйственного агрегата. Подпись гласила: «Осторожно! Выступающие концы валов трансмиссий могут нанести серьезные ранения».

Слева на стене был прикреплен еще один плакат: человека утянуло в какую-то машину. Из искаженного ужасом рта вылетали прыгающие буквы, складывающиеся в следующие строки:

«Вот что бывает,
Когда об охране труда забывают».

Вид попавшего в машину человека был ужасен. Мы невольно повернули головы направо, к противоположной стене. Там висел третий плакат. Он изображал половину человека. Вторая половина этого человека на наших глазах отрезалась от туловища острыми концами решетки. Плакат предупреждал: «Не прыгай в копнитель во избежание несчастного случая».

— Светка, посмотри, пожалуйста, — прошептала Рина Щепкина, — у меня еще нет седых волос?

На наши плакаты приходили полюбоваться девушки и ребята из соседних вагончиков. У них тоже висели плакаты, но разве можно было сравнить их с нашими?

Каждый из нас взял с собой на целину две-три книги. Еще в Москве мы договорились о том, что при отъезде подарим книги местным жителям. А пока мы поставили их на полку. Подобралась довольно большая библиотечка. Смесь, правда, получилась удивительная: к толстому однотомнику Пушкина скромно прижался «Сережа» Пановой, Бальзак прислонился к учебнику неорганической химии, между Гюго и Маяковским возвышался первый том Истории философии, рядом с Львом Толстым притаилась маленькая желтая книжка «Бумеранг не возвращается» из серии «Библиотека военных приключений».

Мы, девушки, довольно скоро навели у себя порядок и пошли проведать ребят.

В вагончике, предназначенном для ребят, дым стоял коромыслом. Из матрасов, укладываемых на нары, сыпалось сено. Андрей Горин и Витя Барский, сидя на нарах, швыряли друг в друга подушки. Посреди всего этого хаоса на сложенном вдвое матрасе совершенно спокойно сидел Боря Старостин и читал книгу «Коллоидная химия», отмечая карандашом наиболее значительные места. Вид у него был такой, словно он сидел в читальном зале и готовился к зачету.

Давно уже было известно, что, где бы Боря ни находился, он всегда читал. Он читал на лекциях, на улице и даже в театре во время антрактов.

Всю дорогу от Москвы до Северного Казахстана Боря ни разу не выглянул в окно. Он сидел в углу на рюкзаке, с карандашом в руках, и читал первый том «Истории философии».

Как держать вилы

Нет, мы не были белоручками. Все мы выросли в трудовых семьях. И работы мы не боялись. Но вот навыков, необходимых для нее, у нас не было.

Почему так получилось?

Дело было не только в том, что мы выросли в городе и никогда не работали в поле. Окажись мы в этот день на стройке или на заводе, мы и там чувствовали бы себя не лучше.

Главное было именно в отсутствии навыков. В школьные годы мы так их и не приобрели.

А нам так хотелось быть умелыми!

Наступил первый день работы.

Возле конторы нас ждал грузовик. В грузовике сидели несколько местных жителей, которые, как мы узнали, должны были помогать нам на первых порах нашей трудовой жизни.

Мы побросали в грузовик вилы, влезли сами.

— А вилы так бросать нельзя, девочки,— сказал пожилой человек в засаленной коричневой кепке.— Их надо класть зубьями вниз. Вот так. А то грузовик тряхнет, вилы подскочат — и прямо в ногу.

Что-то в его манере разговаривать и вести себя выдавало в нем учителя. Так оно и оказалось. Звали его Иван Степанович.

Грузовик выехал с территории нашего лагеря и понесся по дороге.

Было часов семь, но солнце уже немного припекало. День обещал быть очень жарким.

Встречный ветер бил в лицо и трепал за спиной концы косынки. Машина свернула с дороги и, подскакивая на кочках, поехала по скошенному зеленому полю. На нем серовато-желтыми холмами выделялись копны сена.

Грузовик остановился. Первым вылез Иван Степанович.

— Четыре человека оставайтесь здесь,— сказал он,— а остальные поедут дальше.

Торопясь и отталкивая друг друга, вылезли из грузовика Неля Прейкшайте, Светка Новикова, Рина Щепкина и я. Нам подали вилы, и грузовик поехал дальше.

— А вилы, девочки, так, между прочим, не подают,— сказал Иван Степанович.— Их надо спускать древком вниз. А то что же получится? Грузовик тронется, подружка вилы выронит, и они — прямо в ногу! И бояться не надо, бояться тут нечего. Вот, смотрите, как надо держать вилы!— Иван Степанович поднял с земли вилы и показал, как их надо держать и как подцеплять ими сено.

— А вот, девочки, как надо делать скирду,— продолжал он.— Скирда должна быть ровной, четырехугольной. Я сейчас стану наверху, а вы мне подавайте сено. Вот отсюда, с боков, пообчешите, чтобы горбов не было. А накальвать сено на вилы нужно вот так.— Иван Степанович поддел вилами копну и поднял такую кучу сена, что мы все ахнули.— Ну-ка, теперь вы попробуйте!

Мы попробовали. У нас ничего не получилось. Сено в копнах было утрамбовано так плотно, что казалось склеенным. Мы втыкали вилы, наваливались животами на палки, но вместо густых охапок вытаскивали жалкие пучки, которые тут же проваливались между зубьев.

Мы начали соскребать сено сверху, понемножку. За несколько минут упорного труда набиралась небольшая кучка. Мы прокалывали ее вилами и, стараясь не растрясти по дороге, волокли к стогу. Такими темпами можно было окончить работу примерно за две-три недели.

К счастью, Иван Степанович оказался удивительно терпеливым наставником.

— Не так, девочки,— спокойно наставлял он нас,— вы смотрите, с какой стороны копны сено неплотно прилегает. Оттуда и начинайте накальвать.

Действительно, с одной стороны копны сено было плотно утрамбовано, а с другой снималось очень легко. Я воткнула вилы, и сено мягко отделилось от копны. Я попробовала приподнять вилы — тщетно. Решила сбро-

силь с вил часть сена, но не тут-то было: оно не снималось! Я поставила вилы перпендикулярно к земле и ногой попробовала снять небольшую часть сена. Сено сползло с вил целиком.

Я пришла в отчаяние. У меня просто руки опустились. Я посмотрела на остальных девчонок. Рина, видимо поняв тщетность своих усилий, отбросила вилы в сторону и носила сено в руках. Возникал вопрос: как же Рина будет справляться потом, когда скирда станет высокой? Впрочем, на это нечего было надеяться!

Я посмотрела на Светку. Положив вилы на землю, она вытянула из копны охапку сена, подошла к лежащим вилам, наступила на них ногой, чтобы они не двигались, и нанизала сено на зубья, как бусину на нитку. Прodelав это несколько раз, она осмотрела вилы и, решив, что сена нанизано достаточно, отнесла его на скирду.

И только Неля сразу же освоилась с работой. Она поднимала огромные навильники. Просто завидно было смотреть, как ловко она работает. Рывок — и в воздухе уже чуть не полкопны. С поднятыми вилами она подходит к скирде. Там, сверху, сено подцепляет Иван Степанович и укладывает. Еще минута — и на скирду уже тянется следующий навильник.

Нелино лицо было в пыли: лоб, нос, подбородок — все было покрыто сенной трухой. Косынка, серая от пыли, была низко надвинута на брови, чтобы не пылились волосы, майка стала мокрой от пота.

Когда ей на пути попала Рина со своей жалкой охапкой, Нелька небрежно отодвинула ее локтем, пробормотав: «А ну, смойся отсюда!» И Рина, которая в другое время не потерпела бы такого обращения, на этот раз почтительно отошла в сторону.

Даже Иван Степанович смотрел на Нелю с уважением, обращался с ней, как с опытной скирдовщицей.

— Бок укрепи! Вот этот угол подправь! Побольше, побольше забирай, чтоб круче был! Вот здесь обчеши немного.

На нас он больше не обращал внимания — видно, махнул рукой.

И зря, потому что мы медленно, но верно приноравливались к работе. Конечно, мы при этом задыхались и обливались потом. Руки болели, на ладонях намечались первые следы будущих мозолей. Но, в общем, дело шло на лад. Скирда стала заметно увеличиваться в объеме. От нее на землю легла тень. И даже длинная.

Странное дело: работать стало гораздо легче. Оказалось даже, что поднимать в воздух большие навильники не так уж трудно. Дело шло. Наконец скирда была окончена. Мы с удивлением посмотрели на огромное сооружение в несколько метров высотой: неужели это сделали мы сами?

Вдалеке показался грузовик.

Итак, первая половина рабочего дня кончилась. Сейчас будет обед, а потом получасовой отдых.

Грузовик подъехал и остановился. Там уже сидели наши девчонки и ребята.

— Давайте быстрее, есть хочется! — крикнул кто-то с грузовика. — Вилы кидайте!

— Что значит — кидайте вилы? — сказала Рина. — Так, товарищи, нельзя. Как нужно подавать вилы?.. Подавать вилы на грузовик надо медленно, палкой вверх. А почему? А вот почему: скажем, подали вы вилы вверх острием. Так? А подружка зазевалась. Вилы-то — прямо в глаз!..

Мы испугались, что Иван Степанович обидится. Но он сам смеялся, глядя на Рину.

Бригадир Дима Жужиков

Нашим бригадиром был аспирант биофака Дима Жужиков.

Это был невзрачный парень, худенький, маленький, с белесыми, гладко прилизанными волосами. У него были светло-голубые глаза, острые, как буравчики.

Через плечо у него был перекинут огромный кожаный планшет.

Нельзя сказать, что Дима был плохим бригадиром. Но выполнял он свои обязанности довольно оригинально: почему-то всегда получалось так, что не он приказывал нам, а мы приказывали ему.

Вот, например. Со склада не выдали крупы. Чтоб не остаться без обеда, нужно было накопать картошки.

В лагере никого не было, кроме Инны Троицкой и Лины Калиниченко. Они в этот день не получили наряда.

Что должен был сделать обыкновенный бригадир?

Он должен был позвать Инну и Лину и приказать им:

— Троицкая и Калиниченко! Возьмите у поварихи мешки и лопаты. Поезжайте на поле за картошкой. Обрато доедете на попутной машине. Чтобы через два часа картошка была возле кухни, потому что иначе завтра нечего будет есть.

Инна и Лина, гордые поручением, сразу бросились бы исполнять его. Так сделал бы обыкновенный опытный бригадир.

Но Дима Жужиков был бригадир необыкновенный. Поэтому он сделал не так.

Он вошел в вагончик, где сидели Инна и Лина, прислонился к притолоке и сказал:

— Пишете письма? Так, так... И скоро допишете?

— Сейчас начну второе писать,— сказала Лина.— А что?

— Да нет, ничего,— испугался Дима.— Пишите, конечно...

Он замолчал. Девушки продолжали писать.

— Я ведь почему пришел,— начал снова Дима после продолжительной паузы.— Конечно, я понимаю... Погода плохая, дождь... Но ведь нужно!

— Что нужно? — Инна насторожилась.

— Картошку накопать нужно,— сказал Дима и тут же виновато добавил: — Много не надо. Зачем же много? Только на завтра... А то ведь крупы-то нет! Мешка два, ну, три...

Последнюю фразу Дима произнес совсем тихо.

Наступила долгая пауза. Инна и Лина размышляли: осчастливить Диму своим согласием или не осчастливить?

— Ладно,— великодушно согласилась Лина,— поедем, так и быть. Значит, Дима, слушайте. Пока мы будем дописывать письма и одеваться, вы сбегайте на кухню, возьмите две лопаты и несколько мешков. Проверьте, чтобы не были рваными, и принесите сюда.

— Сейчас,— обрадовался Дима и побежал исполнять приказание.

Была у Димы еще одна особенность: когда он бывал нужен, найти его не было никакой возможности. Он был неуловим.

То здесь, то там мелькнет солнечным зайчиком его коричневый планшет и тут же скроется. Мы бежим к тому месту, где он только что мелькнул.

— Где Дима?

— Пошел на кухню.

На кухне отвечают, что он ушел в контору.

— Жужиков здесь?

— Был здесь, а теперь куда-то побежал. Кажись, на ток.

На току мы его, конечно, не находим. Ругаясь на чем свет стоит, бежим обратно в контору.

— Жужиков не приходил?

— Минуту назад уехал на центральную усадьбу.

При всей своей неуловимости Дима Жужиков обладал еще одним необыкновенным для бригадира качеством: он никогда ни о чем не знал и, как правило, всегда все путал.

Когда началась уборка, нас всех распределили на постоянную работу. Часть студентов должны были отправить на земли госфонда, за сорок километров от лагеря.

Студенты ожидали этой отправки со дня на день.

Наконец однажды, поздно вечером, к вагончикам подбежал запыхавшийся Дима.

— Быстрее собирайтесь, девочки! Грузовики сейчас подъедут!

Электричества у нас в тот день не было, а собирать вещи в кромешной темноте — занятие малоприятное.

— Эх, Дима! — укоризненно сказала Люся Резепова. — Неужели вы не могли попросить, чтобы машины прислали завтра утром? Сами посудите, как же мы в такой темноте будем собираться?

— Я понимаю... — Дима на минуту задумался и затем решительно добавил: — Ладно! Я попробую. Но... Вы уж пока, на всякий случай, будьте готовы.

Он ушел.

— Как же, уговорит он! — вздохнула Люся.

— А что? Вдруг уговорит? — предположила Рина Щепкина.

— Дима? — Девушки засмеялись. — Такого случая еще не было! Нет, это дело безнадежное. Давайте собираться.

Девушки начали выволакивать из вагончиков рюкзаки.

Кто-то в темноте пытался найти свои сапоги среди кучи других сапог. Кто-то снимал с нар свой матрас, и солома из него сыпалась прямо на головы стоящим внизу девушкам. Как назло, испортилась погода. Пошел дождь. Вещи приходилось класть на мокрую землю. Настроение ухудшилось.

Наконец все было готово к отъезду.

— Вон Дима идет, — сказал кто-то. — Значит, сейчас и машины подъедут.

Начались объятия, рукопожатия, прощальные напутствия.

— Записки посылайте с попутными машинами!

— Обязательно!

— Мы к вам в гости будем приезжать!

Подошел Дима Жужиков. Лицо его сияло. Он потирал руки.

— Все в порядке, — сказал он. — Уговорил! Можете раскладывать вещи и спокойно спать до утра.

Это была, конечно, крупная победа нашего бригадира, и он, вероятно, ожидал услышать возгласы ликования, но услышал он в ответ только единодушный вопль разочарования.

Стоило выволакивать вещи, мочить их под дождем!..

Делать нечего, не оставлять же вещи в степи, да и спать на голых досках не хотелось.

Конечно, в вагончиках в эту ночь происходил невероятный кавардак. Никто ничего не мог найти. Мы злились, орали друг на друга. Провожающие перессорились с отъезжающими.

Утром, когда мы, усталые и невыспавшиеся, собирались ехать на работу, к нам с виноватой улыбкой подошел Дима.

— Знаете, девчата, я тут немножко перепутал: вас, оказывается, на госфонд не в грузовиках повезут, а прицепят вагончики прямо к тракторам. Так что отъезжающие забирайтесь в вагончики, а те, кто остается, быстро выносите вещи — вон трактора уже идут!

Вот какой необыкновенный был у нас бригадир Дима Жужиков.

Иду работать в ночь

— Анька! Проснись! — раздался над моим ухом голос Майи Сухорученко.

Я вскочила. Сегодня в первый раз я должна была работать на комбайне. С каким нетерпением ждала я этого дня! И вот чуть не проспала!

Все потому, что накануне мы очень поздно легли: студенты решили отпраздновать свой последний выходной день. Ведь во время уборки выходящих уже не будет.

На центральном стане был устроен молодежный праздник. Играли в волейбол, пели, бродили, обнявшись, по большому заросшему парку.

На площадке возле клуба начались танцы под радио.

В клубе студенты-химики показывали опыты местным жителям.

Опыты демонстрировались с антирелигиозным уклоном. После очередного взрыва, когда вонючий дым медленно рассеивался, на эстраду выходил вихрастый химик Гоша Харатьян и говорил:

— Таким образом, товарищи, вы убедились в том, что все явления природы можно обосновать научно и ничего божественного в них нет!

Слово «божественного» Гоша произносил с издевкой.

Местные жители наблюдали опыты с интересом. От едкого дыма у них слезились глаза и першило в горле, но люди не расходились.

В конце представления из глубины зрительного зала поднялся пожилой мужчина и поблагодарил химиков за науку:

— Ну, спасибо, ребятки! Очень нам ваши опыты понравились. Только вот бога вы зря потревожили: здесь в него, почитай, давно уж никто не верит!

И вот праздник кончился. С сегодняшнего дня я — копнильщица.

Трудная это работа — работа копнильщицы. Мы знали, что работать придется по восемнадцати-девятнадцати часов в сутки. Уж на что сильной и выносливой была Света Новикова, но и она, возвращаясь теперь со своего комбайна глубокой ночью, чувствовала себя такой усталой, что не имела сил даже раздеться.

И тем не менее мы ей завидовали. Нам тоже хотелось испытать себя, проверить свои силы.

— Надо бригадира найти, — сказала Майя, — а то мы даже не знаем, где комбайны и с чего начинать.

Нас с Майкой ожидала редкая удача: мы наткнулись на Диму Жужикова в тот момент, когда он уже садился в кабину грузовика.

— Дима, где комбайны?

— Возле кузницы.

— Нам вилы нужны и защитные очки.

— У завхоза возьмите.

— А где завхоз?

— Не знаю.

— А когда комбайны в поле выйдут?

— Не знаю.

Словом, Дима в своем репертуаре. Мы поспешили к кузнице. Там стояли комбайны, закончившие косить пшеницу. Их переоборудовали для подборки валков.

Мая еще издали увидела свой комбайн: возле него возилась Света Новикова.

Света в своем черном комбинезоне и красном платочке, из-под которого выбивались светлые пряди волос, была похожа на трактористку-ударницу из колхозных кинофильмов.

Грязными от солидола, огрубевшими руками она что-то завинчивала, бегала от трактора к копнителю и обратно, выполняя приказания своего комбайнера.

Увидев нас, она помахала нам рукой, заправила под платок прядь волос, отчего на лбу у нее осталась черная полоса, и продолжала работать. Мы подошли к ней.

— Светка,— сказала я, беспомощно озираясь среди кучи отвинченных частей, отцепленных копнителей и загадочных деталей,— а где мой комбайн?

— Вон, возле лафетной жатки, видишь? А рядом Захар сидит, твой комбайнер.

Я подошла к серо-голубому комбайну, возле которого сидел на корточках крупный черноволосый человек.

— Здравствуйте,— робко сказала я.— Меня на ваш комбайн назначили копнильщицей.

Захар поднял голову и окинул меня с головы до ног внимательным взглядом.

— Ладно,— сказал он наконец и снова принялся за прерванную работу.

— Может быть, я вам чем-нибудь могу помочь? — предложила я.

— А чего тут помогать! Иди отдыхай пока. Успеешь еще работать.

— А когда мы в поле поедем?

— Как переоборудуемся, так и поедем! Яшка! — крикнул он неожиданно.— Тащи инструменты!

Откуда-то сверху, ловко и быстро, как обезьяна, соскочил мальчишка лет шестнадцати, брат Захара, черноволосый, с такими же, как у Захара, крупными губами и низковатым лбом. Только ростом Яшка был пониже и не такой мрачный, как брат.

— Подборщик прицепляй! — скомандовал Захар.— Где Андрей?

— За комбайном полотно сворачивает.

— Андрей, давай сюда! Быстрее!

Из-под комбайна вынырнул второй мальчишка, нескладный, рыжий, с пестрым от веснушек лицом.

— Андрей, еще один равновес на хедер надень, а мотовилоними. Яшка, карданный вал проверь!

Мальчишки со всех ног бросились исполнять приказания.

— Иди,— снова повторил Захар,— отдыхай, пока можно.

Поняв, что работы мне все равно не дадут, я уныло вернулась в лагерь. Стараясь хоть чем-нибудь оправдать свое вынужденное безделье, слонялась между вагончиками и оповещала всех встречных:

— Иду сегодня работать в ночь!

После обеда снова пошла к комбайну.

— Не закончили еще? — спросила я.— Скоро поедем?

— Да что тебе не терпится? — взъелся Захар.— Когда закончим, тогда и поедем!

Я возвратилась в лагерь.

Пришли с работы те, кто сегодня скирдовал сено. Вымылись, поужинали и улеглись возле вагончика. Одни читали или писали письма, другие ожесточенно спорили.

— Нет, девчонки! — кричала Майя Сухорученко. — Вам меня ни за что не убедить! Я утверждаю, что нуклеиновая кислота играет огромную роль в передаче наследственности!

— Чепуха! — с жаром набрасывалась на Майю Рина Щепкина. — Ничего ты не понимаешь! А вегетативная гибридизация? А опыты Мичурина? Может, ты скажешь, что обмен веществ ничего не значит в передаче наследственности?

Ну и вид был у моих ученых подруг: волосы выгорели, ковбойки повыцвели...

Впрочем, мне было не до них: бездеятельность угнетала меня. Что-бы хоть немного убить время, я легла на нары в своем вагончике и стала мечтать.

Вот я стою на мостике копнителя, вглядываясь в необозримую даль. Комбайн, плавно покачиваясь, врезается в золотую пшеницу, и поток тяжелого зерна с глухим шорохом сыплется в бункер.

Яшка, быстрый и ловкий, как матрос, карабкается вверх и вниз по железным тросам комбайна.

— Захар! — команду я. — Ставь новый подшипник! Андрей! Веди трактор на пятой скорости! Яшка! Проверь карданный вал и прицепи подборщик!

— Есть, капитан! — весело отвечают все трое и бросаются исполнять мои приказания.

Алый вымпел величественно развевается на флагштоке.

Темнеет. Гремит отдаленный гром. Клинки молний прорезают все небо.

— Аня! — кричит Яшка. — Сломался хедер! В полотне огромная пробоина!

— Аня! Что делать? — чуть не плачет растерявшийся Захар. — Засорился элеватор!

Тогда я взбегаю на комбайн по железным ступенькам и становлюсь к штурвалу.

— Спокойно, Захар! Не надо паники! Я сама поведу комбайн!

Буря усиливается. На комбайне громко стучат подшипники.

— Яшка! — команду я. — Поставь новый хедер! Заделай пробоины в полотне! Элеватор почию я сама!

Я подхожу к элеватору и ловко поворачиваю какие-то рычаги. Освобожденное зерно мощным потоком вырывается из трубы. Комбайн, послушный моей несокрушимой воле, снова плывет по темному полю...

— Анька! Анька! Ты что спишь? Комбайны ушли!..

Я с трудом разлепила глаза и несколько секунд пыталась понять, где я. Потом до меня вдруг дошел смысл только что услышанных слов.

— Как ушли?! — закричала я. — Ты что, с ума сошла?

— Полчаса назад ушли, — растерянно сказала Люся Мочалина. — Я думала, ты тоже там, смотрю — а ты спишь!..

Последних слов Люси я уже не слышала. Я выбежала из вагончика и помчалась по деревне.

Проспала!.. Надо же такому случиться! Уехали без меня!.. Даже не предупредили!..

Внезапно я носом к носу столкнулась с Яшкой.

— Ты?! — изумилась я. — А где комбайн?

— Возле кузницы стоит. У нас подборщик неисправный, завтра Захар с утра починит и поедет.

Вот как неудачно прошел для меня первый день уборки.

Уборка в разгаре. Чудо преображения

Уборка — это безостановочный грохот комбайнов, это поля с параллельными линиями вытянутых в ряды копен, это грузовики с зерном, мчащиеся к току и элеватору.

Уборка — это усталые лица шоферов и комбайнеров, с красными от постоянного недосыпания глазами; это тонкая струйка зерна, непрерывным золотистым потоком льющаяся в бункер; это длинные бурты медно-красной пшеницы, покрывающие ток.

Это работа с рассвета до рассвета, работа до полного изнеможения, когда руки начинают дрожать от усталости и темнеет в глазах.

Кажется, что ты сейчас бросишь все, упадешь в копну и будешь спать, спать, спать за все бессонные ночи и дни. Но ты этого не сделаешь, потому что ты необходим, потому что вот эта тонкая струйка зерна, сыплющегося в бункер, для тебя сейчас в тысячу раз важнее твоего отдыха.

Уборка — это рассвет в поле, обед и ужин в поле, сон в поле; это редкие минуты бездействия, когда бункер с верхом наполнен зерном и комбайн останавливается, ожидая грузовика.

В такие минуты посмотришь вокруг и вдруг поразишься необыкновенной красотой окружающего тебя пространства: ночные поля со сжатой пшеницей, бескрайние, необозримые...

Казалось бы, что может быть пустынее, угрюмее, мертвее? А они живут. Грохочут вдаль огромные агрегаты, освещая мощным светом прожекторов чуть волнистые ряды неподобранных валков; проносятся мимо, гремя кузовами, грузовики.

Они подсакивают на кочках, и под их фарами сероватая колючая стерня кажется пушистым узорчатым ковром.

От комбайна на землю ложатся резкие изломанные тени. Во время стоянок тракторист не заглушает мотора, прожектор то гаснет, то вспыхивает — это штурвальный дает условные сигналы шоферу, чтобы тот подъехал и принял зерно.

Комбайн словно дрожит от нетерпения, а вместе с ним нетерпеливо ждут и волнуются комбайнеры: агрегат не должен простаивать ни минуты.

Бывает и холодно и хочется спать, но никто не жалуется — идет уборка!

Как меняются люди во время уборки!

Дядя Вася, начальник автоколонны, присланной из Петропавловска на уборку урожая, ничем замечательным не выделялся.

Это был высокий худой человек лет сорока пяти, с резкими морщинами на темном от загара лице.

Во время работы на силосных ямах он надоел нам своим хвастовством. Он хвастал своей квартирой в Петропавловске, своей дочерью — красавицей и прирожденной актрисой, идеальным состоянием своего грузовика, званием лучшего в Петропавловске городошника, каким-то им самим придуманным хитроумным приспособлением для разгрузки силоса и ручными часами «Победа», которые были замечательны только тем, что принадлежали ему и отставали всего на пять минут в сутки.

Во время уборки дядя Вася пять суток подряд не выпускал из рук баранки. Он ни на минуту не сомкнул глаз.

В последнюю ночь на него было страшно смотреть: лицо его почернело, глаза ввалились, вокруг них лежали темные круги.

Боясь, как бы он не заснул за рулем и не разбился вместе с машиной, девушки, разгружавшие на току машины, договорились сопроводить его по очереди к комбайну и обратно.

По дороге они тормозили дядю Васю и громко пели песни, чтобы он не заснул.

Только утром на шестой день, когда наступила передышка и комбайны остановились, дядя Вася заснул и проспал двенадцать часов. А проснувшись, снова сел за баранку и продолжал обслуживать комбайны.

Так работал не один дядя Вася. Остальные шоферы тоже не спали сутками, чтобы не простаивали комбайны.

Геннадий Андреевич Здорьев, наш управляющий, почти не покидал поля. На своем стареньком мотоцикле он носился от комбайна к комбайну, проверяя, как идут дела.

Это был очень пожилой человек с большим сердцем. Во время разговора он часто хватался за грудь и несколько минут ждал, пока пройдет приступ. Потом садился на мотоцикл и несся к другому комбайну.

А студенты?

Кто бы мог предположить, что хрупкая, тоненькая Лина Калининская сможет по несколько суток не уходить с комбайна, спать по два часа в копне сена и после этого брать вилы и снова становиться на свой копнитель?

А Люся Матусевич? Сколько раз, бывало, она жаловалась нам на головную боль, на общую слабость, на невралгию. Но началась уборка, и все ее болезни как рукой сняло.

Работать на копнителе трудно: мышцы болят от непрерывного напряжения. Солома густой массой падает в копнитель, горой поднимается кверху, грозя забиться в рукав или в «хвост» комбайна. А это верные десять—пятнадцать минут простоя.

Отгребашь ее к задней части копнителя, трамбуешь, острые колючки и ости летят прямо в лицо. Защитные очки изнутри покрываются капельками влаги, мешая смотреть. А снять их нельзя — тотчас ветер бросит в лицо черную тучу шелухи, мелкой трухи, остей.

Засорить глаза остями — дело опасное. Они могут до крови натереть веки, исцарапать глазное яблоко. Но и защитные очки не очень спасают: у копнильщиц глаза вечно красные. Острые колючки впиваются в одежду, раздражая и царапая кожу. Колени и бедра покрыты синяками, так как копнитель все время трясется и тебя то и дело бросает на острые железные поручни.

Во время уборки мы собирались вместе не часто.

До тех пор, пока комбайны еще не перешли на круглосуточную работу, мы виделись по вечерам. Нас осталось немного — половину народа отправили на госфонд.

Без них стало не то что скучнее — какая уж там скука? — просто стало как-то по-другому, намного труднее.

Те пять суток, когда комбайнеры не покидали поля, мы виделись только во время обеда: приезжал грузовик и собирал в кузов всех студентов.

Мы на ходу соскакивали с комбайнов, поднимали на лоб запотевшие очки и забирались в кузов грузовика, запыленные, усталые и голодные.

Мы набрасывались на еду и расспрашивали друг друга о ходе уборки. Ни о чем другом мы говорить не могли — нас интересовал только урожай.

— Мы третью загонку начали, — говорил кто-нибудь, и тут же к нему оборачивались любопытные лица.

— Сколько уже сделали?

— А соломы там много?

— Знаете, Здорьев сказал, что после этого поля переждем на пятое.

— Ой, там такие бугры, просто ужас!

— Лучше всего, говорят, четвертое поле — ровное, как площадка, ни одного бугорка.

— Что ты, на четвертом солома какая — измучаешься! Не меньше шестнадцати копен на круг придется ставить.

— Хоть бы хорошая погода продержалась!

После обеда мы возвращались на свои комбайны и снова принимались за работу.

Бывали у нас и свободные дни. Осень в этом году выдалась очень сырая, то и дело шли дожди.

Работа приостанавливалась — мокрую пшеницу подбирать было нельзя.

В такие дни мы могли подолгу спать, могли вымыться в бане, постирать, зашить разорванную одежду.

Мы отдыхали. Но настроение у нас в эти дни резко падало. Зерно в валках осыпалось, мокло, прорастало, а мы ничего не могли сделать!

Если во время работы мы мечтали о сне и отдыхе, то, когда отдых наступал, мы начинали тяготиться им.

Управляющий ходил озабоченный, расстроенный, комбайнеры проклинали погоду. Мы с тоской смотрели на небо. Все волновались, высчитывали, сколько еще времени может продлиться непогода, успеем ли убрать урожай до морозов.

Конечно, в ненастные дни нам тоже хватало дела: мы скирдовали соломку, грузили ее на тракторные тележки, нас посылали копать картошку — да мало ли было дела в совхозе?

Однако ничто не могло сравниться с работой на комбайне. Пусть там было труднее, мы все мечтали только о том, чтобы снова приняться за уборку.

В дни уборки Инесса Степанова, самая изнеженная и избалованная из всех студентов нашего лагеря, выходила на работу в светлом крепдешиновом платье. Каждое утро она мазала губы и делала прическу «лошадиный хвост». С полчаса поковыряв вилами сено, она в изнеможении ложилась в тень на одеяло, которое неизменно приносила с собой, и начинала горько жаловаться на судьбу.

— Это просто ужасно! Присылают студентов и не создают минимальных условий для человеческой жизни! Здесь нет даже примитивного кафе!..

Вскоре бригадиру пришлось освободить Инессу от скирдовки сена: она натерла мозоль на пальце и работать отказалась.

Возвращаясь в лагерь, мы еще издали слышали звуки патефона. Инесса в своем светлом крепдешиновом платье сидела на бревне возле вагончика. Крутилась пластинка. Сладкий голос томно выводил:

Если нету любви, ты меня не зови,
Все равно не найдешь никогда...

Когда мы, усталые после работы, с серыми от пыли лицами, смотрели на чистенькую Инессу, у которой на ногтях еще держался маникюр, нам становилось ее жалко.

После долгих размышлений Дима Жужиков назначил Инессу на певалочный пункт весовщицей.

Новая должность неожиданно прилась Инессе по душе. Работа была нетрудная: взвесить машину и выписать квитанцию — вот и все. А главное, новая работа давала возможность хорошенькой Инессе вдоволь пококетничать с шоферами.

Началась уборка. Инесса продолжала работать весовщицей. Правда, она перестала красить губы и вместо «лошадиного хвоста» начала

заплетать две тоненькие косички, но продолжала строить глазки шоферам.

И вот однажды, возвратившись из весовой, Инесса пожаловалась: — Что это за работа у меня? Любой ребенок может справиться. У вас интересно — целый день в поле!

Мы только улыбнулись, представив Инессу с ее холеными ручками и нежной кожей на комбайне.

Как-то заболела одна из копнильщиц — Наташа Воронежская. У нее оказалась ангина, и ее надолго отвезли в больницу.

Нужно было немедленно заменить Наташу, но на счету был каждый человек.

Каково же было наше удивление, когда к Диме Жужикову подошла Инесса и сказала, что она пойдет работать на комбайн вместо Воронежской. В весовой же ее заменит кто-нибудь из местных пожилых женщин.

Этого мы от Инессы не ожидали.

— Ты серьезно? — недоверчиво переспросил Дима.

— Вполне, — ответила Инесса. — А собственно, почему вы спрашиваете?

— Да ведь я боюсь, не справишься ты, — объяснил простодушный Дима.

— Это почему же я не справлюсь? — взорвалась Инесса. — Другие справляются? Я не хуже других! Я прошу вас, я, наконец, требую поставить меня на копнитель!

Дима согласился. У него не было иного выхода.

Так Инесса стала копнильщицей.

Первые дни она нередко плакала по ночам в подушку. Но от работы копнильщицы не отказалась. Напротив, она стала гордиться своей работой и не без достоинства показывала нам свои трудовые мозоли.

Это было чудо преображения!

Света Новикова и комбайнер Антон Дехонт. Захватывающий фильм

Света Новикова еще в школе увлекалась техникой. Поэтому она попросила бригадира назначить ее штурвальной на комбайн.

Работа штурвальной, как известно, очень сложна: штурвальный несет ответственность за все неисправности на комбайне и должен уметь вовремя предотвращать их. Зато должность штурвальной одна из наиболее почетных.

На эту должность назначались только те, кто был хорошо знаком с техникой, разбирался в моторе, у кого были сильные и умелые руки.

Как правило, штурвальными работали мужчины. Девушек назначали копнильщицами. Работа копнильщиц была нелегкой, но не требовала никаких специальных знаний.

Свету направили на комбайн к Антону Дехонту.

Антон считался одним из лучших комбайнеров совхоза. Портрет его висел в центральной усадьбе на Доске почета.

Это был седеющий человек, лет шестидесяти, но еще сильный, с легкой, молодой походкой.

Антон встретил Свету недоверчиво. Он предпочел бы, чтоб штурвальным к нему на комбайн назначили парня, а не девчонку, которая, как он предполагал, и руки-то побойтся испачкать.

Но Света оказалась незаменимой помощницей Антона. Она хорошо разбиралась в устройстве комбайна, знала, когда и как его нужно сма-

зять, словом, не ударила лицом в грязь и быстро завоевала расположение Антона.

А для Светы Антон был — ну, божеством, что ли: она слушалась каждого его слова, любое приказание бросалась исполнять со всех ног.

Каждый вечер, ложась спать, Света рассказывала нам про Антона. По словам Светы, это был добрый, отзывчивый, заботливый человек. Ежедневно он приносил из дому специально для Светы бутылку молока и кусок домашнего пирога.

— Ешь,— говорил он в ответ на робкие Светкины возражения,— чего стесняешься! Знаю я, как вас там кормят!

Светку восхищала не только доброта и отзывчивость Антона, но и его аккуратность. Его комбайн всегда находился в идеальном состоянии, был тщательно смазан, вычищен внутри и снаружи.

Антон был запаслив. Он не мог видеть без дела лежащие детали, будь то самые обыкновенные болты или гайки. Он сразу же подбирал их и уносил на свой комбайн. Там, на задней части хедера, он установил специальный ящик, куда складывал все запасные части.

Возле кузницы стояла безнадежно сломанная лафетная жатка. На ней никто не работал. Все ценные части с нее давно уже были сняты. Никто не обращал на нее внимания.

Только Антон, проходя мимо, всегда находил на ней что-нибудь нужное — пусть это была сохранившаяся доска или гвоздь.

Может быть, такая запасливость выглядела немного чрезмерной, но зато на комбайне всегда были нужные детали.

Света не переставала расхваливать Антона. Работал он замечательно, шел впереди всех остальных комбайнеров. Комбайн его почти не простаивал. Антон каждый день перевыполнял норму в полтора, а то и в два раза.

Света возвращалась с работы позже всех. Усталая, падала на постель и сразу начинала восхищаться своим комбайнером:

— Нет, девчонки, какой все-таки замечательный человек! Ведь пожилой уже, а как работает! Сегодня опять тридцать гектаров подобрали. А какой заботливый... Сегодня ужасно холодно было, а я ватник не надела. С утра солнце светило, я думала — тепло будет. Так он, девчонки, мне свой ватник отдал, а сам в одной куртке остался!

Работать Антон всегда начинал раньше других.

Однажды рано утром Света шла с Антоном через поле к своему комбайну. По дороге им попался комбайн Александра Кондакова. Самого Кондакова еще не было.

Антон обошел комбайн кругом, заглянул в трактор и тут же начал откручивать какую-то деталь.

— Дядя Антон, что вы делаете? — ужаснулась Света.

— Что делаю? — ответил Антон. — А вот учу Шурку Кондакова, безобразника такого! Как он народное добро бережет, раззява? Бросает машину без присмотра, ничего не запирает, каждый подходи и бери!.. И возьми! А его под суд полагается отдать за такое отношение к совхозной машине!.. Небось свой мотоцикл на улице не бросит — в сарай спрячет. А народное добро пускай лежит, все детали наружу?! Несознательный он человек, Шурка Кондаков! С таким коммунизма не построишь!

За время своего монолога Антон отвинтил от хедера тяжелый баланс и пошел к своему комбайну.

Света стояла потрясенная.

— Дядя Антон,— сказала она негромко, но так, что Антон сразу оборнулся,— положите баланс на место!

— Что? — изумился Антон. — Да ты что это, учить меня вздумала?

— Я не учу, а просто говорю — положите баланс! Нечестно это!..

— Как ты со мной разговариваешь? — крикнул Антон. — Пигалица!.. Да ты мне во внучки годишься! Я старик!

— А я комсомолка, — сказала Света. — То, что вы делаете, это... это... преступление!

— Ладно, — сказал Антон, — некогда мне тут с тобой разговаривать. Работа ждет. Пошли на комбайн!

— Не пойду! — сказала Света.

— Ну и стой тут! — разозлился Антон. — Я кормлю ее, одеваю, а она мне лекции читает... Учительница желторотая!

— Дядя Антон, положите баланс на место! — повторила Света.

— Тьфу!.. Вот ведь вредная девка, — пробормотал Антон. Он понял, что от Светки не отвяжешься, привинтил деталь обратно и молча зашагал к своему комбайну.

Света шла за ним разочарованная, оскорбленная в своих лучших чувствах.

С этого дня она больше не восхищалась душевными качествами Антона и ничего нам о нем не рассказывала.

Неутомимости Светы нельзя было не поражаться.

Мы все работали много и так уставали, что, возвращаясь в лагерь, ни о чем, кроме сна, не могли и думать.

Одна только Света Новикова всегда находила себе дело поважнее, чем сон. Непонятно, откуда у нее брались силы.

Работала она больше многих из нас, и все же, когда из-за дождливой погоды случалось кончить работу раньше обычного, Света не ложилась отсыпаться, как большинство из нас, а сразу же принималась за чтение или шитье.

Она увлекалась фотографией и часто, когда выдавался свободный вечер, ездила на центральную усадьбу. Там, в штабе, находилось все оборудование — увеличитель, бачки, ванночки. Случалось, Света до утра сидела, печатая фотографии, а утром на попутной машине возвращалась прямо к комбайну.

Однажды из-за сильного дождя я вернулась домой раньше обычного, усталая, довольная тем, что смогу наконец впервые за несколько дней как следует выспаться.

Я уже сняла ватник и сапоги и собиралась забраться на нары. В этот момент в дверь вагончика постучали и вошел шофер Гена.

— Никто не хочет со мной на централку съездить в кино? — спросил он.

Я даже взглядом его не удостоила. Мне показалось невероятным, что кто-то может пожертвовать драгоценными часами сна.

— А что там идет? — немедленно отозвалась Света.

— Не знаю, забыл спросить, — ответил Гена, — но слышал, что картина хорошая.

— Я поеду, пожалуй. — Света поднялась. — Давно в кино не была. Анька, поехали?

Неожиданно для самой себя я согласилась. Меня просто задело за живое: Света работала больше меня. Обычно я уже засыпала, когда она возвращалась с поля. Так почему же она сейчас способна поехать в кино, а я нет?

Я снова натянула сапоги, надела ватник, и мы, с трудом уместившись в кабине, поехали.

Как только грузовик тронулся, я тут же пожалела, что не осталась дома. В кабине было тепло, меня разморило, и я, привалившись к Светкиному плечу, задремала.

Машина подсакивала на ухабах, ее заносило то в одну, то в другую сторону: дождь сильно размыл дорогу.

— Гена, дай я немного поведу машину,— попросила Света.

— Ты разве умеешь?

— Да, немного. Правда, мотор еще плохо знаю. Объясни мне, как это получается, что...

Потом сквозь сон я слышала, как Света начала с увлечением рассказывать Гене про биофак и про последние научные открытия в области биохимии растений.

Наконец мы приехали на центральную усадьбу.

До начала сеанса оставалось всего несколько минут.

Мы поспешили купить билеты и занять свои места.

Гена не ошибся — картина оказалась очень интересной.

Это был фильм о шофере, которого чуть не погубила шайка прожженных аферистов и жуликов. Героя замечательно играл Алексей Баталов. Он создал образ человека прямого, честного, с решительным и вместе с тем мягким характером.

В фильме было много захватывающих моментов: нельзя было удержаться от слез в том месте, где один из шоферов берет из детского дома на воспитание ребенка — смешного такого, веснушчатого рыжего малыша. Очень это была трогательная сцена.

И вот еще захватывающий момент: чтобы спасти выбежавшую на дорогу девочку, герой (Баталов) резко сворачивает в кювет. Грузовик разбит, тяжело ранена в голову пассажирка, сильно ушибся и сам Баталов, но девочка спасена.

Кончается фильм так: шайка аферистов арестована, герой оправдан и возвращается домой, где его ждет любимая девушка.

Все это мне рассказала на другой день Света Новикова.

Сама же я картину не видела: я уснула после первых же кадров и крепко проспала весь сеанс.

Объяснение в любви

Майе Сухорученко вдруг захотелось конфет. А когда Майе чего-нибудь сильно хочется, она бывает не в состоянии думать о чем-нибудь другом.

Три дня и три ночи она бредила конфетами.

И не то чтобы она бредила трюфелями, или «мишками», или там шоколадным набором «Золотая рыбка». Нет, о них она и не вспоминала. Она тосковала о «подушечках», о леденцах — словом, о конфетах самых простых и дешевых.

Но конфет в магазине не было никаких.

Майя была не избалована. За неимением конфет она могла бы удовлетвориться пряниками. Но и пряников не было.

И посылки последнее время, как назло, ни к кому не приходили.

Конфеты стали сниться Майе по ночам.

Раньше, до конфетного психоза, ей все время снился Барабанов с четвертого курса биофака, а теперь она видела во сне «Золотой ключик» и «Ну-ка, отними!».

На четвертый день Майе повезло: погода испортилась. С утра лил дождь, дороги размыло. Управляющий велел прекратить работу.

Как только Майя узнала, что работать мы сегодня не будем, она вывела от радости и тут же начала собираться на «централку».

Я пошла вместе с ней.

Попутной машины ждать было нечего — дорогу развезло так, что ни один грузовик не проехал бы. Мы пошли пешком.

Дождь перестал.

Погода в этих местах меняется резко: минуту назад ветер выл и швырял в лицо мокрые ости соломы, разбрасывал валки пшеницы, но стоило ветру хоть немного разогнать тучи, и вот уже жарко, светло.

Только размытые дороги долго не высыхают.

Мы шли, с трудом передвигая ноги, по самые икры проваливаясь в густую, засасывающую грязь. Каждые несколько минут приходилось останавливаться и, держась друг за друга, отдирать очередной ком грязи, налипший на подошвы. Отодрав, мы шли некоторое время, наслаждаясь легкостью наших сапог. Потом все начиналось сначала.

Короче говоря, через полчаса мы ужасно устали.

Если бы Майя еще продолжала говорить о конфетах, я бы не выдержала. Не знаю, что бы я с ней сделала! Но, как видно, тяжелая дорога оказала успокоительное действие на Майкины нервы, и о конфетах она больше не упоминала.

Зато всю дорогу она мне рассказывала о Валерке Барабанове. Он, оказывается, с той же кафедры, что и Майя, — с гистологии, только старше ее на два курса. Он замечательный спортсмен, играет в университетской баскетбольной команде. А как он поет! А как он умеет нырять и грести!.. А какой он замечательный человек!..

Словом, по описаниям Майи, выходило, что на всем биофаке нет парня интереснее, находчивее, умнее, красивее, талантливее и сильнее Валерия Барабанова.

Я этого Барабанова видела на факультете. Ничего особенного я в нем не обнаружила: длинный, тощий, рыжеватые волосы торчат во все стороны.

Он, кстати, тоже здесь, на целине. Он работает на втором отделении нашего совхоза. Однажды я встретила его на центральной усадьбе. Он нес литровую банку сметаны, на ходу засовывал в банку палец и облизывал его.

Майе я про этот эпизод, конечно, рассказывать не стала. Впрочем, если бы я и хотела рассказать, то не смогла бы: она не давала мне раскрыть рта, говорила без умолку, и через каждые два слова на языке у нее был Барабанов.

Напрасно я старалась свести разговор на проблемы гистологии или на любимого Майкиного писателя Алексея Толстого. Майя ответила, что проблемы гистологии ее в данный момент как-то не волнуют, и прибавила после небольшой паузы, что Барабанов похож на Телегина.

Наконец мы дошли до центральной усадьбы.

Конфеты в магазине оказались очень хорошие, клубничные. Мы купили целый килограмм.

Майя съела одну конфету и на этом успокоилась.

Утопая в грязи, мы пошли по главной улице к штабу, чтобы взять там почту для нашего отделения.

Кого же мы увидели возле штаба? Разумеется, Барабанова.

Я сначала не узнала его в бородатом и довольно широкоплечем молодом человеке. Но когда я посмотрела на Майю, то тут же поняла, кто стоял перед нами.

Майя вспыхнула, как фотографическая пленка, глаза ее расширились, и губы расплзлись в фантастически счастливую улыбку.

Я подумала, что такого идиотски-радостного выражения лица, какое было в эту минуту у Майи, мне больше никогда не доведется увидеть. Но когда я увидела лицо Барабанова, то поняла, что ошибаюсь.

Когда он узнал нас, вернее Майю, он как-то всхлипнул и бросился к ней. Он схватил ее за руки и долго не отпускал. Они смотрели друг на друга, забыв о моем существовании.

Я стояла в стороне, сосала конфету и слушала их взволнованный диалог.

— Ну как у вас на отделении, Майечка? Приступили уже к подборке? — спрашивал Барабанов, глядя на Майю сияющими глазами.

— Приступили, — отвечала Майя. — Уже восемь процентов выполнили...

— Что ты говоришь! А ты знаешь, у нас один комбайнер установил на хедере сразу два подборщика!

— Ой, Валерка, правда? Неужели он теперь без сцепа работает?

— Без сцепа, Майечка! Представляешь, четверть круга — и у него уже полный бункер...

Я зашла в штаб, взяла почту, минут десять поговорила со знакомой девочкой из бригады огородников, посмотрела график трудовых показателей и вернулась обратно.

Увидела я все ту же сцену: Барабанов держал Майины руки в своих. Ноги их по щиколотку увязли в грязи, но они этого не замечали. Майя смотрела на Валерия влюбленными глазами и тихо шептала:

— Одна волокуша на весь ток, плиц не хватает, а ведь одними гор-талками много не набуртуешь!..

Неля

Неля Прейкшайте гордилась своей выносливостью. Еще бы! Подходила к концу вторая неделя круглосуточной работы, и она выдержала! Уж на что сильным на вид казался ей ее комбайнер Иван Умнов, но и тот два раза заснул за штурвалом.

Однако последний день дался Неле с трудом. Всю ночь она не сомкнула глаз: полагающиеся копильщицам два часа отдыха она провела в копне, но заснуть не могла — она околела.

Напрасно пыталась Неля забраться поглубже в солому, напрасно скрючивалась, прятала лицо в воротник ватника. Холод пробирал насквозь.

К концу ночи она не выдержала, выскочила из копны и принялась прыгать, размахивая руками, бегать по полю.

Комбайнеры, с головой завернувшись в толстые тулупы, спокойно похрапывали под соседней копной. Неля поглядывала на них с завистью: несмотря на все старания, она не могла согреться. Растирая околелые руки, она мечтала, чтобы поскорее возобновилась уборка. Она знала, что, как только начнется работа, посыплется солома, замелькают вилы, сразу станет жарко.

Наконец забрезжил рассвет. Неля вдруг почувствовала, как она устала за эти дни. Голова болела, суставы на пальцах распухли от непрерывной работы вилами...

Ах, если бы можно было как следует выспаться! Но об этом думать рано. Сегодня их комбайн кончает последнюю заголку и переезжает на восьмое поле. С восьмым полем они расправятся быстро — там всего сто восемьдесят гектаров. Тогда останется только одно поле, а потом... Потом наконец отдых!

Комбайнеры проснулись. Тракторист включил мотор. Хмурые, усталые комбайнеры заняли свои места.

Неля забралась на копнитель, надела защитные очки, сжала вилы. Началась работа.

Неля удивилась охватившей ее слабости. До сих пор этого с ней не случалось. Конечно, она уставала, но уставала к концу дня, ночью. А тут рабочий день только начинался.

Во время коротких стоянок Неля, ничего не соображая от изнеможения, ложилась на мостик копнителя и закрывала глаза.

— Эй, Неля! Устала? Может, сменить? — предлагал уже несколько раз Иван.

Неля отрицательно качала головой и вновь решительно бралась за вилы.

Вот еще! Станет она показывать свою слабость перед Иваном! Не она ли еще вчера хвалилась, что никогда не попросит заменить ее?

Грузовик принимал зерно.

Иван давал знак трактористу, и снова начиналась напряженная борьба с соломой.

Соломы стало заметно больше, чем раньше. Копны нужно было ставить ровно, одну возле другой, иначе управляющий не примет загонку.

Копнитель полон с верхом, рукав комбайна почти касается соломы. Еще немного — и солома забьется в рукав. А выбрасывать копну нельзя, надо дотянуть ее до ряда копен.

Неля выгребает солому из-под рукава, глаза ее наполняются слезами от напряжения... Ну, еще немного! Еще пять метров! Три!..

Всей тяжестью тела Неля нажимает на рычаг, решетка копнителя открывается, копка медленно, словно нехотя, вываливается на землю и становится в ряд с другими копнами, огромная, с ровно срезанными боками, с мягкой шапкой соломы, которую тотчас же подхватывает и уносит ветер.

Неля не замечала, как идет время. В голове у нее шумело, вилы казались непомерно тяжелыми. От холода не спасала даже работа. Ветер задувал за шиворот, ноги ломило.

Еще раз комбайнер предложил Неле заменить ее, но Неля снова отказалась.

Нет, она должна выдержать! Должна!.. Иван, конечно, может заменить ее, но кто тогда будет штурвалить? Штурвальный Генка спит в тракторе. Ему всего двенадцать лет, и он не спал уже несколько суток.

Неля продолжала работать. Во время одной из стоянок, когда зерно сыпалось из бункера в кузов грузовика, шофер Вася, с которым только что о чем-то разговаривал Иван, подошел к копнителю.

— Забирайся в кабину! Грейся. Иван за тебя поработает.

— Не пойду! Как же они без меня?..

— Да уж как-нибудь справятся, — усмехнулся Вася. — Генку разбудят.

— Генка двое суток не спал!

— А ты сколько не спала? Генке легче, он парнишка привычный. Надорвешься — как мы людям в глаза посмотрим? Не уберегли, скажут, студентку!

— Не надорвусь!

— Ладно, хватит разговоров! — прервал подошедший Иван. — Сказано — марш в кабину!..

Неля с трудом слезла с копнителя. Вася помог ей забраться в кабину.

— Я минут пятнадцать подремлю,— пробормотала Неля,— я только до тока и обратно...

Кузов доверху наполнился зерном. Шофер сел в кабину, обнял Нелю, мотор зашумел, и грузовик, слегка подпрыгивая на кочках, поехал к току.

Неля уткнулась носом в теплое Васино плечо и закрыла глаза.

Проснулась Неля от ощущения, что проспала не пятнадцать минут, а больше. Она испуганно открыла глаза, готовая бежать к комбайну, и поразилась: она увидела, что лежит на нарах и что под головой у нее ее собственная жестковатая подушка, набитая сеном.

Неля вскочила.

По всем признакам было утро. У дверей вагончика девчата умывались и чистили зубы.

Рядом с Нелей сладко потягивалась Рина Щепкина.

— Ну, как? — спросила она. — Выспалась?

— Как я здесь очутилась? — изумленно спросила Неля.

— А тебя Васька принес, шофер. Прямо на руках из машины перетащил. Мы с ним еле стянули сапоги с тебя. А ты даже не проснулась.

— А комбайны-то как же?

— Комбайны сегодня не работают! Управляющий приказал всем отдыхать. Кончилась круглосуточная!

Снег. Чайльд Гарольд в шоферском комбинезоне. В голосе у Димы появляется металл

Собираясь на целину, мы не предполагали, что нужно взять с собой теплые вещи.

В течение первого месяца стояла такая жара, что все мы ходили в майках.

Но в конце августа зарядили дожди. Солнце не показывалось, дул пронизывающий северный ветер, который проникал сквозь ватник, леденил лицо.

Мы работали на комбайнах. Ноги в резиновых сапогах мерзли.

В один из таких дней комбайнер Захар еще с утра, всматриваясь в свинцовое небо, повторял:

— Будет снег!

И действительно, вскоре снег повалил. Это не был мягкий, пушистый снег, от которого становится теплее и улучшается настроение. Он не кружил хлопьями, он был похож скорее на град. В несколько минут он засыпал черную дорогу и до неузнаваемости изменил поле.

На копнах сразу же выросли белые шапки, побелели валки, побелела стерня, даже комбайн побелел.

Я на мостике своего копнителя сразу так замерзла, что даже работа не спасала. Ноги сводила судорога.

Не без зависти смотрела я на комбайнеров. У них были тулупы и шапки-ушанки. На руках — теплые рукавицы, на ногах — валенки с галошами.

В таком обмундировании работать было одно удовольствие. А каково было мне — без перчаток, с ситцевым платком на голове?

К тому же из-за постоянных переходов с одной стороны копнителя на другую у меня поотрывались все пуговицы на ватнике, и он все время распахивался.

Вот почему первый снег не вызвал у меня никакого восхищения. Наоборот, он разбудил во мне такую острую тоску по дому, по теплу, по горячему чаю, что я тихо заплакала, продолжая по-прежнему работать вилами.

Кстати, не я одна так кисло встретила первый снег.

Как потом выяснилось, все девчонки-копнильщицы, вместо того чтобы любоваться первым снегом, плакали на своих копнителях и звали маму.

Немногим лучше приходилось тем, кто работал на току: пока разгружаешь машину — тепло, но от машины к машине успеваешь так замерзнуть, что зуб на зуб не попадает.

Нам еще было ничего — нас к тому времени расселили по хатам, и мы хоть ночью могли согреться, а на госфонде приходилось совсем туго. Студенты продолжали жить в дощатых вагончиках, где дуло из всех щелей.

Железная печурка не спасала положения: ее тепло моментально уходило сквозь щели. Стены к утру покрывались инеем. У всех изо рта валялся пар.

Правда, ребята на госфонде не особенно унывали. Придумывали разные способы, чтобы согреться: устраивали коллективную борьбу перед вагончиком — внутри было слишком тесно; накачивались горячим чаем. Лучше всего было усаживаться вокруг раскаленной печурки и, глядя на огонь, рассказывать всевозможные истории.

Правда, такие вечера случались не часто — слишком все уставали, старались как можно скорее лечь спать. Но в общем, было не так уж плохо. Не хватало только теплых вещей. Домой мы об этом не писали, чтобы не волновать наших близких. Только Рина Щепкина однажды отправила письмо родителям, где в шутовском тоне написала, что скоро, возможно, превратится в снежного человека.

Написала она это письмо и забыла о нем. Вдруг потеплело. Снег растаял. Подул южный ветер. На госфонде к тому времени уже закончили уборку, и вагончики со всеми обитателями перевезли обратно в деревню.

Вот тут-то совершенно неожиданно и пришла телеграмма на имя Рины: «Выслали авиапочтой теплые вещи. Родители».

Рина не обрадовалась. Она огорчилась. Она ходила по поселку, показывала телеграмму всем встречным и говорила:

— Странные люди! Шуток не понимают! Ну написала, что замерзаю, — подумаешь! Зачем же посылка? Ведь совсем же тепло. Уверена, что они прислали мне шубу и валенки! Видали вы где-нибудь таких родителей?

Но тайная причина огорчения была у Риной другая: она мечтала возвратиться в Москву в полном целинном обмундировании, прямо, так сказать, с поля боя — в изодранных штанах, в грязном, замасленном ватнике, под которым были надеты одна на другую три выцветшие и полинявшие ковбойки.

Вот тогда бы родители сразу поняли, каково ей пришлось на целине и какую героиню они воспитали.

Рина хотела было совсем не получать посылки, отправить ее обратно, но ей пришло в голову, что в посылке наверняка есть что-нибудь вкусное. И она передумала.

Ехать за посылкой надо было на центральную усадьбу по скользкому, размытому дождями грейдеру.

Шофер, который согласился отвезти Рину по такой дороге, был, конечно, Саша Гречановский.

Саша был настоящий лихач. Он не боялся ездить в самую страшную погоду, когда сидели дома самые отчаянные шоферы.

Он носился всегда с такой скоростью, что люди, находящиеся в кузове, подскакивали на полметра и падали друг на друга.

Особенно славился он тем, что не тормозил на крутых поворотах. Свой «ГАЗ-51» он поворачивал на полной скорости, и пассажиры только ахали, перелетая от одного борта к другому.

Сашей мы восхищались.

Нам нравилось, когда он приходил к нам по вечерам в вагончик. Он рассказывал нам удивительные истории, якобы происходившие с ним. Конечно, большинство из них он придумывал — вряд ли столько необыкновенных событий могло выпасть на долю одного двадцатидвухлетнего человека, — но слушали его с раскрытыми ртами.

Саша много читал. За это мы уважали его еще больше. Он любил изображать из себя человека надломленного, разочарованного в людях, уставшего от жизненных потрясений.

Саша никогда не смеялся в нашем обществе, а только печально и как-то загадочно улыбался.

Когда мы выражали шумную радость по поводу его прихода, он говорил с надрывом:

— Что я!.. Осенний лист, сорванный ветром!.. Эх!

— Что ты, Саша! — кричали мы. — Не надо так, не впадай в пессимизм! У тебя еще все впереди!

— Нет уж! — вздыхал Саша. — Кому я нужен с моим разбитым сердцем?..

— Прекрати, Сашка! — кричала со своей полки Таня Пушакова. — Ты вызываешь жалость. А это — оскорбительное чувство. Не обижайся!

— Меня столько в жизни обижали, — вздыхал Саша, — что я больше ни на что не обижаюсь...

Таня Пушакова, когда он уходил, говорила:

— Вы заметили, какие у него глаза? Печальные-печальные!.. Наверно, большое горе сломало ему жизнь!

Так бы Саша и остался неразгаданным, если бы не другой шофер — Вася.

Он как-то заглянул к нам в вагончик и сказал:

— Сашки Гречановского нет? А я думал, он опять тут сидит, заливаает.

— Как не стыдно, Вася, — сказала Таня, — у человека горе, а ты говоришь «заливаает»!

— У Сашки горе? — засмеялся Вася. — Какое у него горе? Квартиру получил в Петропавловске, в будущем году техникум закончит. Он нам говорит: пойдю девчат развлеку, скучно им, бедным. А я, говорит, придую, навру с три добота — им веселее становится!

Мы сначала не знали, как поступить: продолжать ли нам дружить с Сашей или поссориться. Но потом решили, что раз он нам врал из лучших побуждений, то обижаться не стоит.

Итак, Саша отвез Рину Щепкину на центральную усадьбу, помог ей получить посылку и привез обратно.

В посылке действительно оказались любимые Рины конфеты «Южный орех». Мы тут же коллективно их съели.

Кроме того, родители прислали Рине красивый светло-синий лыжный костюм, меховые ботинки, ярко-красный шарф и пушистую ушанку.

Как ни хотелось Рине вернуться домой в старом обмундировании, а все-таки при виде новых вещей она не выдержала.

Она переделалась и вышла на улицу.

Новый костюм Рине удивительно шел. Ей бы еще в руки палки, а на ноги лыжи, и она совсем была бы похожа на картинку из модного журнала: «Модели спортивной одежды зимнего сезона».

Рине очень нравился ее новый облик. Шапку она сдвинула на затылок и выпустила из-под нее чуб. Шарф, обмотанный вокруг шеи, одним концом падал на грудь, другим — на спину. В своих новых меховых ботинках она ходила медленно, осторожно обходя лужи. Встречные оборачивались и долго смотрели ей вслед.

Рина упивалась своим успехом. Она не спеша прошла по деревне. Затем направилась в клуб, где жили наши ребята, чтобы получить от них последнюю дань восхищения.

Первым, кого она встретила у клуба, был бригадир Дима Жужиков.

— Ты почему не на работе? — спросил он.

— Вы же знаете, Дима, я ездила на централку за посылкой, — сказала Рина.

— Сейчас же поезжай с девчонками за свеклой на тракторной тележке, — сказал Дима. Он спешил и не обратил никакого внимания на Ринин костюм.

— За какой свеклой? — оторопел от неожиданности, спросила Рина.

— Как — за какой свеклой? За кормовой! Бери лопату и иди!

— Дима, но как же я пойду? На мне новый костюм.

— Ну и что же?

— Но ведь я могу испачкаться!

— Хватит разговаривать, — строго сказал Дима. — Если боишься испачкаться — нечего было ехать на целину.

— Но согласитесь, Дима, что свекла грязная!

Рина любила самым мельчайшим событиям своей жизни придавать трагическую окраску. Это была особая форма самоиронии. Но лицо Димы стало твердым.

— Вот что, — сказал он металлическим голосом, — сию же минуту бери лопату и поезжай на работу. Понятно? Повторить приказание!

Рина была выше Димы на полголовы, но в этот момент ей показалось, что бригадир смотрит на нее сверху вниз.

Она со всех ног бросилась в вагончик, сняла с себя новый костюм, облачилась в привычный, потрепанный, в котором не боялась испачкаться, и побежала выполнять приказание.

Когда и как у Димы Жужикова успел сформироваться характер, никто из нас не заметил. Но сформировался.

Майю преследуют неудачи. История одной тряпки.

Тапочки в силосе. Укрощенный велосипед.

Когда наступило время уборки, людей стало не хватать. На счету был каждый человек.

Поэтому девушек освободили от работы на кухне.

Повариху наняли из местных — тетю Шуру, очень строгую худую женщину лет тридцати пяти. Столовую к тому времени перенесли в теплую хату.

Как это было приятно: после колючего ветра, дождя, слякоти вдруг войти в жарко натопленную столовую, снять ватник, размотать платки, сесть за стол и наслаждаться горячим супом.

Все старались как можно дольше не выходить из-за стола, потому что знали: кончится обед и снова — в поле или на ток, где от ветра слезятся глаза и леденеет лицо.

С содроганием вспоминали мы недавнее время, когда столы стояли прямо под открытым небом. Еда успевала остыть за то время, пока мы несли ее от окошка, где ее выдавали, до стола. Чтобы есть, надо было

низко наклониться к миске, потому что иначе, пока мы доносили ложку до рта, ветер уносил с ложки все содержимое.

А теперь мы блаженствовали: одно то, что мы могли снять верхнюю одежду, уже говорило о многом. За последнее время мы вообще забыли, что значит раздеваться. Ощущение холода стало нашим обычным состоянием. Мы, даже ложась спать, не раздевались, снимали только сапоги, а ватники клали поверх одеяла, чтобы хоть немного согреться.

Одно только было плохо в нашей столовой: раньше, когда поварами были свои девчата, можно было подойти к ним в любое время — попросить хлеба. Если мы сильно задерживались на работе, знали — для тебя всегда готов ужин.

Теперь стало не так. Опоздаешь на несколько минут, и дверь столовой оказывалась запертой, а тебе предоставлялась возможность идти на все четыре стороны, потуже затянув пояс.

Умолять было бесполезно. Открывалась дверь, в дверях показывалась тетя Шура и раздражалась страстным монологом. Ее трагедийному пафосу, ее титанической силе убеждения могла позавидовать любая актриса.

С безжалостностью тети Шуры приходилось мириться — иного выхода не было.

В помощь поварам каждый день назначался дежурный.

В его обязанности входило вымыть посуду, почистить картошку, вымыть пол и развезти обед и ужин в поле к комбайнам. Работа легкая, к тому же дававшая возможность провести почти целый день в тепле.

Но, как ни странно, девушки очень неохотно оставались дежурить и с нетерпением ждали, когда день дежурства окончится.

Конечно, мы понимали, как важно вовремя накормить ребят, работающих на комбайнах, но мыть посуду, чистить картошку... С этим легко могли справиться повара, а мы бы лучше это время поработали на току или на скирдовке соломы.

Однако теперь у нас была железная дисциплина. Теперь уже нельзя было пойти к бригадиру кланчить.

— Ди-има, можно, я сегодня не буду дежурить? Ну прошу, ну пожалуйста!..

Времена наступили другие, и Дима был другой — и каждый это понимал.

Вот почему, когда наступила очередь дежурить Майе Сухорученко, она не стала, как в былые времена, умолять кого-нибудь заменить ее. Просто встала рано утром и приступила к дежурству.

Прежде всего тетя Шура велела Майе вымыть пол в кухне.

Было еще очень рано, чуть рассвело, а электричество в этот день не горело.

При свете керосиновой лампы Майя набрала в ведро воды, отыскала возле плиты тряпку и начала мыть пол.

Когда Майя Сухорученко бралась за что-нибудь, она делала все с большим старанием, но...

Вот, например, однажды ее послали работать на силосный комбайн.

Она должна была стоять в грузовике и разгребать вилами силос, который непрерывным потоком сыплется из рукава комбайна в грузовик.

Кузов наполнялся быстро. Майя, закусив губу, с усилием поддевала силос непослушными вилами и разбрасывала по дну кузова.

Комбайн шел и шел вперед, на уровне рукава медленно ехал грузовик. Сочные, темно-зеленые, мелко нарубленные листья и стержни кукурузы падали и падали в грузовик, и вот наконец кузов наполнился с верхом.

— Хорошо! — крикнул комбайнер и остановил комбайн.

Он посмотрел на грузовик и побледнел: Майки на грузовике не было.

— Ах ты беда! — воскликнул он. — Потеряли девчонку!

Из кабинки выскочил шофер.

— Эх, раззява! — выругался он. — Что ж ты не глядел? Девчонка первый раз на комбайне, что она умеет? Хорошо, если просто свалилась, а то ведь, не дай бог, рукавом по голове могло стукнуть, тогда пиши пропало! А ну, пошли искать, она тут недалеко, наверно, лежит.

В этот момент откуда-то из глубины грузовика послышался слабый Майкин голос:

— Я здесь! Выньте меня, пожалуйста!..

Шофер с комбайнером влезли на грузовик и увидели торчащую из силоса Майкину голову.

Все время, пока сыпался силос, она стояла на одном месте, вместо того чтобы переступать и вместе с силосом подниматься вверх.

Когда она почувствовала, что ее засыпает, она попробовала крикнуть комбайнеру, но он за грохотом не услышал.

Она сделала еще несколько попыток выбраться, но ноги ее уже крепко застряли, а сверху на нее лились все новые и новые потоки силоса.

Комбайнер, ругаясь и смеясь, снял свой брючный пояс, продел Майке под мышки и, призвав на помощь шофера, со словами: «Раз-два, взяли!» — рывком вытащил Майю.

Все кончилось благополучно, если не считать, что Майкины тапочки навсегда остались погребенными в силосе.

В другой раз Майю послали помогать зоотехнику взвешивать волов.

Волы, с виду очень страшные, огромные, с длинными загнутыми рогами, на самом деле оказались животными довольно безобидными, спокойными, даже пугливыми.

— Вот тебе палка, — сказал зоотехник дядя Миша, — стой возле загона и следи, чтобы волы отсюда не вырвались. А будут вырываться, бей их палкой по спине. Смотри, чтоб не наваливались на стенки — ломают.

Майка, в точности выполняя приказание дяди Миши, послушно стояла у двери загона.

Но через некоторое время ей очень захотелось посмотреть, как будет вести себя вол, если пощекотать его палкой за ухом.

Она протянула палку и... пощекотала.

Волу, по-видимому, это было приятно, он решил продлить удовольствие. Он подошел к той части загона, у которой стояла Майка, нагнул голову и начал тереться головой о доску.

Доска затрещала, забор задрожал и рухнул, а волы, увидев, что путь свободен, ринулись прямо на Майю.

Хорошо, что она успела отскочить в сторону.

Вообще Майе вечно не везло.

В самые ответственные моменты работы у Майи вдруг начинал чесаться нос, и работа приостанавливалась. Если она взбиралась на грузовик, то обязательно рвала шаровары. Греясь у костра, она всегда ухитрялась прожечь себе ватник или подметку.

Правда, она никогда не злилась, не раздражалась и ко всем своим неудачам относилась спокойно.

Вот что случилось на этот раз.

Майя старательно мыла пол в кухне, пытаясь угодить строгой тете Шуре, которую все мы немного побаивались.

Она уже заканчивала свою работу, когда тетя Шура спросила:

— Ты где половую тряпку взяла?

— Вот здесь лежала, возле плиты — ответила Майя.

— Что ты выдумываешь? — сказала тетя Шура. — Как она могла очутиться возле плиты, когда я ее вчера сама в тамбур положила. А ну, покажи, чем моешь!

Майя послушно выжала тряпку и развернула ее. На темно-сером от грязи полотне явственно проступил красивый орнамент — алые розочки, голубые васильки и желтые петухи с радужными хвостами. По бокам свисала мокрая бахрама.

От изумления Майя слова не могла сказать.

Но тетя Шура могла сказать и сказала. Она осыпала Майю такими эпитетами, на которые способен только человек, в совершенстве изучивший словарный фонд русского и украинского языков и находящийся при этом в припадке страшного гнева.

Оказалось, что в темноте близорукая Майка приняла за половую тряпку лучший платок тети Шуры, который та повесила сушить возле плиты.

Долго тетя Шура не могла успокоиться.

Она заставляла Майю делать самую трудную работу, не давала ей ни минуты отдыха.

К концу дня Майя очень устала.

В довершение всего от жары или, может быть, просто от старости раскололась плита. Что было делать?

Тетью Шуру поломка плиты окончательно вывела из себя. Она с размаху швырнула в котел недочищенную картофелину и начала натягивать ватник.

— Куда же вы уходите, тетя Шура? — воскликнула Майя. — Ведь надо что-то сделать! Ребята на комбайнах голодные!

— А мне какое дело! Голодные!.. Я не виновата, что плиту такую поставили. Ты ответственная за обед — ты и волнуйся... Как что случится, так я за все отвечай!.. Нету сил моих больше! Управляйся, как знаешь!

И тетя Шура выбежала из избы, хлопнув дверью.

Некоторое время Майя стояла оглушенная. Потом она попыталась приготовить обед на разбитой плите.

Не тут-то было! Из широкой трещины вырвалось пламя, грозя зажечь избу.

Пришлось потушить огонь.

«Что делать? — мучительно соображала Майя. — Оставить комбайнеров без обеда? В конце концов я ведь тоже не виновата, что треснула плита!»

Эту мысль Майя с возмущением отогнала. Студенты на комбайнах должны быть накормлены. Но как?

Посоветоваться было не с кем — все на работе. Бригадир, как всегда, объезжает поля.

Майя накинула платок и вышла из избы. Куда идти? К кому обратиться за помощью?

Майя немного подумала, затем перебежала дорогу и постучалась в первую попавшуюся хату.

Дверь открыла дородная женщина в белоснежном переднике. Майя знала ее — это была тетя Анна, жена комбайнера Ивана Белова.

Шмыгая носом от огорчения, Майя рассказала хозяйке о плите.

— Прямо не знаю, что делать, — закончила Майя. — Может, вы что-нибудь посоветуете?

Хозяйка всполошилась.

— Да господи! Да о чем тут говорить? Конечно, помогу! Ты, девка, не плачь! Чай, не чужие. Вы нам помогать приехали, ну и мы вам поможем. Сколько народу-то на комбайне?

Майя ответила.

— Да-а, многовато. У меня одной столько не найдется. Ты вот что: посиди тут, я к Ксении Дерibasовой схожу, с ней переговорю.

Минут через двадцать тетя Анна вернулась, нагруженная снедью. Тут были круглые караваи хлеба, от которых в хате распространился аппетитный запах, две вареные курицы, круги желтого, только что сбитого масла, завернутые в белоснежные тряпицы.

— Кур Дашка Орловская дала. Я хлеба не пекла нынче, ну да я блинов дам. Посудина у тебя есть?

— Спасибо, тетя Анна, большое спасибо! — растроганно лепетала Майя. — Ой, да тут даже слишком много!.. Прямо не знаю, как вас и благодарить...

— За что благодарить? Раз надо — значит надо, вот и весь разговор.

Снеди набралось столько, что Майя не могла ее унести.

— А вот я тебе Иванов велосипед дам, — предложила Анна. — Машина все равно без дела стоит. Я продукты к багажнику привяжу — и поезжай! Чай, ездить умеешь?

— Конечно, умею, — нерешительно сказала Майя. По правде говоря, за всю свою жизнь она лишь два раза пыталась ездить на велосипеде. Первый раз она разбила левое колено и свернула руль, второй раз разбила правое колено и проколола шину. После этого владелец велосипеда, Жорка Гуцин с Майиного двора, больше ни разу не дал ей покататься.

Тетя Анна вывела велосипед из сарая и прикрепила огромный сверток с продуктами к багажнику.

Майя еще раз горячо поблагодарила хозяйку, взяла велосипед обеими руками за руль и вывела его на дорогу.

Некоторое время она медлила. Очень не хотелось свалиться сразу, на глазах у тети Анны. Майя даже подумала, не начать ли ей свое путешествие пешком и только потом, за деревней или в поле, попытаться сесть на велосипед.

Но нет, до каких пор можно быть такой несамостоятельной и трусливой? Майя решительно перенесла ногу через седло, дрожащими от напряжения пальцами крепко охватила руль, нажала на педали и... поехала!

Переднее колесо несколько раз вильнуло из стороны в сторону, но Майя огромным усилием воли заставила его выпрямиться.

От напряжения Майе сразу стало жарко, но она не могла оторвать руки от руля, чтобы скинуть платок.

Она ехала все дальше и дальше, внимательно глядя прямо перед собой.

Нет, линию, которую вычерчивали колеса ее велосипеда, нельзя было назвать идеально прямой. Она была скорее зигзагообразной, равномерно сворачивающей от левого кювета к правому.

Все же Майя благополучно доехала до третьего поля. Там дело пошло еще хуже. Поле было неровное, сплошь покрытое бугорками и выемками.

На каждой неровности велосипед подскакивал, и Майя подскакивала вместе с ним, больно ударяясь о твердое седло.

Несколько раз она падала, но поднималась и ехала дальше.

На комбайнах знали о треснувшей плите. Настроение было мрачное. Работали напряженно, без передышки, пытаясь заглушить голод работой.

Майкино появление было встречено криками изумления, хохотом, шутками. За обе щеки уписывали комбайнеры домашний хлеб, блины с маслом и кур.

Наслаждаясь видом обедающих, Майя даже не вспомнила о том, что сама с утра ничего не ела.

Обратно Майя возвращалась пешком. Дребезжащий и подскакивающий велосипед она вела за руль, стараясь держать его на некотором от себя расстоянии.

Ночь на току

С наступлением темноты вокруг тока зажигались электрические фонари.

Длинные бурты зерна казались черными, а земля вокруг столбов светлела, и на ней резко выделялись наши тени.

Вот уже несколько дней мы работали на току.

На четвертом отделении нашего совхоза закончили уборку. Оттуда прислали ребят нам на подмогу. Новые ребята заменили девушек-копильщиц.

И вот мы вчетвером — Таня Липская, Майя Сухорученко, Люся Матусевич и я — сидим под фонарем на перевернутых плечах, дрожим от ночного холода и в ожидании грузовика с зерном вспоминаем работу на комбайнах.

Эта ночь выдалась особенно холодная. Вокруг фонарей кружились снежинки. Мы то и дело шмыгали красными носами и терли варежками щеки.

— На комбайне, — сказала Майя, — хоть и устаешь, зато не так холодно!

— Да-а, — вздохнула Люся, — на комбайне дело другое!

Почему-то вспомнилось только хорошее. Мы словно забыли изматывающую работу, непрерывный ледяной ветер. Забыли потому, что ничто не могло сравниться с тем чувством гордости и удовлетворения, которое мы испытывали, работая на комбайнах. Мы радовались тому, что оказались способными вынести эту по-настоящему тяжелую, мужскую работу.

Показались яркие фары подъезжающего грузовика.

Мы с Майей подняли плечи и подошли к тому месту, куда нужно было ссыпать зерно. Грузовик подъехал. Шофер открыл задний борт, и зерно широким водопадом, шурша, полилось на землю. Мы влезли в машину, глубоко увязнув в холодной пшенице.

Разгрузка машины согревает. Некоторое время мы бродили по току, наслаждаясь теплом. Немного болели спины, оттого что работали согнувшись.

Майка, маршируя по узкой дорожке между двумя буртами, запела песню, которую мы сочинили, работая на току:

Луна ныряет в облаках,
Весь ток луною выбелен.
Студенты на грузовиках
Согнулись в три погибели.

Они стоят бледным-бледны
С нахмуренными лицами.
На них дырявые штаны,
Пропоротые плечами...

Действительно, из-за острых железных плиц наши шаровары постоянно чернели дырами. Мы едва успевали их зашивать.

Вообще с шароварами нам не везло.

Местные жители относились к ним с иронией. Такая одежда, с их точки зрения, была для девушек неприлична. Из-за этих злосчастных шаровар у нас с местными жителями разыгрывались страстные дискуссии. Начинались они обычно вопросом:

— Что ж, вы и в городе в длинных штанах ходите?

— Да как когда,— отвечали мы,— вообще иногда ходим.

Тогда оппозиция раздражалась бурной антишароварной речью. Длина этой речи зависела как от красноречия оратора, так и от его темперамента.

Учитель Иван Степанович, помогавший нам скирдовать сено, старался воздействовать главным образом на наши чувства:

— Ведь вы же девушки,— убеждал он,— вам пристало носить платья! Брюки должны носить единственно мужчины. Девушка в брюках похожа... кто его знает на что. Вы мне поверьте! У нас ни одна девушка такой срам носить не станет.

Комбайнер Володька Лапин речей не произносил. Он только предупреждал:

— Смотрите, девчата, поймаем мы вас, брюки спустим и всыплем как следует, чтобы ходили в юбках, как нормальные!

А тракторист Тукун, живой черноглазый казах, как-то спросил нас с глубокой обидой в голосе:

— Что же, вы нас совсем за дикарей считаете, что не стесняетесь перед нами в таком виде разгуливать?

В заключение спора местные жители обычно произносили фразу, обижавшую нас до глубины души:

— Ну и работников нам прислали, не дай и не приведи!

Правда, в скором времени такие дискуссии прекратились. Мы научились работать не хуже местных, и местные жители убедились, что судить о людях по одежде не следует. Они сами признали, что работаем мы хорошо.

Они даже начали соглашаться с нами, что работать в шароварах гораздо удобнее.

Володька Лапин в знак признания своей неправоты подарил своей сестре Вале шаровары. А за Валей и другие местные девушки начали работать в шароварах.

Так восторжествовал прогресс.

Начальник тока Иван Васькин, краснощекий, в толстом тулупе и валенках, подошел к съезжившимся от холода Тане и Люсе.

— Что, девки? Замерзли? Это еще что! Это разве мороз? Вот часам к четырем утра будет действительно мороз. Ну, ничего, сторож за дровами пошел — костер жечь будем, согреетесь!

От машины до машины мы успевали совершенно околеть. Не помогали ни притопывания на месте, ни игра в салки.

Таня предложила потанцевать.

Под аккомпанемент зернопогрузчика, непрерывно грузящего просеянное зерно на элеватор, мы начали танцевать фокстрот. Фокстрот не помог. Вальс-бостон — еще менее.

Оказалось, что в целинных условиях наиболее согревающими танцами являются незаслуженно забытые нами краковяк и венгерка. Вот когда мы по-настоящему оценили эти прекрасные танцы и преисполнились к ним чувством глубокого уважения.

Работа на току продолжалась. Все грузовики мы к тому времени изучили, помнили наизусть номера, подружались с шоферами.

— Ноль шесть шестьдесят седьмой! — кричал кто-нибудь. — Сашина машина! Чур, мы будем разгружать!

«ГАЗ-51», ревя мотором, на полной скорости врывался на ток, не замедляя хода, разворачивался и резко останавливался, словно резвый конь, на полном скаку. Дверца отворялась, и из грузовика медленно выходил Саша Гречановский.

Вздыхая, он понуро садился на бурт.

Подперев рукой подбородок, Саша задумчиво смотрел, как мы разгружаем его машину, и вдруг запевал печально и жалостливо:

Не для меня придет весна...
Распустит роза цвет душистый...
Сорвешь цветок — а он завял...

И, махнув рукой, заканчивал:

— Такая жизнь — не для меня!

Совсем не похож был на Сашу другой шофер — Николай. Он минуты не мог постоять на месте. То начинал шутливо бороться с кем-нибудь из девочек, то хватал плиту и сам разгружал машину. При этом он шутил, хохотал, рассказывал всевозможные забавные истории.

Николая мы любили и каждый раз с нетерпением ждали прихода его машины.

Из всех шоферов только один вызывал в нас раздражение — Сергей Исаев. Это был маленький человечек с рыбьими глазами.

Он никогда не улыбался, любил покрикивать на нас и отпускать злые, обидные шуточки. Каждый раз он приносил с собой на ток большую кошелку с едой и прятал ее в конце бурта, под зерном.

Однажды, разгрузив очередную машину, мы сели на перевернутые плиты и начали обычный разговор об урожае. Неожиданно я увидела, что из зерна торчит угол исаевской кошелки.

Мы откопали ее и раскрыли. Там были заботливо уложенные коржики, душистые булочки, помидоры, мягкий домашний хлеб, баночки с маслом и вареньем.

Давно нам не приходилось видеть такие деликатесы. Недолго думая, мы набросились на еду и съели все до последнего коржика.

Но тут же нас охватил ужас перед тем, что мы наделали. Мы ждали скандала. Надо было скрыть следы преступления.

Опустевшая кошелка не хотела стоять, она все норовила сжаться и мягко повалиться на землю. Мы взбивали ее, похлопывая под бока, но все было тщетно: нам осталось только дожевать коржики и утереть с подбородков помидорный сок.

Исаев вернулся.

Нет, он не устроил нам душераздирающей сцены. Он не стал рычать от злости и грубо ругаться. Увидев, что стало с его заботливо приготовленным ужином, он укоризненно посмотрел на нас и, взяв свою опустевшую кошелку, унес в кабину грузовика.

Работать ночью на току было трудно. Мы мерзли, хотелось спать. Чтобы согреться, Иван Васькин со сторожем дедом Степаном развели на току костер. Дров было маловато — костер был крохотный. И все же около него можно было прилечь, согреть ноги и руки.

К костру подходили греться шоферы. Они молча останавливались у костра, протянув руки к огню. На их лицах то вспыхивали, то тускнели красноватые блики.

Иван Васькин жарил в плече пшеницу. Он шевелил ее палкой, она потрескивала и блестела под огнем, отливая медью.

Жареная пшеница похрустывала на зубах. Она была горячая, жгла ладони, но при таком холоде это было даже приятно.

То и дело подходил новый грузовик с зерном, и очередная пара шла в темноту разгружать зерно.

Возвращаясь к костру, мы чувствовали себя так, словно возвращались к родному, уютному очагу. Дед Степан с треском ломал ветки. Он клал их в костер по одной, экономно, стараясь, чтобы дров хватило до утра.

Ветка вспыхивала. Черные тени от наших фигур начинали дрожать.

Все молчали. Разговаривать не хотелось. Стоило повернуть голову от костра, и лицо охватывал озноб. Когда глаза немного привыкали к темноте, то видно было, как под тусклым и редким светом электрических фонарей матово поблескивает зерно.

— Вот, слушайте, я вам сейчас расскажу бывальщину,— сказал вдруг Иван Васькин.

Все обернулись к нему и обратились в слух.

Обстановка очень располагала к таинственным и романтическим историям.

Ночь приближалась к концу, но рассвет еще не наступил. Машины стали ходить реже — видимо, комбайнеры не выдержали нескольких суток непрерывной работы.

— Ну, Иван, рассказывай! — поторопила Таня.

— Стою я, значит, у перевалки, — начал Иван, — зерно грузу на элеватор. Ну, это не с нашего тока зерно, с соседнего. Подходит управляющий. «Ты, говорит, откуда зерно грузишь?» Я отвечаю: мол, так и так, Геннадий Андреевич, с соседнего тока. «Кто, говорит, приказал?» — «Да вы сами и приказали». — «А-а, говорит, ну, тогда ладно, грузи...»

Иван замолчал и вынул папиросу.

— Ну и что? — спросила Майка.

— Ну и все, — ответил Иван, закуривая от тлеющего уголька.

Мы захохотали.

Рассвет наступил неожиданно. В какое-то мгновение огонь костра вдруг потускнел, а неяркий даже ночью свет фонарей стал совсем невидимым при свете возникающего утра. Бурты из черных стали красновато-желтыми, земля, наоборот, потемнела.

Наступило утро.

Попутного ветра!

Уборка закончена. Поля, где еще совсем недавно волнистыми рядами лежали валки пшеницы, гремели комбайны, носились машины с зерном, теперь кажутся пустыми, омертвевшими. Кое-где стоят одинокие стога соломы. Разбегаются под ветром легкие шары перекасти-поля.

В последний раз пошли мы любоваться степью. Подморозило. По дороге, слегка припорошенной снегом, ездили грузовики — возили зерно с тока на элеватор.

— Странно как-то, — задумчиво сказала Люся Матусевич, глядя в лиловатую даль, — я ведь раньше степь не любила. Скучно — ровное место. А теперь, мне кажется, я поле, покрытое копнами соломы, ни на один лес не променяла бы.

— А я очень по лесу соскучилась, — вздохнула Неля. — Деревья сейчас все желтые стоят, под ногами листьев — целые холмы... А тут!..

— Нет, — сказал шедший с нами тракторист Юра Здорьев. — Сколь-

ко я тут, в степи, живу, а все равно каждый раз люблюсь. Да вот сейчас хотя бы, пусто вроде, а вон туда посмотри — разве не красиво?

Мы посмотрели на соседнее поле — там работали трактора. Они пахали землю под озимые. Маленькие, неказистые с виду «ДТ-54» медленно двигались по огромному сероватому полю с пожухлой стерней. За тракторами тянулись широкие полосы только что вспаханной черной земли.

— Как все-таки жалко уезжать отсюда, — сказала Неля. — Сколько тут еще интересного будет! Работали, трудились — и вот теперь со всем этим расставаться!..

— И с комбайнерами теперь ругаться не будем, — улыбнулся Боря Старостин.

— Да... И Гена не будет учить нас водить свою «бандуру»...

— Иван Васькин свадьбу собирается праздновать, а мы на ней и не погуляем...

— Афанаська Белов просил «Два капитана» прислать ему из Москвы.

— И с Афанаськой больше никогда не увидимся...

Как мы, оказывается, успели сблизиться с людьми за это время!

Веселые и серьезные, добрые и строгие, порой насмешливые, порой сердитые, они со дня нашего приезда окружили нас радушным вниманием. Ни обидных замечаний, ни насмешек над нашей беспомощностью в первые дни работы не слышали мы от них. Серьезно и тактично они учили нас держать вилы и скирдовать сено, разгружать машины и трамбовать силос, копнить солому и водить трактор.

И если мы не ударили лицом в грязь во время уборочной, если наши руки стали более сильными и умелыми, научились держать руль машины и штурвал комбайна — то только благодаря окружавшим нас людям.

Да только ли в этом дело? Эти люди сразу стали нашими друзьями, старшими товарищами, все видящими, все понимающими.

Казалось бы, незначительный случай: комбайнер укрыл тебя, мерзущую в копне, своим толстым, теплым тулупом. Но как от этого поднимается настроение! Когда трудно, такие вот маленькие заботы приобретают особый смысл, становятся вдвое и втрое дороже. А мы чувствовали на себе эти заботы постоянно.

Мы сроднились с этими людьми. Мы полюбили их. Кажется, и они привязались к нам тоже.

Мы медленно обходили все места, почему-либо нам особенно памятные. Вот шестое поле. Здесь мы провели несколько суток, ночуя в копнах, занесенных снегом.

Тут у меня произошла ссора с Захаром: я забила солому в хвост комбайна и так плотно, что пришлось простоять полчаса, починя комбайн. Даже сейчас, при одном воспоминании об этом, мне становится не по себе, особенно когда я вспоминаю, как рассердился Захар. Еще бы: время было горячее, мы соревновались с Антоном Дехонтом. В этот день мы уже было обогнали его, и вдруг — простой!

А вот в этом месте Боря Старостин, работая ночью на комбайне, уронил в копну свои очки и сразу стал слепым и беспомощным. Комбайнеры искали Борины очки долго, направляли на копну мощный луч прожектора. Они разворошили всю солому, но очки все же нашли.

Вот тут еще заметна глубокая вмятина от колес грузовика, а здесь, как видно, недавно прошла тракторная тележка, забрав с поля последний стог соломы. Как понятен нам каждый след на увядшей, коричневатой стерне!..

Долго еще бродили мы по полям, вспоминая случаи из нашей целинной жизни, напевая песни, полюбившиеся нам на целине.

Много мы пели здесь разных песен, но две или три из них сопровождали нас всюду.

Трудно объяснить, почему та или иная песня вдруг особенно приходилась нам по душе. Кажется, и слова у нее не такие уж новые и свежие и мотив обыкновенный, а мы привязывались к ней, или, вернее, она к нам привязывалась. Привязывалась и следовала за нами неотступно, куда бы мы ни направились.

Среди прочих нам почему-то особенно полюбилась одна песенка, происхождения которой я не знаю. Может быть, ее передавали по радио, а может, сочинили сами студенты.

Веселый припев этой песенки был такой:

И жду я заветной минуты,
Чтоб снова рюкзак затянуть.
Здравствуй, ветер попутный!
Солнце, доброе утро!
Вот и снова уходим мы в путь..

Возвратились мы прямо к праздничному ужину. Вино уже было разлито по алюминиевым кружкам.

С нами за стол сели те, с кем мы должны были завтра расстаться, наши друзья, с которыми мы работали и жили бок о бок все эти трудные месяцы.

Мы сдвинули кружки.

Да здравствуют встречи и расставания, дальние дороги, новые знакомства, тяжелый и радостный труд!

Попутного ветра!



ПУБЛИЦИСТИКА

Е. ОСЛИКОВСКАЯ

Кандидат экономических наук

★

ТЕХНОРУК КОЛХОЗА

В плане развития социалистического сельского хозяйства на текущее семилетие темпы роста продукции каждой отрасли неразрывно связаны с совершенствованием всего процесса колхозного и совхозного производства, его организации, техники и технологии. Больше зерна стране — в основном за счет повышения урожайности. Больше мяса — за счет скороспелости, обильного кормления, уплотнения скога на каждой единице земельной площади. Больше кормов — за счет лучшего использования каждого гектара кормовых угодий. Больше масла — за счет повышения процента жира в молоке. Больше шерсти — за счет улучшения породности овец...

Вдумываясь в масштабы семилетки, все яснее постигаешь, что теперь, на исторической грани между социализмом и коммунизмом, можно не только поставить на службу человечеству землю со всеми ее неисчерпаемыми богатствами, но даже и предотвратить на наших полях ту утрату, от которой предостерегал великий русский естествоиспытатель. «...Каждый луч солнца, не уловленный зеленою поверхностью поля, луга или леса, — богатство, потерянное навсегда...» — писал К. А. Тимирязев.

Сейчас, когда на передовых позициях сельскохозяйственного производства идет борьба за качество, когда со всей остротой поставлена задача интенсификации сельского хозяйства в нашей огромной стране, — сейчас по-новому воспринимаются многие, совсем не новые дела. В числе их главнейшее место принадлежит организации и организаторам труда, организации и организаторам всей деятельности наших крупных сельскохозяйственных предприятий — колхозов и совхозов.

1

За последние годы мы сделали огромный шаг по пути концентрации сельскохозяйственного производства.

Практически это проявляется в укрупнении колхозов, в объединении существующих и организации мощных новых совхозов. Процесс этот продолжается и будет протекать и дальше по мере совершенствования техники, повышения уровня энергооборуженности, развития всего того, что определяет непрерывный рост производительности труда.

Небезынтересно вспомнить, как у испытанных колхозных вожakov назревали мысли об экономической необходимости укрупнения колхозов, в силу каких жизненно-насущных предпосылок возникала эта инициатива.

Во время Отечественной войны, на Урале, где все было подчинено одной задаче — ковать оружие для победы, — в колхозе «Заря» Ачитского района, Свердловской области, была построена электростанция на реке Утт мощностью восемь тысяч киловатт.

Председатель этой артели, один из ее основателей, Александр Порфирьевич Тернов, на свой страх и риск решил отойти от того типа электростанции, который рекомендо-

вался из центра, и в колхозе построили станцию, значительно превышающую мощность типовой. А. П. Тернов умел смотреть вперед, распознавать завтрашний день. Он оказался гораздо предусмотрительнее специалистов-электрификаторов, заранее учтя слишком малый дебит воды в уральских реках зимой, а то и полное промерзание их в эту пору. Не прошло и года, как колхоз «Заря» и его председатель, желая того или не желая, заняли, так сказать, ведущее положение среди всех территориально и хозяйственно тяготеющих к «Заре» колхозов. У Тернова работало уже несколько десятков моторов. Обслуживая в той или иной мере нужды соседей в своих приводимых в движение электричеством подсобных предприятиях и мастерских, колхоз «Заря» в известном смысле стал во главе производственной деятельности окружающих мелких артелей.

Тернов приехал в Москву — то было в 1946 году — и с полной экономической обоснованностью поставил вопрос о необходимости объединить в одно хозяйство все примыкающие к «Заре» и обслуживаемые ее электростанцией колхозы. Идея укрупнения колхозов родилась в данном случае на основе создания единого энергетического источника — электростанции на реке Утт.

Толковому предложению горячо посочувствовали тогда многие специалисты в Наркомземе СССР, но осуществить свои идеи Тернову удалось значительно позже. Только в 1953 году сентябрьский Пленум ЦК КПСС, а затем ряд последующих решений партии и правительства сняли множество пут, стеснявших творческую инициативу, рождаемую на местах жизнью, закономерностями развития социалистического хозяйства.

С того времени, как один из колхозных деятелей безрезультатно пытался организационно оформить новое экономическое явление в деревне, минуло немногим больше десятка лет. Теперь каждому видно, что в мелких колхозах, с площадью в триста — пятьсот и даже в тысячу гектаров земли, никак не мог бы уложиться размах работы нынешних новаторов колхозного и совхозного производства.

Создание, например, набора машин для возделывания пропашных культур — кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы, хлопчатника — сняло, по сути, проблему их трудоемкости, позволило резко расширить объем их производства в хозяйстве и породило новую форму организации труда.

В совхозах и колхозах появились комплексные механизированные звенья. Вот что это значит в жизни. В совхозе «Калачевском» Воронежской области в 1958 году под посевами кукурузы и подсолнечника было занято свыше 2,3 тысячи гектаров. Все работы от посева до уборки на этой площади осуществили 24 человека — двенадцать комплексных механизированных звеньев, в каждом по два работника: тракторист и машинист-комбайнер. Но зато в распоряжении каждого звена был полный набор машин для выполнения всех работ.

Комплексные механизированные звенья обеспечили высокое качество полевых работ, а потому высокие урожаи и — что еще важнее — дешевизну производимой продукции. В одной из бригад колхоза имени Ленина Кореновского района, Краснодарского края, затраты труда на производство центнера зерна кукурузы составили менее четверти человеко-дня. В бригаде А. Гиталова (Кировоградская область УССР) себестоимость кукурузного зерна в прошлом году выразилась в трех с половиной рублях за центнер, а центнер зеленой массы кукурузы обошелся в сорок три копейки.

Очень важен и такой факт. Совсем недавно со страниц сельскохозяйственной печати не сходили имена лишь нескольких зачинателей комплексной механизации пропашных культур — Валентина Тюпка, Николая Мануковского, Василия Луковецкого. А вот в 1958 году в колхозах и совхозах только РСФСР и Украины действовало свыше 22 тысяч комплексных механизированных звеньев. На Украине ими обработано 1,3 миллиона гектаров, в среднем по 104 гектара на звено, 52 гектара на человека. В текущем году на Украине комплексные механизированные звенья получают еще большее распространение, и их силами будет обработано уже несколько миллионов гектаров пропашных культур.

Применение комплексной механизации в таких масштабах во всей стране экономит множество человеко-дней.

Быстро ширящееся движение за овладение этим прогрессивным методом лучше всего аргументирует необходимость, больше того — неизбежность укрупнения колхозов и совхозов. Движение это ставит размер предприятия в прямую зависимость от роста технического прогресса и соответствующих ему форм организации труда, от совершенствования технологии процесса производства в каждой из его отраслей. Шутка ли сказать: средний размер земельной площади наших современных совхозов составляет 28 тысяч гектаров! Показатели такого порядка на первый взгляд не только удивляют, но и пугают неискушенных людей. В грандиозности масштабов иногда подозревают ненужную, даже вредную тенденцию, некоторое повторение гигантомании. Раздаются голоса и о том, что размеры совхозов и колхозов следовало бы ограничить то ли в порядке административных указаний, то ли в порядке научных изысканий экономистов-аграрников.

Думается, что нет ничего бесплоднее, чем стремление к арифметическому определению оптимальных размеров сельскохозяйственных предприятий. Здесь все зависит от целого комплекса совершенно конкретных природных и экономических условий.

Важнейший принцип рациональной организации внутрихозяйственной деятельности колхозов — специализация их производства. Она позволяет расширить те отрасли, которые могут дать наибольшее количество продукции наивысшего качества, причем с наименьшей затратой средств производства и труда, то есть максимально дешевой.

Глубокие изменения в системе государственного руководства сельским хозяйством, приведшие к отказу от централизованной мелочной опеки, от планирования сверху деятельности сельскохозяйственных предприятий, предоставление колхозам права самим устанавливать систему ведения хозяйства, определять наилучшие севообороты, выбирать наиболее выгодные культуры — все это неизмеримо расширяет возможность осуществления подлинно научной организации сельскохозяйственного производства.

2

Средняя урожайность зерновых культур в нашей стране за истекшие пять лет резко возросла — более чем на 3,5 центнера с гектара. Это большое достижение. Однако резкие колебания урожаев в отдельных зонах, областях, районах, хозяйствах в пределах одного и того же года и еще больше — в динамике ряда лет — показывают, что земледелие в нашей стране еще не поставлено полностью на научный фундамент, наука не повсюду взята на вооружение сельского хозяйства.

В суровых условиях Зауралья, где за последнее десятилетие пришлось восемь засушливых лет, колхоз «Заветы Ленина» Шадринского района, Курганской области, в особенно тяжелую засуху минувшего года собрал такой урожай, который прежде считался добрым и для нормальных условий погоды. В 1958 году за весь вегетационный период на поля колхоза выпало всего 9 миллиметров осадков, температура на поверхности почвы колебалась в пределах 50°, а в июне достигала 63°. И все-таки средний урожай пшеницы в этом колхозе составил примерно 10 центнеров, а по пару на отдельных участках достигал даже 18 центнеров с гектара. Средний урожай пшеницы здесь за последнее десятилетие, включая и 1958 год, 17 центнеров с гектара. «За все двадцать девять лет своего существования наш колхоз без хлеба не бывал, даже в годы сильнейших засух», — говорил Т. С. Мальцев на декабрьском Пленуме ЦК КПСС 1958 года.

Все это доказывает, что, несмотря на природное и климатическое разнообразие в нашей огромной стране, правильное, научно обоснованное ведение хозяйства может обеспечить в любом колхозе гарантированные урожаи.

Примечателен и такой факт. Урожай в сто с лишним центнеров с гектара зерновых культур были получены колхозницей-опытницей Анной Сергеевой более двадцати лет назад; прошло около четверти века с тех пор, как Мария Демченко добилась урожая сахарной свеклы в 500 центнеров. Казалось бы, достижения такого порядка давно должны стать своеобразной нормой в растениеводстве. Между тем средние урожаи этих культур по стране в целом нас отнюдь не успокаивают, а главное — они

пестры, неустойчивы. Подобные явления наблюдаются и в других отраслях колхозного производства.

Разве это не подсказывает вывода о еще не устраненном разрыве между наукой и практикой, о том, что передовой опыт распространяется у нас недостаточно эффективно?

Виной тому ряд обстоятельств. До недавнего времени работа в этом направлении велась по принципу пропаганды и внедрения отдельных приемов, а не целого комплекса. При рекомендации тех или иных достижений науки и практики совершенно не принималась в расчет их экономическая посильность для данного района, не учитывалась мера обеспечения необходимыми для этой цели материально-техническими средствами. Конечно, причины всякого рода неувязок складываются в разных местах по-своему, в различных комбинациях. Разобраться в них нетрудно, было бы желание, и чем скорее и полнее будет это сделано, тем шире станет дорога новаторству.

Кировская лугоболотная опытная станция в течение четверти века изучает вопрос о долгодетных пастбищах. Используемые вот уже двадцать с лишним лет пастбища и сейчас дают ежегодно по шесть тысяч кормовых единиц (эквивалент одного килограмма овса по питательности) с гектара. Высококачественного сена здесь собирают в среднем 55—60 центнеров.

Ценнейший опыт! Но почему же он не получил распространения в соответствующей природной зоне, даже в самой Кировской области?

Долгодетные пастбища — дело верное, сейчас уже об этом никто не спорит. Кормовая единица в продукции долгодетных пастбищ Института животноводства и ветеринарии Академии наук Эстонской ССР обходится до десяти копеек. Колхоз имени Сталина Пружанского района, Брестской области, заложив недавно долгодетные пастбища, успел убедиться в том, что при содержании на них коров себестоимость литра молока снизилась почти вдвое.

И все же расширение площадей долгодетных пастбищ идет в стране медленно и, если можно так сказать, пятнами.

Безрассадное выращивание капусты, то есть посев семян прямо в грунт, не требует ни новых машин, ни особых навыков. Выгодность его проверена семилетним опытом колхоза «Октябрь» Озерского района, Московской области, собирающего ежегодно урожай в 29 с лишним тонн капусты с гектара. Одышко метод этот внедряется очень робко. Не помогают и весьма выразительные подсчеты, сделанные в совхозе «Озеры». Здесь, по данным агронома А. Столярихина, посев капусты на площади 15 гектаров был произведен двумя работниками (трактористом и сеяльщиком) за два дня, и затраты на эти работы составили 241 рубль. Посадка же капусты рассадой на других 15 гектарах в том же хозяйстве продолжалась 13 дней, ею было занято ежедневно 23 человека, и обошлась она совхозу в 5425 рублей. Опыт пионеров, испытавших новый прием, в районе не поддержали, энтузиастов не нашлось, и хорошее начинание пока не находит ни дальнейшей проверки, ни широкого применения.

Этими примерами хотелось проиллюстрировать, что внедрение достижений науки и передовой практики все еще не приняло систематического характера, а осуществляется по воле самых лучших, самых инициативных, но все же отдельных людей. С них, как говорят, начинается, на них и кончается.

Решения XXI съезда партии о высоких темпах развития сельского хозяйства СССР в предстоящем семилетии требуют более глубокого подхода к этой проблеме. Если мы хотим добиться такого положения, чтобы в нашей стране не было отстающих колхозов и совхозов, то приложение науки к производству должно стать повсеместным и повседневным методом работы руководителей и специалистов.

Но для этого нужно знать условия и возможности производства в каждом сельскохозяйственном предприятии. Не секрет, что передовой опыт изучается у нас до сего времени далеко не полно и далеко не удовлетворительно. Не будет преувеличением утверждать, что еще совсем недавно научные достижения пытались внедрять, как правило, по шаблону, без учета местных природно-климатических и экономических условий, прямее сказать — вслепую. В то же время очевидно, что огромные успехи в развитии

сельского хозяйства ряда районов и областей имеют своими истоками именно тщательное изучение местных условий и особенностей колхозного производства.

Отрицательно сказывались и те трудно преодолеваемые препятствия, которые стояли на путях проверки экономической эффективности каждого новшества для данного хозяйства. Вследствие этого число «точных попаданий» было невелико, очень много усилий и материальных средств затрачивалось почти впустую. Совершенно законный и присущий каждому творчески работающему специалисту производственный риск слишком часто превращался в почти безвыигрышную лотерею.

Поставленная партией во всей остроте проблема специализации сельскохозяйственного производства в соответствии с зональными особенностями страны есть не что иное, как настоятельное требование практически реализовать принципы научно обоснованной организации производства всеми сельскохозяйственными предприятиями Советского Союза.

3

Нет сейчас, на наш взгляд, более важной, с точки зрения оперативности, заботы в сельскохозяйственной науке, чем налаживание опытничества в каждом колхозе и совхозе, обобщение результатов новаторства.

«Сельское хозяйство, прежде всего, есть дело местное; улучшение в нем главным образом обуславливается борьбой с местными препятствиями, оценка которых из прекрасного далека приводит лишь к одним ошибкам. Изучение их «проездом» — тоже дело мало продуктивное». Так писал замечательный русский ученый А. А. Измаильский. С тех пор прошло более шестидесяти лет, а мысль эта не утратила своей свежести.

Думается, что в опытной работе колхозов и совхозов центр внимания сейчас не обязательно сосредоточивать на выведении новых сортов, новых пород, достижении рекордных результатов на отдельных участках. Главное — в правильном, вдумчивом отборе из богатого арсенала нашей сельскохозяйственной науки комплекса прогрессивных организационных и технических приемов, которые обеспечили бы хозяйству в целом богатые и устойчивые урожаи всех культур, высокую продуктивность всех видов животноводства. Пусть это мое предложение не покажется криминальным. Дело в том, что научная методика, например, выращивания урожая в 30—35 центнеров зерновых с гектара в любой природно-экономической зоне Советского Союза — известна. Для этого не требуется новых научных открытий или изысканий. А вот выращивать ежегодно такой урожай в целом по хозяйству оказывается пока по силам только единицам. Добиться же повсеместного его получения должна помочь наука, экспериментальная работа.

Колхозное опытничество, как известно, возникло снизу, из недр советской деревни, по инициативе трудового крестьянства. В первое время опытники ограничивали сферу приложения своих сил растениеводством, что соответствовало тогдашнему уровню развития общественного хозяйства колхозов. Так родились первые колхозные опытные учреждения — хаты-лаборатории. Они сыграли выдающуюся роль на первом этапе подъема колхозного производства.

Но вот колхозы вступили на путь укрупнения, создания многоотраслевого хозяйства. Соответственно расширились функции опытных учреждений, появилась славная плеяда опытников — животноводов, садоводов, овощеводов. Возникли один за другим дома сельскохозяйственной культуры. Сейчас колхозы стали владеть мощной техникой, выбрали в свой состав миллионами исчисляемую армию механизаторов.

Надо полагать, что современному уровню развития крупных сельскохозяйственных предприятий наиболее соответствует колхозная опытная станция. К ее организационному прототипу проложены пути колхозным ученым Т. С. Мальцевым — организатором первой колхозной опытной станции в нашей стране. Сейчас она уже не единственная. Подобные ей учреждения действуют, например, в колхозе имени Ленина Ново-Троицкого района, Херсонской области, в колхозе «Дружба народов» Красногвардейского района, Крымской области, и в ряде других мест.

Хата-лаборатория — Дом сельскохозяйственной культуры — опытная станция. Таков закономерный путь развития опытного хозяйства в колхозах. Но везде ли дела обстоят так, как надо, как желательно?

По совершенно непонятным и ничем не объяснимым причинам во многих артелях хаты-лаборатории закрылись, а дома сельскохозяйственной культуры не открылись. Получилось так, что горячо поддержанная в свое время партийными и научными авторитетами, самими колхозами и колхозниками идея создания опытных учреждений в колхозах почему-то предана забвению.

Полезно вспомнить, каким страстным поборником деятельности колхозных хат-лабораторий являлся П. П. Постышев. Президент Академии наук СССР академик В. Л. Комаров писал в 1937 году: «Если бы Климент Аркадьевич Тимирязев дождался до основания сети хат-лабораторий, какое живое участие принял бы он в работе этой организации этого могучего орудия агрономической науки!» «Только в тесной неразрывной увязке с хатами-лабораториями, — развивал ту же мысль академик Т. Д. Лысенко, — наши научно-исследовательские учреждения, станции, институты могут давать быструю, применительно к районам, оценку уже известных агроприемов, а также разрабатывать новые, тем самым двигая и развивая все больше и больше агрономическую науку».

Кажется, сказано достаточно убедительно. Однако колхозных опытных ячеек, центров притяжения пытливых умов, центров опытного хозяйства, у нас все-таки очень и очень мало.

Что же нужно для того, чтобы в каждом колхозе было свое опытное учреждение, развиваемое вместе с ростом колхозного богатства, материальных возможностей? Новый закон? Новые рекомендации? В этом нет никакой необходимости. Тем более, что уже было постановление партии и правительства, в котором рекомендовалось каждому колхозу организовать свое опытное учреждение в виде Дома сельскохозяйственной культуры.

Это, на наш взгляд, не совсем удачное название дано было колхозным опытным учреждениям по инициативе одного из колхозов на Одешине. Оно слишком переключилось с Домом культуры, и, кстати сказать, нашлись-таки на местах охотники не только поместить оба «дома» под одну крышу, но и заменить один другим, причем отнюдь не в пользу опытного хозяйства.

Постановление партии и правительства рекомендовало организовать дома сельскохозяйственной культуры на базе хат-лабораторий, то есть в основу положить уже сложившиеся и отлично зарекомендовавшие себя колхозные опытные учреждения с их оборудованием и, что еще важнее, с их активом колхозных опытников. В том же постановлении говорилось и о создании в совхозах агрозоотехнических кабинетов примерно с такими же функциями, что и дома сельскохозяйственной культуры.

Мы уже упоминали о печальной участи колхозных опытных учреждений. Не лучше обстоит дело и в совхозах. Многие из них, причем крупнейшие, с площадью в несколько десятков тысяч гектаров земли, не имеют агрометеорологического пункта, простейшей лаборатории для оперативного контроля за состоянием почвенного плодородия, определения качества семян, зерна, продукции животноводства. И остается только развести руками, когда узнаешь, например, что хороший директор огромного совхоза «Октябрьский» Кустанайской области, агроном-агрохимик по образованию, товарищ Бабаев оборудование агрохимической лаборатории в совхозе относит к числу задач будущих и не совсем близких лет.

Нетерпимость такого положения становится очевиднее, если обратиться к нынешнему составу тружеников сельского хозяйства. В основном это новое поколение колхозного и совхозного населения, та самая молодежь, которая хочет приобщиться к творческому труду. Значит, суть в отсутствии настоящих организаторов этого дела и, скромно выражаясь, прохладном отношении к нему со стороны деятелей сельскохозяйственной науки.

Истинную революцию в содержании опытно-исследовательской работы в колхозах должна свершить передача им машинной техники. Все более развивающийся процесс механи-

зации не только полеводства, животноводства, но и других отраслей порождает новый вид труда в колхозном производстве. Организовать по-научному этот труд — тоже задача немаловажного значения.

4

В нашей стране существует стройная система сельскохозяйственных научно-исследовательских учреждений. Создан особый тип территориального (а не функционального) научного учреждения — это областные и краевые государственные опытные сельскохозяйственные станции. На них возложена научная разработка агротехнических и зоотехнических мер применительно к местным природно-экономическим условиям. Промежуточным звеном между колхозом, совхозом и областной опытной станцией являются районные агрохимические лаборатории, контрольно-семенные лаборатории, лаборатории искусственного осеменения, инкубаторные станции, метеорологические пункты и так далее.

Сеть научных учреждений густа, правильно организована, правильно расставлена. Почему же медленно осуществляется организация сельскохозяйственного производства на научных основах? Ведь в этом сейчас ключ к быстрейшему выполнению заданий семилетки.

Нужно думать, что эта сторона дела в большой мере зависит от тех, кто призван быть проводником науки в производство.

За годы Советской власти выращен мощный отряд специалистов сельского хозяйства в четыре с лишним сотни тысяч человек. К сожалению, эта огромная сила не полностью приведена в действие, не использована во всю меру ее потенциальных возможностей. Причина — недостаточное внимание к постановке агрономической службы со стороны органов сельского хозяйства как в центре, так и на местах.

Решения партии и правительства о перестройке среднего и высшего специального образования целиком относятся и к проблеме подготовки сельскохозяйственных кадров. Но здесь нужно не только усиление связей учебных заведений с жизнью, с деятельностью колхозов и совхозов. Требуется очень серьезные поправки в самом профиле специалиста сельского хозяйства. И вот почему.

В результате исторически сложившихся обстоятельств была сильно трансформирована подготовка агронома — ведущей фигуры в сельском хозяйстве, специалиста широкой эрудиции, знаниям, умению и способностям которого доверялось правильное использование основного средства производства — земли.

Начиная с тридцатых годов, в развитии высшего сельскохозяйственного образования определилась тенденция к узкой специализации. Это коснулось в наибольшей степени агрономических факультетов, от которых отпочковались специальности зоотехника и инженера-механизатора с последующим членением. Профиль агронома оказался раздробленным на множество узких специальностей, сначала применительно к отдельным отраслям, затем к отдельным культурам. Ставка на узкую специализацию продолжалась и в ту пору, когда, по мере организационно-хозяйственного укрепления колхозов и совхозов, ясно обозначилась необходимость организации многоотраслевых сельскохозяйственных предприятий. Это было крупным просчетом в системе подготовки нужных нам кадров.

Однако и ныне, несмотря на ряд уже принятых мер, выпускаемые нашими сельскохозяйственными вузами агрономы по существу своей подготовки мало приспособлены к выполнению функции в том ее обширном объеме, как это нужно сейчас. Попробуем разобраться в сути этого вопроса.

Искусство организации и руководства деятельностью сельскохозяйственного предприятия состоит из двух составных частей: закладки организационных основ и управления производственным процессом. Правильно организовать производство — это значит умело приложить рекомендации экономической и агрономической науки к конкретным природным и хозяйственным условиям. Управлять предприятием — это значит обеспечивать непрерывный и устойчивый рост производимой продукции и ее качества, сни-

жение себестоимости продукции, облегчение условий труда и повышение его оплаты, увеличение доходов хозяйства.

Сама по себе сложная проблема управления крупным производственным предприятием в любой отрасли народного хозяйства — в сельском хозяйстве она осложняется рядом его специфических особенностей.

Сельскохозяйственное производство базируется на жизнедеятельности растительных и животных организмов — следовательно, имеет дело с тонкими биологическими процессами. Процессы эти протекают в условиях внешней среды, пока находящихся вне воли и влияния человека. Сезонный характер производства сильно осложняет организацию труда с расчетом полного, круглогодичного использования трудовых резервов, осложняет и производственную выучку кадров

Колебания температур, дождь не вовремя, отсутствие дождя в нужные периоды года, засухой, появление вредителей и так далее и тому подобное — все это ни в какой мере не трогает инженера фабрично-заводского предприятия, а вот агроному доставляет миллион терзаний. Для него среда производства — это мир стихий. Умение удачно приспособиться к законам природы, ликвидация всяких невзгод и их последствий требуют знаний, способностей и исключительной оперативности.

Готовят ли наши высшие сельскохозяйственные учебные заведения агрономов, обладающих большим научным кругозором, серьезными специальными познаниями, практическими навыками в управлении крупным высокомеханизированным предприятием? Надо сказать прямо — пока нет.

А ведь нашим вузам мало поспевать за событиями сегодняшнего дня. Надо заглянуть вперед на добрый десяток лет. Специалист-то в вузе выковывается в течение пяти-шести лет. Сколько за это время воды утечет!

О том, что нашей стране понадобятся люди, умеющие управлять производством, В. И. Ленин говорил уже в первые годы Советской власти. На Седьмом Всероссийском съезде Советов в декабре 1919 года Владимир Ильич указывал на необходимость готовить «...новый командный состав, новый круг специалистов, которые должны научиться чрезвычайно трудному, новому и сложному делу управления». Во всем ли следуем мы этому завету вождя?

Вопрос о научной основе управления крупным сельскохозяйственным предприятием с его современным техническим оснащением, с уже имеющимися и предстоящими возможностями пополнения его квалифицированными кадрами из числа выпускников средней школы, — вопрос этот в наши дни встал во всей остроте. Откладывать его решение в долгий ящик нельзя!

Думается, что учебные планы, программы, сроки и методы обучения, принципы комплектования личного состава для подготовки агрономов широкого профиля надо разработать заново, безотлагательно, с привлечением к этому делу широкой агрономической общественности. Может быть, имеет смысл все силы Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева сосредоточить на подготовке агрономов именно такого профиля. Ее выпускникам следовало бы присваивать звание учено-агронома или что-либо в этом роде, имея целью наделить эту категорию высококвалифицированных агрономов узаконенными правами.

В последнее время у нас взят курс на то, чтобы во главе колхозов и совхозов стояли специалисты сельского хозяйства с высшим образованием. Курс этот правильный, и уже нализо его положительные результаты. Быстрый взлет целого ряда колхозов, замечательные успехи новых и старых совхозов воочию показали, что значит грамотное руководство крупным предприятием.

Нередки случаи, когда опытные агрономы, оказавшись у руководства колхозами и совхозами, не только справились с основными своими обязанностями, но нашли время и силы для научной работы. Так, умудренный опытом агрономической и руководящей деятельности в сельскохозяйственной системе, Николай Григорьевич Назарцев, оказавшись в роли директора Чаглинского зерносовхоза, занимающего 33 тысячи гектаров земли, наряду с отличной постановкой в нем производства развернул плодотворную работу по научному обоснованию и внедрению рациональной системы ведения хозяй-

ства в условиях Северного Казахстана. Совхоз как одно из наилучше организованных хозяйств превращен в Северо-Казахстанскую государственную сельскохозяйственную опытную станцию.

Председатель колхоза имени Суворова, Алтайского края, Михаил Григорьевич Милютин сочетает успешное руководство производственной деятельностью хозяйства артели на площади более 20 тысяч гектаров с глубокой научно-исследовательской работой.

Такие примеры можно продолжить. Но все-таки они останутся подтверждением лишь того, что в наших совхозах и колхозах работает много способных, талантливых людей. Но отсюда еще не следует, что в деле управления современными крупными механизированными сельскохозяйственными предприятиями установлен должный порядок, изучена, отобрана и рекомендована лучшая система руководства.

Жизнь настоятельно подсказывает, что в крупных колхозах и совхозах наряду с председателем или директором-специалистом должен быть еще и технический руководитель, организатор всего сельскохозяйственного производства, технолог основной отрасли. Его функции, права и обязанности, по-видимому, будут аналогичны функциям главного инженера завода. Техноруку — главному агроному — должны быть подчинены все специалисты сельского хозяйства, работающие на данном предприятии.

В крупных колхозах и совхозах нужно иметь инженера-механизатора. Он должен знать все механизмы, применяемые в сельскохозяйственном производстве и действующие от любого источника энергии. Это эксплуатационник в первую очередь. Он руководит всей материально-технической базой предприятия.

Кроме того, необходим специалист, объединяющий в своих познаниях специальности ветеринарного врача и зоотехника. Он отвечает за все зоогигиенические мероприятия в хозяйстве, за ведение всех отраслей животноводства на уровне современной науки и передовой практики.

Несколько слов о специалистах средней квалификации. Нам представляется, что средние учебные заведения должны выпускать техников сельскохозяйственного производства по различным узким специализациям. На производстве они будут использованы в качестве бригадиров, звеньевых, руководителей отдельных агрегатов, отдельных участков сельскохозяйственного производства. Это может быть бригадир овощеводческой бригады, бригадир тепличного хозяйства, заведующий МТФ, руководитель сыроваренного, маслодельного завода и так далее. Характерная черта работы специалистов средней квалификации — техников — состоит в том, что одновременно с руководством тем или иным производственным участком они не освобождаются от выполнения какой-то части физического труда.

Такая расстановка технических кадров существует в некоторых хозяйствах. Она дает хорошие результаты. На примере деятельности наших лучших агрономов вырисовался ряд конкретных черт технического руководителя хозяйства — его главного агронома, определилась практика распределения обязанностей между ним и председателем колхоза. Ее можно распространить без натяжки и на совхозы.

У председателя колхоза или директора совхоза остается огромный объем работы, даже если им в помощь появится полноценный и полномочный технорука: финансовое хозяйство, переработка и сбыт продукции, хозяйственное и жилищное строительство, обеспечение материально-бытовых нужд населения. Наконец, последнее по счету и первое по значимости — взаимоотношения с колхозниками в артели и рабочий вопрос в совхозе.

Круг этих обязанностей требует времени, специальных знаний. И распределение функций по такой линии, как это наметилось практикой ряда передовых колхозов, представляется наиболее правильным.

В настоящих заметках затронуты далеко не все элементы большой и назревшей проблемы — подготовки, расстановки и приложения сил специалистов в сельскохозяйственном производстве на его современном уровне развития.

На наш взгляд, совершенно безотлагательным является создание таких условий работы специалистов сельского хозяйства, которые позволили бы полностью использовать эту реальную силу для поднятия культуры производства, внедрения достижений науки и передовой практики.

Все содержание, весь дух решений XXI съезда партии о развитии народного хозяйства СССР и его важнейшей части — социалистического сельского хозяйства — свидетельствуют о том, что рост производства теснейшим образом связан с ростом его культуры. Речь идет теперь о массовом овладении новейшими приемами технологии производства всеми колхозниками и рабочими совхозов, а не только передовиками. Проводником же культурной организации и наиболее совершенных приемов труда в земледелии и животноводстве, в механизации и электрификации всегда являлись, являются и будут являться прежде всего люди, обладающие специальными познаниями.

Думается, что проблема более тесной связи науки с производством и повышения роли в этом деле специалистов сельского хозяйства должна стать предметом широкого разговора общественности. Его цель — мобилизовать творческие силы людей, вооруженных сельскохозяйственными знаниями, на борьбу с недостатками, за внедрение прогрессивных и экономически эффективных приемов в производство, за успешное претворение в жизнь решений XXI партийного съезда.



И. ГРИГОРОВСКИЙ
Профессор, доктор медицинских наук

★

СЕМИЛЕТКА СОВЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Прямой и ясный путь открыли перед всеми отраслями советской экономики, науки, культуры решения XXI съезда КПСС. Впервые в истории создан у нас и перспективный план развития медицинской науки. В ближайшие семь лет советским ученым-медикам предстоит решать большие, ответственные задачи: опираясь на достижения физики, химии, биологии и других отраслей знания, овладеть методами радикальной борьбы с наиболее распространенными заболеваниями, добиться полного искоренения многих из них.

Разумеется, рассказать мало-мальски подробно о всей нашей «семилетке» здесь нет возможности. В этих заметках мы сможем остановиться лишь на некоторых «позициях» перспективного плана развития медицинской науки. И пусть не взыщет читатель за несколько беглый характер их изложения.

1

На протяжении тысячелетий, в ходе всей истории человечества самыми опасными и жестокими врагами людей были невидимые хищники — микробы. Каких только не было эпидемий, и сколько людей от них погибало! Обнаруживать болезнетворные микробы, активно бороться с ними стало возможным только тогда, когда развились такие смежные с медициной науки, как биология, химия, физика, когда техника вооружила медиков специальными приборами.

Человек научился распознавать и побеждать заразные болезни, многие из них теперь ему уже не страшны. Однако борьба с инфекциями далеко не закончена, с еще большей остротой она будет продолжаться и в текущем семилетии.

Современное состояние этой медицинской проблемы весьма образно рисует вице-президент Академии медицинских наук СССР Герой Социалистического Труда И. В. Давыдовский. Все инфекционные заболевания он располагает на трех обширных «террасах». На первой, нижней, находятся те болезни, которые, как, например, оспа, холера, чума, были когда-то бичом человечества, но теперь навечно изгнаны с нашей земли; хорошо изучены также источники возникновения и методы предупреждения таких заболеваний, как сыпной, возвратный и брюшной тифы.

Вступив на вторую террасу, мы сталкиваемся с группой инфекционных болезней, которые достаточно хорошо изучены, меры борьбы с ними широко разрабатываются, но победа еще не одержана. Речь идет о коклюше и дифтерии, полиомиелите, малярии, туберкулезе, бруцеллезе, трахоме, эпидемическом гепатите

Семилетним планом предусмотрен большой размах научных исследований в этой области. Наши ученые уже открыли эффективные методы вакцинации против коклюша. Успешно ведется наступление на бруцеллез. К концу семилетия можно будет говорить о полной ликвидации малярии, такая же задача поставлена применительно к диф-

терии и трахоме. Более широкое внедрение методов вакцинации, общего и хирургического лечения туберкулеза, поиски более совершенных противотуберкулезных препаратов, а также дальнейшее улучшение условий труда и быта советских людей — все это, вместе взятое, позволяет рассчитывать, что примерно к 1965 году удастся снизить число больных туберкулезом по крайней мере в четыре-пять раз. Надо сказать, что государственная система, направленная к своевременному выявлению, лечению и профилактике, привела к тому, что случаи этой болезни у нас сокращаются из года в год и сейчас туберкулез распространен в СССР значительно меньше, чем в любой капиталистической стране.

За последние годы в ряде стран Европы, в Азии и Америке довольно часто встречается эпидемический полиомиелит. Болезнь эта поражает чаще детей, чем взрослых; протекая иногда как грипп, она, тем не менее, нередко ведет впоследствии к глубоким и необратимым расстройствам. Немало людей, перенесших полиомиелит (особенно его тяжелые формы), остаются инвалидами, не могут ходить и нуждаются в постороннем уходе.

Перед советскими исследователями была поставлена задача: приготовить специальную вакцину и делать ею прививки детям до двенадцати лет, в первую очередь в районах, особенно неблагоприятных по полиомиелиту. Для организации этой работы в 1957 году создан специальный Комитет по прививкам против полиомиелита. Напряженный труд ученых увенчался успехом: изготовлена и введена в практику отечественная вакцина против полиомиелита. Препарат оказался практически безопасным, а само заболевание полиомиелитом после прививок протекало, как правило, значительно легче и не оставляло тяжелых последствий. Например, в Московской области среди детей, которым двукратно прививалась вакцина, заболеваемость паралитическим полиомиелитом снизилась, по наблюдениям 1958 года, почти в четыре раза.

Надо заметить, что немаловажное значение имеет самый способ вакцинации. Применяемую ныне так называемую «убитую» вакцину против полиомиелита обычно вводят путем внутримышечной инъекции; это неудобно, особенно для детей: инъекции болезненны, а их приходится делать повторно. Недавно ленинградский профессор А. А. Смородинцев с группой сотрудников разработал и применил так называемую «живую» вакцину; больной глотает ее в виде таблеток. Этот метод прост и безболезнен.

Несколько слов о болезни, впервые описанной С. П. Боткиным и носящей его имя, — инфекционном гепатите. За последнее время он стал чаще наблюдаться, особенно в прибалтийских, среднеазиатских республиках, в Казахстане и Молдавии. Болезнь сопровождается повышением температуры, желтухой, расстройством деятельности кишечника; заболевают преимущественно дети дошкольного и школьного возраста, взрослые реже. Обнаружен вирус этой болезни и установлено, что он может долго сохраняться в воде, попадать в пищевые продукты; известны вспышки гепатита, вызванные употреблением некипяченой воды.

Исследования показали, что хороший профилактический эффект, особенно в детских коллективах, дает препарат, который называется гамма-глобулин; он состоит из специально полученных защитных белковых антител сыворотки крови. Гамма-глобулины, эти наиболее совершенные сывороточные препараты, получены советскими учеными для борьбы со многими инфекционными заболеваниями: дифтерией, корью, газовой гангреной, столбняком, весенне-летним клещевым энцефалитом, сибирской язвой, лептоспирозами, бешенством, оспой. Основным источником получения гамма-глобулинов была человеческая сыворотка. Но вот недавно найдены новые способы изготовления гамма-глобулинов — из сыворотки крови животных. Теперь мы можем иметь несравненно большее количество гамма-глобулинов.

Этот наш отечественный препарат оказывает благотворную помощь не только в пределах нашей страны. Вот пример. Натуральная оспа, как известно, полностью ликвидирована у нас еще в первые годы существования Советской власти. Между тем в некоторых зарубежных странах борьба с оспой до сих пор остается нерешенной проблемой; в 1958 году эпидемия оспы с высокой смертностью отмечена в Пакистане, эта инфекция распространена в Иране, Афганистане и некоторых других странах. Со-

ветский противооспенный гамма-глобулин в 1958 году высоко оценен Всемирной организацией здравоохранения: он рекомендован для профилактики и лечения оспы в очагах этой инфекции.

Так вкратце обстоит дело с врагами человека, находящимися, по Давыдовскому, на второй террасе. Третья заполнена многими болезнями, имеющими до сего дня значительное распространение: временами эти инфекции вырастают в мощные эпидемии, захватывая широкие территории.

К числу их относится вирусный грипп; далее идут ангины и группа заболеваний, вызываемых гнойными микробами. Характерная особенность этих болезней в том, что возбудители их существуют в микрофлоре самого человека, а болезнь проявляется, когда под влиянием вредных воздействий внешней среды нарушается нормальное состояние организма.

Самое, пожалуй, распространенное заболевание — грипп. Эпидемические вспышки этой болезни повторяются периодически и обусловлены различными видами вируса: А, А₁, В, С, D. В 1957 году большая эпидемия гриппа была вызвана новой разновидностью вируса — А₂. Весной она дала первую волну, вторую — в октябре—ноябре. Эпидемия возникла сперва в Центральной Азии (отсюда название гриппа «азиатский»), затем быстро распространилась, поразив почти половину населения земного шара. Советские ученые установили, что вспышки, обусловленные вирусом А₁, повторяются через один-два года, вирусом В — через три-четыре года. Вспышка в начале нынешнего года явилась третьей волной эпидемии 1957 года и, как и тогда, вызвана вирусом А₂ (хотя у ряда больных были обнаружены и другие вирусы, в частности вирус В). В 1959 году чаще отмечались тяжелые и осложненные формы гриппа, чем это было в 1957 году. Известны случаи так называемой «двугорбой» температуры, когда, продержавшись первоначально на высоких уровнях, температура падает, а через несколько дней поднимается снова.

Для борьбы с гриппом и особенно с его осложнениями имеется важное и надежное оружие — различные антибиотики. С целью профилактики советские ученые приготовили противогриппозную вакцину из различных разновидностей вируса гриппа.

Однако проблему гриппа нельзя будет считать решенной, пока не удастся предотвратить периодическое распространение эпидемий. В программе противогриппозной борьбы — изучение всех разновидностей вируса и его изменчивости. Это поможет совершенствовать методы приготовления и применения вакцины, а широкая иммунизация населения, особенно детей, будет способствовать значительному снижению заболеваемости гриппом. Предстоят поиски новых медикаментов, избирательно действующих на отдельные разновидности вируса, а также на совокупность различных гриппозных вирусов.

Статистические данные говорят, что заболеваемость населения ангиной весьма высока. К сожалению, у многих существует неверное, пренебрежительное представление об этой каверзной болезни. А между тем ангина часто приводит к таким серьезным осложнениям, как ревматизм, множественное воспаление суставов, воспаление внутренней оболочки сердца (эндокардит), воспаление почек. Для лечения ангины применяются антибиотики и сульфаниламидные препараты. Кроме того, советские ученые начали вводить в практику стрептококковые вакцины и сыворотки. Чтобы предупредить тяжелые осложнения, вызываемые ангиной, с успехом применяется операция удаления небных миндалин. Оперировать рекомендуется тогда, когда лечение без хирургического вмешательства не дает эффекта.

Советские медики продолжают также борьбу с дизентерией и с кишечными инфекциями недизентерийного происхождения.

И еще одна из самых важных задач текущей семилетки — достичь дальнейшего резкого снижения детских инфекций. Большой размах получит в ближайшие годы активная иммунизация против кори, скарлатины, коклюша и дифтерии.

Заключая беглый обзор о семилетке борьбы с инфекциями, необходимо остановиться на ценном вкладе в мировую науку, который внесли академик Е. Н. Павловский и профессор П. А. Петрищева. Они обосновали и разработали учение о так называемой

«природной очаговости» болезней человека. Речь идет о приуроченности природных очагов отдельных болезней к определенным зонам; отсюда родилось своеобразное научное направление — ландшафтная эпидемиология. Предстоит всесторонне изучить территориальное распространение инфекций, условия их передачи и особенно течения в разных зонах страны. Эти исследования, несомненно, будут иметь немалое практическое значение.

2

Есть два особенно важных направления в развитии советской медицины, которые по их значению для человечества следует считать ударными. Имеется в виду борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями и с злокачественными новообразованиями.

Гипертония... В последнее время она стала незаслуженно «модной».

Академик Н. Н. Аничков (Ленинград), давая животным пищу с примесью больших количеств холестерина — особого жироподобного вещества, откладывающегося на стенках артерий, — впервые сумел получить у них экспериментальное воспроизведение атеросклероза. Так была доказана роль некоторых составных частей пищи и нарушений обмена в происхождении этого заболевания, непосредственно связанного с гипертонией.

Гипертоническая болезнь и атеросклероз часто сочетаются друг с другом; оба эти заболевания в свою очередь связаны с возможностью развития так называемой коронарной недостаточности и инфаркта миокарда.

Смертность от болезней сердечно-сосудистой системы пока еще продолжает оставаться высокой. Ныне перед медицинской наукой поставлена ответственная цель: усилив научные исследования, резко снизить число сердечно-сосудистых заболеваний.

Надо сказать, что при возникновении этих заболеваний большую роль играет образ жизни человека, условия труда и быта. Развивая павловское учение, наши ученые-клиницисты (назову прежде всего Г. Ф. Ланга и А. Л. Мясникова) установили влияние нервного перенапряжения на возникновение и развитие болезней сердца и сосудов. В первую очередь это относится к гипертонии.

Интересные наблюдения провели недавно научные сотрудники Института экспериментальной патологии и терапии Академии медицинских наук СССР в Сухуми. У обезьян создавалась обстановка перенапряжения высшей нервной деятельности и изучалось состояние кровяного давления. Опыты показали, что у одних подопытных животных повышалось кровяное давление, у других возникали спазмы сосудов сердца, приводившие к коронарной недостаточности.

Медицинская наука обогатилась новыми способами исследования сердечно-сосудистой системы. Применяются более совершенные инструменты и приборы, физиологические и биохимические исследования больных. Точные аппараты для записи деятельности сердца позволяют определять малейшие изменения в его работе и в кровеносных сосудах; созданы новые ценные лекарственные препараты.

Уже и сейчас мы можем констатировать, что благодаря применению комплекса лечебно-профилактических мер в стране снижаются сердечно-сосудистые заболевания. Об этом свидетельствует хотя бы такой показатель: потери рабочих дней, связанные с болезнями сердца и сосудов, уменьшились за последние годы примерно на четверть. Но, разумеется, этого недостаточно. Рационально сочетать предупредительные и лечебные меры, своевременно выявлять и лечить больных, усилить гигиеническую и санитарную пропаганду, создать широкую сеть дневных и особенно ночных профилакториев на фабриках и заводах — осуществление этого активно поможет борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями в нашей стране.

Другая, не менее важная проблема, которой усиленно будут заниматься медики в семилетке, — проблема рака. Несмотря на долгие и упорные поиски, ученые до сего времени еще не смогли распознать истинные причины возникновения рака.

Советские онкологи внесли много нового и ценного в разработку этой проблемы. Ленинградский ученый Н. Н. Петров, проводя опыты на обезьянах, установил непо-

средственное влияние радиоактивных веществ на возникновение злокачественных опухолей. Советские ученые установили также, что происхождение злокачественных опухолей у животных под действием радиоактивных веществ связано с их физическими свойствами. Подробно изучена динамика развития костных сарком у крыс под влиянием радиоактивного стронция (работы Н. А. Краевского, В. Н. Стрельцова и других). Доказано вредное влияние на организм человека так называемых канцерогенных веществ. Эти вещества, вызывающие изменения в клетках и способствующие появлению рака, могут возникать под влиянием различных условий. Подтверждено (Л. М. Шабад) наличие канцерогенных веществ в атмосферном воздухе городов. В этой связи остро поставлена задача гигиенической очистки воздуха.

Важную роль канцерогенных веществ в происхождении рака подтверждают проведенные недавно экспериментальные исследования в лаборатории П. П. Движкова (Москва). Крысам ввели радиоактивный нерастворимый фосфат хрома и коллоидного золота. А спустя несколько месяцев у животных обнаружили типичные раковые опухоли легких с метастазами в лимфатические железы.

В лаборатории другого нашего ученого — А. Д. Тимофеевского — обнаружены вирусоподобные тельца во многих опухолях человека. Хотя влияние этих вирусов на происхождение опухолей человека остается еще неясным, нам думается, что проведенные исследования приближают открытие загадки происхождения рака.

Важные данные получены в лаборатории Л. А. Зильбера: путем специальных исследований установлены некоторые общие черты между опухолями человека и теми опухолями животных, которые имеют доказанную вирусную природу.

Советские ученые, имена которых упомянуты выше, стоят на позициях вирусного происхождения рака, то есть считают его инфекционным процессом. Однако эта точка зрения требует более убедительных доказательств, и не все ее разделяют. Так, И. В. Давыдовский рассматривает рост опухоли как особое биологическое явление и считает, что опухоль есть своеобразный процесс развития тканей, протекающий в особых условиях. По мнению ученого, чтобы выяснить происхождение рака, необходимо раскрыть взаимосвязи роста опухоли со всеми прочими факторами развития организма, протекающими в нормальных и патологических условиях его жизнедеятельности.

Итак, происхождение рака и его развитие связаны с нарушением нормального роста клеток и тканей, но самый механизм злокачественного превращения клеток остается еще тайной для науки. Современная медицина стремится найти ключ к раскрытию причин возникновения рака в законах биологии и именно — биологии клетки; клетка для живой материи является тем же, чем атом для неживой материи. Последние достижения науки и техники позволяют более детально изучить клетку, природу ее составных частей и механизм непрерывного обновления клеточной среды.

Многое еще остается здесь неясным, но несомненно, что начало рака связано с катастрофическим нарушением деятельности внутренних структур клетки и внутриклеточных процессов обмена. Под влиянием до конца еще не изведенных причин неожиданно перестают действовать какие-то тормозы, клетки перестают подчиняться законам нормального роста, возникает их неудержимое, безграничное деление и размножение; наступает новый клеточный рост, уже характерный для рака. Полностью разгадать происходящие при раке клеточные процессы, найти причины, вызывающие превращение клеток из нормальных в злокачественные, — такова задача.

Современное состояние науки показывает, что нецелесообразно искать универсальные средства против опухолей, то есть такие методы лечения, которые были бы эффективны при всех формах и на всех стадиях болезни. Нет, лечение каждого случая заболевания должно быть строго индивидуальным, а для этого прежде всего необходимо вовремя и правильно поставить диагноз. Однако некоторые формы рака распознаются сравнительно поздно.

При многих формах опухолей хирургическое лечение является в настоящее время наиболее результативным, и впредь советские ученые будут его совершенствовать. Вместе с тем серьезное значение имеет также лучевая терапия. Эта отрасль медицины сделала за последние годы большие успехи — применяется более совершенная аппара-

тура, введены в практику радиоактивные изотопы и радиоактивные методы лечения. Лучевая терапия в сочетании с хирургическим вмешательством весьма эффективна. Предстоит большое будущее и химиотерапии опухолей. Она должна сделать то, чего не в состоянии сделать нож хирурга,— добить раковые клетки, еще оставшиеся в организме.

Наши отечественные препараты — новозембин, допан, сарколизин — выпускаются пока еще в малых количествах; вскоре выпуск их будет увеличен. Необходимо больше производить и гормональных препаратов, весьма действенных, особенно при лечении рака грудной железы и предстательной железы.

Несмотря на сложность проблемы лекарственного лечения рака, она перспективна и особенно успешна в сочетании с хирургическими или лучевыми методами. Таково мнение видных наших ученых-онкологов — Н. Н. Блохина и Л. Ф. Ларионова.

3

Современная хирургия освоила многие сложнейшие операции на сердце, легких, крупных кровеносных сосудах и пищевом тракте. Эти достижения стали возможны потому, что в Советском Союзе за последние годы развилась новая наука — анестезиология (наука об обезболивании). Хирургия и анестезиология стали как бы родными сестрами; дальнейшее совершенствование хирургии немислимо теперь без анестезиологии, а эффективный наркоз позволяет делать сложные операции с минимальной опасностью для больного.

Новый способ общего обезбоживания в виде так называемого внутритрахеального наркоза открыл хирургии большие возможности. Сущность этого наркоза заключается в том, что в дыхательные пути больного вводится эластическая трубка, соединенная со специальным аппаратом, который позволяет точно дозировать наркотическое вещество (обычно эфир), кислород и углекислоту. К преимуществам этого способа наркоза относятся: незначительное количество потребляемого при операции эфира, возможность очищать во время операции дыхательные пути больного, а если это необходимо, проводить искусственное дыхание.

Долгое время сердце оставалось недоступным для хирурга. До недавних дней мы знали только экстренные операции на сердце при его ранении, да и то результаты были малоутешительными. Благодаря трудам президента Академии медицинских наук СССР академика А. Н. Бакулева, ленинградских хирургов П. А. Куприянова и Ф. Г. Углова, москвичей А. А. Вишневого, Б. В. Петровского, Е. Н. Мешалкина и других советских ученых хирургия сердца была у нас за последние годы научно обоснована и введена в практику. Ныне операции успешно применяются при извлечении из сердца инородных тел, при врожденных и приобретенных пороках сердца и крупных сосудов. Эти операции делают теперь во многих клиниках Советского Союза.

Как возникают приобретенные пороки сердца? Чаще всего из-за ревматизма, который поражает внутреннюю оболочку сердца (эндокард), приводит к недостаточности сердечных клапанов и резкому расстройству сердечной деятельности.

Наиболее тяжелая форма порока — сужение клапанов, расположенных между левым предсердием и левым желудочком сердца; этот порок вызывает резкий застой крови в правой половине сердца, легких, а затем в печени и других органах. Чтобы исправить этот дефект предстояло разработать безопасные для больного способы операции — войти в полость левого предсердия и расширить суженное отверстие между левым предсердием и левым желудочком сердца. В этом случае не требуется широкого вскрытия полости сердца. Совсем иначе надо проводить операцию при другом типе порока — при недостаточности клапанов сердца; здесь предстоит образовать новые клапаны, и трудность для хирурга заключается в необходимости широко вскрыть полость сердца. А это требует временного выключения сердца из кровообращения: хирург ведь должен хорошо видеть состояние его полостей.

Для искусственного кровообращения у нас созданы специальные аппараты — с их помощью хирург может делать внутрисердечные операции на так называемом «сухом» сердце, то есть тогда, когда оно временно полностью выключено из кровообращения.

Какая это увлекательная задача — проникнуть в самые скрытые для глаз участки больного сердца; проникнуть, чтобы их исправить!

Вспомним прошлое. Первый экспериментальный аппарат для искусственного кровообращения сконструировал в 1928 году советский ученый С. С. Брюхоненко. Применяв его, чтобы оживить голову собаки, отделенную от туловища, Брюхоненко получил положительные результаты — голва собаки некоторое время жила и реагировала на внешние раздражения. Узнав об этих опытах, знаменитый английский писатель и драматург Бернард Шоу пришел в восторг; он предсказал медицинской науке большое будущее и, как видим, не ошибся.

Сейчас претворяются в жизнь смелые дерзновения хирургов: с помощью специально сконструированного аппарата искусственного кровообращения в Институте хирургии Академии медицинских наук СССР уже сделаны первые успешные операции на «сухом» сердце человека. Еще два года тому назад таких операций у нас не делали. Пройдет немного времени, и хирурги осуществят такую сложную операцию, как образование новых, искусственных клапанов сердца. К труду возвратятся многие, доселе неизлечимые больные.

Большие достижения имеет советская хирургия и в области операций на легких. Мы умеем теперь удалять части легких и даже полностью удалять одно легкое — при опухолях, туберкулезных и гнойных процессах. Серьезные операции производятся на пищеводе (создание искусственного пищевода), а также на других органах грудной полости.

Руководящие исследования в этой отрасли медицины ведутся созданным недавно в системе Академии медицинских наук СССР Институтом грудной хирургии. Для него выстроен в Москве новый корпус, оборудованный по последнему слову науки и техники. В здании не слышно шума, так как полы сделаны из особого материала, поглощающего звук; постели устроены так, что позволяют, не тревожа больного, придавать его телу нужное положение. Семь просторных операционных снабжены пультами управления, от которых идут провода в специальные комнаты, где находится аппаратура, подающая кислород, приводящая в действие отсасывающие насосы и так далее. В операционных установлены телевизионные камеры и громкоговорители; хирург может, не отходя от операционного стола, пользуясь микрофоном, вызвать любого со-трудника...

Операции на органах грудной и брюшной полостей с успехом проводятся в Институте хирургии, возглавляемом А. А. Вишневским. Руководство научными исследованиями по хирургии нервной системы осуществляет Институт нейрохирургии, основанный академиком Н. Н. Бурденко и возглавляемый ныне Б. Г. Егоровым. Здесь производятся сложнейшие операции — удаление опухолей головного и спинного мозга, совершенствуются методы лечения последствий воспалительных процессов и повреждений головного мозга.

4

Развитие медицины сопряжено с широким использованием новейших приборов, диагностических и регистрационных аппаратов, разнообразной лечебной аппаратуры, средств телемеханики и электроники, ультразвука, электро- и радиотехники и, наконец, кибернетики. В перспективном плане развития медицинской науки на 1959—1965 годы новой технике отведено видное место.

В Институте экспериментальной хирургической аппаратуры и инструментария Министерства здравоохранения СССР разработан замечательный аппарат — так называемое «искусственное сердце-легкие». Аппарат позволяет производить тяжелые операции, заменяя на известное время работу сердца и легких у больного. Аппарат «искусственная почка», также сконструированный в этом институте, спасет немало больных, у которых вследствие заболеваний почек организм отравляется ядами, проникающими в кровь. Этот аппарат будет подключаться к вене больного, «отравленная» кровь поступит в аппарат, очистится там от шлаков и по специальной трубке поступит снова в организм человека.

Сфера применения электронных вычислительных машин непрерывно расширяется. Кибернетика приходит на службу медицине как верный помощник, облегчая решение самых разнообразных задач. За последние годы сконструированы приборы, которые ставят на очередь проблему механизации и автоматизации самого процесса постановки диагноза заболевания. Электронный автоматический диагност не только проанализирует данные, полученные от регистрирующих аппаратов, лабораторные показания, но и обобщит их. Сошлюсь на труды профессора Н. М. Амосова (Киев), который в содружестве с сотрудниками лаборатории вычислительной техники Института математики Академии наук УССР занят сейчас созданием вычислительной машины для диагностики заболеваний сердца.

В удовлетворении нужд медицины скажет свое веское слово и химия. Хирургия, например, получит многие необходимые ей пластмассовые изделия. Из пластмасс можно делать корпуса медицинских аппаратов и приборов, части хирургических инструментов, блоки таких аппаратов, как «искусственное сердце-легкие», штифты для соединения костей, искусственные суставы, трубки для переливания крови, органический клей для скрепления костей при их переломах и многое другое.

Капроновые нити широко применяются в хирургии для наложения швов. Случается, что в результате ранения или закупорки сосудов кровь перестает снабжать какой-либо орган. Раньше это приводило к омертвлению, теперь хирурги заменяют пораженный участок кровеносного сосуда (артерию) протезом из поливинила, и кровь продолжает снабжать выключенную ранее часть организма. Кроме поливинила, для этого идет хлорвинил, нейлон и капрон.

В клиниках применяются ныне нейлоновые протезы при операциях пищевода, трахеи и крупных бронхов в тех случаях, когда необходимо заменить части этих органов, пораженных опухолями. При повреждениях диафрагмы (грудобрюшной преграды) хирург заменяет недостающую ее часть пластинкой из поливинила, прикрепляя эту пластинку к остаткам диафрагмы, ребрам и позвоночнику.

Синтетические вещества используются и для лечения ожогов. На пораженный участок тела накладывается пленка из пластмассы, защищающая его от инфекции и способствующая быстрейшему заживлению обожженной поверхности.

В этих заметках, разумеется, нет возможности перечислить все области применения химических материалов в медицинской науке и практике. Скажу кратко: им принадлежит поистине чудесное будущее!

5

Не меньшую роль предстоит сыграть антибиотикам. В переводе с греческого это слово означает вещества микробного, животного или растительного происхождения, подавляющие жизнеспособность микроорганизмов.

Луи Пастер в 1877 году впервые показал, что некоторые микробы задерживают рост бактерий сибирской язвы; тем самым было установлено явление бактериального антагонизма (антибиоза), которое ученые использовали затем для лечения ряда заболеваний. В конце XIX столетия русский ученый В. А. Манассеин наблюдал в опытах антагонизм зеленой плесени и бактерий, а другой наш ученый, А. Г. Полотебнов, впервые воспользовался этим явлением для практических целей — при лечении гнойных ран.

Затем довольно долго эти вопросы оставались в науке открытыми, но в 1929 году работы английского ученого Флеминга снова привлекли внимание к антибактериальному действию бульонных фильтратов культуры плесени. В 1940 году другой английский ученый, Флори, выделил из культуральной жидкости стойкий препарат — пенициллин. В СССР пенициллин получила в 1942 году З. В. Ермольева; в том же году советский ученый Г. Ф. Гаузе получил другой антибиотик — грамицидин.

В настоящее время число выделенных антибиотиков достигло уже нескольких сотен. Однако в практической медицине применяются лишь те из них, которые, избирательно действуя в организме человека на инфекционный очаг, не создают побочно вредного действия.

Антибиотики позволили резко снизить осложнения при травмах, гнойных ранах, сократить сроки лечения различных болезней, предупреждать возникновение инфекций и значительно уменьшить число смертных случаев. Вот почему проблема антибиотиков в семилетии привлечет большое внимание советских ученых. Предстоит создать достаточно эффективные лечебные препараты для борьбы с инфекциями, при которых микробы и вирусы обладают устойчивостью к известным антибиотикам.

Мицерин — так называется новый антибиотик, изготовленный и затем проверенный недавно в одном из наших научно-исследовательских институтов. Он оказался очень эффективным при лечении инфекций, вызванных микробами, устойчивыми к пенициллину и стрептомицину.

Наряду с совершенствованием методов производства антибиотиков и разработкой комбинированных антибиотиков — сочетание нескольких препаратов — будут продолжены и дальнейшие поиски всевозможных фармакологических и химиотерапевтических средств, необходимых при лечении различных заболеваний нервной и сердечно-сосудистой системы, а также других болезней, поиски противинфекционных и антиревматических средств, витаминов, гормональных препаратов, обезболивающих и других лекарственных веществ.

Контрольные цифры развития народного хозяйства СССР на 1959—1965 годы, утвержденные XXI съездом КПСС, предусматривают значительное развитие медицинской промышленности, особенно производства антибиотиков к другим современным эффективным лечебным средствам. Мы читаем в Контрольных цифрах: «При общем росте выпуска медицинских изделий в 1965 году по сравнению с 1958 годом примерно в 3 раза, производство антибиотиков увеличится в 3,7 раза, витаминов — в 6 раз, медицинских инструментов, приборов и аппаратов, включая аппаратуру для использования атомной энергии в медицинских целях, — в 2—2,5 раза».

Уже в текущем году страна получит намного больше антибиотиков, чем в прошлом. Вводятся в строй новые заводы, вырабатывающие продукцию, нужную медицине.

6

Все большее значение для медицины приобретают вопросы функциональной морфологии клеток и межклеточных тканевых структур. Мы располагаем теперь биофизическими и гистохимическими методиками, электронной микроскопией и первоклассной аппаратурой. Новая техника дает возможность добиться ультратонкого резания тканей, и это весьма важно для того, чтобы их изучать.

Современный протоновый микроскоп позволяет рассматривать тончайшее клеточное строение при увеличении в двести—триста тысяч раз. Исследователь может видеть не только структуру, но и все включения в клетку, то есть изучать живую молекулярную ткань и взаимодействие между молекулами живого вещества. На этом пути будут открыты новые закономерности жизненных процессов в нормальных условиях и при таких заболеваниях человека, как рак, атеросклероз, ревматизм и другие. Создано новое направление в науке — так называемая молекулярная анатомия живого вещества.

Изучение сложной структуры головного мозга, его сосудистой системы, соединительной ткани (опорная ткань организма), строения сердца и других органов даст возможность понять многие процессы, регулирующие наши жизненные отправления. Большую роль призвано сыграть также биохимическое исследование нервной, мышечной и других тканей.

Процессы жизнедеятельности неразрывно связаны со структурой белков, их обменом в организме. Ф. Энгельс указывал, что «жизнь — это способ существования белковых тел, существенным моментом которого является постоянный обмен веществ с окружающей их внешней природой...» В нашем организме непрерывно происходит обновление белка за счет его разрушения и созидания (биосинтез); уже известны многие стороны этого вопроса, но дальше предстоит еще более глубоко изучить строение белков, процессы их синтеза, превращения белков в организме. Эти работы открывают широкие горизонты практической медицине и уже

используются ею. Так, например, за последнее время в клинике стали определять активность в крови ряда ферментов, что важно для диагностики некоторых заболеваний (злокачественные опухоли, эпидемический гепатит и другие).

Благодаря применению меченых атомов удается без вредных последствий проводить прижизненные исследования происходящих в организме человека химических процессов и процессов обмена веществ. Тонкие функции тканей и клеток, например головного мозга, исследуются с помощью специальных высокочувствительных электрофизиологических приборов.

Сочетание этих двух направлений исследований — формы и функции — позволит открыть многие стороны деятельности клеток, тканей, белков, ферментов, солей и других веществ в процессах обмена организма. Тем самым ученые подойдут ближе к некоторым еще не ясным для науки жизненным процессам и их регуляции организмом. Врачи-практики также смогут сделать надлежащие выводы из этих исследований.

Важный раздел научных работ — изучение восстановления (регенерации) различных тканей и органов. Эти исследования уже довольно широко отражены в восстановительной хирургии: при операциях замещения сосудов, костей, при замещениях частей пищеварительного тракта, при пересадках кожи и других тканей.

Значительное внимание в семилетии будет уделено физиологической оценке деятельности различных органов и систем: нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной, выделительной, терморегулирующей. Это даст возможность деятелям практической медицины, более точно зная работу отдельных органов, правильнее подходить к лечению различных болезней.

Наследственность человека изучена еще недостаточно полно; до сего времени мало изучались и наследственные болезни. В Институте экспериментальной биологии было показано, что наследственная передача признаков от клетки к клетке обусловлена не только внутренними факторами организма; обнаружен путь прямой передачи наследственных признаков при размножении клеток. Это имеет большое значение для разработки вопросов пересадки тканей от человека к человеку (гомотрансплантация), при изучении особенностей внутриутробного развития организма, биологии злокачественного роста.

В семилетии будут изучаться особенности передачи наследственных черт человека, роль наследственности в происхождении заболеваний крови, глазных, нервных, душевных и ряда других болезней.

Физиология и биология определяют основные пути развития медицинской науки в целом. Академик А. Н. Несмеянов, выступая на XXI съезде партии, подчеркнул, что «в понимании основных биологических явлений лежат возрастающие возможности активного вмешательства в явления жизни, управления процессами обмена веществ в организме. Именно на этом пути медицина подойдет к овладению методами радикальной борьбы с заболеваниями, вплоть до полного искоренения тяжелых недугов, как рак, сердечно-сосудистые и нервные заболевания».

Советская медицинская наука будет опираться в предстоящих исследованиях прежде всего на физиологическое учение И. П. Павлова, будет дальше развивать это плодотворное учение на основе материалистической диалектики.

7

В прошлом году, на очередной сессии Академии медицинских наук СССР в Минске, была поставлена на обсуждение проблема образа жизни человека. Тем самым подчеркивалась важность научной разработки вопросов социальной гигиены.

В период бурного расцвета техники и крутого подъема культуры производства особое значение приобретают вопросы гигиены труда. Это предъявляет новые требования к медицинской науке.

Чтобы бороться с утомляемостью и повысить производительность труда, советские ученые, как это намечено в семилетнем плане, предложат рациональные режимы труда и отдыха, новые средства профилактики профессиональных заболеваний.

Ученым-медикам предстоит решить ряд проблем общей и коммунальной гигиены. Сюда входят, в частности, очистка атмосферного воздуха городов и промышленных центров, санитарная охрана почвы населенных мест, борьба с шумом, вопросы рациональной планировки населенных мест, гигиены жилых и общественных зданий.

Тесно связана с этими вопросами и приобретает важное значение проблема геронтологии (наука о физиологии и патологии пожилых людей и биологии старения). Семи-летний план развития медицины намечает широкий круг исследований в этой области. Недавно создан новый научно-исследовательский институт в Киеве — Институт геронтологии.

Ученых давно волновали вопросы старения. Благодаря достижениям медицины в борьбе с инфекциями средняя продолжительность жизни человека увеличилась, однако еще далеко не раскрыта сама сущность процесса старения. Эта проблема является одной из важнейших биологических проблем второй половины XX века.

С глубокой древности человек знал, что годы приносят ему упадок сил и деятельности.

Вспомним мечту великого афинского трагика Еврипида:

Завейте вы, буйные ветры,
Несите вы горькую старость
Далеко за синее море!
Пусть будет зарок ей положен
В жилище входить к человеку.

Исторические примеры показывают, что выдающиеся способности и талант человека могут проявляться не только смолоду, но и в шестьдесят, семьдесят и даже восемьдесят лет. Вспомним Л. Н. Толстого, Гёте, Дж. Верди, Тициана, творивших в преклонном возрасте. Таких примеров история знает немало.

В царской России средняя продолжительность жизни человека равнялась тридцати—тридцати двум годам. В Советском Союзе она составляет 67 лет, эта цифра и дальше будет непрерывно увеличиваться. Уже теперь у нас в стране насчитываются десятки тысяч людей старше 90 лет; только в одной Грузии живет ныне свыше тысячи человек в возрасте 90 лет и выше. К этому следует добавить, что общая смертность населения СССР уменьшилась по сравнению с 1913 годом в четыре раза, а детская — в шесть раз. По естественному приросту населения Советский Союз идет вперед быстрыми темпами: каждую минуту население СССР увеличивается на семь человек, то есть больше чем на десять тысяч человек в сутки.

Но что же такое старость? Физическое истощение, нарушение обмена веществ или просто естественное явление?

Еще в прошлом веке И. И. Мечников создал первую научную теорию старения (теория отравления организма кишечными ядами); он наметил пути отдаления старости и смерти. Но если Мечников связывал старость с жизнедеятельностью кишечных бактерий, то другие ученые рассматривали старость как обратное развитие (инволюция) отдельных тканей или органов — семенников или яичников (Э. Штейнах, С. А. Воронов), а также других желез внутренней секреции — щитовидной железы, придатка мозга.

Известный советский ученый А. А. Богомолец выдвинул положение об определяющей роли защитных способностей организма в происхождении различных болезней, особое значение он отводил соединительной ткани. По мнению Богомольца, особенности строения и функции соединительной ткани определяют предрасположение к тем или иным заболеваниям; в зависимости от этого находится и долголетие человека. Существует много и других теорий старения.

И. И. Мечников указал на необходимость различать «преждевременное», или «патологическое», старение и «естественное», или «физиологическое»; он опроверг взгляд на старость как на болезнь. При физиологической старости в организме последовательно понижается интенсивность обмена веществ и наблюдаются атрофические изменения во всех системах органов. Это приводит к снижению функциональных и реактивных способностей организма. Вместе с тем организм приспосабливается к этим изменениям.

Наиболее полно и всесторонне процессы старения объясняет учение И. П. Павлова о высшей нервной деятельности, регулирующей все физиологические процессы. Это учение позволяет правильно понять биологические основы старения, и в частности преждевременного. Ученица Павлова М. К. Петрова показала опытами на животных, что к преждевременному старению ведут функциональные изменения в деятельности нервной системы, ее длительные перенапряжения и так называемые «срывы» высшей нервной деятельности.

Ранним периодом старости принято считать возраст от 65 до 74 лет, старость в собственном смысле слова начинается с семидесяти пяти лет. Более раннему наступлению старости способствуют заболевания, поражающие человека главным образом во вторую половину его жизни,— болезни сердца, почек, сосудистой системы, а также рак. Чтобы предотвратить преждевременное старение, необходимо вести правильный образ жизни, соблюдать личную гигиену, правильно питаться, а также нужна физическая тренировка пожилых людей. Кроме того, И. П. Павлов считал, что для периода старости необходимо создать психологические и моральные предпосылки к продолжению труда. По его мнению, необходимо возможно больше удлинить трудовую деятельность в период старости.

Борьба за активное долголетие человека — проблема социального и биологического значения. Она должна проводиться с момента зарождения человека и до его глубокой старости.

На ближайший период советская медицинская наука ставит неотложную задачу — глубоко изучить биологические основы естественного старения, факторы внешней среды, например климатические условия, влияющие на достижение человеком нормального долголетия. Серьезное внимание будет уделено профилактике.

Забота Советского государства о сохранении здоровья трудящихся неизмеримо облегчает медицине задачу продления жизни пожилых людей в СССР. Этому же будут способствовать и вводимые у нас в годы семилетки самый короткий в мире рабочий день и самая короткая рабочая неделя при одновременном росте благосостояния населения.

В разработанной партией программе развернутого строительства коммунистического общества видное место занимают меры по улучшению условий труда и быта советских людей. Перспективный план развития медицинской науки — составная часть великой семилетки.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

СТЕПАН ЗЛОБИН

★

О РОМАНЕ А. КАЛИНИНА „СУРОВОЕ ПОЛЕ“

Недavno в Москве прошло совещание по вопросам социалистического реализма, организованное Союзом писателей СССР и Институтом мировой литературы имени М. Горького. На совещании по преимуществу ставились вопросы общих исторических истоков социалистического реализма, вопросы возникновения социалистического реализма в национальных литературах и национальном искусстве отдельных народов. Бесспорно, исторические изыскания в этой области имеют огромное значение, однако не истории же принадлежит главное место. Гораздо важнее ставить теоретические вопросы применительно к непосредственной творческой практике наших дней, помогая художнику в его сегодняшнем созидательном труде теоретически осмыслить свою работу и придать ей верное направление.

Особенно важной в этом отношении — в плане осмысления художником своего труда — представляется нам проблема индивидуального эстетического своеобразия в литературе социалистического реализма.

Мы полностью за эстетическое своеобразие художника, ибо талант художника и выражается в том, что он может и находит что сказать миру своим собственным, своим «отдельным» голосом. Только такие своеобразные голоса художников и обогащают искусство. Но следует очень серьезно опасаться того, чтобы объявить «эстетическим

своеобразием» тот или иной отход от социалистического реализма и стыдливо уклониться от того, чтобы с достойной прямотой сказать, что хотя такой-то художник субъективно и стоит на партийной позиции, но данное, такое-то его произведение по тем или иным признакам не принадлежит к произведениям социалистического реализма.

Эстетическое своеобразие художника может выражаться в приверженности художника к тому или иному жанру, вплоть до полного утверждения своего собственного, особого жанра, может выразиться в композиционных моментах, в степени динамизма, вплоть до привнесения в литературу приемов кино в пользовании внешним изображением, зрительными впечатлениями или диалогом, в авторском умении и стремлении непосредственно заглянуть в психологическую глубину своего литературного персонажа, при этом в пользовании внутренним монологом, или диалогом, или авторскими суждениями, отступлениями. Позволим себе не согласиться с проповедниками преимуществ авторского текста над диалогом или с поборниками преимуществ диалога над авторским текстом. Те или иные художественные средства предпочитает автор для выражения данной идеи или данного образа — это его авторское дело, и любой заготовленный для всех авторов и всех произведений «самый лучший» рецепт не выдерживает никакой критики с точки зрения

Редакция «Нового мира» не согласна со статьей Ст. Злобина. Но по просьбе автора мы решили предоставить ему возможность изложить свое мнение о романе А. Калинина «Суровое поле» перед читателями нашего журнала. Тем более, что высказанные в его статье взгляды совпадают с позицией ряда товарищей, участвовавших в обсуждении романа А. Калинина в Советском Комитете ветеранов войны. Наше отношение к выступлению Ст. Злобина выражено в публикуемой в этой же книге «Нового мира» статье А. Дементьева.

предоставления автору свободы в выражении его эстетического своеобразия.

Вероятно, к тем же средствам, используемым художником вследствие его индивидуальных особенностей, можно отнести избранную им меру метафоричности, насыщенности его речи эпитетами или, наоборот, сухую телеграфную точность, а также плавность или прерывистость ритма его фразы, широкий мазок, смелый скупой штрих или кропотливое выписывание деталей, склонность к раздумью и лирическому отступлению или приверженность к документализму, публицистический пафос или преобладание иронии, обилие персонажей или изображение больших событий через посредство узкого круга образов, на малой площадке...

Думается, что все это, включая и фабулу, и сюжет, и ритмы развития их, и архитектурную связь различных планов произведения, мы не можем делать критерием принадлежности его автора к литературе социалистического реализма.

Однако скрывать под нежной фатой «эстетического своеобразия», например, такие штуки, как необязательность конкретной историчности, до которой договорились некоторые из литературоведов на том же упомянутом совещании, — это может привести к тому, что мы отнесем к социалистическому реализму черт знает что... А нам нельзя черт знает что относить к социалистическому реализму — это все равно, что самим распахнуть ворота перед ревизионизмом и приветствовать его за то, что он входит в наш дом под прикрытием розовой фаты.

Прежде всего социалистический реализм по смыслу и по сущности реалистичен без всяческих оговорок и народен как по своим истокам, так и по доходчивости, по своей доступности огромным читательским массам.

Именно потому, что он реалистичен и наполнен партийной направленностью, в нем сливается глубокая идейность, осознанность исторического смысла изображаемого с шекспировской живостью и действенностью, которые в общеизвестном письме к Лассало Энгельс наметил как характеристические черты литературы будущего. Эти черты и являются страстным и направленным выражением партийности.

И что наиболее существенно, социалисти-

ческий реализм всегда идейно отчетлив и ясен, ибо все его созидательные силы непременно направлены к эмоционально заряженной, образной кристаллизации отчетливо ясной коммунистической идеи.

Художественное произведение не может быть отнесено к социалистическому реализму при нарушении реалистичности образов и реалистичности их системы. Оно не может принадлежать к произведениям социалистического реализма, если в нем начинает превалировать индивидуализм, выражается ли он в идейной тенденции произведения или в субъективизме формы. Доступность произведения лишь ограниченному кругу «избранных» исключает его из числа принадлежащих к социалистическому реализму.

Отсутствие исторического подхода и осмысления в историческом ряду реальных человеческих образов и общественных отношений также не может исходить из метода социалистического реализма. Это может быть символизмом, импрессионизмом — чем угодно, но не социалистическим реализмом.

И уже совершенно бесспорно для всех нас то, что путаность, неясность, туманность идеи произведения, туманность мировоззрения, вследствие неспособности идейно путанного произведения играть роль организующую общественное сознание для коммунистического будущего, также не могут относиться к социалистическому реализму. То же самое следует сказать о произведениях, которые вследствие неправильности авторского расчета, иногда исходящего из ошибки в вопросах типичности, иногда из-за ошибочности в выборе литературного приема или из-за слабого знания материала искажают лицо действительности или представляют его затуманенным, как в отсыревшем где-то в сарае зеркале...

Ревизионизм ищет себе опоры не только в своих прямых сторонниках. Он находит ее и в наших невольных, подчас догматических, ошибках и недосмотрах и всегда использует как лазейку поверхностное отношение художника к действительности. Поверхностное знание материала может нередко привести к тому, что при реалистичности отдельных черт произведения или отдельных образов, но при неверной их группировке, недостаточной глубине разработки отдельных сюжетных моментов или при подмене декларативным пафосом недо-

стающего материала произведение получает не то звучание, не ту объективную идейную значимость, которая предполагалась автором, к которой автор стремился.

Возьмем как конкретный пример роман Ан. Калинина «Суровое поле», выпущенный в 1958 году. Этот роман кажется нам характерным уже потому, что автор изображает в нем литературно-созидательный процесс и раскрывает литературный творческий метод советского писателя, вплоть до намеренного обнажения отдельных литературных приемов.

Закономерность обращения именно к этой книге подтверждается также тем, что это произведение за год издано тиражом в 680 тысяч экземпляров. Значит, издатели, редакторы, а вслед за ними и рекомендующие книгу аннотаторы и рецензенты считают роман более важным, более актуальным, чем многие книги, посвященные послевоенной советской действительности, на которую настойчиво нацеливает литературу партия, стоящим на, так сказать, «генеральной линии» литературы, выражающим советскую точку зрения на некоторые моменты в истории Отечественной войны, на моральное воспитание молодежи, на советский патриотизм и, наконец, на творческий метод социалистического реализма.

У этого произведения, так сказать, два «автора»: Ан. Калинин и второй — его вымышленный персонаж и положительный герой — писатель Михайлов, который на протяжении всей повести пишет книгу о войне.

Местами даже трудно понять, где в этой книге Ан. Калинин говорит с читателем сам, а где слышится голос писателя Михайлова.

Попробуем же разобраться в этом литературном произведении, которому издатели отвели столь почетное место.

Книга «Суровое поле» посвящена нескольким темам: и созидательному литературному процессу, и картинам колхозной современности, и нормам гражданской и солдатской морали, и взаимосвязи коммунистической партийности с гуманизмом.

Все это глубокие темы, требующие серьезнейшего размышления писателя, философского подхода, ясности и четкости в партийной постановке вопросов.

Перейдем, однако же, к самой книге.

После довольно традиционного пейзажно-го и исторического «запева», или «разбега», автор говорит о том, что его герой (а глав-

ный герой его — писатель Михайлов) два года назад, поселясь на тихом донском хуторе, остался тут «для большого и длительного разговора с самим собой».

Писатель Михайлов — это сорокалетний бывалый воин, встречавший на войне множество разных людей; он ощущает, как писатель, свой долг перед ними. И они, то есть люди, прошедшие с Михайловым через войну, — они все здесь, вместе с ним, они живы в его сердце и памяти.

Он знает, что, «пока не расскажет о них все, что знает и что должен рассказать, не будет ему покоя». Так значительно начинается эта книга, и читатель ждет глубокого откровения о войне...

Писатель Михайлов слышит звуки войны, перед ним встают ее образы. Вот брякнуло снаряжение, вот мелькнули тени перебегающих бойцов... Михайлов знает войну, как знает ее и его друг Анатолий Калинин, что он доказал своим прежним творчеством. Образы войны у него живы своей простотой, скупы, очерчены едва-едва легкими штрихами, а доходчивы своим реализмом. Именно таковы бегло проходящие в начале книги образы фронтового необстрелянного новичка Андрея и его более опытного, бодрого старшего земляка, которые пробираются через узкую горловину «котла», уготованного им фашистом Клейстом...

Однако военные образы недавнего прошлого, встающие в воображении писателя Михайлова, то и дело сменяются явью современной колхозной жизни на Дону, которая врывается насильно в окно писательского кабинета голосами людей, запахом смолистого дымка, стуком молотка и невольно подсмотренными человеческими отношениями...

Помимо войны и романтической влюбленности в донскую историю, в донские пейзажи, помимо довольно беглых реалистических рисунков колхозного быта, значительное место в книге Ан. Калинина занимает раскрытие в данном случае важной для нас темы писательского труда.

Эта тема местами кажется резко преувеличенной, когда наблюдаешь, как благоговейно ходит положительный герой Ан. Калинина, писатель Михайлов, вокруг собственной персоны, заставляя свою супругу верить в то, что его работа — это нечто таинственное, постоянно связанное чуть ли не со смертельно опасными приступами: уж

он и в обморок-то падает и чуть ли не галлюцинирует, а бедняжка его жена — в ужасе, как бы автор от переживаний своих героев не заболел и не умер.

Оставим на совести писателя Михайлова это жестокое кокетство семейных масштабов; оно еще не помеха высокому уровню создаваемого им художественного произведения. Возможно даже, что для Ан. Калинина это лишь прием, чтобы показать, что писатель Михайлов пишет свою книгу, что называется, «кровью сердца». Несмотря на наивно лобовую «романтизацию» этого способа доказательства, давайте поверим, что пером Михайлова водит истинное гражданское волнение советского писателя-коммуниста, ветерана войны, который стремится высказать бьющее из самого сердца жаркое слово о достойных борцах за социалистическую Родину, против фашизма, о героях, о погибших и живых соратниках, о достойных чести и славы советских людях.

Кого же из них, боевых друзей и соратников, избрали своим главным героем писатель Михайлов и его верный друг — писатель Анатолий Калинин?

Да все того же необстрелянного фронтového новичка Андрея, который мелькнул в первом военном эпизоде, в тяжелой обстановке, нарисованной в самом начале книги.

Легко и логично представил себе фронт-овик-писатель Михайлов, что в конкретно исторической обстановке первого периода войны мелькнувший в темной полуразрушенной часовне молодой боец мог волей обстоятельств оказаться в фашистском плену...

Нить порвалась! Главный персонаж произведения ушел от автора на неведомый и запутанный путь, в безвестность.

И вот тут-то сказалась порочность субъективистского «импрессионистского» метода творчества, которым писатель Михайлов подменяет нелегкий и кропотливый писательский труд и глубокое исследование конкретно исторического фактического материала — неизбежные основы метода социалистического реализма.

Михайлов задумался. И в этот период раздумий ему на глаза, на семейной вечеринке, устроенной по поводу проводов в армию Андрея, сына колхозной бригадирши Дарьи, попадает портрет не такого уж юного бойца, отца четверых детей, который ради войны покинул семью и родную станицу.

И вдруг писателю привиделись в этом портрете черты того самого молодого героя, след которого он потерял. Оказывается, на портрете изображен погибший на фронте отец Андрея, тоже Андрей Сошников.

Писатель бросается на поиски по его следам...

Михайлову повезло: оказывается, тут же, по соседству, живет фронтовой товарищ Андрея.

И вот уже писатель добрался до соседнего виноградника, где сидит бывший вместе с Андреем в плену пьянчужка, колхозный сторож Сулин.

Через Сулина узнает писатель, что Андрей расстрелян в лагере пленных в Норвегии. Но Сулин не верит в смерть своего товарища. Он хочет думать, что Андрей не расстрелян, а спасся, бежал...

Писателя Михайлова увлекла тема фашистского плена, тема советского человека, попавшего в лапы фашизма. Что же, советскому писателю годятся все темы в многообразии мира. Важно то, как подойти к той или иной теме, что выразить в ее разработке...

Не зная конкретного материала, советский писатель Михайлов мог найти и по ближайшим донским станицам достаточно бывших фронтовиков, солдат и офицеров, которые испытали эту тяжкую судьбу: прошли через гитлеровские лагеря для военнопленных, не менее чем по сотне раз заглянули в глаза неминуемой, казалось, смерти и все же остались живы. Много могли бы писателю Михайлову рассказать эти люди...

А. С. Пушкин в свое время, при способах сообщения девятнадцатого века, не пренебрег поездкой в Оренбургский край для кропотливого сбора материалов пятидесятилетней исторической давности. Михайлов же решил изучить путь лишь одного изображенного на портрете бойца по одному единственному свидетельству подвыпившего колхозного сторожа Сулина. Михайлов не дал себе труда побыть дальше ближайшего колхозного виноградника, поверил на слово единственному свидетелю и некритически принял всю его болтовню, правда довольно откровенную, но неумную и очень шаткую в политическом смысле.

Чего стоит рассказ этого бывшего пленного и бывшего власовца, посудите сами.

«— В январе сорок четвертого года из лагеря в Равенсбрюке перевезли меня во французский город Лимож. Не одного привезли, всего сто четырнадцать человек отобрали из нашего лагеря — врачи отбирали самых здоровых.

...Удивлялись мы...

...Мало того, что нас разместили не в бараках, а в хороших казармах. Выдали немецкое солдатское обмундирование — правда, старое — и с баланды перевели на паек. Чудеса! Еще никогда этого не было. И на работы не гоняли, номера с нас сняли, а охрана стала вежливая, — как подменили немцев... В город Лимож стали нас отпускать по увольнительным, как, скажем, в армии. Погуляли мы и начали даже в Лиможе с французскими женщинами знакомства заводить... Я... в лагерь только ночевать ходил...»

Речь идет о начале 1944 года. Но ведь в это время все советские военнопленные из фашистской печати, направляемой в лагерь, уже знали, что такое власовщина. В это самое время в сотнях лагерей советских военнопленных создавались подпольные организации с главной задачей бороться против власовской вербовки и ни под какими угрозами и муками не надевать фашистскую форму. Не было среди советских военнопленных наивных людей, которые не понимали бы, что значит надеть немецкую форму. Пленные по неделям оставались раздетыми, мерзли, голодали, подвергались избиениям, чтобы только не поддаться фашистам. Так боролись тысячи и тысячи советских людей. Зачем же Ан. Калинин изображает советского писателя Михайлова простачком, сразу доверившимся болтовне Сулина? Даже если поверить Сулину, его единичной правде, то разве же можно считать исчерпанными его рассказом сборы материала для морально и политически ответственной книги?!

Только трусы, шкурники и антисоветские элементы — команданты и полицейские из советских военнопленных — шли на эту вербовку, иногда из страха перед пленными лицемерно маскируясь под дурачков. Каждый ушедший к власовцам советский пленный наносил кровавый удар в спину массе сопротивлявшихся власовщине советских военнопленных.

Ведь именно эти люди, зачищенные немецкой военной формой от расправы

бывших товарищей, были в лагерях пленных самыми опасными фашистскими ищейками, раскрывая то, что немецкие фашисты без них не умели найти и увидеть, так как власовцы сами переметнулись к фашистам из среды пленных советских людей. Уж они-то умели разыскать командира или политработника, скрывшегося в массе военнопленных! Если власовцы несли охранную службу по лагерям, то стреляли по беглецам не менее усердно и метко, чем немецкие солдаты. Партизаны Франции, Чехословакии, Белоруссии и Украины знают, какие это были каратели. И для сегодняшнего дня, для воспитания молодежи вовсе не безразлично это, как не безразлично понятие о патриотизме и верности Родине.

Классический христианский образ предателя Иуды отвратителен и сегодня.

Но, не зная этого сам, писатель Михайлов положился во всем на рассказ... бывшего власовца (!), и с этого начинается порочность в творчестве писателя Михайлова, которая, естественно, бросает тень и на всю книгу Ан. Калинина.

Фальшива эта «наивность» в рассказе Сулина, который говорит, что советских пленных, одетых в немецкую форму, откармливают, сняли с них пленные номера, наравне с гитлеровскими солдатами пускают во французский город Лимож, где они подыскивают солдаток-любовниц, и при этом будто бы они не понимают еще, что сами они уже фашистские солдаты.

Нет ничего удивительного, что Сулин, имевший в Лиможе «французскую жену» Мадлен, хочет именно с такой «наивной» позиции изобразить этот скверный и позорный эпизод, однако же для чего Ан. Калинин наделяет таким легковерием и несерьезным отношением к писательскому труду и к советской литературе советского писателя Михайлова — это уж совершенно непонятно...

Ведь даже теплые слова Сулина в отношении «французских жен» звучат нехорошей фальшью. Из всех книг французских прогрессивных писателей мы знаем, что французские женщины презирали гитлеровских оккупантов не меньше, чем советские. А кем же, как не самой презренной частью фашистов, могли для них выглядеть русские пленные, согласившиеся вступить на фашистскую военную службу?!

Но наконец любимый герой писателя Михайлова, солдат Андрей, хоть и поздно, все ж спохватился. Догадался, что фашисты откармливают бывших пленных солдат, чтобы с оружием в руках послать против Родины. Что же делает этот «догадливый» парень? Он и его друг решают бежать через несколько границ в СССР. В рассказе Сулина это звучит так: «Мне не чужими руками нужно с сердца ненависть смыть, иначе она меня задушит. За все, что сам испытал, самому и должок вернуть и еще за своих товарищей рассчитаться». Так Сулин якобы говорил на прощание своей Мадлен.

Между тем он же отлично знал, что французские партизаны, маки, заклеивали по ночам листовками заборы. «Отчаянные ребята эти маки, не хуже наших советских партизан! Ночами только они и хозяйничали во Франции». (Здесь и далее разрядка моя.— С. З.)

А ведь советские войны, бежавшие из фашистского плена, к этому времени завоевали и во французских маки почетное место. Там были целые отряды советских бойцов.

Вот как рассказывает о своей судьбе во Франции один из многих, случайный, рядовой корреспондент Советского Комитета ветеранов войны¹.

«...Запечатали в вагоны и отправили во Францию. Привезли нас в Моньяк-Лаваль, где мы были под строгим конвоем. Но там наши офицеры сразу, не теряя времени, связались с французскими рабочими и коммунистами, и через несколько дней мне передал Сычев быть готовым каждую минуту. И мы запаслись холодным оружием, и через двадцать дней мы бежали с лагеря. Мы были предупреждены не спать, и вот ровно в один час ночи мы вышли с барачков несколько человек. Посымали конвой, обезоружили, загнали на вахту, заперли. Подогнал машины доктор Оборин. Он был уже переледет во французском, в очках. Где мы погрузили оружие — винтовок 400 шт., пулеметов 30, автоматы, пистолеты. Поснимали с немцев несколько гранат. Погрузились в машины, и в леса нас бежало 72 человека. Всего нас было на другой день 150 человек, где и начались ежеминутные операции. Были с нами французы, поляки, украинцы, грузины, узбеки. Командиром был Азывазян Вар-

тан, помощником — капитан Плющев Филипп Федорович. Я был пулеметчиком первый номер. Операции производили Моньяк-Лаваль — Орадур — город Лимож и прилегающие к нему районы, за что мы были награждены значками «Партизаны города Лимож» и награждены знаменем...»

Пусть извинит читатель длинную выписку из письма, в котором так кстати говорится именно о лиможских партизанах. Но, право же, это письмо, в котором мы позволили себе только выправить орфографию, по бесхитрому отражению исторической правды весит гораздо больше, чем весь построенный на песке разбираемый нами роман.

Автора письма и его товарищей не переодевали в фашистскую форму, не откармливали, не отпускали на целые дни за проволоку. Их пригнали в лагерь и держали под сильным конвоем, после того как сорвали попытку их побега из львовского лагеря военнопленных...

Но Сулин и Сошников решили лучше бежать не в маки, а на родину. Воля автора! Может быть, это необходимо с точки зрения сюжетного построения или для развития образов и характеров его любимых героев...

Оказывается, побег Сулина и Андрея Сошникова не удался. Схваченные немцами, они оказались в концлагере в Норвегии.

Там любимого героя Михайлова — Андрея — ждал печальный конец, как и его друга Сулина. Но Сулин — вот он, а Андрей так и канул, хотя после войны прошло десять лет. Однако автор вместе с Сулиным не хочет, чтобы Андрей был расстрелян, и он ведет его дальше, в побег по Норвегии, хотя нить снова утеряна.

Что же, право автора изобразить, что его герой счастливо вырывается из рук смерти, да еще, спасаясь от смерти, в единоборстве убивает фашистского палача.

И вот волей писателя Михайлова после ряда приключений Андрей попал в оккупированную фашистами Данию и снова в число военнопленных...

Здесь писатель Михайлов еще раз утрачивает след своего героя, однако он даже как будто вдумывается в исторически конкретную обстановку середины 1944 года и успокаивает жену, что фашисты в этот период уже утратили бдительность, стали небрежны и Андрею не грозит теперь казнь, так

¹ Автор письма — возчик почты В. В. Зенин (Сталинградская область).

как его просто сунут в какой-нибудь лагерь пленных...

Однако на время герой опять затерялся. Работа писателя остановилась, и вот снова Михайлов мучительно мечется в поисках дальнейшей судьбы Андрея. Но эти мучения пока еще внутреннее и личное дело писателя Михайлова, который опять-таки вместо рационального собирания фактических, достоверных материалов шлет воззвания к ветру:

«Счастлив тот, кто в трубном гласе ветра, прилетающего из мглы, может расслышать голос потерянного в океане человечества друга и тоже послать ему свой привет на этих могучих крыльях!» — заявляет автор.

И пока ветер, по поручению писателя Михайлова, ищет затерявшиеся следы Андрея, перед читателем на глазах писателя Михайлова, часто глядящего через окошко, протекает будничная жизнь донского колхозного хутора и станицы. Перед читателем является цепь современных образов.

Нельзя сказать, что писатель Михайлов вторгается в жизнь. Скорее жизнь вторгается в окошко его кабинета и подстерегает Михайлова за каждым углом. Писатель же держит «нейтралитет». Его как бы не касаются происходящие вокруг мелкие бытовые стычки и моральные столкновения, хотя вся окружающая действительность пишется с добросовестных реалистических позиций и внутренние симпатии и антипатии писателя Михайлова не вызывают читательских сомнений; они сквозят в самом строении образов действительности, как и присуще писателю-реалисту.

Красочны образы женщин: тихой, заботливой, но «себе на уме» Любавы, которая пятнадцать лет молчаливо, «по-бабьи» терпела своего мужа, шкурника и вора, а на шестнадцатом вдруг взбунтовалась — взяла да ушла от него! И ее сестры — вдовой солдатки, горячей и в труде и в любви, красавицы, колхозной бригадириши Дарьи, и другой соблазнительной вдовушки — беспокойной насмешницы, язвковой одинокой Фени. Живо выглядит и тихий юноша призывного возраста, сын Дарьи, Андрей, и его невеста, молодая колхозница из Дарьиной бригады, — всех их знает писатель... И Сулина, скромного пьянчужку, колхозного сторожа, пользуясь слабостью которого второй колхозный сторож — муж Любавы, темный человек Стефан Демин — из года

в год грабят колхозные виноградники, — всех их, должно быть, ярко представляет себе автор. Жизнь этих людей видна писателю Михайлову, но он в нее не вмешивается и не очень-то ею интересуется, мимоходом, пассивно наблюдая ее и по-прежнему мучась над поисками продолжения повести об Андрее Сошникове.

Ветер, однако же, что-то долго не приносит Михайлову вестей, а иного пути для изучения и собирания материалов Михайлов, видно, не признает. Разве что, как сказано у писателя, «распахнуть окно в этот звездный мир и спросить:

— Отзовись! Где ты?»

Оставим этот «метод» на совести автора.

Михайлов, чтобы, по его выражению, не «обрасти коростой», идет в станицу, в райком партии, и застаёт сцену, когда секретарь райкома Еремин отчитывает Степана Морозова, председателя колхоза, между прочим азбучно поучая, что «и воспитание тех, кого в прошлом наказала советская власть, тоже наш долг...»

«Легче всего, — говорит положительный герой произведения Еремин, — объявить их злостными разлагателями и опять применить к ним статью».

Однако довольно резонно возражает и председатель колхоза Морозов:

«— У меня в прошлом году один изменник родины, Ковалев, с Колымы вернулся. Под командой Власова служил и захвачен был с оружием в руках. Теперь его по нашему мягкосердечию, по амнистии то есть, досрочно освободили, и он еще прикидывается невинно пострадавшим. Напиться до потери сознания, публично рвет на груди рубаху и кричит, что он жертва культа личности. Работать не работает: «Я, говорит, свое здоровье на золотых приисках оставил». С ним, Иван Дмитриевич, мне тоже терпеливо воспитательную работу проводить? Агитировать его за советскую власть и за коммунизм?»

Точка зрения советского читателя скорее совпадет здесь с точкой зрения Морозова.

Если этот подонок за все годы Колымы и за год после амнистии не осознал своей вины перед Родиной и выдает себя за «жертву культа личности», то нечего с ним цацкаться. Мы говорим о суровых мерах вообще против злостных пьяниц и хулиганов, а что же выходит по мнению Еремина —

если пьяница оказался в рядах изменников, это — смягчающее обстоятельство?

Ведь все знают, что такое были на самом деле жертвы культа личности. Недаром же принято и широко опубликовано всем известное постановление ЦК КПСС о ликвидации последствий культа личности. В частности, ликвидация его последствий заключалась в реабилитации честных людей, невинно пострадавших от Берии и его подручных.

Глубоко осмыслив это историческое постановление, писатель-коммунист С. Смирнов, как все знают, своей литературной работой сделал большое и благородное дело, употребив силы и время для поисков «утерянных в океане человечества» героев и патриотов.

Если бы и писатель Михайлов шел не от случайного разговора Еремина с Морозовым, а применил бы более трудоемкие способы поисков своего героя, то Михайлов, а с ним вместе и Ан. Калинин просто постыдились бы вложить в уста секретаря райкома партии построенные со странной этической и политической неуклюжестью речи о «гуманизме» столь аполитичного рода.

Секретарь райкома Еремин усердно подчеркивает, что сегодня власовец не есть власовец, а всего лишь бывший власовец. Формально, юридически он прав: закон говорит о бывшем власовце. Но ведь и речь идет не о юридических правах, которых никто у Ковалева не ущемляет!

Предательство — каков бы ни был его мотив — вытекает из внутренней сущности, из характера человека, и вряд ли политически правильно поступает секретарь райкома Еремин, когда он в защиту пьяницы-власовца Ковалева тут же приводит анекдот о прекрасных глазах другого власовца, с которым встретился в ноябре 1944 года в Венгрии, где власовцы, которые сообразили, «как бы не опоздать им начать свои грехи перед родиной отмыкать», как рассказывает Еремин, в последний момент подняли восстание в тылу немцев и венгров, чтобы перейти на сторону Красной Армии.

Мы все слышали о подобных отдельных случаях. Итальянцы и румыны тоже, случалось, в решительный момент подобным образом убивали своих офицеров и сдавались в плен Красной Армии, хотя это и были мобилизованные солдаты чужеземных армий...

Оказавшийся в данном случае в роли командира восставших солдат противника русский солдат даже не удостоил советского капитана Еремина прямым ответом на вопрос, стрелял ли он в своих из оружия, которое получил в руки после того, как принял изменническую присягу Гитлеру. Да и капитану Еремину нужно было ничего не смыслить в войне, чтобы даже предположить, что солдат, находясь на линии огня, мог бы не стрелять в тех, в кого стреляли все прочие его соратники. Однако же пленный, изволите видеть, «сурово» молчит, он только смотрит, видите ли, невинными, детскими, «как родниковая вода», глазами. И эти глаза почему-то дают право советскому командиру роты капитану Еремину поверить пленнику и превратить его почти что в героя, даже вручить ему, по его требованию, советский автомат вместо немецкого и направить именно его, чтобы енять с заводской трубы гитлеровского пулеметчика...

Да послать на трубу можно было добровольца из своих, испытанных советских бойцов — неужели не нашлось бы такого в роте Еремина?! И что за странное принятие командиром батальона непрошеного совета от пленного — «не беспокоить» артиллерию! Ведь она для того и существует, чтобы ее «беспокоить», когда в бою требуется и тактически целесообразна ее поддержка! Наконец, Еремин так и не утверждает, что этот пленник все-таки полез на трубу и боевое задание выполнил, ибо сам Еремин в этот момент был ранен и выбыл из строя.

Разберемся далее. Предполагаемый Андрей Сошников (автор уже успел мысленно дать ему именно это имя) говорит капитану Еремину: «Я советский военнопленный солдат». Но ведь это же ложь! Он давно уже фашистский солдат, хотя и с казацкими лампасами на штанах. Еремин только что толковал, что амнистированный власовец — это бывший власовец. Как же он не понимает, что взятый в бою солдат — это бывший военнопленный, поддавшийся на призывы изменника Власова вместе с Гитлером «освободить» Россию.

И право же, советский читатель сочувствует больше председателю колхоза Степану Морозову, который отвечает легковерному секретарю райкома на его слова о «чистых, как у ребенка», глазах власовца:

«Я, Иван Дмитриевич, в глазах не очень разбираюсь...»

Секретарь райкома о «прекрасных глазах», видимо, остается при своем мнении,— ну, пусть это будет импрессионистической особенностью характера Ивана Дмитриевича Еремина, хотя вряд ли это подходящая черта для секретаря райкома партии. К тому же легковверный капитан Еремин не знал того, что обладатель прекрасных глаз (если это действительно Андрей Сошников) уже вторично попал на удочку власовцев, и не мог понять того, что этот парень что-то умышленно путает.

Однако же писателю Михайлову этот случайный разговор в райкоме послужил тем самым «ветром», который принес случайный факт для подстановки его в поддержку ошибочной писательской мысли.

Вцепившись в анекдот, рассказанный Ереминым, Михайлов опрометью бросается с ним к своему рабочему столу. В этом анекдоте капитана запаса Еремина писатель снова «обрел» своего Андрея, который ему дороже и ближе всех прочих участников и героев войны.

«Кто же еще, кроме него... мог бежать из плена в Норвегию, и кому же еще было сказать эти слова: «У меня, товарищ капитан, не было другой возможности получить в руки оружие?!» — восклицает за письменным столом писатель Михайлов, забывая или не зная, что именно этими самыми словами обычно и старались защитить пленные предатели...»

Но читателя Андрей не обманул. Читатель помнит, что у того Андрея, о котором рассказывал Сулин, была возможность получить оружие в маки в то время, когда он отъедался на фашистских харчах в Лиможе, во Франции. Оружие ему и фашисты давали уже тогда. Зачем же было городить огород с побегом из Лиможа, чтобы в конце концов добровольно прийти «за оружием» опять-таки к власовцам?!

Писатель Михайлов явно сочувствует «суровому молчанию», которым отвечает пленный на прямой законный вопрос взявшего его в плен советского офицера: стрелял ли он из автомата в своих?

Но что из того, что этот Андрей, как и его товарищи, в самом деле стрелял не в «своих»? Ведь фашисты им поставили другое боевое задание: стрелять в венгров, ес-

ли венгры будут плохо драться против Советской Армии.

Вот почему и не может быть исключен конкретный историзм и глубокое историческое осмысление из метода социалистического реализма! Ведь если знать и по-марксистски анализировать историю, то следует отчетливо зафиксировать, что в описываемом Ереминым ноябре 1944 года оставалось всего месяц-полтора до объявления Временным национальным венгерским правительством войны гитлеровской Германии. Мобилизованная салашистами венгерская армия в эти дни переживала последний кризис, была буквально накануне распада. То, что гитлеровское командование доверило власовцам выполнять гнуснейшую фронтную службу — расстреливать венгерских солдат, если бы они пожелали отступить или сдатьсь Красной Армии,— это характеризует не только гитлеровский фашизм, натравливавший одни народы на другие, но характеризует и изменников, которым гитлеровское командование не напрасно доверяло задания подобного рода. Считать, что выполнявшие одобную службу фашистские подонки из бывших советских пленных имели моральное право, попав в руки Красной Армии, отделяться перед советским офицером «суровым молчанием», — это недостаток исторического мышления и политическая близорукость, чтобы не сказать резко.

И не случайно с этого места книги начинаются в произведении Калининна какая-то полумистическая или символическая свистопляска, какие-то странные затемнения, скользкие сопоставления, необоснованные исторические параллели.

Тут читатель узнает, что писатель Михайлов пишет свое произведение в ноябрьские дни 1956 года, во время контрреволюционного мятежа в Венгрии. Возможно, что именно там, в Венгрии, в эти дни находится молодой советский солдат Андрей, сын колхозницы Дарьи. Очень возможно, что его враг— тот же самый салашист, который был врагом наших бойцов в конце 1944 года. Если это так, то значит Андрей Сошников-старший в 1944 году так и не снял его с заводской трубы; возможно, что младший Андрей атакует того же самого фашиста. Но зачем автору смешивать честное лицо юноши, не нарушившего присягу и верность Родине, с физиономией власовца, хотя бы

к этому времени и амнистированного?! Ведь разный опыт у них за плечами, разная душа у этих людей, да и само время и обстановка совсем разные!

И здесь приемы совсем не реалистического склада врываются в книгу.

«— Вот только все время какая-то путаница происходит, иногда за густым дымом можно и ошибиться, принять одного за другого. Иногда вдруг начинает казаться, что этот все время ныряющий под пулеметную строчку Андрей — не отец, а его старший сын, которого тоже зовут Андреем. Да их и не мудрено спутать, они — как близнецы, один всего лишь на мгновение старше другого».

«Но тогда, спрашивается, когда же все это происходит? Может быть, это выглядывающее из окна в тучах краснолицее воинственное божество знает об этом?»

Оставим «воинственное божество» на литературный вкус и совесть писателя, если ему нравится этот выпященный образ, но было бы лучше, если бы автор сам точнее знал, что именно хочет он написать: реалистическую сцену из военных событий 1944 или о событиях 1956 года — или же беспомощную символическую абстракцию, которая, уводя от исторической конкретности, завлекает автора и читателя в туманы антиисторической путаницы, продолжающейся и далее.

«Вот только отсюда, издали, и за сеткой дождя опять не разобрать, какой это бежит Андрей Сошников — старший или младший? Они ведь так похожи, будто они не отец и сын, а братья-близнецы...»

Но ведь читатель отлично знает, что автор — хозяин не только человеческих судеб своих героев. Для своего произведения автор законно обладает чародейской силой и является полным властелином молнии, грома, дождей и туманов, дня и ночи. От него целиком зависит, чтобы тумана не стало.

Нельзя ли попросить автора на минуточку прояснить погоду, чтобы удовлетворить законное любопытство читателя: какой же там все-таки бежит Андрей — старший или младший? Читатель не очень верит, что отец старше сына лишь на одно мгновение.

Ведь сын еще в детстве на деле узнал, что такое фашизм, ребенком испытал принесенные им бедствия, остался сиротой и знает, что фашизм исторически обанкротил-

ся в Великой Отечественной войне. Это в истории далеко не «одно мгновение», а величайший всемирно-исторический факт, который служит доказательством превосходства социалистической системы над взбесившимся империализмом.

И хотя фашизм есть фашизм, но нельзя же исторически путать 1944 и 1956 годы. Ни советскому писателю, ни реалистическому произведению это не пристало.

Отец Андрей (если он отец) стрелял с тыла в мадьяр, чтобы они лучше воевали за фашизм, еще до полного разгрома гитлеровщины.

А сын Андрей (если он его сын) стреляет в мадьяр, чтобы они не воевали за фашизм, громит несостоятельных авантюристов-реваншистов.

И параллели, и знаки равенства, и литературные уравнивания со многими неизвестными тут неуместны.

Прежде всего они неуместны в произведении, которое пишется по методу социалистического реализма.

Ведь если глубже заняться историческими параллелями и все прояснить от туманов, то получится, что младший Андрей атакует на заводской трубе человека, очень сходного именно с власовцем.

Ведь по сути вещей, будучи космополитичным, как выражается писатель Михайлов, «его величество, босс войны» — империализм всегда играет на самых реакционных струнах поддающейся его влиянию, отсталой и темной массы, возбуждая в ней грязные националистические начала: в немцах или англосаксонцах он разжигает чувства «расового превосходства» перед «цветными» народами или славянами. В Палестине он натравливает евреев на арабов, в Венгрии во время контрреволюционного мятежа начинает с натравливания мадьяр на евреев, на русских, потом на всех советских людей и откровенно — на коммунистов.

Ведь так же псевдонациональными, но якобы «славными» «казацкими» лампасами подкупали в 1944 году гитлеровцы Андрея старшего и его товарищей, посылая их на черную службу тыловых фашистских собак позади ненадежных в бою мадьяр.

И те, кто ворвался через Германию и Австрию в Венгрию в ноябре 1956 года с венгерскими национально-шовинистическими лозунгами, откормленные и вооруженные на

иноземные деньги,— эти тоже шли, как и власовцы, «освобождать Венгрию от евреев и коммунистов» и были таким же политическим отребьем... Не надо же смешивать Сошниковых младшего и старшего: исторические аналогии ненаучны и скользки!

Утверждение самоотверженного интернационального гуманизма советских людей, их нравственной чистоты и дело защиты всеобщего мира, которому посвящены сопутствующие этому эпизоду публицистические строки писателя Михайлова, не могут опираться на мутный и путаный образ Андрея-старшего.

В защите мира, в честном, священном для человечества деле, все должно быть совершенно ясным! Зачем же впутывать сюда, в события 1956 года, сомнительную — очень сомнительную даже и для самого писателя — фигуру Андрея Сошникова-старшего, в жизни которого писатель так мало продумал, о жизни, мыслях и чувствах которого читатель так мало прочел? Читателю мало «сурового молчания», которым удовлетворялись Еремин и Михайлов.

Что мы знаем об Андрее? Что он в первом эпизоде книги вернулся в часовню захватить свою винтовку? Но это не доблесть: ведь он был бойцом Красной Армии!

Знаем, что он был в окопах, бросал гранаты под танки? Но это общая участь миллионов. Попал в плен — это тоже беда, увы, многих советских людей. Бежал из плена? Но бежали тысячи и тысячи... Попал во власовцы, надел немецкую форму, присягнул на верность самому заклятому врагу Родины и получил от него оружие — вот это уже не столь массовая судьба! Предателей было не много.

Мы все ненавидим войну, все хотим мира... Ну, а если...

Наш закон предоставляет бывшему власовцу право на труд. Новый, демократический и гуманный закон не лишает его даже избирательных прав, но все-таки... Если бы судьбе случилось забросить нас на войну, в бой, то захочет ли читатель быть рядом с бывшим власовцем в разведке, в атаке, просто в окопе? Даже легковверный секретарь райкома капитан запаса Еремин вряд ли в решительную и тяжелую минуту положится на бывшего власовца, да еще на такого, который вернулся в станицу в заграничном «плаще-винцерде» и с чемоданчи-

ком нерусской работы лишь после того, как была объявлена амнистия. Пусть его радостно встретила Любава. Любовь да совет! Но пусть семейная или романическая, «домашняя» реабилитация этого человека не приведет нас к тому, что мы не юридически, а морально так-таки и забудем его прошлое, не завяжем себе узелок на память.

Нельзя его забыть! Забыть его — это значит оскорбить могилы тех, кто погиб в лагерях пленных за борьбу против власовщины, кто погиб, сопротивляясь морально-политической деградации советских военнопленных, в борьбе за их человеческое и гражданское достоинство, за их единство, за отпор фашистской агитации в рядах пленных советских бойцов. Это значило бы простить убийство советских, французских, чешских патриотов-партизан, погибших от руки власовцев-карателей.

О чем хотел написать Анатолий Калинин? Что волновало его центрального героя, писателя Михайлова? События в Венгрии? Угроза новой войны? Но для чего такой загогулиной, пролегающей «в туманах», идет его путь к этой теме?

Ведь на эту тему написано в книге Калинина всего несколько восклицательных предложений публицистического склада, которые, несмотря на их эмоциональность, ко всему остальному сюжету книги имеют довольно слабое касательство. И вовсе не убедительно выглядит утверждение Ан. Калинина, будто писатель Михайлов в ответ на эти строки стал получать бесчисленное множество писем.

Что же, собственно, является главным в книжке Ан. Калинина?

Может быть, главное — это лирически субъективистские, туманные искания писателя Михайлова, который со всеми своими иносказаниями и символикой ведет к моральной реабилитации Андрея Сошникова, а запутавшись, мы уверены — против своего желания, объективно приходит к моральной реабилитации власовщины?

Или главное в книге — это реалистическое обозрение современного колхозного донского хутора с его несложными перипетиями бытового порядка? Или, может быть, «философские» рассуждения писателя Михайлова с его другом — областным партийным работником Тарасовым, который ворвался в книгу на ее последних страницах? Но для

чего? Чтобы связать или обобщить, что ли, ее неслаженные, неувязанные части?

Ведь читателю так и остаются неясными философские связи и единство темы в «многоплановости» разбираемого произведения. Современная ли тема должна была служить автору для военно-исторической или военно-историческая тема — для раскрытия сущности современной жизни донских колхозников? Но ведь современная тема вовсе не решена автором и выглядит лишь картинкой.

Послушаем! Вот друг писателя Михайлова, Тарасов, обобщающе философически декларирует якобы общезначимую для всей книги публицистическую фразу:

«Один только и замечает вокруг себя грязцо и хихикает около каждой кучи, а другой больше всего боится запачкаться и спешит пройти мимо, зажимая пальцами ноздри. А придет домой, раскроет красную книжицу и восхищается: «Я ассенизатор и водовоз, революцией мобилизованный и призванный». Восхищается, а сам вздрагивает, ему жутко.— И внезапно Тарасов крикнул с дивана:— Но если ты чувствуешь себя мобилизованным революцией, чего же тебе бояться? Увидел грязцо, не хихикай, не затыкай ноздри, а бери лопату и сбрасывай его под откос, освобождай дорогу людям! По-саперски. Чтобы оно не скользило под ногами у партии, у народа».

Однако во всем романе нет никого, хихикающего по поводу «грязца», не видит в нем читатель и белоручек, боящихся запачкаться. В какую же конкретную цель в данном произведении направлена эта «разящая стрела»? Стоит ли ее послать просто «в божий свет, как в копеечку»? Мало ли можно еще вложить в уста положительного персонажа бесспорных восклицаний и значительных фраз, употребляемых ни к селу ни к городу! А нужно ли?

Ведь «грязцо» в этом романе в изобилии, но кому придет в голову хихикать над ним!

В самом деле, в разбираемой книге, в ее реалистической современной части, главное «грязцо» — это Стефан Демин, сплошная и беспросветная пакость: мародер, дезертир, блудливец, пошляк и расхититель колхозного достояния. За ним идет серия власовцев — Ковалев, Сулин, еще какой-то власовец, Владимир Шевцов, пришедший «оттуда» (откуда — откуда?) через пятнадцать лет, да жулик-шофер...

Мрачно выглядит жизнь колхозного Дона, если верить тому, что видит через окошко своего кабинета писатель Михайлов. Но кто же тут белоручка? Разве что писатель Михайлов, который нейтрально проходит мимо «грязца»...

Ведь за исключением женщин, остается три, ну, четыре сегодняшних положительных персонажа на всю книгу, в том числе: один — резонер Тарасов, второй — нейтральный в отношении колхозной жизни писатель Михайлов да еще «сверхчеловеческий» Еремин. Не мудрено, что под носом у него гнездятся безнаказанно Демини!

А где же на современном Дону простые, хорошие советские люди: в войну — честные отважные воины, в мирную пору — рыбаки, землеробы? Почему их нет? Или первым из них должен стать именно амнистированный Андрей Сошников? Ведь именно ему отдана пламенная привязанность и симпатия автора, именно он оказался тем героем войны, который «не дает покоя» писателю Михайлову...

И писатель Михайлов, а с ним и Ан. Калинин усердно «ищут». Ищут в дождях и в туманах, ищут в якобы «новой» литературной форме, уводящей от реализма.

До чего же в идейном смысле темно и туманно это повествование! Ведь это только внешне выглядит исканием в области формы, покушением на «эстетическое своеобразие» и стилистическую «самобытность».

Ленин говорит так:

«Форма существенна. Сущность сформирована так или иначе в зависимости и от сущности...»

Это значит, что формальная путаница не может быть случайной. Она вытекает из путаной сущности, из путаницы идеологической.

И вся эта шизофреническая или полумистическая система литературных двойников, и туманы, и «суровое молчание» в ответ на законный и ясный вопрос Родины, и странная попытка реабилитации по родству — отца за подвиги сына,— все это отнюдь не формальные случайности. Весь этот кавардак происходит оттого, что туманна и запутана основная идея произведения.

В конце эта туманность и путаница сгущаются еще больше и доходят до предела: оказывается, по собственному признанию писателя Михайлова его жене, он совсем не уверен в том, что тот Андрей, который

был вместе с Сулиным, и тот, которого встретил Еремин,— одно и то же лицо.

Зачем же тогда было соединять их в одно, если автор не продумал даже вопроса о своем основном герое, а значит, еще и после трех лет «большого разговора с самим собой» не готов писать книгу?!

А вот зачем. Вот вам авторская откровенная декларация:

«Разве другие военнопленные не бежали из лагерей и не делали то же самое, что и этот солдат под Будапештом?»—говорит автор, снова тем же приемом запутывая читателя и себя самого, безразборно смешивая понятия «военнопленный» и «изменник», смешивая побег из плена с вступлением добровольцем в фашистскую армию, не понимая того, что тем самым он, вольно или невольно, покрывает грязью всех честных советских людей, умиравших в лагерях смерти, но сопротивлявшихся призывам вражеской пропаганды.

Именно из незнания фактов и из неумения разобраться в исторической действительности родилась та обманчивая литературная беспомощность, которая спряталась за формальные «искания» Ан. Калинина.

Мы знаем, что советские воины, попавшие в плен, или демонстративно сопротивлялись врагу, как Карбышев, или бежали и боролись, как Дегтярев, послуживший прообразом для польского писателя И. Неверли, или бежали из плена и за рубежом присоединялись к партизанам, как Мехти Гусейн. Иные добивались до своих партизан в Белоруссии, на Украине, даже переходили фронт, возвращаясь на Родину, в Красную Армию. Другие, не ставшие героями, кому не удалось бежать из лагерей, боролись, организуясь и спланивая в антифашистских патриотических организациях, стремясь не допустить морального распада и ухода голодных людей во вражеские ряды.

Но известны и такие отдельные случаи, когда люди, по ошибке попавшие в фашистские части, дерзали в своре полицейщины и уголовных подонков остаться людьми высокой морали и страстно искали выхода из своего тяжкого положения.

Однако же, если Ан. Калинин задумал показать нам героя такой человеческой чистоты, то недопустимо это было делать в сомнительном, затуманенном и поверхностном складе повествования. Зачем же

Ан. Калинин делает столько кивков в сторону М. Шолохова, писателя-реалиста, если в своем творческом методе он стоит отнюдь не на шолоховских позициях?!

Ведь М. Шолохов в «Тихом Доне» тоже писал казака, человека трудной судьбы, мятущейся души, искалеченного ввевшимся вековым специфизмом «казачества», но ясное и простое, могучее письмо Шолохова не оставляет места ни для каких читательских сомнений. Перед читателем без «туманов» раскрыта душа этого трудного человека.

Если Калинин хотел сказать, что в среде тех, кто осужден и опорочен как власовец, частично могли оказаться чистые, наивные или глуповатые люди, которых во вражеский стан привела ошибка или, может быть, даже патриотическое нетерпеливое стремление взять в руки оружие, чтобы обратить его против фашистов же, то разве запретна в советской литературе и эта тема?!

Однако же тему такой психологической остроты необходимо писать именно с максимальной ясностью, как требует социалистический реализм. Такого Андрея не следовало монтировать из каких-то случайных анекдотов, а надо было строить на основе глубокого изучения исторического материала действительности, реалистически.

«Если ты чувствуешь себя мобилизованным революцией, чего же тебе бояться?» Зачем напускать дожди и туманы?!

Проблема положительного героя в литературе социалистического реализма — это проблема человека коллектива. Ведь даже в фашистской неволе советские люди уберегли коллективистический склад души, и именно это им помогало сознательно и сплоченно сопротивляться фашизму. Ан. Калинин избрал в герои человека-одиночку, который не поверил прочим советским людям, что избранная им дорога — это непременно дорога измены, что она неминуемо поведет через братоубийство и грязные преступления, что это дорога предателей, трусов и палачей. Так надо было ясно и смело писать в таком случае и о том, как тяжело ошибся Андрей, когда подумал, что легко добудет оружие у врага, о чем хитро нащепывали ему тайные власовские агенты-вербовщики. И вот он вдруг оказался в скопище предателей и бандитов, лагерных палачей, полицаяв: уголовщины или в массе просто малодушных людей и забитых

трусов, из которых и состояла в действительности власовская банда.

Необходимо было именно с реалистической убедительностью и глубиной написать, какие тяжкие нравственные муки, какое трагическое потрясение переживал этот честный человек, когда бился среди гнусной своры изменников, как муха, попавшая в паутину. Для изображения глубочайшего трагизма этого положения: были бы не нужны витиеватые эпитеты, воззвания к ветру и высрпнные знаки восклицания, которыми подменил Ан. Калинин реалистическое раскрытие образа. Нужно было без «дождей и туманов» показать, как мужал и рос этот человек в страшной своей борьбе, чтобы не идти карателем против партизан, изобразить, как он с повседневной опасностью для жизни выискивал одного по одному товарищей в чуждой среде, внушая мужество и другим, пока сколотил достаточное ядро для захвата инициативы в своем эскадроне в удобный для восстания момент. Пусть писатель изобразил бы это все с реалистической убедительностью, пусть посмел бы он написать и выстрелы, невольные подлые выстрелы Андрея в дрогнувших мадьяр — и мы поверили бы автору, что таков был Андрей и таковы-то были его такие-то конкретные товарищи в такой-то конкретной обстановке.

Пусть видно станет молодому и неопытному читателю, не искушенному в борьбе, в войне и подстерегающем предательстве, что если ты грехом попал во вражеские ряды, то ты никак не сможешь не стрелять в того, в кого стреляют другие, пусть станет ясно Андрею и молодому читателю, что вражеское формирование — это гибельный, изменнический путь, что это не геройство, а трагическая вина перед Родиной и беда. Пусть Андрей поймет, что те, кого он не слушался, — его друзья в лагере военнопленных — были правы, когда этот путь отвергли. Ведь Андрей, по замыслу автора, — это человек мужества, великой воли и патриотизма. Пусть же он все-таки все преодолевает, поднимет восстание и сдается своим... Со всем не нужно создавать ему фальшивые ангельские крылышки, чтобы читатель поверил, какие темные трагические бездны преодолел этот человек на пути к Родине.

Такое произведение было бы поистине достойно высокого таланта писателя и ве-

личайших возможностей, раскрываемых методом социалистического реализма!

Ведь общезвестно, что в художественном произведении дается не конкретная биография отдельного человека. В художественном произведении образ должен являться в наиболее обобщенном и закономерном значении, а такое значение его не может возникнуть из подгонки воедино двух-трех случайно выслушанных анекдотов. Нельзя забывать, что закономерность власовщины — это предательство и измена Родине.

Голод, безволие, слабость духа могут объяснить предательство, но никогда не служат ему оправданием.

В произведении Ан. Калинина не показано ни одного преступления власовцев. Кого расстреливал взятый с оружием Ковалев? Об этом ведь тоже ни слова не сказано, но автор устами секретаря райкома требует к нему гуманного подхода, а для убедительности этого требования сразу переходит к рассказу об Андрее, у которого уж очень ясные глаза. Да, кстати, мы тут же узнаем, что Ковалев и детей своих, видите ли, не бьет. Может быть, и его можно считать невинным, вроде Андрея? Ведь о нем, собственно, ничего не сказано, так же как об Андрее. Может быть, он только попал в плен к более строгому капитану, которого не тронуло «суровое молчание» и ясные очи?!

Мы не хотим войны и ненавидим ее, но есть на земле темные силы, которые стремятся раздуть ее. Молодежь должна знать о войне всю правду, без всяких прикрас. Правду же может сказать только неискаженная история.

А ведь об Андрее-старшем мы не узнали даже и того, отбыл ли этот мозаичный герой, составленный из разных власовцев, свой справедливый срок где-нибудь на Колыме, как и Ковалев? Или снова ускользнул после ранения легковерного капитана Еремина и «благоразумно» дожидался за рубежом амнистии, в тумане, в дождях, в темноте?..

Нет, не это называется социалистическим реализмом!

Поверхностность в подходе к общественно-историческому явлению, прикрытая субъективизмом восприятия слишком впечатлительного писателя Михайлова, спутала единичность с общностью, случайность с за-

кономерностью, и при помощи антиреалистического, антихудожественного литературного приема, под флагом гуманности родилась ложная историческая и политическая концепция.

Власовцев оказалось возможным амнистировать именно потому, что эти изменники составляли ничтожную величину в общем числе советских людей, оказавшихся во власти врага. Исходя из гуманности и человеческой справедливости, можно и нужно настаивать на индивидуальном подходе по отношению к отдельным людям этой темной судьбы, но не только судья, даже писатель не может выносить оправдательный вердикт на основании лишь прекрасных глаз и «сурового молчания». Социалистическому реализму необходима историческая правда, психологическая глубина и реалистическая ясность, а не просто прекраснодушное вегетарианство и историческое легкоеверие автора...

Наше новсе законодательство проявляет достаточно гуманности, но как справедливо, что законы о военных преступлениях и об измене советской Родине остаются незыблемыми в их прежней неумолимой суровости!

Написал ли писатель Михайлов о своем герое все то, что он мог и должен был написать, читатель так и не знает. Но Ан. Калинин этой задачи не выполнил: может быть, в меру таланта, может быть, в силу поспешности в разработке темы, но он на-

рушил ряд принципов социалистического реализма, и книга его звучит политической и моральной фальшью.

Однако отдельные писательские ошибки, даже грубые ошибки, у всех возможны. Бывает, что автор страстность собственных ощущений или ясность собственных представлений воспринимает как страстность и ясность произведения, не умея почему-либо подойти к своему повествованию и образам достаточно критически. Бывает, что автор выбрал груз не под силу, а сбросить его со спины не хочет...

Но, спрашивается, где же были внимание, политическая чуткость и ясность моральных представлений в издательских организациях и редакциях? Ведь автор волен был создать всего лишь два-три экземпляра ошибочной рукописи, а более чем полумиллионное размножение ее — это уже дело не одной головы, а многих, это уже дело общественного понимания вопроса, а не просто проявления хорошего или дурного вкуса.

Может быть, и в ошибках редакторов и издателей повинно затянувшееся существование того теоретического тумана, в котором все-таки до сих пор витает понятие социалистического реализма, тумана, в котором невозможно отличить нарушение принципов партийности и реализма от совокупности творческих стилевых элементов, являющихся чистой принадлежностью эстетического своеобразия художника.



А. ДЕМЕНТЬЕВ

★

ПО ПОВОДУ СТАТЬИ СТЕПАНА ЗЛОБИНА

1

Несомненно, что в общей форме вопрос об индивидуальном эстетическом своеобразии в литературе социалистического реализма решается Ст. Злобиным правильно. Действительно, нельзя под прикрытием эстетического своеобразия относить к социалистическому реализму «черт знает что» и распахивать ворота перед ревизионизмом, перед чуждыми идейно-художественными тенденциями. Но суть дела в конкретном применении этого правильного принципа — в сценке и понимании романа А. Калинина «Суровое поле»: относится ли он к социалистическому реализму или представляет собою нечто чуждое духу и принципам советской литературы? Здесь мы со Ст. Злобиным расходимся.

Когда читаешь статью Ст. Злобина, невольно вспоминаешь проводившиеся некогда в школах суды над литературными героями. Устраивались они по всем правилам судопроизводства, с обвинителями, защитниками, судьями. Только в качестве обвиняемых «привлекались» Онегин, Печорин, Рудин или другие герои литературных произведений. Вот и в статье Ст. Злобина произведено следствие, устроен суд и вынесен приговор Андрею Сошникову — одному из действующих лиц романа «Суровое поле», — точнее говоря, главному персонажу произведения, которое пишет герой романа А. Калинина писатель Михайлов. Этим, в сущности, исчерпывается содержание статьи Ст. Злобина. Других образов и сюжетных линий интересного и многостороннего романа Калинина — как бы они ни были важны — он почти не касается.

Не будем разбираться в том, насколько полезны были школьные суды над литературными героями, но о суде, учиненном Ст. Злобиным над Андреем Сошниковым, можно сказать с полной уверенностью, что он несправедлив, что жестокий приговор, вынесенный Ст. Злобиным роману «Суровое поле» и его автору, вызывает решительный протест.

Что за человек Андрей Сошников? Что узнаем мы с ним из романа? Обстоятельства «дела» заставляют отвечать на эти вопросы с необходимой подробностью. При этом Андрей — образ, еще только формирующийся, складывающийся в процессе творческих исканий писателя Михайлова, ему, естественно, присуща известная недоговоренность и эскизность. Есть смысл свести воедино факты биографии Андрея, и тогда черты его характера выступят яснее и определеннее.

Андрей — с Дона, из казаков. Перед Отечественной войной он честный и активный колхозник. С ним враждует шкурник, жулик и вор Демин, его любят хорошие женщины — сестры Даша и Любава. Даша становится женой Андрея. Они привязаны друг к другу, у них четверо детей, крепкая счастливая семья.

Когда начинается Отечественная война, Андрея призывают в армию. Читатель встречается с ним осенью 1941 года на поле боя во время отступления наших войск. Еще необстрелянный молодой солдат, он растерян, испуган, в глазах у него недоумение, страдание, тоска. Но Андрей хочет драться с врагом, и когда ему случилось в смятении оставить винтовку, он тут же спохватывается и возвращается за ней,

В тяжелых боях 1941—1942 годов на реке Миусе, за Ростов, за высоту Соленую, Саур-могила, за высоту 101 Андрей становится мужественным и опытным бойцом.

В ноябре 1942 года Андрей был взят в плен. Хотел унести на себе с поля боя раненого товарища, но не успел и был захвачен гитлеровцами. Начались для него мтарства по фашистским лагерям. Три раза он пытался бежать, но все неудачно.

В январе 1944 года Андрей был перевезен во французский город Лимож. Здесь он встретился с земляком Павлом Сулиным, тоже военнопленным. «Я его сразу не узнал,— рассказывал позднее Сулин об этой встрече.— Стоит передо мной невозможно худой человек — ну скелет скелетом! — и улыбается. Меня от его улыбки, как морозом по коже. Я сам к тому времени уже был как мешок с костями, а у него и кожа к костям присохла. Когда стал он потом на весы — ровнехонько на сорок пять кило вытянул».

Но ничто не могло заставить Андрея отказаться от мысли о побеге. По словам Сулина, он «сделался весь злой, так и кипит. Оскалывается, а не поймешь, смеется он или собирается кому-то в глотку вцепиться. Не успели встретиться, сразу же спросил меня: «А как, Павел, отсюда можно бежать?» — «Не знаю, говорю, не пробовал». Засмеялся он по-своему: «Думаешь, значит, здесь победы дожидаться?» И своими глазюками мне под сердце ковыряет. Обиделся я: подлецом никогда не был и не собирался быть, но и уйти из плена не простое было дело».

Когда Андрей несколько осмотрелся на новом месте, желание бежать стало у него буквально нестерпимым. Дело в том, что фашисты явно намеревались использовать военнопленных, привезенных в Лимож, для военных надобностей. Они выдали военнопленным старое немецкое солдатское обмундирование, стали хорошо кормить их, перестали гонять на работу и т. д. Но чем лучше обращались немцы с военнопленными, тем все больше хмурился и становился злее Андрей. «Меня затерзал: бежать — и вся! — вспоминает Сулин.— «Ты, говорит, думаешь, это спроста они свою шкуру наизнанку вывернули, за наши красивые глаза, думаешь, сделали нам из плена курорт? Это же, Павел, фашисты! Сегодня они на нас свою позорную форму

надели, потом на усиленный паек перевели, а завтра всунут в руки автоматы и прикажут стрелять в своих. К этому все идет. Не заметишь, как из тебя изменника родины сделают и заставят в советскую власть стрелять. На убой и откармливают. Своего мяса им уже не хватает, и надеются они нашим свои дырки залатать. Но этому не бывать!»

Вместе с Сулиным Андрей бежал из плена. Они забрались под брезент на одну из платформ идущего на Восток эшелона с военной техникой и благополучно проехали через всю Германию. Казалось, что на этот раз все обойдется хорошо. Андрей уже предвкушал радость близкого освобождения. Когда ехали по Польше, «по славянской земле», ему казалось, что по ночам «польнюю в ноздри шибает». Если встречались немецкие санитарные поезда, переполненные ранеными, Андрей радовался — «все русская работка» — и торопился принять в ней участие. Но побег не удался и на этот раз, и Андрей с Сулиным оказались в фашистском лагере в горах Норвегии.

Это был лагерь смерти. Туда отправляли «штрафных всех наций». Бежать оттуда было невозможно. И все же Андрей снова бежал... Описание этого неимоверно трудного, героического побега занимает в романе несколько страниц, но нет нужды пересказывать их. Ясно одно: фашисты не могли сломить Андрея, не могли убить в нем любовь к Родине и желание свободы. Андрей добрался до фиордов, и норвежский рыбак дал ему лодку, чтобы он мог переплыть через пролив в Данию. Однако на датском берегу счастье изменило Андрею, и он снова оказался в руках врагов...

Наконец в последний, точнее — в предпоследний раз читатель романа А. Калинина встречается с Андреем в ноябре 1944 года, во время боев в Венгрии. Писатель Михайлов, избравший Андрея героем своего произведения, слышит, как об этой встрече секретарь райкома партии Еремин рассказывает председателю колхоза Степану Тихоновичу Морозову. И хотя Михайлов и не уверен, что тот Андрей, который был вместе с Сулиным в плену, и тот, которого встретил Еремин, — одно и то же лицо, ни читатель, ни автор романа «Суровое поле» А. Калинин не сомневаются в этом.

Что же рассказал Еремин?

Рота, которой командовал Еремин, переправилась через Дунай и стала продолжать движение на Буду. Но здесь немецкие и венгерские части перешли в контратаку, и наша рота оказалась в трудном, критическом положении: ее могли сбросить в Дунай. Вдруг в тылу противника поднялась какая-то суматоха и вспыхнула стрельба. Среди немецких и венгерских солдат началась невероятная паника. Бой быстро закончился в нашу пользу. Оказалось, что в тылу у контратакующих немцев и венгров восстал власовский пеший эскадрон. Тут и встретил Еремин Андрея. Но об этом пусть лучше расскажет сам Еремин.

«Приводят бойцы ко мне их командира. Еще молодой и худой до последней степени парень, как будто на нем всю жизнь камни возили. Форма на нем только что из цейгхауза, какая-то дикая смесь: сукно немецкое, покрой мадьярский, а лампасы на штанах казачьи, русские... Спрашиваю у него: «Ты командир?» — «Нет, говорит, товарищ капитан, нашего командира эскадрона я пристрелил час назад, а меня выбрали вместо него». — «А ты кто?» — «Я советский военнопленный солдат». — «Это тебя в плену так вывезли?» — «Да, говорит, в Норвегии. На лесоразработках». — «И поэтому ты решил завербоваться?» — «Нет, сперва я, товарищ капитан, из Норвегии бежал и попал в другой лагерь». Вижу, отвечает кратко, по существу, и чем-то к себе располагает этот парень. Но факт остается фактом: служил у врага. «Как же, спрашиваю, ты, русский солдат, напялил на себя эту шкуру?» — «У меня, говорит, товарищ капитан, не было другой возможности оружие в руки получить». — «И ты из него стрелял в своих?» На этот вопрос он мне ничего не ответил, только молча на меня посмотрел, и я, Степан Тихонович, ему поверил: не стрелял».

Еремин не только поверил Андрею, но и разрешил ему снять фашистского пулеметчика, засевшего на фабричной трубе и мешавшего продвижению роты. Андрей шел почти на верную смерть. И только с одной просьбой обратился он к Еремину: заменить немецкий автомат на русский. Как рассказывает Еремин, он выполнил эту просьбу. «Ты же знаешь, что советское оружие может иметь только советский солдат», — сказал он Андрею. — «А я, то-

варищ капитан, и есть советский», — ответил Андрей и, по словам Еремина, опять взглянул на него своими правдивыми глазами.

Больше Еремин Андрея не видел, так как в этот момент был тяжело ранен. Был убит Андрей, или уцелел и довоевал до конца войны, или снова оказался в плену, он не знает. Не смог выяснить дальнейшую судьбу Андрея и Михайлов. И только в самом конце романа «Суровое поле» А. Калинин кратко сообщает о возвращении Андрея в родной хутор. Произошло это в 1956 году. А где Андрей был до этого, так и остается неизвестным: то ли, вновь попав в плен, мыкался по лагерям перемещенных лиц, то ли, вернувшись домой, был осужден и сослан на Колыму.

Последнее могло случиться только по ошибке. Так думает Павел Сулин, и с ним, несомненно, согласятся все непредубежденные читатели романа А. Калинина. Здесь потому и рассказано столь подробно о судьбе Андрея Сошникова, чтобы показать, что все — и жизнь, и поведение, и думы, и слова Андрея — свидетельствует о том, что он честный советский человек и мужественный воин, сохранивший силу духа и верность отчизне в невыносимо трудных условиях фашистского плена. Да, он попал в плен. Да, ему пришлось даже надеть на себя форму власовцев, но только потому, что у него, несколько раз пытавшегося бежать из плена, не было другой возможности получить в руки оружие и вернуться к своим. Конечно, это был путь ужасный, и А. Калинину надо было резко подчеркнуть его исключительность. Но исключительных случаев во время войны было немало. «Форма на нем по недоразумению была чужая, а сердце под ней оставалось советское, русское», — говорит об Андрее Еремин, и правда этих слов очевидна и для Любовы и Даши, и для Павла Сулина, и для Еремина, и для писателя Михайлова, и для автора романа «Суровое поле» А. Калинина. Все они любят, уважают Андрея Сошникова, сочувствуют ему и полагают, что он может смело предстать перед судом советских читателей.

Однако Ст. Злобин судит по-особому. И здесь корень наших с ним разногласий. Для Ст. Злобина Андрей — предатель родины, ничего общего не имеющий с советскими людьми. В крайнем случае, его

можно амнистировать, но оправдать или реабилитировать морально невозможно. Тому, что написано в романе «Суровое поле» об Андрее Сошникове, Ст. Злобин совершенно не верит — он же не такой наивный человек, как школьные «судьи», выносившие приговор Онегину или Печорину. Те обычно внимательно вчитывались в страницы романа, в котором изображен тот или иной обвиняемый, и тщательно взвешивали каждое слово, сказанное о подсудимом. Ст. Злобин предпочитает иной метод. Он плохо прислушивается к тому, что рассказывают об Андрее свидетели, и не придает совсем никакого значения тому, что говорит о себе сам Андрей. Он преубежден, он заранее знает, что все это мутная путаница, умышленная ложь или сомнительная попытка «городить огород». Ст. Злобин уверен, что ему лучше всех известно, что за человек Андрей Сошников. И он полагает, что человека этого надо «разоблачить». Этим он в своей статье и занимается.

Вот, скажем, Андрей оказался в Лиможе. Читателю известно, как это случилось. Но какое до этого дело Ст. Злобину? У него наготове совсем иная версия: Андрей попал в Лимож безусловно в результате «власовской вербовки». Именно поэтому, дескать, военнопленным в Лиможе выдали немецкое обмундирование и стали с ними лучше обращаться. Ст. Злобину нет никакого дела до того, что по прибытии в Лимож Андрей сразу же начинает готовиться к побегу, что он быстро разгадывает намерения «подобреших» немцев, что он вскоре бежит из плена. Ст. Злобина вообще не интересует Андрей — его характер, стремления, цели, поведение. Казалось бы, один тот факт, что Андрей трижды бежал из плена, должен был заставить приглядеться к нему, задуматься над его судьбой. Но Ст. Злобин не хочет задумываться и приглядываться — он твердит одно: «вербовка», «власовец», «предатель», не замечая, что его подозрения и разоблачения не имеют никаких оснований.

Но вот в руках у Ст. Злобина оказывается решающий аргумент: из рассказа Еремина выясняется, что в конце 1944 года Андрей вступил во власовскую военную часть. Как же! Теперь-то уж можно считать доказанным, что Андрей — настоящий изменник. Форму вражескую надел? Надел. Автомат не-

мецкий получил? Получил. А значит, наверняка стрелял или в советских бойцов, или в венгров, не желавших больше воевать за Гитлера. И опять Ст. Злобин не хочет знать, что за человек Андрей Сошников, каковы его цели, не верит ни одному его слову, не обращает внимания на то, что Андрей убил командира власовского пешего эскадрона, поднял эскадрон против гитлеровцев и перешел вместе с ним на нашу сторону, что он шел на верную смерть, вызвавшись «снять» фашистского пулеметчика. Нет, Ст. Злобина не интересуют индивидуальная судьба и характер данного человека — он судит «вообще». Его не интересуют существо дела, факты, события — он судит по внешним признакам, по форме. А ведь в сложных обстоятельствах войны и плена судьба Андрея вовсе не выглядит неправдоподобной или надуманной. Известны и более необычные истории.

Любых свидетелей Ст. Злобин «отводит». Например, многое рассказывает об Андрее Сошникове Павел Сулин. Он земляк Андрея и знал его еще до войны. Он вместе с Андреем был в лагерях военнопленных — в Лиможе и горах Норвегии, — вместе с ним бежал из плена. Но Ст. Злобин совершенно не считается с «показаниями» Сулина. Судя по всему, ему кажется, что Сулину место не среди свидетелей, а на скамье подсудимых — он же сам «власовец». Между тем Сулина — как без особого труда может убедиться любой читатель — можно осуждать за несознательность, за разные прегрешения, но власовцем он не был. «Подлецом никогда не был и не собирался быть», — говорил на этот счет Сулин, и это сущая правда по всем данным романа. А утверждение Ст. Злобина — сущий домысел.

С еще большей настойчивостью Ст. Злобин старается дискредитировать другого свидетеля — секретаря райкома партии Еремина, рассказавшего о своей встрече с Андреем во время боев в Венгрии. По его мнению, Еремин легковерен, утратил бдительность, проявляет политическую близорукость и т. д. И все это приписывается Еремину только потому, что тот поверил Андрею да посоветовал председателю колхоза Морозову не бросать на произвол судьбы даже такого человека, как амнистированный Ковалев.

Особенно не нравится Ст. Злобину то, что Еремин придал немаловажное значение глазам Андрея, его взгляду, его «суровому молчанию». Это кажется Ст. Злобину просто смешным. Как же, серьезный работник — и вдруг обращает внимание на глаза, на молчание человека и даже принимает их в расчет, когда решает вопрос: верить или нет?

С точки зрения Ст. Злобина, выражение глаз, молчание и тому подобные человеческие проявления не имеют никакой цены. И это удивительно, так как Ст. Злобин — писатель, художник, то есть человек, постоянно имеющий дело с душой, с психологией, с отношениями людей между собой, которые нередко выражаются и в молчании, сказываются и в выражении глаз.

Впрочем, если согласиться со статьей Ст. Злобина, то нельзя верить не только глазам, нельзя доверять не только Андрею. От начала до конца статья проникнута духом недоверия. Ее автору представляется, что в книге А. Калинина все вольно или невольно «прикрываются», вводят в заблуждение, обманывают — и Андрей, и Сулин, и Еремин, и писатель Михайлов. Ст. Злобин не замечает, что, следуя за ним, недоверие можно распространить не только на Андрея и Сулина, но и на всех военнопленных и даже на все население оккупированных областей. Оказались в плену — значит, нарушили воинский долг, проживали на оккупированной территории — значит, сотрудничали или по крайней мере мирились с фашистами. Нечего и говорить о том, насколько было бы вредным такое недоверие и в какое решительное противоречие пришло бы оно с подлинной бдительностью советских людей. И думается, что, например, секретарь райкома партии Еремин в «Суровом поле» лучше понимает сущность социалистического гуманизма, чем Ст. Злобин, и уж во всяком случае лучше применяет его принципы на практике.

Андрею Сошникову Ст. Злобин не верит. Но вот судьба другого военнопленного, Андрея Соколова — героя рассказа М. Шолохова «Судьба человека». Поверил бы он рассказу Андрея Соколова или нет? Судя по всему, нет. Работал военнопленный Андрей Соколов на немецких заводах и шахтах? Работал Был Андрей Соколов шофером в «Тодте» — организации по строительству дорог и оборонительных сооруже-

ний? Был. Возил на «оппель-адмирале» немца инженера в чине майора гитлеровской армии? Возил. Так можно ли верить такому человеку и можно ли ему сочувствовать? Не лучше ли отнестись к нему так же, как и к Андрею Сошникову? Но кто же может выслушать рассказ Андрея Соколова без сердечного волнения, без слез, без доверия и горячего сочувствия? Миллионы читателей «Судьбы человека» М. Шолохова, как и миллионы зрителей, смотревших «Судьбу человека» на экране, видят в Андрее Соколове человека трагической судьбы и неиссякаемого патриотического мужества, человека «искаженного» жизнью и сохранившего душевную чистоту и негнбаемую волю. А в рассказе М. Шолохова они видят произведение глубоко правдивое и, в самом высшем смысле этого слова, гуманистическое.

В духе гуманистических традиций советской литературы написано и «Суровое поле» А. Калинина. И я спорю со Ст. Злобиным не только потому, что добиюсь верной оценки хорошего романа А. Калинина, но и потому, что вопрос об эстетическом своеобразии литературы социалистического реализма не может быть решен без правильного понимания социалистического гуманизма и гуманистического характера нашей литературы.

2

Прекрасное в советской литературе — борьба за благо народа, социальный и эстетический идеал — коммунизм, самое совершенное и справедливое общество. Книги советских писателей проникнуты чувством любви и уважения к трудящемуся человеку и ненавистью к эксплуататорам, поджигателям войны, ко всем тем, кто мешает народу жить мирной, счастливой, творческой жизнью, строить коммунизм. Как литература народная, партийная, воплотившая высокие идеи социалистического гуманизма, советская литература противостоит и либеральному абстрактному лжегуманизму (вспомним хотя бы о борьбе наших писателей с «неогуманизмом» «Перевала») и проповеди человеконенавистничества, неверия в человека, бездушия, формализма.

Как, например, явно и полно сказался социалистический гуманизм в «Поднятой целине» М. Шолохова! Здесь и жестокие, но справедливые уроки беспощадной нена-

висти к врагу («А они нас жалели?»), и осуждение «перегибов» Нагульнова, и прекрасное по своей человечности изображение воспитательно-разъяснительной работы Ваниюшки Найденова, и совсем поразительная по силе гуманизма сцена хуторского собрания, на котором Давыдов объясняется с избившими его до полусмерти «несознательными гражданочками».

Наша литература является плотью от плоти нашего общества. И гуманизм советской литературы отражает гуманистический характер социалистического строя. Именно в нашей стране и в странах социалистического лагеря гуманизм обрел реальную, практическую основу. Здесь ликвидирована частная собственность на орудия и средства производства, уничтожена эксплуатация человека человеком, нет безработицы, нищеты, политического бесправия, национального неравенства, угнетения женщин.

В настоящее время враждебная нам зарубежная пропаганда пытается превратить идеи гуманизма в предмет самой бесстыдной спекуляции. Буржуазная печать и разного рода ревизионисты изо дня в день обвиняют наш строй в бесчеловечности, насилии и призывают «спасать гуманизм». В связи с этим они всячески чернят и советскую идеологию и литературу. Смысл всей этой кампании совершенно ясен: оклеветать наше государство, приукрасить и подлакировать капитализм.

Особенно много кричат ревизионисты по поводу нарушений законности и необоснованных репрессий, связанных с культом личности. Но из этой попытки направить критику культа личности И. В. Сталина против основ нашего строя — ничего не выйдет! Уже один тот факт, что у нас решительно осуждены и исправлены допущенные несправедливости и беззакония, свидетельствует о том, что они противоречат природе советского общества. Благополучие народа, счастье человека, свободное и всестороннее развитие всех советских людей и удовлетворение их духовных и физических потребностей — главная цель нашего общества, нашего государства.

Исторические решения XX и XXI съездов партии знаменуют дальнейшее укрепление и развитие гуманистических основ нашего строя.

Ради блага народа Коммунистическая партия призывает советских людей укреп-

лять Советское государство и быть бдительными, ведет борьбу за мир между народами, требует внимательного, чуткого, бережного отношения к каждому советскому человеку, к его нуждам и запросам, к его достоинству и свободе, требует доверия к человеку, веры в него. Гуманность характеризует все стороны жизни советского общества.

«...Мораль эксплуататорских классов,— говорил Н. С. Хрущев на XXI съезде КПСС,— характеризуется жестокой формулой: «Человек человеку волк». Социализм утверждает иную мораль — сотрудничества и коллективизма, дружбы и взаимопомощи. Здесь на первое место выдвигается забота об общем благе народа, о всестороннем развитии человеческой личности в условиях коллектива, где человек человеку не враг, а друг и брат».

Самая гуманная в мире философия и мораль лежат в основе советской литературы. В наши дни, когда перед советской литературой встала задача активно участвовать в формировании и воспитании характера человека коммунистического общества, она еще выше поднимает знамя гуманизма. Коммунизм строится во имя человека, во имя блага и счастья народа. Своей глубокой человечностью, верой в силы человека наша советская литература завоевала себе самое широкое признание.

Таковы самые общие черты гуманистического характера советской литературы. Но, как это нередко бывает, дело заключается не только в верном понимании тех или иных общих положений и требований, но и в практическом, конкретном их применении. Вот здесь-то и проступает иной раз однобокое, упрощенное представление о социалистическом гуманизме и обнаруживается явная неспособность реализовать его принципы. Именно так и произошло со Ст. Злобиным.

Он усмотрел в «Суровом поле» и псевдогуманизм, и отсутствие партийной постановки вопросов, и вегетарианское всепрощение, и чуть ли не оправдание власовцев и власовщины. Но для этого ему пришлось, как уже говорилось выше, подвергнуть роман А. Калинина крайне произвольному истолкованию, пройти мимо его подлинного содержания и направления и без всяких оснований заподозрить и осудить Андрея Сошникова.

О «Суровом поле» уже очень много писалось в наших журналах и газетах¹. И, по общему мнению, это произведение проникнуто горячей любовью к советским людям, к колхозному строю и всей нашей жизни. С истинной поэзией и глубокой симпатией нарисовал писатель донских колхозниц Дашу, Феню, Любаву, молодую пару — Андрея Сошникова (сына) и его невесту Катю Иванову, секретаря райкома Еремина и агронома Кольцова. И с непримиримой ненавистью пишет А. Калинин о врагах колхозного строя, о людях, мешающих строить коммунизм, цепляющихся за старое. Таков, например, Стефан Демин, собственник и стяжатель, вор и расхититель колхозного добра, человек, затаивший глубокую неприязнь ко всему новому, советскому. В этом разделении симпатий и антипатий, любви и ненависти, в этом распределении красок для изображения прекрасного и уродливого и нашли в романе А. Калинина ясное, убедительное проявление и партийность и социалистический гуманизм.

Значительное место заняли в романе «Суровое поле» картины минувшей войны. Может быть, здесь отсутствует «четкость в партийной постановке вопросов» и наличествует некое пацифистское умонастроение? Совсем нет, роман А. Калинина — подлинно патриотическое произведение, и война с фашистской Германией изображена в нем как бой «святой и правый».

Вошли в роман и венгерские события 1956 года. И опять-таки позиция писателя отличается идейной и моральной ясностью и определенностью: непримиримое отношение к контрреволюционным мятежникам и их зарубежным вдохновителям, братское сочувствие к венгерскому народу, любовь к Советской Армии, честно выполнившей свой интернациональный долг.

Остается доспорить со Ст. Злобиным по поводу Андрея Сошникова. Главное об этом герое уже сказано. Правдивый образ Андрея, его трагическая судьба, естественно, вызывают горячее сочувствие у читателей и возбуждают в их душе благородные чув-

ства советского патриотизма и человечности. В этом и заключалась цель писателя. Надо внимательно и чутко, а не формально и бездушно относиться к советским людям, попавшим в беду, надо с доверием разбираться в их многообразных судьбах, надо в случае нужды помогать им — учит рассказ о судьбе Андрея Сошникова. И просто непонятно, как этого не видит и не делает Ст. Злобин, как смог он найти здесь леггуманизм, потерю бдительности, оправданные измены, оскорбление военнопленных, честно боровшихся с фашизмом, и т. п. При чем тут оправдание измены, когда речь идет о человеке, сохранившем верность Родине под угрозой смерти? И может ли оскорбить людей, честно боровшихся с фашизмом, изображение человека, который, как и они, в тяжелых условиях плена сохранил волю к сопротивлению фашизму? Так можно договориться и до того, что любое понимающее и сочувственное изображение военнопленных оскорбительно для тех, кто не был в плену.

Конечно, Андрей Сошников не единственный положительный характер среди военнопленных, а путь, избранный им для освобождения из плена, — жуткий, ненормальный. В лагерях военнопленных были участники антифашистских подпольных групп, организаторы заговоров и восстаний. Многие военнопленные бежали из плена совсем не так, как Андрей: уходили организовано; шли в «маки»; пробирались к нашим партизанам, получали оружие от них, а не от врага. Все это так, но в том, что он делал, скорее беда, чем вина Андрея. Ведь нередко наши люди выбирались из плена и в одиночку и любыми способами: лишь бы бежать, лишь бы вернуться к своим. И Ст. Злобин напрасно старается уверить, что таких особых случаев не было. Нет, пути и тропы человека на суровом поле войны и в тяжелых условиях плена поистине многообразны.

Конечно, можно понять тех товарищей из бывших военнопленных, которые жалеют, что А. Калинин (вернее, писатель Михайлов) не избрал героем своего романа человека, активно участвовавшего в подпольной борьбе узников фашистских лагерей. Но очевидно, что тогда бы он должен был написать иное произведение, с другими целями и задачами. Зато никак нельзя понять Ст. Злобина, который в своем не-

¹ См. газеты: «Молот» от 25 июля 1958 г., «Литература и жизнь» от 27 августа 1958 г., «Литературная газета» от 13 сентября 1958 г., «Правда» от 19 января 1959 г., «Известия» от 29 апреля 1959 г.; журналы: «Октябрь» № 7, 1958 г., «Москва» № 7, 1958 г., «Дон» № 1, 1959 г., «Дружба народов» № 3, 1959 г., и другие.

доверии и вражде к Андрею Сошникову доходит до утверждения, что на него нельзя будет положиться «в решительную и тяжелую минуту», и противопоставляет его сыну — честному советскому воину. Но почему же собственно? Только потому, что Ст. Злобин принял Андрея Сошникова за власовца? Но это характеризует статью Ст. Злобина, а не поведение и душу Андрея Сошникова. Нет нужды А. Калининну показывать и преодоление Андреем Сошниковым «темных трагических бездн» братоубийства и грязных преступлений, как это рекомендует Ст. Злобин. Нет нужды просто потому, что за душой у Андрея нет ни братоубийства, ни грязных преступлений, ни «темных трагических бездн». Андрей никак не годится на роль героя мелодрамы из жизни власовцев. И напрасно Ст. Злобин во что бы то ни стало хочет навязать Андрею эту роль в такого рода произведении. Из этого ничего не получается.

Ошибочное понимание образа Андрея Сошникова и несправедливое отношение к этому герою определили в статье Ст. Злобина и неверное представление о романе «Суровое поле» как художественном произведении. Порочный, субъективистский, импрессионистический, антиреалистический метод, несерьезное отношение к писательскому труду, туманная, запутанная форма, литературная беспомощность, шизофреническая или полумистическая система литературных двойников и т. п. — так характеризует Ст. Злобин роман А. Калинина. Очевидно, что и здесь он, как и во время «суда» над Андреем Сошниковым, проявлять какую-либо доброжелательность совсем не склонен. Но вся беда в том, что «страшные» слова Ст. Злобина бессодержательны, так как основаны на бездоказательном осуждении образа Андрея, что уже не требует дальнейших разъяснений. Отпадают обвинения, выдвинутые Ст. Злобиным против Андрея, — рушится и вся его критика «Сурового поля» как произведения литературы.

Последнее обстоятельство позволяет свети дальнейшие замечания о статье Ст. Злобина до минимума.

Ст. Злобин упрекает А. Калинина и героя его романа, писателя Михайлова, в том, что они отказались от глубокого исследования конкретно-исторического материала, каса-

ющегося жизни военнопленных и преступлений власовцев, и ограничились рассказами Сулина и Еремина. Это, дескать, и есть порочный субъективистский, антиреалистический метод. В связи с этим Ст. Злобин приводит в своей статье некоторые существенные, по его мнению, сведения и факты. Но эти его сообщения и «материалы», во-первых, наверное, известны не только А. Калининну, но и каждому советскому человеку, а во-вторых, недостаточны для решения той задачи, которую поставили перед собой автор «Сурового поля» и писатель Михайлов. Дело в том, что они вовсе не имели целью рассказать о жизни и борьбе военнопленных или показать преступления власовцев. Это не входило в их замысел и в данном случае не было необходимо. Цель и тема были другими — показать верность Андрея Сошникова Родине, пронесенную им сквозь всю жизнь, несмотря на трагическую судьбу. И здесь рассказы Сулина и Еремина, знакомство с Дашей и сыном Андрея, Любовью и Демидом — людьми, хорошо знавшими героя, — могли пригодиться больше, чем общеизвестные во всем главном материалы о военнопленных. Разве можно, создавая художественное произведение, ограничиться знанием только общего? В романе, заметил В. И. Ленин в одном из писем к Инессе Арманд, «...весь гвоздь в индивидуальной обстановке, в анализе характеров и психики данных типов» (т. 35, стр. 141). Так что Ст. Злобин напрасно упрекает роман А. Калинина в антиреализме и импрессионизме. Эти упреки жиждуются на слишком непрочных основаниях.

Но, может быть, образ Андрея Сошникова так исключительно индивидуален, что является единичным и не содержит в себе ничего типического? Может быть, он вообще не годится в герои художественного произведения и не заслуживает внимания? Не следовало ли выбрать более подходящую в этом отношении фигуру? Но ведь о выборе героя нельзя судить вне общего замысла писателя и всего содержания произведения. Задумав показать сложную судьбу человека, его мужество, любовь к Родине и в острой форме поставить проблему гуманизма, А. Калинин, как и его герой Михайлов, были вправе остановить свой выбор на Андрее Сош-

никове. Что же касается «единичности» и «типичности», то и здесь нельзя добиться глубокого решения проблемы на путях полного противопоставления этих понятий и оставляя в стороне общую тенденцию произведения. Да, конечно, такой путь возвращения к своим, какой избрал Андрей, необычен, исключителен. Но этот индивидуальный случай дал писателю возможность очень ясно выявить дорогую для него идею гуманности, — и это означает, что данная индивидуальная ситуация поучительна и как бы содержит в себе важные выводы общего характера. А во всем остальном судьба Андрея даже в смысле распространенности довольно типична. Нечто подобное можно сказать о многих других героях литературы: в их судьбах в разной форме переплетается индивидуальное и общее, но и то и другое имеет широкое и важное общественное значение. Григорий Мелехов типичен, поскольку в его поисках, шатаниях и метаниях отражались колебания широких непролетарских трудовых слоев населения в период революционного перелома и гражданской войны. И Григорий Мелехов утрачивает свою типичность для целых общественных слоев, когда становится отщепенцем и заходит в тупик. Но его судьба, именно такого человека, каков он есть, дает возможность сделать очень широкие и глубокие выводы о трагической судьбе любого честного и умного человека, оторвавшегося от народа.

Несколько более резонными представляются критические замечания Ст. Злобина относительно изображения труда писателя и психологии художественного творчества в «Суровом поле». Рисуя работу и «творческие муки» писателя Михайлова, А. Калинин, несомненно, кое-где переборщил, придав им чрезмерную эмоциональность и даже выпренность. В особенности это сказало в эпизоде, показывающем состояние Михайлова во время затянувшегося описания поединка Андрея Сошникова (то ли отца, то ли сына) с фашистом-пулеметчиком, засевшим на фабричной трубе. Совершенно ничего не имея против этого эпизода и этого описания по существу, я думаю все же, что в изображении процесса творчества здесь напущен излишний туман. Но совершенно зря Ст. Злобин упрекает А. Калинина в том, что тот представляет художественное творчество, как нечто

таинственное и болезненное. Совсем нет. Просто А. Калинин несколько утрачивает чувство меры, показывая, что работа писателя — дело трудное, сложное, требующее напряжения всех душевных сил, ума, чувств, памяти, внимания, воображения, что настоящий писатель всегда пишет с глубоким волнением, «кровью сердца». И это, во всяком случае, вернее упрощенных представлений о художественном творчестве как о процессе чисто рассудочном, механическом, ремесленно-иллюстративном.

Другие разнороднейшие упреки Ст. Злобина в адрес «Сурового поля» оспаривать не стоит, хотя их еще много и среди них есть и такие, как созерцательность, мрачное изображение жизни колхозного Дона и т. п. Все они, в общем, неосновательны. Ну что можно, например, сказать про обвинение в «мрачном изображении», если оно опирается у Ст. Злобина на арифметический подсчет положительных героев и отрицательных, да еще приблизительный, не очень точный? Так или иначе, в «Суровом поле» нет ничего такого, что давало бы право вывести роман за пределы реализма (как это делает Ст. Злобин) и приписывать ему «туманную и мутную форму». Переплетение в романе разных планов — войны и современности, картин колхозной жизни и работы, жизни и работы писателя Михайлова, судеб Андрея Сошникова-отца и Андрея Сошникова-сына — насколько не нарушает правды жизни и естественности повествования. И только позабыв о том, что социалистический реализм не ограничивает, а предполагает разнообразие художественных средств и стилей и побуждает к творческой инициативе и исканиям, можно «клеить» «Суровое поле» как отступление от социалистического реализма.

Но главный наш спор со Ст. Злобиным — напоминаем — о гуманизме. Думается, что в своей критике «Сурового поля» А. Калинин Ст. Злобин подменил бдительность недоверием и подозрительностью, а социалистический гуманизм — бездушием и формализмом. Ему кажется, что он борется с вегетарианским всепрощением и моральной реабилитацией преступника, а на деле он выступает в своей статье против чуткого и бережного отношения к человеку. Ст. Злобин полагает, что его понимание и применение принципов социалистического гуманиз-

ма идут на пользу советскому обществу, укрепляют его, а, по моему мнению, он ошибается.

3

В той или иной связи споры о гуманизме довольно часто возникают в нашей литературной жизни. Вот в первой книжке журнала «Знамя» за этот год Б. Сучков рассматривает книгу критических статей Е. Книпович, «Сентиментальный роман» В. Пановой и касается ряда других произведений литературы именно под углом зрения их гуманистической направленности. Статья Б. Сучкова кажется мне интересной и во многом правильной. Она направлена против абстрактного морализаторства, «гуманизма жалости», внеклассовой «человечности». Проявления подобного «гуманизма» действительно встречаются в нашей литературе (особенно в драматургии), в кино, в живописи. Ложные либеральные представления об «общечеловеческой» морали, о человечности вообще, о том, что якобы можно и должно быть просто «хорошим» и «порядочным» человеком, независимо от того, на чьей стороне и во имя каких интересов участвовать в современной борьбе, — ложные представления такого рода еще не изжиты до конца в нашей литературе и искусстве. Но с мнением Б. Сучкова о «Сентиментальном романе» В. Пановой, с его утверждением, что в этом произведении «ощущается одностороннее понимание природы социалистического гуманизма», согласиться невозможно¹.

¹ Поистине странно относятся к этой писательнице некоторые критики. Как будто они заранее и постоянно ждут от нее каких-то подвохов и неприятностей. Скажем, принялась читать «Сентиментальный роман» Р. Мессер. «Раскрыла, — рассказывает она, — и сразу же насторожилась. Зачем здесь эпитафия (хотя бы и пушкинская): «О юность легкая моя!»? Как видите, даже эпитафия из Пушкина настораживает. Вот и читай после этого статью Р. Мессер. Естественно, спешишь перейти к напечатанной в том же номере «Звезды» (1959, № 3) статье В. Назаренко «О хорошем вкусе». Он, оказывается, тоже пишет о «Сентиментальном романе»: так сказать, «добавляет». Однако и здесь останавливаешься в недоумении и начинаешь сомневаться в хорошем вкусе критика, узнав, что В. Панова похожа на А. Дюма, «Сентиментальный роман» — на роман «увлекательных приключений», а Кушля из романа В. Пановой — на Присыпкина из «Клопа» В. Маяковского.

Почему же «одностороннее»? Конечно, В. Панова не принадлежит к писателям с открытой публицистической манерой письма, а иной раз чересчур старательно стремится упрятать от читателя собственное отношение к своим героям, но общее направление «Сентиментального романа» не вызывает никаких сомнений. Сквозь повествование о разных людях, чертах жизни, событиях двадцатых годов звучит в нем поэзия комсомольской юности, поэзия становления советской печати, поэзия борьбы людей, мобилизованных и призванных революцией, против отвратительных сил и традиций старого мира. Так в чем же заключается «одностороннее понимание природы социалистического гуманизма»?

Еще дальше Б. Сучкова пошла в своих «Необходимых репликах» Л. Скорино («Знамя», 1959, № 5). Она нашла в «Сентиментальном романе» не только гуманизм жалости и созерцания, «не только холодно-пассивное, почти равнодушное отношение, но даже любование одинаково и добром и злом», всеобъемлющее и примиренное приятие действительности и людей такими, каковы они есть. Больше того: по словам критика, В. Панова овекает «поэтической дымкой» даже самых низменных из своих героев. Но не перестаралась ли Л. Скорино? Не слишком ли активно демонстрирует она свое неприятие такого «зла», как «Сентиментальный роман», и такой писательницы, как В. Панова? Кто же поверит ей, что В. Панова одинаково относится, например, к отвратительному горбуну — брату Зойки большой, к притаившемуся белогвардейцу-кладовщику, к куркулям, убившим Кушлю, к Илье Городничкому, с одной стороны, и к Зойке маленькой, Кушле, Марии Петриченко, Семке Городничкому — с другой. «Поэтическая дымка» в «Сентиментальном романе» действительно имеется, но ею овеяны такие герои, как, скажем, Мария Петриченко, а отнюдь не ее враги.

Однако вернемся к статье Б. Сучкова, выслушаем и проверим его аргументы.

По преимуществу он опирается на субъективную интерпретацию образа главного героя «Сентиментального романа» — Севастьянова. Здесь тоже происходит нечто вроде «суда над литературным героем», с тем чтобы в результате «разбирательства» вынести приговор автору. Севастьянов ка-

жется Б. Сучкову созерцателем жизни, основной чертой облика которого является внутренняя пассивность. Это человек добрый до беспринципности, снисходительный к человеческим недостаткам, каковы бы ни были социальные истоки этих недостатков. Он весь во власти всепоглощающей любви к Зойке, любви, парализующей его волю и сознание. Одним словом, для Б. Сучкова это носитель той пассивной и абстрактной человечности, которую критик осуждает категорически и безоговорочно.

Винновником того, что главный герой «Сентиментального романа» оказался столь недостойным персонажем, по мнению Б. Сучкова, естественно, является автор романа — В. Панова. Вместо того чтобы отвести решающую роль в формировании Севастьянова и его общественного самосознания «социальным факторам», она, по мнению критика, трактует героя как частное лицо и придает здесь значение только любовной драме. Скажем, «пример жизни Кушли на Севастьянова никакого воздействия не оказал». Бесследно проходит для него и «та живая боль людей, с которой он встретился в деревне, где в лоб столкнулось новое со старым». Понятно, что писательница недалеко ушла от своего героя, так как тоже «все узловые проблемы времени замыкает в сфере личных, частных отношений героев», видит время «через зыбкую пелену вневременной человечности» и растворяет «социальное содержание исторического времени в стихии общечеловеческих чувств, отделив частное в героях от гражданского». Так возник в статье Б. Сучкова параграф об одностороннем понимании В. Пановой природы социалистического гуманизма.

Но верно ли все это? Верно ли, например, что в воспитании и формировании Севастьянова играла роль только пережитая им любовная драма? Нет, в романе В. Пановой история героя изображается совсем иначе.

Революция возбудила в душе Севастьянова — тогда еще подростка — стремление к жизни более прекрасной, чем жизнь в «стране его детства», нищей Балобановке. Революция привела его в комсомол и газету. Это, говоря словами Б. Сучкова, первый социальный фактор, оказавший влияние на формирование героя романа.

Второй фактор — комсомол, комсомоль-

ский быт, споры, борьба с мелкобуржуазной молодежью («Поэтический цех»), влияние таких сверстников-комсомольцев, как Семка Городничий, Зойка маленькая, Югай. Разве можно, читая «Сентиментальный роман», пройти мимо глав, показывающих комсомол как школу, воспитавшую Севастьянова? Может быть, В. Панова сказала здесь не все, может быть, другой писатель расскажет о комсомоле двадцатых годов лучше, глубже, шире, но смысл написанного ею, направленность сцен, нарисованных в ее произведении, бесспорны.

Третий фактор — газета: «мир дивный, могущественный! Державка печати!» Опять-таки непонятно, как сумел Б. Сучков не заметить того влияния, которое оказала на Севастьянова работа в советской печати. Казалось бы, для этого достаточно прочитать главу, в которой рассказывается о первой заметке («зарисовке»), написанной Севастьяновым и напечатанной в газете, познакомиться с редактором «Серпа и молота» Дробышевым или секретарем редакции Акоюном, прислушаться к тому, что говорит писательница: «В общем, — сказано в книге, — он (Севастьянов. — А. Д.) полюбил газету навеки, роднее всех запахов стал ему запах типографской краски, самым важным зданием на земном шаре стал дом, в котором помещалась редакция».

Но Б. Сучков явно не желает считаться с тем, что написано в романе: по-видимому, так легче доказать то, что хочется. Иначе как бы мог он, рассуждая о становлении Севастьянова, не обратить внимания на комсомол, газету и другие социальные факторы формирования героя.

Вот в главе шестнадцатой своего романа В. Панова рассказывает о том, как Севастьянов вместе с другими комсомольцами занимался на политкурсах. Им читались лекции о прибавочной стоимости, диктатуре пролетариата, диамате и истмате, о великих утопистах, предшественниках марксизма. «Севастьянов, — говорится в романе, — впервые слышал так подробно и был понастоящему потрясен — сколько же люди думали, искали, фантазировали, догадывались, открывали, стремясь устроить человеческую жизнь разумно и справедливо. Он даже поднялся в собственных глазах, обнаружив, что его волнует этот мир от важного и жадного мышления, с которым он сопрякнулся...» Помогает эта глава

о политкурсах понять процесс формирования Севастьянова и его характер? Безусловно. Но Б. Сучков игнорирует ее.

Вот на странице 84 «Сентиментального романа» рассказывается о том огромном потрясении, какое пережили Севастьянов и его друзья комсомольцы, узнав о смерти В. И. Ленина: «Они его не видели. Югай видел его на третьем съезде комсомола. Но так громадно много значил Ленин в их жизни. Не только в минувшие годы, но и в предстоящие, и навсегда значил он для них безмерно много. Всегда он будет с ними, что бы ни случилось. Так они чувствовали, и это сбылось». Дает ли этот рассказ о значении Ленина в жизни Севастьянова и его товарищей что-либо существенное для понимания процесса формирования героя романа и его «общественного самосознания»? Несомненно. Однако и его Б. Сучков оставляет без внимания.

Учил, воспитывал, вырастил — говорит старый проводник о своей дочери, Зойке маленькой, «Положим,—подумал Севастьянов,—Зойку воспитала советская власть и мы, комсомол». То же самое — и даже с большим основанием — он мог сказать и о себе. «Скольким людям обязан он, сколько рук потрудились, чтобы сделать его человеком», — сказано в романе. И не только сказано, но и показано, изображено, нарисовано. Иногда кратко, иногда более пространно, но всегда убедительно. Б. Сучков не замечает этого.

Как уже говорилось, критик пытается подтвердить свой взгляд на формирование главного героя романа ссылками на отношения между Севастьяновым и Кушлей. Дескать, ни жизнь, ни смерть Кушли не оказали на Севастьянова никакого влияния. Вообще-де В. Панова о классовой борьбе говорит скороговоркой и не показывает воздействия на Севастьянова борьбы нового со старым. Но ведь все это не так. Кушля навсегда запомнился Севастьянову и навсегда вошел в его жизнь. Запомнился с его недостатками и путаницей в личной жизни, а неизмеримо больше — с его преданностью революции и ненавистью к ее врагам, верой в таланты народа, с мечтами о будущем, с трогательным уважением к печатному слову, с настойчивым стремлением стать журналистом, запомнился полным жизнелюбием, готовым радоваться и содействовать любому успеху

своего товарища по классу, по работе, с его активностью и бесстрашием. «...Голубоглазый Кушля вмешался в судьбу Севастьянова и переломил ее», — сказано об одном из эпизодов романа.

И конечно, особую роль в жизни Севастьянова сыграла смерть Кушли. Из всего увиденного и услышанного в Маргаритовке — деревне, где убили Кушлю, — Севастьянов сделал очень серьезные выводы. Главы, в которых рассказывается о его поездке в Маргаритовку, особенно важны для понимания направленности «Сентиментального романа». И очень жаль, что Б. Сучков не понял или не захотел понять их. Что же увидел Севастьянов в деревне? Обнаженные до предела экономические противоречия и накаленную до крайности классовую борьбу. На одном полюсе — хитрые куркули, которые заняли все «ключевые позиции», пробрались и в сельсовет и в кооперацию (того споили, того купили, того запугали), на другом полюсе — деревенская беднота, не желающая мириться с властью кулачества, мечтающая о счастливой доле. У одних хаты, крытые железом, во дворе — крепкие постройки, в домах — по-городскому обставленные комнаты, у других, как только войдешь во двор или ступишь на порог хаты, отовсюду бросается в глаза «жизнь нищая, немилосердная». С одной стороны тот «чисто одетый человек с темной оборочкой волос вокруг лысины», который «больше всех нажился», «все новые слова знает» и уверяет, что Кушля был убит «под горячую руку, спяна», а с другой — Мария Петриченко, бедная крестьянка-селькор, которую кулаки пытались и подкупить, и запугать, и убить, но не смогли, ибо «советская власть, бедняцкий класс и она сама, Мария Петриченко, — неразделимое целое». Положение в деревне «дошло до черты, вопрос стал ребром: кто кого». «Я знаю одно, — сказала Мария, — или им на свете быть, или мне с моими детьми на свете быть. Я с ними никогда не помирюсь». И Мария Петриченко действительно знала то, о чем говорила: пуля, сразившая Кушлю, предназначалась для нее.

Кто-то из критиков писал, что образ Марии Петриченко — «внесюжетный» и с темой «Сентиментального романа», с судьбами его героев никак не связан. Возможно, что в каком-то формальном, внешнем

смысле это и так, но по существу образ Петриченко очень тесно связан и с темой произведения В. Пановой, и с его направлением, и с судьбами его героев. Во всяком случае, в жизни Севастьянова, в его духовном развитии встреча с Петриченко, как и убийство Кушли и все деревенские впечатления, сыграла огромную роль. И серьезные уроки, извлеченные героем романа из поездки в Маргаритовку, как раз касаются понимания природы социалистического гуманизма...

Обратимся к 45-й главке «Сентиментального романа». Севастьянов видел человека, убившего Кушлю, побывал на деревенском собрании, осмотрел двор и хату убийцы, беседовал с Марией Петриченко и слушал ее стихи. Наступила ночь, и сейчас он сидит на террасе бывшего помещичьего дома, в котором помещается сельсовет, и вслушивается в споры собравшихся «на огонек» хлеборобов и рыбаков. Спор идет об убийстве Кушли. В общем, представлены три точки зрения: редактор «Серпа и молота» коммунист Дробышев справедливо утверждает, что это — убийство классовое, политическое; известный нам куркуль «с темной оборочкой волос вокруг лысины», пытаясь выгородить убийцу, «небрежно замечает», что Кушлю убили как бы случайно — «выпили, поспорили, ну и — под горячую руку, спяна...»; наконец, школьный учитель говорит, что убийство — «старая семейная ссора. Еще до революции что-то не поделили». Позиция учителя и самая его фигура особенно важны в данном случае. Тщедушный и возбужденный старый учитель принадлежит, как говорится в романе, к тем закоренелым упрямам, «что готовы лучше умереть, чем отказаться от своего заблуждения и признать истину». А заблуждение его совершенно в духе абстрактного внеклассового и внеисторического мировоззрения: «Вы мне не докажете, — строптиво твердит учитель, — что это политическое убийство... Со времен Авеля и Каина человек убивает человека и придумывает разные причины убийства».

Как же реагирует на споры об убийстве Кушли Севастьянов? Какая из трех точек зрения соответствует его жизненному опыту и в особенности новым и столь сильным впечатлениям, полученным от знакомства с Маргаритовкой и происшедшими в ней событиями? Или, может быть, как полагает

Б. Сучков, он ничего не увидел, не услышал и ни о чем не размышлял, весь отдавшись чувству любви? Нет, критик напрасно изолирует Севастьянова от жизни и навязывает ему некое отвлеченно-гуманистическое отношение к действительности. Подводя итоги прошедшему дню, Севастьянов долго не спит и думает о правде, о человечности. Он как бы продолжает спор со старым учителем, который, как домовый, бродит где-то рядом, в том же бывшем помещичьем доме. «Непостижимо, — думает Севастьянов, — что такой человек, явно неудачливый и несчастливый, явно проживший жизнь трудовую и трудную, с враждебностью отталкивает от себя классовую правду, которая все озаряет и объясняет, — легче ему, что ли, доживать свой век в потемках? Придется-таки нам попариться, — думает Севастьянов, — покуда вложим нашу классовую правду во все головы, седые и молодые...»

Итак, классовая правда и человечность, противопоставленные отвлеченной, внеклассовой гуманности старого учителя, — вот к чему пришел юноша Севастьянов, вот то новое, что вошло в его «общественное самосознание». И вошло под влиянием смерти Кушли, встречи с Марией Петриченко, фактов жизни, основанной на непримиримых классовых противоречиях и беспощадной классовой борьбе. А это значит, что утверждения Б. Сучкова, будто бы в формировании Севастьянова решающую роль сыграла только любовная драма, а В. Панова «стремится увидеть время через зыбкую пелену вневременной человечности» и отделяет «частное в героях от гражданского», — что все эти утверждения по меньшей мере неосновательны.

Да и сама «любовная драма», само «частное» имеют в «Сентиментальном романе» социальный характер. Героев произведения: Севастьянова и Зойку маленькую, с одной стороны, и Зойку большую — с другой, развела в разные стороны история, общественные противоречия периода нэпа. Севастьянов и Зойка маленькая оказались в рядах строителей социализма, на стороне нового, а Зойку большую потянул за собой старый мир, его мораль и представления, ожившие в связи с нэпом. «Частный» конфликт «Сентиментального романа» неразрывно переплелся с «гражданским» и приобрел резко выраженный общественный

смысл. И если бы Б. Сучков увидел это, он по-иному представил бы себе и процесс формирования Севастьянова и самый характер и убеждения героя «Сентиментального романа».

Но на вопросе о характере и убеждениях Севастьянова придется остановиться особо, ибо здесь спор о понимании социалистического гуманизма снова принимает очень конкретный и практический характер.

Как помнит читатель, Б. Сучков видит в Севастьянове человека наивного, созерцательного, поведение которого не имеет ничего общего с подлинным гуманизмом. Критик пытается подтвердить это рядом примеров и фактов. Я вовсе не склонен идеализировать Севастьянова (и в житейском и в художественном отношении), но упреки Б. Сучкова в адрес этого героя «Сентиментального романа» кажутся мне сомнительными.

Севастьянов прощает бросившую его Зойку большую, готов вернуться к ней, хлопчет о ней перед Ильей Городничким— таково, по мнению Б. Сучкова, одно из главных прегрешений героя романа В. Пановой. Конечно, оговаривается критик, Севастьянова можно понять, конечно, Севастьянов мог и пожалеть Зойку, но все же он проявил здесь и вредную снисходительность к вредным человеческим недостаткам, и моральную слабость, и идейную невыдержанность. Он бы должен порвать с Зойкой так, как порвал Рошин с Катей, «когда увидел, что между ними пролегла пропасть социального антагонизма», или отречься от любви к Зойке так, как отрекся Нагульнов от своей любви к Лужке. Но он оказался— в соответствии со свойственной ему пассивной и всепрощающей человечностью— не в силах уподобиться Рошину и Нагульнову. Впрочем, во всем виновата писательница, в произведении которой личные, психологические начала отторгнуты от начал социальных.

Таким образом, если поверить Б. Сучкову и согласной с ним Л. Скорино, подлинный гуманизм требует, чтобы Севастьянов безотлагательно и автоматически рвал с Зойкой и отрекался от любви к ней, как только она покинула его. Критику нет никакого дела до того, что Севастьянову девятнадцать лет (он «еще пел песни собственного сочинения»), что он любит Зойку со всей страстью и глубиной первой любви,

что он многого в поведении и характере Зойки не понимает и надеется на ее раскаяние. Все равно, герой романа заслуживает самого сурового осуждения! Жаль только, что ни Рошин, ни Нагульнов, как хорошо помнят читатели «Хождения по мукам» и «Поднятой целины», не ведут себя в соответствии с упрощенными выкладками Б. Сучкова (не говоря уже о том, что, пожалуй, неудобно уравнивать поведение белогвардейского офицера Рошина и коммуниста Нагульнова: как-то получается внеклассово и «вневременно»).

Но дело не только в этом. Б. Сучкову и Л. Скорино известно, что Севастьянов вскоре порвал с Зойкой. Последнее проявление слабости— он пришел на вокзал посмотреть, как она уезжала. «В Москве он ее не искал. Ни у кого никогда не спросил— не знаете ли, где такая-то...» Значит, вся вина Севастьянова в том, что он не сразу отрекся от Зойки. Но разве человечно требовать этого от любящего юноши? И кому это и зачем нужно, чтобы Севастьянов сразу отрекся и забыл? Хорошо ли вообще такое отношение к любви? Думается, лучше учить глубокой и крепкой любви, чем уметь быстро и сразу отречься от нее, едва любовь оказалась несчастливой. Речь не идет, конечно, о случаях, подобных изображенному Б. Лавревым в «Сорок первом».

Конечно, Севастьянову необходимо преодолеть любовь к Зойке большой. Так он и делает это, и делает очень принципиально, но не легко и не «сразу».

«Сумрачный сарай с огненной щелью увиделся ему, ледник, укрытый соломой, щетинистая морда убийцы. «У нас сражение, мы хороним товарищей, а она!» Убитый Кушля, сарай и ледник, где он лежал, убийца вспоминаются Севастьянову, когда он думает об измене Зойки. Именно в этой связи он осмысливает и осуждает ее поведение. «Искать?! Будь покойна. Если ты из-за угла... Если ты ничего, ровным счетом ничего не поняла— что у нас с тобой было и что ты разрушаешь!» Как видно, заочный разговор Севастьянова с Зойкой идет на самых высоких нотах и судит он ее «по большому счету». Вообще Зойка уходит со страниц романа не столько воплощением прелести и очарования, сколько женщиной лживой и загрязненной, запутавшейся в тенетах нэпа. Ни Се-

вастьянов в конце книги не смотрит на нее только глазами влюбленного, ни В. Панова — восторженными глазами поэта. Исчезают иллюзии у Севастьянова, и справедливые слова говорит о Зойке большой мать Зойки маленькой, Анна Алексеевна: «Пять лет ходила. Что ж перестала? Когда нам хорошо — она здесь, а когда...»

Да, Севастьянов не сразу отрекается от Зойки, но он верно оценивает сложившееся положение и чувствует, что разрыв неизбежен. Винить его буквально не в чем.

Б. Сучкову явно не нравится, что Севастьянов стал хлопотать за попавшую в тюрьму Зойку. Критику кажется, что он делает это по наущению злоеющего горбуна — брата Зойки, что он «спасовал» перед горбуном, парализованный «стихией человечности». И действительно, надо было Севастьянову хлопотать за Зойку или не следовало? Вопрос немаловажный. Конечно, обязательно надо. И Севастьянов хлопочет не потому, что любовь к Зойке отняла у него волю и сознание, а потому, что он уверен: произошла ошибка, Зойка не виновата, не знала, что кладовщик, с которым она бежала, — враг, белогвардеец, осваговец. Как же было не помочь? Неужели же только потому, что Зойка изменила ему, Севастьянов должен был равнодушно взирать на то, что она сидит в тюрьме за преступление, которого не совершила? Странное представление о гуманизме. И наущения горбуна тут ни при чем. Севастьянов вовсе не спасовал перед ним. Он видит горбуна насквозь, понимает гадкий смысл каждого его слова и действует по своему разумению и по велению своей совести. В романе — в раздумьях Севастьянова — это выражено с полной определенностью: «О горбуне... Учил Севастьянова, что сказать Илье Городницкому: все слова — одно другого противней: холуйство и злобное ляганье зубами, бестыдное хныканье и тут же какая-то юридическая юркость, бедовость, тьфу! Доведись на самом деле до разговора — «товарищ Городницкий, — сказал бы Севастьянов, — она не виновата. Ее покалечили, но перед советской властью она не виновата, она не знала, кто он такой, верь мне. Он пообещал ей дорогие игрушки, она побежала за игрушками».

Б. Сучкову, почему-то кажется, что Се-

вастьянов не смог по-настоящему осудить горбуна, но что значит «по-настоящему» — он не поясняет. Судя по всему, Б. Сучков хочет, чтобы Севастьянов вступил с горбуном в жаркий спор, открыто и прямо раскрыв перед ним свои убеждения. Но зачем Севастьянов, ошарашенный приходом горбуна и его «сенсациями», станет «проявлять» перед ним свое мировоззрение — просто непонятно. Читателю и без того ясно отношение Севастьянова к горбуну и ко всей подобной ему мелкой дряни, отношение — как бы его ни представлял в своей статье Б. Сучков — враждебное, непримиримое.

Особенно достается Севастьянову от Б. Сучкова за его якобы плохое отношение к Кушле. Как же? Прошел мимо живого Кушли и мало думал о нем погибшем, пассивно держался на расследовании убийства Кушли и скоро забыл о нем. А чтобы подвести под свое равнодушное отношение к Кушле некоторое обоснование, «не случайно» ходил на кладбище и читал там разные эпитафии — дескать, перед смертью все равны. Одним словом, и здесь сказалась, по мнению критика, созерцательная натура Севастьянова.

Но разберемся по порядку. Выше уже говорилось об отношении Севастьянова к Кушле и его убийству. Коснемся теперь деталей дела. Они существенны.

Пассивно держался на расследовании... Но ведь Севастьянов приехал в Маргаритовку не в качестве следователя, представителя власти или органов юстиции, а в качестве корреспондента газеты. Его задача — написать в «Серп и молот» о трагических событиях, случившихся в Маргаритовке. И как корреспондент он держится активно: наблюдает, беседует с нужными людьми, слушает, запоминает, размышляет. Задание редакции он выполняет более чем добросовестно.

«Не случайно» оказался на кладбище... Но ведь не всегда же люди идут на кладбище для того, чтобы размышлять о «всесильности внесоциального в человеке». Художник газеты Коля Игумнов и Севастьянов, например, действительно оказались там «не случайно» — хоронили Кушлю. А потом пошли побродить, почитать надписи на плитах. Никаких раздумий о бренности человеческого существования и веч-

ном покое у них при этом не возникло. И тот и другой, уставшие и измучившиеся, заснули на кладбище, заснули крепким, самым земным сном. А когда выпались, «отряхнулись, перешагнули через остатки кладбищенской ограды и пошли купаться».

«...Уже забыл его (Кушлю.—А. Д.) Севастьянов, в мыслях потянувшийся к Зойке»,— пишет Б. Сучков. Да, к Зойке Севастьянова тянуло. Но неужели, с точки зрения критика, и это запрещается? Что же касается Кушли, то Севастьянов, как уже было сказано, запомнил его на всю жизнь. Навсегда остался в его памяти сарай с ледником, где лежал убитый Кушля, «привязались и не отвязываются» вообще все лица и картины, увиденные в Маргаритовке, например Мария Петриченко, «как стоит она против убийц и дети цепляются за ее подол».

Наконец, не представляется убедительной и общая характеристика Севастьянова как человека созерцательного и пассивного. Часто он очень активно вмешивается в жизнь. Напомним хотя бы о его участии в облаве на бандитов, засевших в разрушенном доме Хацкера, о его настойчивых заботах и хлопотах о детдоме («Прямо-таки совестно было глядеть на детдомовские беспорядки, словно сам был в них виноват») и главное — о его работе в газете. Вот Б. Сучков считает Севастьянова пассивным и мягкотелым, а читатели газеты «Серп и молот» держатся другого мнения. «Севастьянов? Я тебя читал, товарищ. Читал твои статейки. Ничего пишешь... Можно даже сказать — здорово пишешь. Правильно берешь под ноготь все что следует. Молодец»,— говорит о герое романа «человек в буденовке» — красноармеец, охраняющий тюрьму. Вот тебе и созерцатель жизни, обессиленный «стихией человечности!» Оказывается: газетчик, здорово и правильно берущий под ноготь все что следует.

Кушля и другие работники газеты «Серп и молот» тоже иначе представляют себе Севастьянова, чем Б. Сучков. И литературные позиции Севастьянова ничего общего не имеют с созерцательством и объективизмом. «Тот, кто взялся за перо, обязан ограждать себя от страстей, пережигających разум. Мозг пишущего должен быть подобен отрегулированной и смазанной машине...» — проповедует фельетонист газеты Вадим Железный, в прошлом имажинист

и биокосмист Михаил Гордиенко. Севастьянов совершенно не согласен с ним. «Беречься, значит, от беспокойств,— спросил он,— не волноваться? Ходить с блокнотом и протоколировать?.. Не знаю, кто так может... быть машиной для переработки».

Выходит, что представления Б. Сучкова о Севастьянове, как и о его формировании, страдают очевидным субъективизмом. Герой «Сентиментального романа» и его автор явно заслуживают более справедливого и гуманного отношения.

Хотелось бы возразить и против некоторых суждений Б. Сучкова о Кушле. Конечно, критик журнала «Знамя» не сравнивает Кушлю с Присыпкинским, как это делает В. Назаренко, но считает, что и в этом образе «с очевидностью проступает вся несовместимость с правдой истории принципа изображения человека только через стихию человечности...» В результате применения В. Пановой этого принципа Кушля и входит в наше сознание, по мнению Б. Сучкова, как участник гражданской войны, несопоставимый с Метелицей и Чапаевым, Кожухом и Корчагиным, как «самодовольный истерик», не выявивший гражданственную суть своего характера и раскрывший себя не в сфере общественной деятельности, а в сфере частной жизни, как человек, которого писательница наградила затхлым, мешанским счастьем. Иначе говоря, Б. Сучков и образ Кушли интерпретирует столь же сурово и в том же духе, как и образ Севастьянова, и здесь усматривает непонимание В. Пановой природы социалистического гуманизма.

Еще дальше идет Л. Скориню. Подкрепляя Б. Сучкова, она ставит все точки над «і». По ее мнению, Кушля — человек убежденно невежественный, с мешанским представлением о революции, с обывательским пренебрежением к труду, со шкурническими склонностями и т. п. В. Панова взяла-де традиционный романтический образ героя гражданской войны, снизила и окарнажила его, а недостаточно «подкованные» критики не поняли этого «коварного» замысла писательницы и всячески славословят Кушлю — так примерно рассуждает Л. Скориню.

Нет необходимости разбирать суждения Б. Сучкова о Кушле с такой же подробностью, как суждения о Севастьянове. В общем, характер и методика подхода к

героям В. Пановой и в том и в другом случае одни и те же. Но несколько возражений и Б. Сучкову и Л. Скорино сделать необходимо.

Да, конечно, Кушля — человек, отличающийся от Метелицы, Чапаева, Кожуха и Корчагина, во многом уступающий им. Но он тоже — и Б. Сучков хорошо пишет об этом — принадлежит к людям, беззаветно борющимся за революцию, проливавшим свою кровь на фронтах гражданской войны, отдавшим жизнь за дело трудящихся. И если Кушля не во всем выдерживает сопоставление с Чапаевым или Корчагиным, то с Морозкой и многими ему подобными героями литературы он может стоять рядом. А ведь Морозку можно стыдить, можно судить, но никто еще не усомнился в его «гражданственной сути», как никто еще не утверждал, что, создавая этот образ, А. Фадеев снижал и окарикатуривал его или исходил из принципа изображения человека только «через стихию человечности».

Весьма определенно выявляет свою «суть» и Кушля, и не только в период гражданской войны, но и в сложных условиях нэпа, не только в частной жизни, но и в общественной деятельности. Пусть читатели вспомнят отношение Кушли к Севастьянову, его страсть к журналистике, пусть вдумаются в его рассуждения и учтут его рост («я стал расти», — говорит Кушля), пусть по достоинству оценят его смерть от кулацкой пули — и перед ними встанет образ человека с юным сердцем, пренеполненным неугасимой ненависти к врагам революции и безграничной преданности народу и партии. Кушля малограмотен, иногда самонадеян, запутался в личной жизни, но не это в нем главное, основное. Главное в том, что это боевой товарищ, с классовым чутьем, на которого можно положиться в любом деле. Определения «самодовольный истерик» или «убежденно невежественный» обыватель так же не идут к Кушле, как и сравнение с Присыпкинским.

В. Назаренко и Л. Скорино зачисляют Кушлю в мещане на том основании, что он убежден в своем праве получить ответственную должность и быть «первым человеком» в «родной рабоче-крестьянской прессе». Но критики напрасно ищут в простодушных словах бескорыстного Кушли мещанскую заботу о личном устройстве и благополучии. Здесь звучит законное и справедливое

убеждение людей из народа, тех, «кто был ничем» и воевал за победу революции, что они не только могут, но и должны стать «всеми». Кушля говорит и о себе, и о Севастьянове, и о Ксане, и о Марии Петриченко — обо всех рабочих и крестьянах, сбросивших господство помещиков и капиталистов и утверждающих себя новыми хозяевами жизни. Рассказывая Севастьянову о своем посещении театра, о том, что им с Ксаней пришлось сидеть позади, а в первых рядах сидела «сплошная буржуазия» (нэпманы), Кушля заявляет: «А победители все одно мы с Ксаней, а то кто же? — хоть и сидим черт-те где! Они там нехай нам налаживают всякую бакалею и галантерею, а мы будем развивать наши таланты, потому что не им быть первыми, дорогой товарищ, а нам с тобой...» Нечего и говорить о том, что обывательского, «присыпкинского», в подобных убеждениях нет ни грана.

Б. Сучков пишет о «мещанском счастьеце» Кушли, но не замечает, что для Кушли самым важным и почти единственным достоинством обретенной им семейной жизни является ребенок, сын Андрюшка, и его светлое будущее. Ребенок — главное, полагает он. А ребенка надо воспитывать и защищать. «Именно защищать, понимаешь, я обязан Андрюшку... — говорит Кушля Севастьянову. — Защищать его от империалистов и ихних пособников, от всей мировой гидры! И воспитывать как борца за всемирную революцию!..» Думается, что ни такое счастье никто не назовет «затхлым», ни такие умонастроения — проявлением «стихий общечеловеческого» и «частного довольства».

Может быть, В. Панова иногда и склонна без нужды навязывать тому или иному персонажу искусственные противоречия. Возможно, что и Кушля без ущерба для дела мог бы обойтись без некоторых черточек и суждений и без столь «полного кавардака» в личной жизни. Но совершенно очевидно, что у писательницы не было стремления снизить и окарикатурить образ героя гражданской войны, как нет желания выдать хорошее за плохое или плохое за хорошее. Именно поэтому Кушля и получился живым, конкретным образом одного из рядовых бойцов революции, первых лет советской власти. Он показан «с мелочами, с грехами, со всей человеческой требухой»,

но, как известно, подобный принцип изображения не всегда ведет к снижению и окариатуриванию образа. Все зависит от философско-политической позиции писателя.

Конечно, наша советская литература дала много героев несравненно более крупных, положительных и цельных, нежели Кушля или Севастьянов. Честь и слава писателям, создавшим образы героев — подлинных рыцарей без страха и упрека, которые стали образцом для миллионов читателей. В произведениях самой В. Пановой есть персонажи более сознательные, чем Кушля, и более активные, чем Севастьянов, — например, Данилов, Коростелев или Мария Петриченко. Изображение положительных героев нашего времени, создание образов людей высоких достоинств, которые могли бы во всем стать хорошим примером для читателей, является важнейшей задачей нашей литературы. При этом никто, разумеется, не собирается ограничивать галерею литературных героев кругом избранных или изгонять со страниц произведений наших писателей образы людей, растущих и перевоспитывающихся в процессе революции и социалистического строительства, и даже образы людей отрицательных. Лишь бы нарисованные образы были правдивы, лишь бы изображались они в свете высоких идеалов коммунизма.

На этом можно и закончить и так затянувшийся спор с Б. Сучковым и Л. Скорино. Я не имел целью всесторонне характеризовать «Сентиментальный роман» В. Пановой. Я лишь оспариваю обвинения в том, что в нем «ощущается одностороннее понимание природы социалистического гуманизма». И в связи с этим заступаюсь за Севастьянова и Кушлю. Могут сказать: а зачем это нужно — защищать таких людей, как Андрей Сошников, Севастьянов, Кушля? Таковы ли они, чтобы за них заступаться? Не обошлась бы дорого такая доброта. Конечно, этим людям свойственны и слабости, и ограниченность, и недостатки. Их можно и критиковать и осуждать за это. Но при этом надо помнить, что они наши советские люди, хорошие люди, и было бы неправильно, исходя из интересов советского общества, принципов социалистического гуманизма и гуманистической направленности советской литературы, не защитить их от несправедливых обвинений, от бездушного отношения.

Несомненно, что и Ст. Злобин, жестоко осуждая «Суровое поле» и Андрея Сошникова, и Б. Сучков с Л. Скорино, критикуя «Сентиментальный роман», Севастьянова и Кушлю, исходят из хороших побуждений. Они хотят бороться против благодушия, беспечности, беспринципности и всепрощения, за бдительность, принципиальность, моральную и художественную требовательность. Намерение — безусловно правильное. Ошибочно выбраны мишени. И ошибки подобного рода делаются чаще всего не случайно. В той или иной мере они связаны с недооценкой единства советского общества, с измышлением разного рода надуманных, якобы присущих ему противоречий. Это особенно сказалось в произведениях и выступлениях так называемых «критицистов», от этого не свободны и некоторые иные литераторы. Ими владеет нечто подобное той романтике борьбы с классовым врагом, о которой говорил недавно Н. С. Хрущев, заметивший, что «у нас в этом небольшие возможности»¹. Отсюда и сочинение надуманных противоречий, и ошибки в применении принципов социалистического гуманизма.

Конечно, благодушие, пассивность в борьбе, примирение с чуждой идеологией и моралью были бы непростительны. Единство нашего общества не должно скрывать от нас имеющиеся в нем реальные противоречия. В этом отношении борьба с ревизионизмом и проникновением ревизионистских идей в нашу страну учит нас многому. В среде советских литераторов идейная борьба не так давно носила довольно острый характер. Это была принципиальная борьба против ревизионистских наскоков на линию партии. Идеиная непримиримость, партийность и бдительность являются важнейшей заповедью каждого советского человека. Ни о каком затухании борьбы с враждебной идеологией не может быть и речи. «Нападки ревизионистов отбиты, и они вынуждены были отступить с позором, но идейные бои на этом не прекращаются. Наше искусство должно бороться за высокий моральный облик советского челове-

¹ Беседа Н. С. Хрущева с редакторами социал-демократических газет ФРГ («Правда» от 9 мая 1959 года).

ка», — говорил на XXI съезде КПСС М. А. Суслов.

Вместе с тем партия учит, что было бы неправильно, игнорируя единство советских людей, искусственно раздувать вражду и противоречия в нашем обществе, подменять бдительность подозрительностью, идейную принципиальность — сектантством, борьбу за коммунистическую мораль — бездушием. Теория о постепенном обострении противоречий в нашем обществе, по мере развития социализма, — сдана в архив, вступление СССР в период развернутого строительства коммунизма означает дальнейшее усиление морально-политического единства советского общества и сплочение нашего народа вокруг Коммунистической партии, развитие советской демократии, укрепление принципов социалистического гуманизма, повышенные заботы об удовлетворении материальных и духовных запросов советских людей.

К сожалению, приходится еще встречаться с непониманием (или «недопониманием») современного этапа в развитии советского общества и в связи с этим — с ошибочными представлениями разного рода...

В первом номере журнала «Русская литература» за этот год напечатана статья Ю. Андреева «Революция продолжается!». Посвящена она анализу романа В. Кочетова «Братья Ершовы». Ю. Андреев очень высоко оценивает этот роман и считает, что это произведение имеет «принципиальное значение для современной литературной и общественной жизни». Какое же именно? А то, что В. Кочетов, по мнению Ю. Андреева, раскрыл в своем романе, в его образах самую суть диктатуры пролетариата и показал, что социальная революция продолжается. «Идет война миров, долой благодущие, за которое платят кровью! — говорит нам писатель своим романом. — Мир орлеанцев может и должен быть разрушен».

Когда я прочитал у Ю. Андреева о «войне миров», то подумал, что речь идет о борьбе на международной арене. Но нет, Ю. Андреев нашел два мира и войну между ними в нашем обществе. Оказывается, Орлеанцев, Томашук, Воробейный, Крутилич и разного рода карьеристы, предатели, интриганы, завистники и тому подобное отребье — вплоть до воров-рецидивистов (конгломерат, сконструированный Ю. Андреевым) составляют у нас целый мир, с

которым другой мир — ершовых — ведет ожесточенную и чуть ли не кровавую войну.

Но ведь это бог знает что такое! Это же совершенно извращенное представление о советском обществе!

Неужели же «орлеанцевы» — это действительно один из борющихся между собой миров? Кажется, критик оказывает писателю медвежью услугу.

Так вот как понимает Ю. Андреев содержание диктатуры пролетариата, вот какой смысл вкладывает в слова «революция продолжается». Он пытается опереться на высказывания В. И. Ленина, но толкует их школярски, начетнически. И главная его ошибка заключается в том, что он не видит, что наше государство развивается и видоизменяется по мере продвижения к коммунизму. Построение социализма в СССР привело к ликвидации эксплуататорских классов, созданию морально-политического единства народа, к изменению и развитию функций Советского государства. Страна вступила в период развернутого строительства коммунизма. А Ю. Андреев, совершенно внеисторически трактуя диктатуру пролетариата, открыл в современном советском обществе «борьбу двух миров». Правда, в начале своей статьи он пишет, что социалистическое общество «живет по другим законам», нежели антигуманное капиталистическое общество: «Люди видят друг в друге соратников по общему делу. Единство воли, единство общей цели обуславливает моральный облик нового человека и громадные усилия всего общества». Но, написав эти слова, Ю. Андреев сразу же начисто их забывает и действует как «мальчик наоборот».

Провозгласив «войну двух миров», Ю. Андреев решительно обрушивается на тех рецензентов-литературоведов, которые не увидели принципиального значения «Братьев Ершовых» «для современной литературной и общественной жизни». Он обвиняет их по меньшей мере в благодущии, примиренчестве к врагу, в непонимании сущности диктатуры пролетариата. Критик, конечно, не согласен с тем, что в романе «Братья Ершовы» преувеличены нездоровые настроения среди нашей художественной интеллигенции, и даже утверждает, что В. Кочетов в своем произведении «не только не преувеличил масштабов ревизионизма, а, напротив, преуменьшил их».

«Это должно быть ясно каждому,—поясняет он,—если только он сознательно не хочет зачеркнуть целый ряд событий нашей общественной жизни 1956 года». Одним словом, на каждой странице статьи Ю. Андреева содержится то «тенденциозное выпячивание противоречий, искусственное заострение их, превращение всяких противоречий при социализме в антагонистические, умозрительное конструирование противоречий», о котором в том же номере «Русской литературы» пишет В. Ковалев, характеризуя «критицистов»¹.

Со статьей Ю. Андреева о романе «Братья Ершовы» отчасти перекликается другое выступление по поводу этого произведения — статья В. Архипова «О субъективном и объективном в искусстве» (журнал «Москва», 1959, № 2). В ней он полемизирует с моими «Заметками критика», напечатанными в одиннадцатой книжке «Нового мира» за прошлый год, и с той оценкой, которая в них была дана роману В. Кочетова.

Я не собираюсь затевать спор с В. Архиповым. В общем, его статья не добавляет почти ничего нового к тому, что он писал о «Братьях Ершовых» в газете «Известия» (3 октября 1958 года). Свежей является, пожалуй, только «высокохудожественная» характеристика развязки романа В. Кочетова: «развязка, несущаяся вскачь и низвергающаяся обвалом с высоты кульминации,—будто стоишь перед картиной Сурикова «Переход Суворова через Альпы». Это, как говорится, умри, Денис, лучше не напишешь!

Вместе с тем в своей полемике с «Заметками критика» В. Архипов прямо-таки великодушен. Если он обвиняет меня в объективизме, так очень предупредительно: «критикуя субъективизм, невольно впадешь в объективизм»; если он проявляет живой интерес к моей «положительной программе», то опять-таки не требует немедленных объяснений, а как бы раздумывает: «невольно спрашиваешь себя: за что он ратует, борясь против субъективизма?» И, как видите, предупреждает и интересуется — все «невольно». Так ли разговаривал В. Архипов в памятных выступлениях о «Битве в пути» Галины Николаевой, о «Конармии»

Бабеля и об «Отцах и детях» И. С. Тургенева...

Но одно замечание, идущее к теме, следует сделать. Касается оно изображения художественной интеллигенции в романе «Братья Ершовы». Подобно Ю. Андрееву, В. Архипов не согласен с тем, что роман В. Кочетова неоправданно сгущает краски, рисуя положение в нашем искусстве и литературе. «Во время создания романа Кочетова подтвердилось многое из того, что утверждал писатель», — говорит критик. Больше того, возражая тем критикам, которые, рассматривая роман В. Кочетова, «затянули детскую игру в прототипы», В. Архипов восклицает: «Кто прототип? А критик, который отмалчивался во время нападков на социалистический реализм, не прототип? А литературовед, который отстаивает идею независимости творчества от мировоззрения писателя и его классовую позицию, не прототип? А драматург, из любви, видите ли, к Пушкину повторяющий «служенье муз не терпит суеты» и на этом «основании» зачеркивающий значение современности и злободневности, — не прототип?» Создается впечатление, что, по Архипову, в романе «Братья Ершовы» не только не преувеличено распространение чуждых ревизионистских умонастроений среди работников искусства и литературы, но, наоборот, преуменьшено — кое-кто остался не «охваченным», не «отображенным».

Но, рассуждая таким образом, В. Архипов полемизирует уже не только со мной, а, по сути дела, и с другими критиками романа В. Кочетова. Так, В. Михайлов в статье, напечатанной в «Правде» 25 сентября 1958 года, писал: «Понятна и оправдана та страстность, с которой писатель выступает против отдельных проявлений нездоровых настроений в среде художественной интеллигенции. Нужно только сказать, что настроения эти в действительности затронули значительно меньший круг творческих работников, чем это показано в романе. К тому же надо считаться и с тем, что некоторые заблуждавшиеся в недавнем прошлом художники осознали ошибочность своих высказываний, возвращаются в своем творчестве на верный путь. Отецеская забота партии о воспитании нашей интеллигенции приводит к плодотворным результатам, вдохновляет ее на творчество. В интересах достоверности изображения здоровой и полнокровной духов-

¹ Здесь мы согласны с В. Назаренко («Литературная газета» от 14 мая 1959 года).

поэзии! Вместо критики догматиков получилось поддакивание ревизионистам. Советский поэт обязан знать, с какой ненавистью воюют против нас ревизионисты. И до боли обидно, что приведенные выше строчки чем-то напоминают их формулы. И это — рядом с хорошими стихами. Удивляет, как редактор книжки А. Рыбочкин и главный редактор издательства Н. Наволочкин допустили публикацию этого стихотворения».

Так пишет Степан Смоляков.

Но неужели у Вас, дорогой товарищ Смоляков, не нашлось других слов и другого тона для разговора о первом сборнике стихов молодого поэта, даже если вы захотели «порассуждать» о нем «до конца» и поговорить о его недостатках? Может быть, Вы забыли, что Римма Казакова — живой человек, а не бесчувственный истукан? Может быть, Вы забыли, что рассуждаете о поэтессе, со страниц книжечки которой, по Вашим же словам, «перед нами живо и осязимо встает молодой человек послевоенных лет, наш современник», из тех, что «с головой ушли в дела невиданных масштабов — и на целине, и на стройках, и в поисках богатств на неизведанных просторах Родины»? Как же можно отнести к «писаниям ревизионистов» строку из стихотворения о подснежнике: «Мне просто нужно в это верить», видеть «поддакивание ревизионистам» в стихотворении о человеке, жизнь которого похожа «на сборник выводов и формул», найти бернштейнство в стихотворении о поисках геологов или топографов?

Люблю сидеть у дымного костра...
Где, обгорелым тоненьким прутом
березовые угли вороша,
в который раз подумаешь о том,
что жизнь и вправду очень хороша!
Все хорошо: и песня, и работа,
и право у костра встречать рассвет,
и даже эти поиски чего-то,
чего на деле, может быть, и нет...—

так написала Римма Казакова, и просто уму непостижимо, как можно усмотреть в этом бернштейнское «движение — все, цель — ничто»?

А как обидно и грубо говорится в рецензии о «стольких объектах любви». Можно подумать, что Степан Смоляков уж не помнит, что такое любовь и какой она бывает, любовь не к «объектам», а к человеку — одному, единственному, ненаглядному.

Наверное, можно и проще, и глаже
Но я — вот так.

Полюби меня так же,—

пишет Римма Казакова, и, право же, в этом нет ничего дурного.

Наверное, на рецензии Степана Смолякова можно было бы и не останавливаться, если бы она была в своем роде уникалом. Но, к сожалению, выступления подобного «стиля» иногда появляются еще на страницах нашей печати. Не могу не привести еще один пример. В самом конце прошлого года (28 декабря) писатель М. Шошин выступил в ивановской газете «Рабочий край» с заметками о Первом съезде писателей Российской Федерации. В них он, говоря о том, что литераторы Ивановской области мало бывают на фабриках и заводах и мало пишут о текстильщиках, заявляет: «а в это время к богатому материалу тянутся жадные руки окололитературных ловкачей». Кого же имеет в виду М. Шошин? Оказывается, молодую писательницу Е. Ржевскую и ее повесть «Спустя много лет», напечатанную в восьмой книжке «Нового мира» за 1958 год. Эту повесть М. Шошин называет «отголоском ревизионистской изжоги». Мы совсем не намерены ограждать повесть «Спустя много лет» от критики, утверждать, что повесть лишена недостатков, но почему же это «отголосок ревизионистской изжоги»? А главное, зачем ее автора зачислять в категорию «окололитературных ловкачей», чьи жадные руки тянутся и т. д.? Могу уверить М. Шошина, что талантливая писательница Е. Ржевская — участница Великой Отечественной войны, награжденная орденами и медалями, — не имеет ничего общего с «ловкачами» вообще, с окололитературными — в частности. И не следовало бы ему выступать в таком оскорбительном тоне. В данном случае уместно вспомнить слова поэта П. Вяземского: «Уважен будешь ты, когда других уважишь». Сама редакция «Рабочего края» позднее вынуждена была признать, что «не имеет оснований относить Е. Ржевскую к «окололитературным ловкачам» («Рабочий край» от 13 марта 1959 года).

Пусть не подумают читатели, что я против резкого тона и суровых, жестоких слов. Совсем нет. Они нужны и обязательны во многих случаях жизни. Было бы, напри-

мер, по меньшей мере странно миндальничать с ревизионистами или завзятыми «критицистами». Они получили заслуженно резкий отпор. Наш гуманизм—напомним еще раз—не имеет ничего общего с непротивлением злу насилеи. Это воинствующий, наступательный гуманизм. Ревизионизм и сейчас остается главной опасностью в области идеологии, и мы будем нетерпимы и беспощадны к нему до конца. Но неправильно «бить по своим». Критиковать можно и должно, а стрелять снарядами такого калибра, какими стреляют, например, Степан Смоляков или М. Шошин, по таким объектам, как, скажем, первая книга стихов Риммы Казаковой или писательница Е. Ржевская, нельзя. Это не принесет ничего, кроме вреда. А именно об этом и идет речь в моей статье.

Советский народ стоит на пороге коммунизма. Все для человека, все для народа—это стремление, эта цель проступают решительно во всех разделах семилетнего плана, плана строительства коммунизма. Увеличение производства металла, машин,

нефти, угля, электроэнергии, зерна, мяса, молока, масла, одежды, обуви, небывалый размах жилищного строительства—все направлено к тому, чтобы советский человек жил все лучше и краше.

В новых исторических условиях исключительно важное значение приобретают вопросы коммунистического воспитания трудящихся. Чтобы перейти к коммунизму, надо уже теперь воспитывать человека будущего, развивать у советских людей коммунистическую нравственность. Все наши работники в области идеологии призваны сейчас «развивать новые качества советских людей, воспитывать их в духе коллективизма и трудолюбия, социалистического интернационализма и патриотизма, высоких принципов морали нового общества, в духе марксизма-ленинизма» (Н. С. Хрущев).

В деле коммунистического воспитания трудящихся, в воспитании человека будущего огромную роль должна сыграть советская художественная литература. Она подготовлена к решению стоящих перед ней ответственных задач. Она выполнит их с честью.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Г. Бакланов. Новая повесть Ю. Бондарева.— Л. Левицкий. О постоянстве и широте кругозора.— Н. Леонтьев. Сказки-путешественницы.— Г. Владимов. Были и небылицы Ялгубы.— С. Велиновский. К горизонту всех людей.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Д. Осин. Из потребляющих в производящие.— И. Осипов. Невидимое топливо.— Академик Д. Щербанов. «Старейшина советских геологов».— И. Зыков. Щедрый Байкал.— Е. Шведов. Преданы и проданы.— С. Эпштейн. «Чего не знает Джонни».

Литература и искусство

Новая повесть Ю. Бондарева

Много ли книг написано у нас о Великой Отечественной войне? Если мы изучим библиографию, то может псказаться, что много. Но отложим библиографию в сторону, попробуем вспомнить книги об Отечественной войне, которые легли вам на душу, чьи герои навсегда вошли в круг любимых вами людей. Скажем проще: много ли таких книг об этой войне, прочтя которые вам непременно захочется, чтобы и товарищ и сосед прочли их, потому что хорошей книгой делаться, как радостью? Такие книги, конечно, есть, но, к сожалению, их не так еще много. А это значит, что о бессмертном, великом подвиге нашего народа написано пока еще несоразмерно мало. Так же, как отдельные бойцы и офицеры были частью сражавшегося советского народа, так же, как отдельные бои, поражения, победы, смелые операции были эпизодами великой битвы, четыре года гремевшей на всех фронтах, точно так же все лучшее, записанное до сих пор об Отечественной войне,— это только главы одной большой, далеко еще не законченной книги. И хорошо, что эти

главы разные; из одинаковых глав, рассказывающих все про то же, книги не составишь. Были разные бои и разные о них повести. Одни о трудных днях, другие о днях победных. Все вместе они способны составить правдивую, широкую картину.

Такими новыми, интересными, яркими главами этой книги стали повести Юрия Бондарева, одна за другой напечатанные в журнале «Молодая гвардия»: «Батальоны просят огня» (1957 год) и «Последние залпы».

Встречаются рецензии, где с первой до последней строки в превосходной степени восхваляется манера автора, его палитра, его тончайшее чутье языка, проникнутые лиризмом пейзажи и, наконец, в подкрепление всего сказанного, в том месте, где у критика уже не хватило дыхания, приводится тщательно подобранная цитата. И тут читатель, который уже готов был принять на веру сказанное выше, останавливается в недоумении. Потому что цитата не только не подкрепляет все превосходные степени, а, наоборот, резко опровергает их. Книги Бондарева, как всякая хорошая работа, говорят сами за себя. Прочитируем на выбор,

Ю. Бондарев. Последние залпы. Повесть. «Молодая гвардия», 1959, №№ 1, 2.

открывая страницу за страницей, не предвзято их комментариями.

«Продрогшие ординарцы подводили лошадей ближе к крыльцу, застоявшиеся лошади, привыкшие к фронтовой темноте, косили глазами на свет из дверей, тревожно шевелили влажными ноздрями. Осенний воздух был зябок. А черное небо, вымытое в выси ветром,— студено и звездно. И ясен и чист был, как снежная дорога, Млечный Путь в холодных темных пространствах над этой деревушкой, над Днепром, над немецкой обороной».

«Сносимые течением плоты наискосок подгребали к берегу, и с них все время кричали что-то, очевидно в сторону того плота, что кружил безвольно на быстрине. Столбы воды вплотную вырастали возле него один за другим, слабый, неразборчивый крик донесся оттуда. Борис заметил, как... дыбом поднялись бревна и люди, повозки с лошадьми скатились в воду с одного бока. Визгливое предсмертное ржание лошадей пронесло свист мин».

«Почти не пригибаясь, вытянувшись цепочкой и обходя воронки, шли по деревне двенадцать человек. Многие из них шли в плотной немоте, не слыша ничего, кроме стонущего, как кузнечики, звона в ушах. Их осталось двенадцать артиллеристов, без орудий, без лошадей. Лишь две панорамы — одну разбитую, другую целую — нес в вещмешке совершенно оглохший наводчик Вороной».

Деревня горела. Черный дым полз над плетнями, искры и траурный пепел сыпались на шинели, жгуче-острым дыханием пылающей печи дышало в лицо. Но никто, видно, не чувствовал этого, не защищал волос, не прикрывал глаза от жара — все равнодушно и вспоминаяше смотрели в землю. Словно какой-то козырек висел над бровями. После неестественного напряжения темный козырек этот мешал смотреть в небо, и все видели только землю. И хотя пылали вокруг окраины и оранжевые метели огня, дыма и искр бушевали за плетнями, никто не смотрел на сторонам».

Мы процитировали подряд, из разных страниц, не лучшее и не худшее. Но кто, прочтя эти отрывки, не почувствует, что все это достоверно? Настолько достоверно, что, кажется, лицом ощущаешь жар горячей деревни. У кого из людей, переживавших похожее на это, не сожмется сердце от вне-

запно нахлынувших воспоминаний? А ведь это одно из главных достоинств художественного произведения, когда в какой-то момент происходит совпадение жизненного опыта автора и жизненного опыта читателя. Тогда читателю сразу становится все интересно и нужно в произведении и он с доверием, сочувственно идет за автором. Если этого нет, читатель остается глух, как к чужой, мало интересующей его жизни. И, наконец, кто из фронтовиков по короткому последнему отрывку не поймет, что здесь был бой беспримерный по упорству, героизму и самоотвержению? Все это происходит потому, что подробности, составляющие мясо и кровь художественной прозы, у Бондарева необычайно точны и выразительны.

Очень не нова и, тем не менее, справедлива мысль о том, что написать взволнованно и достоверно можно только о том, что пережил сам, что очень хорошо знаешь. Бондарев — фронтовик. Он воевал под Сталинградом, в Карпатах, командиром противотанкового орудия прошел долгий фронтовой путь. То, о чем он пишет, не только знакомо ему до мельчайших подробностей, но до сих пор живет в нем. Однако путь, который прошел по фронтовым дорогам Бондарев, не исключителем, его прошли многие; написать же о нем с такой силой может только человек яркого таланта

До сих пор, не пытаясь целиком оценивать произведение, мы цитировали повесть «Батальоны просят огня». Потому что по художественной манере, по мастерству, даже по событиям, о которых повествуется, эти произведения, написанные одно за другим, очень близки. Наконец, потому, что герои обеих повестей — люди одного поколения. Между тем разбирать в этой рецензии мы будем новую повесть Ю. Бондарева «Последние залпы», недавно лишь опубликованную. Кто же герой этой повести Бондарева?

Несколько лет назад в одной из московских школ учительница, проходя по рядам, заметила, что ученица тайно, под партой, рассматривает фотографию. Она увидела, что это фотография мальчика, и тут же сделала строгое внушение. И вдруг девочка, гневно блеснув на нее глазами, покраснев, сказала голосом, в котором зазвенели и оскорбление, и гордость, и боль, и близкие слезы:

— Это не мальчик, это мой папа!..

И учительница вздрогнула. Она знала, что отец этой девочки погиб на фронте, знала ее мать, знала очень непростые отношения, сложившиеся в последний год в этой семье. Но на нее со всех парт смотрели дети, шел урок. И, преодолевая в себе желание сесть рядом с девочкой, обнять ее за плечи, взяв карточку из ее рук, она ровным голосом сказала те слова, которые нужно было сказать. И отошла потрясенная. Пройдет время, и девочка по годам станет ровесницей своему отцу, потом делается старше его, а он уже такой и останется, навсегда молодой, ее отец, знакомый ей только по фотографиям, ее гордость и боль.

Об этом поколении, которое в большинстве своем добровольно пошло на фронт, почти мальчиками взяло в руки оружие и ответственность за будущие поколения людей, за судьбу Родины и судьбы мира, потому что это была война не между государствами, а война с фашизмом за жизнь на земле, рассказывает Бондарев в своей новой повести. Он сам того же поколения и, по сути дела, пишет о своих товарищах, которые, провоевав войну, остались живы или погибли на фронте, продолжая сегодня жить среди нас. Это мужественная повесть о мужественных людях, и уже начало ее сурово:

«В двенадцатом часу ночи капитан Новиков проверял посты.

Он шел по высоте в черной осенней тьме, ветер густо шумел в вершинах сосен. Острым северным холодом дуло с Карпат, вся высота гудела, точно гулко вибрировала от несущихся с гор порывов...

Новиков не видел в темноте ни орудия, ни часовых, шел — руки в карманах, ветер неистово трепал полы шинели, — и странное чувство тоски, глухой затерянности в этих мрачных холодных Карпатах охватывало его. Приступы тоски появлялись в последнюю неделю не раз и всегда ночью, в короткие затишья и объяснялись главным образом тем, что четыре дня назад, при взятии города Касно, батарея Новикова впервые потеряла девять человек сразу, в том числе командира взвода управления, и Новиков не мог простить себе этого.

Карпаты. Польский город. Это уже конец войны. Это уже время, когда исход войны был решен. Мы наступали. Но чтобы наступ-

пать, надо было прежде всего создавать на участке прорыва превосходство в людях, в технике, в снарядах, иной раз превосходство многократное. И неминуемо на других участках немцам противостояли наши равные, а порою и меньшие силы. Именно на таком участке стоит батарея капитана Новикова. Только что взят польский город. Окружена немецкая танковая группировка. Но она еще сильна. Она прорывается в Чехословакию на соединение с другой группировкой, и, если прорвется, восстание чехов будет подавлено. И с первых страниц повести возникает тревога за людей, вставших на пути фашистских танков. Потому что ясно: они отсюда не уйдут. Либо они победят в тяжелейшем бою, либо немцы пройдут по их телам. А уже близок конец войны, уже ощутима победа, от этого особенно тревожным светом освещается все, что предстоит людям совершить

Суровы были обстоятельства, и в этих обстоятельствах, чтоб воевать и победить, Новикову не раз приходилось сдерживать в себе ту мягкость и доброту, которая жила в его душе. Приступами глубокой тоски отзывался в нем гибель девяти человек, но еще не раз пошлет он под снаряды своих бойцов. Так посылает он по связи телефониста Колокольчикова и после видит его мертвого.

«Лежал он на боку, в неудобной позе, застигнутый смертью, тонкая, белая, худенькая рука, неловко торчавшая из рукава гимнастерки, простерта к высоте... Сбитая смертью выгоревшая пилотка валялась тут же, облитая блестевшей ночной росой. Ноги убитого были сжаты калачиком, будто холод смерти, который почувствовал он, саставил сжаться его и лечь так, сохраняя последнее тепло... И обжигающая мысль о том, что, если бы он, Новиков, тогда не послал Колокольчикова по линии, он бы не погиб. Сколько раз в силу жестоких обстоятельств посылал он людей туда, откуда никто не возвращался! Сколько раз мучился он один на один с бессонницей, узнав о гибели тех, кого посылал. Но где оно, добро в чистом виде? Где?..»

И оттого, что батарея Новикова воюет за границами своей Родины, освобождая Польшу, преградив путь фашистам в Чехословакию, мысль о добре приобретает широкое звучание. Никто не вынес в этой войне столько, сколько вынесли мы. И вот теперь,

когда земля наша была свободна, Родина наша, жертвуя самым дорогим — сынами своими,— посылала их освобождать от фашизма народы Европы.

Но вернемся к повести. Герои ее — разные люди. Они различны и по возрасту и по той жизни, которая была прожита ими, формировала их характеры и взгляды. Пожалуй, наиболее сложен капитан Новиков. Он смел. Но это смелость человека, прошедшего войну, привыкшего не рисковать попусту собой, а главное, не рисковать людьми, которыми он командует. С таким командиром даже в трудные моменты боицы всегда чувствуют себя уверенно. Насколько легкомысленней его, моложе выглядит младший лейтенант Алешин, написанный во всей своей милой непосредственности. А ведь они почти одногодки. Но только Новиков давно уже воюет, зрелым его сделало постоянное чувство ответственности за жизнь людей, доверенных ему. Порою восхищаясь им, порою не одобряя его поступки, которые кажутся Алешину слишком жестокими, Алешин сам не замечает, как характер его складывается под влиянием Новикова. И мы вместе с Алешиным иной раз начинаем забывать, что Новиков молод, когда видим, как умело, обдуманно, с каким опытом и знанием воюет он. И потому с такой неожиданной силой звучат в конце повести слова командира дивизиона майора Гулько, узнавшего о гибели Новикова.

«Капитан Новиков? Новиков!.. Тот мальчик? Не верю! Не верю! Не может быть! — почти крикнул Гулько...»

И, пораженные, мы вспоминаем, что Новиков действительно был почти мальчик, но только рано повзрослевший на фронте, не искавший в жизни ни легких путей, ни легких чувств.

Рядом с ним воюет командир взвода лейтенант Овчинников. Овчинников тоже смел, в этом ему не откажешь. Правда, он излишне бравирует своей смелостью, любит, чтоб другие видели ее. Ну что ж, и такие, как он, иной раз воевали неплохо. Денис Давыдов писал в дневниках партизанских действий 1812 года: «...мало таких людей, которые исполняют долг свой, не глядя на то, что на них не глядят. Большая часть воинов лучше воюет при зрителях».

Еще Овчинников излишне поспешен. И это прежде всего сказывается в его отношениях с санинструктором Леной. Новиков любит

ее глубоко, это его первая любовь, и потому он порою так неуклюж, порою груб с Леной. Когда он убеждается, что Лена тоже любит его,— это для него и неожиданное откровение и неожиданное счастье. Так всегда, если любишь. Овчинников, наоборот, не представляет себе, что Лена может быть к нему равнодушна, к нему, который подбил столько немецких танков и постоянно ходит с опасностью рядом.

Пожалуй, в другое время Овчинников благополучно прожил бы с этими своими недостатками, не видя в них большой беды. Но вот батарея попадает в тяжелейшие обстоятельства, где человеческая сущность каждого из них — и Новикова, и Лены, и Овчинникова — должна проявиться с наибольшей полнотой.

С первых страниц повести вместе с тревогой за всех возникает отдельная, пока еще не объяснимая тревога за Овчинникова. Почему-то нет большой уверенности в нем, хотя он и смел как будто бы и воевал до сих пор хорошо. Вот он со своим взводом — двумя орудиями — выдвигается в сторону «ничьей» земли, окапывается: им первым предстоит принять бой

«Расчеты Овчинникова, вгрызаясь в твердый грунт, окапывались в полном молчании — команды отдавались шепотом, люди двигались ползком Сдерживая удары кирок, стараясь не скрипеть лопатами, солдаты почти беззвучно, со стоном ругались. При холодных порывах ветра, обрушивающегося с озера, все слышали тревожные голоса немцев в боевом охранении, звон пустых гильз, по которым, видимо, ходили они в своих окопах. Люди, замирая, приседали на огневой, не выпуская лопат из рук, глядели в темноту, на кусты, проступающие вдоль свинцовой полосы озера.. Лейтенант Овчинников, еще не остывший после недавнего марша, слепого прорыва орудий через минное поле, полулежал на свежем бруствере... торопливо курил в рукав шинели, командовал шепотом...»

Напряженная обстановка, предстоит сложный бой. Овчинников действует умело, и бойцы в расчетах бывалые. Это видно по множеству точных подробностей, убедительно и зримо написанных автором. Однако читаем страницу за страницей, и тревога возрастает.

И вот бой и та черта, за которую в последний момент у Овчинникова не хватило

решимости переступить. Сражаясь мужественно, он сжег десять фашистских танков. Одно из его орудий разбито, расчет погиб целиком. Снарядов почти не осталось. И тогда с двумя бойцами он пробился к Новикову.

«Я все сделал, все... Понимаешь, Дима... Я десять танков сжег...»

Но на огневой позиции осталось трое раненых. Их нельзя было вынести сейчас, но он бросил их.

«Где люди? Где люди, лейтенант Овчинников?» — жестко спрашивает его Новиков. «Он не испытывал жалости к Овчинникову, как не испытывал жалости к себе: то, что порой разрешалось солдату, не разрешалось офицеру. До последней минуты не мог он поверить, что Овчинников даже в состоянии полного разгрома ушел от орудий, оставив там людей, которые жили еще...»

Той суровой мерой, которой Новиков мерил свои поступки, он мерит сейчас поступок Овчинникова.

И вдруг брошенное орудие Овчинникова выстрелило по немцам. Это старшина Горбачев сделал то, на что у Овчинникова не хватило решимости в последний момент. И Овчинников совершает свой второй, теперь уже бессмысленный поступок. Он бежит обратно к орудью, потому что не может жить с позором в душе, бежит изменить то, что уже нельзя изменить. Раненый, он попадает в плен к немцам. Смерть Овчинникова в плену, может быть, лучшая сцена в этой талантливой повести. Его допрашивают, его убьют сейчас, он знает это, потому что немцы, столпившиеся вокруг него в лесу, сами обречены. А в нем бьется мысль: «Все время чего-то мне не хватало... Чего мне не хватало в жизни? Чего не хватало?..» И он наконец понимает чего — той непоказной твердости, умения стоять до конца, которыми в высокой мере наделены Новиков, Горбачев, Порохонько и другие. И веришь, что, если бы Овчинников остался жив, он стал бы иным. Но уже ничего нельзя изменить, и с этим сознанием он погибает. Здесь он переступил черту, которую не мог переступить в прошлой своей жизни. Но об этом никто не узнает уже. Люди, с которыми вместе провоевал он войну, чей суд был ему дорог, знали другой его поступок: Овчинников бросил раненых.

Среди многих зримо написанных героев

этой повести хотелось бы отметить еще одного, не занимающего в ней центрального места, по сути дела эпизодического героя: Ремешкова. Это рядовой солдат далеко не героического вида, прежде, очевидно, ничем не выделявшийся из солдатской массы. Но он был тяжело ранен, попал в госпиталь. Те, кто лежал в госпиталях, знают, как легко отличить, например, раненных при бомбежке. Стоит появиться над госпиталем немецкому самолету, и эти люди, часто мужественные, вдруг теряют контроль над собой, бледнеют, становятся особенно беспокойными и не могут скрыть этого. Каждому раненому не просто было снова возвращаться на фронт, даже если он добровольно рвался туда. Любой пролетающий снаряд, который прежде он точно определил бы по звуку, теперь начинал казаться близким, внезапная пулеметная стрельба заставляла вздрагивать, все звуки фронта настораживали. Посмотришь со стороны на такого человека — трус. А он не трус, он просто отвык. Привыкнет, втянется и снова станет спокойным.

Ремешкову привыкать второй раз к фронту было сложнее еще и потому, что после госпиталя он шесть месяцев пробыл дома, долечивался, — редкое счастье, выпавшее солдату в те годы. И, не трусливый человек, он вдруг становится трусом. Многого стоит за этим, если вдуматься.

Сцены повести, в которых появляется Ремешков, написаны особенно человечно. И очень правдиво различное отношение солдат к нему. Пожалуй, здесь с наибольшей полнотой раскрывается характер капитана Новикова. За всю войну ни разу не побывав дома, он понимает, что этому солдату, испытывавшему короткое счастье, теперь вдвойне тяжелее. Но все понимая, Новиков ничего не прощает Ремешкову, потому что только так можно побороть в нем страх.

«...В течение суток он беспощадно испытывал этого парня риском, близостью смерти, жестоко и сразу приучал к ощущению прочности человеческой жизни на войне, от которой Ремешков отвык за шесть тыловых месяцев, как, возможно, отвык бы и сам Новиков».

И постепенно, пройдя суровые испытания, Ремешков вновь становится солдатом.

В последнее время у нас нет-нет да и вспыхивают споры о языке. Пишутся статьи,

в которых пространно упрекают редактора за то, что он вычеркнул или другое малоупотребительное слово или отказался признать местные речения языком художественной прозы. Это пишут не от богатства, — от бедности. Язык Чехова предельно прост, а сколько сумел он им выразить! Надо сказать, что само по себе слово вне фразы не живет. Только во фразе играет оно всеми оттенками. Не мною придумано сравнение слова с кирпичом, из которого строится здание. Из одних и тех же кирпичей можно построить и прекрасный дом и поразительное уродище. По части отыскивания малоупотребительных словечек, пожалуй, больше всего грешат писатели, пишущие о деревне. Иное слово не лезет во фразу, видно уже — его впишут коленкой. Впишут, оно торчит, но автор доволен: вот как я завернул!

Еще интересней в этом плане писатели, родившиеся в городе, выросшие в городе, знающие деревню по редким наездам и по командировкам, но пишущие о ней. С удивительной жадностью набрасываются они на всякие кондовые слова и прямо из записных книжек, без отбора, переносят в свои литературные произведения — и в речь героев и в авторскую речь. Что ни заковыристей, то лучше.

Но самые большие мысли, самые лучшие чувства всегда выражались самыми обыкновенными словами.

Вот пишет Алексей Толстой: «Кричали петухи в мутном рассвете. Неохотно занималось февральское утро. Ночные сторожа, путаясь в полах бараньих тулупов, убирали уличные рогатки. Печной дым стлался к земле, горячим хлебом запахло в кривых переулках. Проезжала конная стража, спрашивала у сторожей — не было ли ночью разбою? «Как не быть разбою, — отвечали сторожа, — кругом шалят...»

Неохотно просыпалась Москва. Звонари лезли на колокольни, зябко кряхтя, ждали, когда ударит Иван Великий. Медленно, тяжело плыл над мглистыми улицами великопостный звон».

Ни одного вычурного, малоупотребительного словечка, за которым пришлось бы лезть в словари. Все предельно просто, все слова обыкновенные, понятные любому школьнику. А как зримо! Как это великолепно написано! Какой чистый, выразительный, бесконечно богатый русский язык!

Прочтя один раз, прочтешь снова, чтоб снова испытать удовольствие.

У нас много говорится о современности. Нужны произведения на современную тему. Произведения наших писателей должны отражать жизнь, героические дела современников. Это абсолютно правильно. Но почему же почти ничего не говорится о современности языка? Ведь давно известно, что вне языка нет литературного художественного произведения. Жителей дома никак не может взволновать, что у архитектора были хорошие намерения, если дом построен из недоброкачественных материалов и потолок рушатся на голову. И самые лучшие мысли, изложенные серым языком, не тронут сердца читателей.

Одно из главных достоинств повести Ю. Бондарева — язык. Образный, яркий, живой современный язык. Это тот язык, на котором мы говорим сегодня, но только побывавший в руках художника, чувствующего слово. Это язык, на котором мы думаем, которым мы говорили на фронте. Точно, сжато, достоверно передает Бондарев обстановку, состояние людей.

«Тишина — душная, беспокойная, распростершаяся от ущелья и леса к высоте, где стояли орудия Алешина, — мертвым пространством окружала позиции Овчинникова... Там, в пятидесяти метрах от блиндажа, лежали те, кто еще утром откликнулся на фамилии, чиркал зажигалками, ходил по ходу сообщения, наполняя позицию живым дыханием, крепким запахом табака, солдатской одежды. Эти люди приняли первый танковый удар и умерли.

А в блиндаже еще были живые.

В теплом воздухе, плотно напитанном запахом пота и бинтов, не колебались язычки немецких свечей — тянулись вертикально, фитили в плосках горели бесшумно.

Ночь вползла на огневую, и в блиндаже все прислушивались, застывшими глазами глядели на языки свечей, оживая, когда вздрогнут они от разрывов, — понимали: это вздрагивание плосек будет последним, что смогут увидеть они».

Люди окружены. Среди них раненые, умирающие. Но так тихо в землянке, что даже не колеблются огонки свечей. Если не придет помощь, надежды нет. Под землей можно не услышать выстрела немецкого орудия, вздрогнувший огонек свечи предупредит. И все смотрят на этот огонек.

Одна точная подробность, а как сильно передано душевное состояние многих людей.

Такие точные подробности во множестве рассыпаны в этой зрелой повести.

Как это нередко бывает, недостатки Бондарева — это продолжение его достоинств. Он очень хорошо видит то, о чем пишет, и потому так много эпитетов в его прозе.

«Рвущий воздух треск распорол и точно оттолкнул к небу тишину, слепящая быстрота огня с колючей болью ударила по глазам Ремешкова, и, зажмурясь, потом разомкнув веки, увидел он, как сквозь синее стекло, впереди себя Новикова».

Все это по отдельности хорошо: и «слепя-

щая быстрота огня», которая ударила по глазам «с колючей болью», и «рвущий воздух треск», хотя слова здесь поставлены по принципу: «мать любит дочь». Но вместе это многовато, одно заслоняет другое и уже плохо воспринимается глазом. Ведь избиле определений как раз мешает точности, ее вернее достигают через одно взвешенное, ничем не заменимое слово.

Повесть дочитана. Закрываешь последнюю страницу, но не сразу расстаешься с ее героями. В большой книге об Отечественной войне, о великом подвиге нашего народа прибавилась еще одна талантливая, новая глава.

Г. БАКЛАНОВ.

★

О постоянстве и широте кругозора

«Постоянство» — так называется стихотворение, написанное Николаем Рыленковым почти двадцать пять лет назад, в самом начале его поэтического пути. «Постоянство» — так называется сборник стихов, вышедший в 1954 году на родине поэта, в Смоленске. Это слово очень точно выражает самую суть житейской и творческой биографии поэта.

Рыленков родился и вырос на Смоленщине. Ей он остался верен на протяжении всей своей жизни. Ему трудно без нее дышать как человеку и, следовательно, как поэту. В его стихах не так уж много деклараций о том, что он жить не может без родного края. Куда важнее, что он действительно влюблен в свой край и не устает им восхищаться. Смоленщина для него нечто большее, чем край, в котором находится его отчий дом. В скромной прелести ее природы, в знакомых звуках ее песен поэт видит живое, конкретное воплощение Родины. Именно поэтому его поэзия никогда не воспринималась как узкообластная и уже давно завоевала широкое признание.

Рыленков пробовал свои силы в разнообразных стихотворных жанрах. Обращался он и к эпической поэзии, но это обращение едва ли можно считать плодотворным. В его поэмах есть яркие строки, есть удачные частности, но им не хватает четкости и

последовательности в осуществлении замысла. В них много общих мест, растянутых описаний, лишних, не идущих к делу подробностей и мало действия. Может быть, это объясняется тем, что Рыленков — поэт непосредственного чувства. Обаяние его стихов не в широких философских размышлениях, а в свежести, живости, искренности чувств. Творчество Рыленкова определяют лирические стихи. В них он раскрывается самыми лучшими и самыми светлыми своими сторонами. И в них сильнее всего проявляется постоянство его поэтических интересов. От первых стихов, написанных юношей, чей почерк еще не приобрел твердости и уверенности, до вещей, созданных зрелым поэтом, в его творчестве неизменно проходит тема природы. И о чем бы он ни писал — о любви, о военных подвигах и испытаниях или о труде, — природа всегда занимает в его стихах большое место. При этом она не только фон или место действия, а неотъемлемая часть мировосприятия поэта и важнейший элемент образного строя его стихов.

Это позволяет говорить о Рыленкове не просто как о поэте лирического дарования, но как о мастере лирического пейзажа. Этот род поэзии долгое время был у нас не в почете. В воспевании или, как полупрезрительно говорилось (да и сейчас еще нередко говорится), «любовании» природой склонны были видеть отрыв от жизни. Вот почему поэт с такой настойчивостью и убежденностью отстаивает свою пейзажную лирику от покушений критики.

Н. Рыленков. Стихотворения и поэмы. Редактор К. Платонова. Том I. 360 стр. Том II. 360 стр. Гослитиздат. М. 1959.

Критик мой нахмурится сурово,
Отгоняя даже тень улыбки.
«Как тебя я ни учу, ты снова
Повторяешь прежние ошибки.

Пишешь все пейзажи да пейзажи,
Луг в цвету, березку в поле дальнем.
Пусть все это мило, но нельзя же
Быть в наш век таким неактуальным!»

Строгий друг мой! Я ценю твой гибкий
Трезвый ум; чутье твое — тем боле.
Но скажи: ты тоже по ошибке
Шел с любимой к той березке в поле?

Рыленков хорошо знает, что общение с природой составляет органическую часть жизни нашего современника, и поэзия, раскрывающая духовный мир человека, не только может, но и обязана изображать эту сторону жизни. Воспевание природы у Рыленкова — не заблуждение, а принципиальная, продуманная творческая позиция. Он знает, что природа не только приносит радость и доставляет наслаждение (а это ведь тоже не последнее дело), но и воспитывает патриотические и эстетические чувства, делает человека душевно богаче, щедрее и тоньше,

...Словно вылеплен из воска,
Тает месяц молодой,
Ловит тень свою березка,
Нагибаясь над водой.

...Встань на рассвете, слушай и молчи,
Где шепчут ветлы, протирая веки:
Летели гуси-лебеди в ночи
И уронили по пути ключи,
Которыми весна открыла реки.

...Золотистым соком налилось
Яблоко и светится насквозь;
В нем качает осень на весу
Лета отпылавшего красу.

Каждый из этих трех пейзажей, взятый из трех разных стихотворений, наполнен движением и жизнью. Это не застывшие картины, а верно схваченные и поэтически переданные куски живой природы. Здесь много находок изобразительных и словесных.

На одной из таких находок следует, пожалуй, остановиться.

Русская живая разговорная речь издавна насыщена образными выражениями. Но такие выражения, употребляемые слишком часто, теряют свою образность и стираются куда быстрее, чем бытовые, нейтральные

слова. Из метафор они превращаются в штампы, и поэзия ничего не выигрывает, если в нее вводятся такие всем известные обороты речи, как «пусть земля тебе будет пухом».

Но Рыленков написал:

Пройдут года — и станет сказкой
Все, чем война была страшна...
Зеленый холм могилы братской
Укроет пухом тишина.

Чуть-чуть изменив и переосмыслив выражение, Рыленков вернул ему свежесть и образность. Оно стало ясным и простым (в памяти возникает знакомая ассоциация) и вместе с тем поэтичным,

Кем-то было сказано, что пейзажные стихи Рыленкова хороши, но были бы еще лучше, если бы их оживляли человеческие фигуры. Нелепое мнение! Словно эти пейзажи не пронизаны лирическим чувством и не согреты человеческим отношением!

Разве мы не явственно видим человека, так нежно и бережно любящего, что в его представлении даже яблони и вишни расступаются перед его любимой, как сказано в одном стихотворении.

И разве «зеленый холм могилы братской», укрытый «пухом тишины», существует сам по себе, без того человека, который с грустью смотрит на него и помнит «все, чем война была страшна»?

Человек, современник и современность живут в стихах Рыленкова иногда в образе лирического героя, чьи чувства выражены тонко и точно, иногда в как будто частных, а на самом деле весьма красноречивых приметах времени.

Пахнет яблонью и черешней
Весь в дыму розоватый сад.
Шест антенны и шест скворешни
На закате рядом стоят.

Эта поэтическая картина характерна для Рыленкова: и традиционные скворешни и невиданные прежде антенны так же естественно и непринужденно живут в его стихах, как и в самой жизни.

Такая простая и обычная деталь приобретает у поэта большое и емкое значение. Он пишет:

Каждый день все ждешь и ждешь чего-то,
Вдруг, глядишь — встает среди полей
Радуга в полнеба, как ворота
В край просторный, в край весны моей.

Там теперь, теплы и золотисты,
Облака проходят над Днепром,
Там навстречу лету трактористы
За собой уводят первый гром.

В этом напряженном ожидании весны, открывающей дорогу к новому труду, к весеннему севу, в котором, каждый год заново, берет начало вся жизнь деревни, рождаются ее надежды и свершения,— поэт передал нетерпеливое чувство крестьянина. И образ этого нового труженика деревни вдруг настолько вырастает, что даже уводит за собой весеннюю грозу... А когда Рыленков писал о победе, он видел не только «врагом оставленные пушки и танки черные у рва», но и расцветающую природу и улыбающуюся сквозь слезы, дождем омытую землю; он слышал, как «трубят зарю тетерева», слышал:

...в каждом звуке
Необоримый жизни зов.
Он все победней, все свободней,
Его нельзя вместить в слова...
Среди отавы прошлогодней
Пробилась свежая трава.

Постоянство мыслей и чувств Рыленкова, его жизненной позиции и взгляда на вещи, неизменный круг тем и образов приводят к тому, что из всех стихотворений складывается цельный характер сквозного лирического героя, подобного сквозным героям романа или эпической поэмы. Он не многолик, этот лирический герой, но мы легко узнаем его знакомые, душевные и ясные черты, черты человека, не только пристально вглядывающегося в мир, но и требовательно, взыскательно определяющего свое место в этом мире.

Вот-вот и осень на порог
Придет под шелест листопада...
А все ли сделал ты, что мог,
А все ли сделал так, как надо?

Хорошо, что Рыленков всегда остается верен самому себе, своим вкусам и пристрастиям, своему лирическому дарованию. Но иногда постоянство переходит в свою противоположность и оборачивается однообразием и монотонностью. Рыленкову словно становится тесно в им же самим созданных границах. Он сказал уже многое из того, что хотел сказать, сказал по-своему и хорошо. Вместо того чтобы идти дальше, вперед, поэт иногда начинает повторять

самого себя. И тогда появляется серия стихотворений, внешне как будто разных, а по существу мало отличающихся друг от друга. Не отсутствие мастерства, а однообразие мысли приводит к тому, что общие места порой вытесняют живые поэтические наблюдения.

Поэт пишет:

Прут яровые вон из кожи,
Как щетки, озими густы.
Я на тебя гляжу: «Похоже,
Что не они растут, а ты!»

Любимая здесь сравнивается с яровыми и озимыми. В другом стихотворении она сравнивается с небом:

Столько сразу свежести и света
С неба пролилось через край,
Что неволью я подумал: «Это
Улыбнулась ты, любовь моя!»

В третьем стихотворении любимая сравнивается с березкой:

Я спешу с холма,
Я схожу с ума:
«Может, это не березка,
А ты сама?»

Читая книгу, уже ловишь себя на мысли, что ждешь, с чем в следующий раз будет сравниваться любимая...

В довоенных стихах Рыленкова розовые тона решительно преобладали над всеми остальными. Пусть нас правильно поймут! Мы не считаем, что в стихах непременно должна быть грусть, и не ратуем за трагическое мироощущение поэта. Но от большого числа стихотворений, в которых передаются переживания нашего современника, мы вправе ждать передачи всей гаммы его чувств. Гамма, как известно, состоит из ряда звуков. Выньте несколько звуков — и она перестанет быть гаммой. От одного стихотворения, каким бы совершенным оно ни было, нельзя требовать того, что можно требовать от нескольких поэтических книг. Незачем предъявлять поэту претензию, что он чего-то «не воспроизвел» и «не отразил». Но когда поэт все время ведет одну и ту же ноту, она перестает производить впечатление. Не потому, чтобы она звучала фальшиво, а потому, что она уже нанзусть известна. Вы ее столько раз слышали, что перестаете на нее реагировать, как перестаете замечать тикание часов в комнате.

Лирический герой довоенных стихов Ры-

ленкова был слишком благодушно настроен. Все радовало его глаз, все приводило его в состояние, близкое к восторгу. Он постоянно умилялся. И любовь его была легкой-легкой, без единого облачка. К этой любви едва ли подходило слово «счастье». Вернее было бы назвать ее довольством. Герой без устали рассказывал об этом довольстве, и оно часто переходило в самодовольство.

Война принесла много горя краю, который был ему так дорог и близок. И лирический герой поэзии Рыленкова, оставаясь верным своей прежней привязанности, стал строже, серьезнее, мужественнее. Во время войны поэт создал немало хороших стихов, в которых с настоящим драматизмом повелал о трудном и героическом времени. К числу таких стихотворений относится поэтический рассказ о солдате, который прямой наводкой был по деревне, где расположились фашистские части:

И вновь взлетало облако рябое,
И вновь шаталась от разрыва мгла...
А мы узнали только после боя,
Что парень был из этого села.

Окончилась война, но все еще носило ее следы, все говорило о недавних боях. Благодушию не оставалось места. Поэт это ясно понимал и в первых послевоенных стихах не раз возвращался к мысли об ответственности за судьбу своего времени. В программном стихотворении, которым открывается его послевоенный цикл, заключительные строки звучат не только как констатация факта, но и как наказ самому себе:

В мире слишком беспокойно, чтобы
Я таким, как прежде, снова стал.

Верная мысль, точно выраженная. Как же выполнил Рыленков этот наказ? Он

вернулся в родной Смоленск, сильно пострадавший от войны и оккупации. Он видел сожженные деревни, истощенную землю, разоренные колхозы, в которых люди с величайшим трудом сводили концы с концами. В этом разоренном крае, фигурально выражаясь, жила его муза. Откликнулся ли поэт на жизнь своих современников?

Вглядываясь в лирического героя, в строй его послевоенных мыслей и чувств, невольно испытываешь неудовлетворенность. Он по-прежнему тонко воспринимает природу, чисты и постоянны его чувства. Но он словно не замечает того, чем живут его земляки. Сложные, порой мучительные вопросы, которые волновали деревню в первые послевоенные годы, не получают отклика в мыслях и чувствах лирического героя. Широкий и любимый мир тогда становится уже, и зрелое поэтическое мастерство поэта приходит в противоречие с содержанием его работы.

Может быть, этим вызвано обращение Рыленкова к прозе: видимо, поэт ищет каких-то новых путей, новых средств для выражения своего богатого жизненного и душевного опыта. Но работа над прозой, какие бы широкие перспективы она ни открывала, не должна помешать дальнейшим поэтическим исканиям.

Внутреннее постоянство, свежесть и искренность чувств, тонкая наблюдательность и стихотворное мастерство даровитого и самобытного поэта Николая Рыленкова служат залогом того, что он еще скажет много нового и интересного в области лирической поэзии. Скажет так же хорошо, как он говорил в лучших своих стихах.

Л. ЛЕВИЦКИЙ.

★

Сказки-путешественницы

Чудесный сказочный мир, пестрый и многоцветный, открывается перед нашим внутренним взором по мере прочтения этой книги.

...Воюют Орел и Медведь вместе со своими пернатыми и четвероногими — наро-

удские народные сказки законовенрасовцев. Собраны Ф. В. Тумилевичем. 270 стр. Ростовское книжное издательство. 1958.

дами, завершая ссору простоватого Воробья с нахальной и жадной Мышкой-Тишкой. ...Кот-работяга наказывает коварную Лису за убийство его друга — доверчивого Кочетка... Падчерица, гонимая злой мачехой, выдерживает все испытания, а в конце сказки отвергает жениха-царевича... Вездесущая Лиса-хитрунька женит Ивана Капкандея на царской дочке... Счастливое сожительство Котофея Ивановича с Лисой-бурмистершей

завершается полным подчинением всех обитателей леса... Юноша Василий выполняет, казалось невыполнимые, поручения царицы, а под конец отказывается от ее награды.

Поучительные истории о судьбах добрых и жадных, бедных и богатых людей. Сказки о всепобеждающей силе любви. И, конечно, тоскливое раздумье народа: «Была ли правда на земле?»...

Одна сказка сменяет другую, и каждая из них дорисовывает многоликий образ и мироощущение народа, создавшего эти сказки, раскрывает его взгляды и былые верования, его чувства и надежды. Читая сборник Ф. Тумилевича, мы ощущаем пусть и далекое, но кровное свое родство с безыменными создателями этих сказок — охотниками и рыбаками, пахарями и воинами. Мы видим и понимаем, как предки наши, отчаявшись добиться лучшей доли в самой жизни, в мечтах порывались к своим идеалам. Эти светлые порывы к жизни справедливой и всесторонне богатой запечатлены и в сказках казаков-некрасовцев.

Глубокая провидческая мудрость заложена в сказке «Про царицу Лютру», где всем темным силам мира противостоят лишь одна «Расея» и все же выходит из борьбы победительницей. Во многих других сказках простые охотники и рыбаки борются с царями и их сыновьями и неизбежно одолевают их. Героям в их борьбе дает силу знание природы, проникновение в ее тайны и разумное управление стихиями.

«Знал Некраса разговор усех птиц, зверей, цветов, трав и деревьев разных. Прислушается, бывало, до птиц, трав и узнает от них, где полки царские стоят и откуда они идут...», «Напустит, бывало, туману и подойдет до войск царя, а те его не видят. Ну, подойдет и разобьет их» (легенда «Игнат убивает Долгорукого»). А в легенде про рядового казака «Казак цветок съел» мы читаем: «В голове у него прояснилось и стал он понимать, что гутарят птицы, звери, деревья, травы».

Народная мечта о покорении сил природы пронизывает почти любую из «волшебных» сказок. Сын охотника Иван со своей женой управляют дождями: «Пересохла земля — они ее поливают. Высохли реки — они дождик сильный напускают: озера, речки водой наполняются». Мало того, народ мечтал об устранении самой смерти: бессмертным становится Иван-охотник в од-

ноименной сказке, а солдату в сказке «Солдат, черт и смерть» — «в бою смерть не написана».

Все это может привлечь внимание даже искушенных специалистов: и отдельными вариантами сюжетов, и новыми красками, и свежими штрихами. Но, конечно, сборник «Русские народные сказки казаков-некрасовцев» представляет большой интерес для широкого читателя. Дело в том, что в этом сборнике не простые сказки, а сказки-путешественницы. Они сами имеют более чем двухсотлетнюю историю походов, напоминая и легенду и сказку одновременно. Возникшие на берегах Дона, сказки эти две сотни лет прожили на чужбине. Они странствовали по побережьям Черного, Эгейского, Мраморного и Средиземного морей. Многие из них побывали в Турции и Греции, Болгарии и Румынии, Аравии и Египте. И вот по прошествии двух веков сказки вернулись и вновь обрели свою родину.

Богатая злключениями биография доброй половины произведений-странников изложена во включенных в сборник преданиях казаков-некрасовцев. В этих преданиях и легендах — дыхание самой истории, творимой предками казаков-некрасовцев. Фактическая канва событий, о которых сейчас эпически повествуют потомки бывших бунтарей, сводится примерно к следующему.

После разгрома участников знаменитого Булавинского восстания на Дону одним из руководителей борьбы становится казачий атаман Игнат Некрасов. Он провел такие блестящие операции, как захват Черкаска и взятие приступом Царицына. Не случайно возглавлявший правительственные карательные отряды Петра I князь Долгорукий отзывался о Некрасове, что он «не плоше Булавина».

Даже оттесненный на Кубань, куда вместе с ним переселились и многие тысячи донских казаков, Игнат Некрасов своими походами чуть не три десятилетия беспокоил бояр, помещиков и воевод Саратовской, Пензенской и Харьковской губерний. Уходя обратно на Кубань, а впоследствии и на Тамань, где некрасовцами были построены три городища, он увлек за собой множество крепостных крестьян, также мечтавших о вольной жизни. До самой своей смерти Некраса, как называли Игната казаки, несмотря на ответные набеги царских войск, не прекращал борьбы.

И впоследствии некрасовцы неизменно отвергали предложения царик — Анны Иоанновны и Екатерины II — о возвращении, «боясь подвоха». Теснимые преследователями, некрасовцы обосновались на Дунае, а несколько позже, после многих столкновений с пришедшими туда запорожцами (после разгрома Запорожской Сечи), — на берегах Эгейского моря и в Малой Турции.

Предания некрасовцев, переходившие из поколения в поколение, говорят о проклятии Екатерины II по этому случаю:

«— Идите в чужую землю и чтоб вы там не прибавлялись, а убавлялись. Будьте вы прокляты! — так и сказала царица...»

А свободолюбивые казаки в ответ твердили завет Игната Некрасова: «Царю не покоряться, при царях в Расею не возвращаться».

Некрасовцы более века терпели притеснения от разбойных мухаджиров, дожимавших их набегами, и султанов, заставлявших их служить в войсках «аскерами». Уничтожала их чума и губительная лихорадка. И все же стойкость вольнолюбивых переселенцев была поистине неистребимой: они сохранили свои крепко сколоченные общины не только физически жизнеспособными, но и национально едиными, морально стойкими.

Неумирающая тяга к далекой родине передавалась от поколения к поколению и наконец победила. Лет за пять до революции из Константинополя в Батум, а затем на Кавказ выехала первая партия некрасовцев в восемьдесят семей. Пришедшие к власти грузинские меньшевики заставили их покинуть территорию Грузии. Белогвардейцы, господствовавшие на Кубани, не давали им земли, считая их беженцами и чужаками-пришельцами. С приходом советской власти некрасовцы обратились с письмом к В. И. Ленину, и им были отведены хорошие земли, переселенцы на пять лет освобождены от налогов. Рядом с их поселком Ново-Некрасовским, выстроенным на городской образец, почти одновременно возник второй — Ново-Покровский, где поселились приехавшие к той поре некрасовцы с берегов Дуная (Румыния), а вслед за этим и еще один — для восьмидесяти новых переселенцев из азиатской Турции. Сейчас все три группы некрасовцев объединены в один колхоз имени В. И. Ленина.

В 1947 году вернулись на родину уже две тысячи семей некрасовцев. Вековые скитальцы обрели наконец свою обетованную землю. Недаром одно из преданий о злоключениях некрасовцев на «подморной земле» острова Мада (в Юго-Восточной Турции) завершается отповедью рассказчицы в адрес Екатерины II, когда-то якобы проклявшей бунтарей. «Не весь некрасовский корень пропал. Мы теперь на своей земле живем: не убавляемся, а прибавляемся...»

Вместе с казаками-некрасовцами вернулись на родину и сказки-путешественницы. Знакомясь с ними, невольно изумляешься живучести русского языка. Люди, казалось бы, полностью оторванные, по выражению составителя, «от основного государственного массива», не только не погибли, не ассимилировались в чужих нациях, а жили сотни лет, сохраняя свою национальную культуру. Судя по свидетельству Ф. Тумилевича, неистребимости родного русского языка удивляются и радуются и сами некрасовцы. В одном из преданий, записанных собирателем от П. С. Герасюшкиной, — «Один только русский язык устоял» (к сожалению, этого предания нет в рецензируемом сборнике) — говорится:

«Сколько мы ездили по чужим странам, сколько языков поменяли: и румынский, и болгарский, и греческий, и турецкий, и грузинский — один только наш русский язык устоял...»

Об удивительной стойкости национально-го начала в коллективах вынужденных странников-некрасовцев свидетельствуют и сопровождающие сборник яркие характеристики сказочников. Ф. Тумилевич живо рисует краткие биографии каждого из них, особенности их репертуара, манеру исполнения. У каждого из них, по свидетельству соседей-колхозников, «песен и сказок чувал неразвязанный». От одной только Агафьи Лукьяновны Зайцевой собирателем записано 220 песен, 72 сказки и 22 предания об Игнате Некрасове. Не мудрено, что такие люди чувствуют себя хозяевами в стихии родного языка и оценщиками его чистоты.

— А ты говоришь чисто! — обращается к собирателю Агафья Лукьяновна. — Так чисто говорят и на Дону — была я там и слышала...

Огромный собирательный труд, проделанный Ф. Тумилевичем за два десятилетия

(им записано 505 номеров сказок и множество легенд об Игнате Некрасове, а также многие сотни старинных песен), заслуживает самого пристального внимания, уважения и признательности.

К сожалению, не со всеми теоретическими обобщениями собирателя можно согласиться. Утверждения о «живом процессе», якобы продолжающемся и сегодня в области народного сказочного творчества, входят в противоречие с дальнейшими высказываниями самого автора и содержанием сборника «Русские народные сказки казаков-некрасовцев».

В период более чем двухвековых странствий некрасовцев — и сам Ф. Тумилевич этого не отрицает — шел и процесс «отмирания некоторых сказочных видов», другая часть сказок «утратила свою самостоятельность, и от них сохранились только отдельные мотивы, эпизоды», отдельные сказки «теряли развернутость повествования, многие детали, превращались в лаконические произведения, иногда скомканные, сжатые». Все это свидетельствует, что замирание живого процесса устного сказочного творчества, наблюдаемое ныне, намечалось и ранее. Этому не помешала даже искусственная двухсотлетняя изоляция

старых сказок в условиях законсервированного быта России XVIII века.

Поэтому стоящее рядом с вышеперечисленными фактами утверждение Ф. Тумилевича о том, что на старые сказочные сюжеты и мотивы, как на скелет, «нарастало новое содержание», выглядит крайне неубедительно.

Наши выводы кратки. Плодотворная работа Ф. Тумилевича по собиранию произведений народной поэзии потомков бывших бунтарей, ходивших под боевыми знаменами Кондрата Булавина и Игната Некрасова, порадует читателя и, кроме того, пригодится при составлении будущего «Свода русских народных сказок», о котором хлопотал еще Алексей Толстой, свода, куда войдут лучшие, наиболее полные и художественные варианты русских народных сказок, причем, разумеется, будут использованы и все дореволюционные собрания, публикации и записи сказок. «Наращивание» же «нового содержания» на обломки «скелета» из старых «сюжетов и мотивов» не приведет к какому-либо подобию «живых процессов»: каждому веку — свои песни. И хотя собиратель приводит нас к этому выводу помимо своей воли, мы все же ему благодарны.

Н. ЛЕОНТЬЕВ.

★

Были и небылицы Ялгубы

Э то не совсем обычная книга. Это книга без вымысла — можно было бы назвать ее очерком, репортажем, моментальным снимком всего увиденного и услышанного в самой рядовой, нисколько не примечательной деревушке Карелии середины тридцатых годов. И между тем в этой книге сколько угодно вымысла, сколько угодно заведомых небылиц, переплетающихся с несомненной былью в самых неожиданных сочетаниях, самых причудливых узорах.

Герои этой книги как будто ничего не делают. Они «только» рассказывают, и автор «только» записывает их рассказы. Рассказывают попутчики в машине, шофер, встречные на дороге, жители деревни, приезжие — они как будто лишь затем и со-

брались на эти страницы, чтобы порассказать друг другу все, что припомнится, что придет в голову, к стати или не к стати, все, что им самим покажется занимательным, любопытным, достойным того, чтобы послушать. При этом всякого читателя поражает та расточительная щедрость, с которой автор расходует накопленный материал, не переслаивая его «воздухом» описаний и пейзажей, не разбавляя водой отступлений и сентенций. Едва успевает один из рассказчиков кончить, как тотчас вступает другой, и увлекательнейшие истории цепляются друг за друга, нижутся звеньями нескончаемой цепочки.

Только что вы наслушались баек о похождениях «кума императора», купца Зайкова, который пробрался на съезд Советов Карелии и предложил «выкачать досуха Белое море, чтобы удивить весь мир и чтобы никакие неприятельские суда не мог-

ли подойти к побережью», другой персонаж расскажет вам про увеселительную экскурсию на Ивановские острова, которая на самом деле оказалась героическим рейдом парохода «Анохин» в тыл белогвардейцев и англичан интервентов.

А еще через две-три страницы сам автор не может отказать себе в удовольствии вспомнить любопытную встречу в Матросках, на показательном лесозаготовительном пункте. И следует рассказ про «молодого, выбритого розовощекого канадского парня в шелковой трикотажной рубашке», который «положил гитару на койку, взял свой топор и лучковую пилу с волчьим зубом и вышел из барака в лес. И рядом с ним шел рослый, мощный сибиряк. Мужик-борода. Таких рисовали народники, когда хотели изобразить мужицкую исконную стихийную силу». И вот они стали соревноваться между собой, и каждый раз у канадца бывало напилено восемнадцать фетметров, а сибиряк еле добирался до десяти, и при этом «после работы сибиряк валялся без задних ног на койку. А канадец на гитаре тренькал...» На двенадцатый день сибиряк все-таки сдался и пошел на выучку к «молодому, розовому, как поросенок, парню», которого он сначала возненавидел и называл «канальец» и с которым они в конце концов подружились.

«— Мой старший брат в американских частях здесь на севере был,— говорил канадец, и я переводил его слова сибиряку.— Потом он отказался стрелять в красных... Обратной домой увезли. А я сюда приехал. Теперь здесь мой дом.

— А я в партизанах с разными иностранными войсками дрался. Били мы их. Учись по-нашему говорить... я тебе многое расскажу. Я тебя политике научу. Своих белых поедешь бить».

Или рассказ шофера о легендарном Вернере Лехтимяки — финском красногвардейце, который поехал в Америку «технику летного дела изучать» и сделался там знаменитейшим летчиком, «главным инструктором по кадрам», с которым сам Рузвельт беседовал. И однажды понял Вернер Лехтимяки, что «превозмог он всю техническую авиационную науку, под самый потолок забрался, дальше некуда, остается ему передать эту науку трудящемуся классу, рабочему государству, то есть нам...» Тогда он «стал вести коммунистическую работу» сре-

ди летчиков финнов, обучавшихся в летных школах Америки, стал ездить по финским колониям и агитировать подписываться по «американскому пятаку» и на эти деньги закупал у аэропланых фирм «у одной там мотор, у другой фюзеляж, у третьей другие необходимые детали». Кончилось дело тем, что в Ленинградский порт прибыл теплоход и привез самого Вернера Лехтимяки, а с ним — двадцать два аэроплана, «подарок американских финнов трудящимся Карелии...»

Все это, пожалуй, могло бы показаться невероятным, если бы герой рассказа не существовал на самом деле и если бы рассказчик не имел самых неопровержимых доказательств того, что аэропланы действительно прибыли в Ленинград. Однако же слушатели и не требуют никаких доказательств; превратившись сами в рассказчиков, они поведают вам другие истории, еще удивительнее, и из всех этих историй встанет живой и несомненный образ славного Вернера Лехтимяки, способного, оказывается, и не на такие дела и не на такие подвиги.

А рядом с историями такого рода мирно соседствуют и другие: например, о том, «как остров Кильдин произошел», или про черта и старого партизана, или притча про «чудо святого Николая Мирликийского», соленая, как итальянские новеллы Возрождения. Пестрота, хаотичность этой кусткамеры изумляет и застает врасплох. В самом деле, что общего между историческим анекдотом о Петре и описанием лыжного пробега по следам знаменитого рейда курсантов Интернациональной военной школы? И почему так близко соседствуют легенда о гнедой лошади, которая стала символом крестьянского восстания, и рассказ узбека Ильбаева о том, как он «усомнился в мудрости аллаха» и стал заядлым безбожником и активным антирелигиозником — «ибо неисповедимы пути аллаха»...

Право же, неисповедимы пути автора, но это лишь самое первое и поверхностное впечатление. В свое время А. М. Горький писал автору этой книги о «многом ценном» в ней, «что звучит анекдотически только потому, что оно свежо, ново». Этой новизны и свежести «Ялгубы» нельзя не признать и теперь, после того как она без малого четверть века не перендавалась. Но, может быть, именно наше сегодня позволяет

бросить на нее общий широкий взгляд и увидеть то единство и тот недюжинный смысл, какие в ней, безусловно, присутствуют. При всей своей внешней пестроте и хаотичности «Ялгуба» Геннадия Фиша представляет собою размашистую, клочковатую, мозаичную и все-таки очень цельную и типическую картину северной русской деревни середины тридцатых годов нашего века. Эта деревня взята на рубеже двух эпох, застигнута в одном своем порывистом движении, со всем ее прошлым, настоящим и будущим, со всем новым, что она успела познать, и со старыми слабостями, предрассудками и заблуждениями. Со всей ее былью и небылью.

Она, эта деревня, прошла гражданскую войну и коллективизацию, живет памятью о Ленине и товарищах Ровно и Гюллинге, знает цену пролетарской солидарности. Она уже посмеивается над чудесами святого Николая, чудотворца Мирликийского, и подозревает, что остров Кильдин вполне мог бы произойти без участия черта и польского святого, но она еще слагает невообразимые саги и легенды о красном партизане Ваньке Пospelове и навешивает щукам на хвосты деревянные ложки, чтобы узнать спустя год, соединяется ли Укш-озеро с Ур-озером.

Анекдотическое и реальность — порою очень тяжелая, даже трагическая реальность — тесно соединены в этой картине, иногда в одном и том же рассказе; разделить их нет ни возможности, ни смысла. Таков, например, рассказ узбека Ильбаева об уразе — месяце поста и радости для правоверных, который стал последним месяцем его веры. Анекдотична лишь самая внешняя причина его ухода «от демократии аллаха»: во время этого поста «от восхода солнца до захода верующий мусульманин не имеет права взять в рот ни маковой росинки. Но как только солнце зайдет, открываются вечерние и ночные пиршества». Так постановил аллах, но в этих северных местах, «куда не ступала нога мусульманина, куда не залетала слава о мудром Саади» и куда во время империалистической войны согнали толпы несчастных строить на их же собственных костях самую северную в мире дорогу, — в этих местах ночь не наступает три месяца кряду, и для тысяч людей это стало «не искушением веры, а искушением желудка». Вот как будто и

все смешное в этой истории, остальное — это уже трагедия испуганно верующих, которые предпочитают умирать в голодных судорогах, но не прикасаться к пище, постигая ценою своих мук и смертей, что «аллах, если он есть, не знает, что делает». К этому следует еще прибавить весь ужас работы, бессмысленной для этих людей и такой же невыносимой, как война, которая «все перевернула вверх дном», и картина совсем уже приобретает прочную опору в той простой и трезвой правде, которая в иные эпохи открывается нам в самом неожиданном обличье.

Вся эта многосложная калейдоскопическая картина и вызвала к жизни тот необычный жанр, в каком написана «Ялгуба». Только при самом превратном понимании типичности можно увидеть здесь отступление от ее законов. Небылицы в этой книге несколько не компрометируют былей, хотя и достаточно не похожи на них. Более того, и как это на первый взгляд ни странно, анекдотичность их только подчеркивает и удостоверяет их несомненность: придумать все это невозможно. Эти любопытные, удивительные, из ряда вон выходящие истории все-таки остаются живыми фактами; внушительными свидетельствами того, насколько жизнь богаче всякой выдумки.

А между тем, при всей ее необычности, «Ялгуба» все же не что иное, как повесть с оригинальным сюжетом, в котором, пожалуй, даже слишком заметны следы тщательной отделки, с живыми характеристиками людей, отличающихся каждый своей неповторимой речью. О языке этой книги — пластичном, гибком, колоритном — только потому и не следует говорить отдельно, что без него вообще невозможно себе представить «Ялгубу». Я имею в виду не авторскую речь, которая в конце концов сведена к минимуму и выполняет даже нарочито подчеркнутую роль сухой ремарки, кратчайшего связующего звена. Главное — это язык рассказчиков; он-то, собственно, и отличает их друг от друга, поскольку никакими иными средствами они не характеризуются. Зато уже в этой своей языковой стихии они, поистине неповторимы и неподражаемы, люди разных профессий, склада ума, биографии и двенадцати языков: русский цофер, вобравший в свой лексикон пеструю дань дорожных встреч и приключений, узбек-пропагандист, для которого первой житаной

книгой, кладезем мудрости и обмана, был коран; крестьянин-возчик с его суесловием заводного враля, а также и лукавой бестии; канадец лесоруб, владеющий всего сотней русских слов, но для которого именно на русском языке прозвучали самые важные истины.

В том же письме к Геннадию Фишу, о котором уже говорилось, Горький поздравил его «с удачным вкладом в советскую

литературу». Это, к счастью, можно повторить и сегодня, потому что «Ялгуба» оказалась именно прочным вкладом, а не временной поделкой. И можно надеяться, что сегодняшний читатель отнесется к ней с тем вниманием и интересом, какого, безусловно, заслуживает эта живописная, искрометная и веселая книга,

Г. ВЛАДИМОВ.

★ К горизонту всех людей

Накануне первой мировой войны критики, склонные к скептическим пророчествам, предсказывали поэзии печальное будущее. По их словам, XX веку суждено было стать веком романа, ибо лирика обречена на гибель при столкновении со скрежашущим миром машинной индустрии.

В те первые десятилетия нашего столетия действительно казалось, что «проклятые поэты» конца XIX века в их отчаянном вопле ненависти к царству торжествующих мешан исчерпали последние капли когда-то столь щедрого источника поэзии. Никогда еще в истории поэзии не было эпохи, изобилующей таким огромным количеством группок, школок, просто непризнанных гениев вне всяких направлений, каждый из которых претендовал на открытие «единственно истинной» тайны стиха. Никогда еще непрерывный поток манифестов, деклараций, эстетических откровений не выносил на поверхность литературной жизни такой шумной толпы посредственностей, своим истошным криком заглушавших немногие истинно поэтические голоса, и без того порядком ослабленные ставившими их новомодными маэстро. Мало-помалу культ «чистой» красоты вырождался в жеманную стилизацию, бунт против бесчеловечности и серости бытия — в бунт против синтаксиса...

С тех пор прошло немногим меньше полувьска. Хотя и по сей день нет недостатка ни в скептиках, ни в мятежных нисприсвергателях грамматики, сегования об уладке поэзии воспринимаются как комический ана-

хронизм. Будущий историк, мысленно обозревая многовековую летопись мировой поэзии, надолго задержится именно на этом пятидесятилетии, пытаясь понять, как и почему поэтам удалось выбраться из мертвых тупиков декадентских «измов», найти путь к возрождению их искусства.

В поисках ответа на этот вопрос он вряд ли пройдет мимо признания крупнейшего французского поэта XX века Поля Элюара, высказанного им по поводу одного из самых трагических периодов его жизни: «От горизонта одиночки — к горизонту всех людей». Ибо в этих словах — бесценный урок многих поэтов, вступивших в жизнь, как и он, в пору крушения старого мира и героических битв революции, мораль, добытая не умозрительным мудрствованием, но выстраданная ценой немалых потерь и вдохновенных прозрений.

Элюар был среди тех, кому пришлось, едва сняв гимназическую форму, в 1914 году неловкими руками прилаживать солдатские обмотки и кутаться в нее по росту сшитую, облепленную окопной грязью шинель. О горьком жизненном опыте своих сверстников, юность которых прошла в обвалившихся землянках и госпитальных палатах для отравленных газом, Элюар рассказал в первой тоненькой книжке стихов, названной им «Долг и тревога». Вместе с Барбюсом и Вайяном-Кутюрье, вместе с десятками начинающих и уже зрелых писателей разных стран Элюар ощутил бессмыслицу кровавой бойни. Вернувшись домой, он написал «Стихи о мире» и послал их автору «Огня» с надписью: «Анри Барбюсу, создавшему самую полезную в мире книгу».

В первых послевоенных книжках своих стихов Элюар воспел человека, который

Полю Элюар Стихи. Перевод с французского. Составление и редакция переводов О. Савича. Предисловие И. Эренбурга. 344 стр. М. 1958.

Paul Eluard. Choix de poèmes. Moscou 1958 (Полю Элюар. Избранные поэмы. Составитель К. В. Цуринов. Вступительная статья Ильи Эренбурга. Москва. 1958).

развел огонь, чтобы сохранить жизнь здесь, на земле. Он славил «земные, прекрасные тонкие руки» музыканта и загорелые, натруженные руки воина, сменившего винтовку на заступ садовника. Он любовался тихим счастьем у домашнего очага, детьми, собравшимися вокруг семейного стола. Молодому Элюару казалось, что достаточно противопоставить испепеляющему городу и души хаосу войны разумы труд рабочего-созидателя, и все в этом сошедшем с рельсов мире встанет на свое место.

Видеть в деревьях — доски,
В горных кручах — дороги,
В лучшем возрасте, в возрасте силы,
Ткать железо и камни месить,
И украшать природу
Человеческой красотой —
Работать.

(Перевод М. Ваксмахера)

Поэзия Элюара 1918—1921 годов — одна из прекрасных гуманистических «робинзонад» двадцатого столетия, возникшая в растерзанной послевоенной Европе. Поэт упорно возводит стены дома, за которыми может укрыться от бурь и ледяного ветра истории скромное и чистое человеческое счастье. Пусть небесная лазурь загорожена крышей — ведь разведен огонь в очаге.

Но нельзя долго жить иллюзией, даже очень заботливо взлелеянной. Рано или поздно творцы «робинзонад» с тревогой обнаруживают, что дом, казавшийся таким прочным, слишком похож на воздушный замок. И тогда в сердце строителя закрадывается тревожное сомнение:

Я жил, дыханье затаив. Шум пламени
ловил я
И теплый аромат огня вдыхал.
Как лодка, что в тмутду стоячем тонет,
И как мертвец, — я знал одну стихию.

(Перевод М. Ваксмахера)

Мысль об открытии огня волновала Элюара с юношеских лет, но прошли долгие годы, прежде чем поэт узнал, как добывают пламень Прометея. В ту пору смысл послевоенных перемен, понимание которых побудило Барбюса возглавить группу «Кларте», Элюару остался неясен.

Эпоха настойчиво стучалась в души молодых людей, вернувшихся с «чужой войны». Шли двадцатые годы. На Востоке изпод обломков царской империи вставал мир, преображаемый руками большевиков. По

городам Европы блуждала чума инфляции, оставляя после себя опустевшие дома, зеленых от голода детей, распухшие карманы дельцов. В пивных Баварии юродивый ефрейтор уже пророчил крестовый поход против евреев и коммунистов. Юнцы из семей добропорядочных французских буржуа, обозленные провалом рурской авантюры, командовали карательными операциями в Марокко.

Эпоха требовала выбора.

Каждый выбирал свое. Одни шли в банды «патриотической молодежи», писали злобные памфлеты и не менее злобные романы против рабочих, Москвы, революции 1789 года. Другие выходили на улицы с красным флагом, выступали на митингах в защиту французской демократии и Советской России. Третьи тешились манифестами о «революции духа», устраивали пародийные суды над шовинистом Барресом и одновременно оплевывали память гуманиста Анатоля Франса — и тоже выбирали. Среди этих молодых людей, страдавших, по словам одного из них, «социальной безграмотностью», и возникло движение «сюрреалистской революции».

В памфлете «Сюрреализм против революции» Роже Вайян, оценивая исторический смысл теоретических построений сюрреалистов, отмечал их сходство с субъективным идеализмом Бергсона, попытками возрождения философии средневекового схоласта Фомы Аквинского и «всеми прочими «осадными машинами», начиная с 1919 года пущенными в ход с целью заставить человека усомниться в своем разуме, сделать смешной в его глазах веру в возможность счастья, его надежду на прогресс; с целью убедить его спастись бегством, вместо того чтобы переделывать мир и условия своего существования в этом мире».

«Вклад» сюрреализма в литературу ничтожен. Даже очень благожелательные критики, подводя итоги движению, признают за ним единственную заслугу... расчистки авгиевых конюшен конформистской буржуазной макулатуры. Автор одной из последних историй французской литературы П. А. Симон пишет: «В той мере, в какой теория сюрреализма была применена и применялась, она вела своих приверженцев к отрицанию искусства, к бормотанию, к бредовым фантазмагориям и, в сущности, к бесплодию...» И если из рядов сюрреалистов

все же вышли значительные художники, то это случилось вопреки сюрреализму, а не благодаря ему. К их числу принадлежит и Поль Элюар.

Когда в 1918 году солдат Элюар, придя с войны, написал: «Я работаю, и я один в моем саду», он лишь повторил мысль, взлелеянную гуманистической традицией прошлых веков. Гуманизм, вырастающий из противопоставления «естественных», природных потребностей человеческой личности хаосу враждебного ей общества, возник на заре нового времени в прекрасных утопиях Возрождения с его Телемской обителью и искрящимися светлой радостью комедиями Шекспира. Он принял стройные очертания законченной философии в учениях просветителей XVIII века, и Вольтер за полтора столетия до Элюара привел своего Кандида после блужданий по городам и весям феодального мира к конечной мудрости: «Надо возделывать свой сад».

Но поколение буржуазных гуманистов, ставших, как и Элюар, свидетелями первой мировой войны и Октябрьской революции, уже не могло найти удовлетворения в этом разрыве личности и истории. Коммунизм, который есть, по словам Маркса, «завершенный гуманизм», «подлинное разрешение спора между существованием и сущностью... между свободой и необходимостью, между индивидом и родом», вступает после 1917 года в эпоху практического построения «поющего завтра». И это неизбежно заставляет современных наследников классического гуманизма с тревожной остротой ощутить недостаточность, иллюзорность их позиции. Не здесь ли причина столь настойчивых попыток найти путь к другим людям, сломать отчуждение частной личности от борьбы за общественный прогресс, которыми отмечено творчество писателей-гуманистов XX века — от Дю Гара и Томаса Манна до Фейхтвангера и Сент-Экзюпери, Хемингуэя и Ремарка?

«Сюрреализм был одной из таких попыток, но попыткой ложной, с самого начала не обещавшей своим изобретателям ничего, кроме тупика. Ибо стремление лишь в воображении, с помощью фрейдистского мифотворчества преодолеть противоречие между личностью и обществом, противоречие, заложенное в самой основе капиталистического миропорядка, — безнадежная иллюзия, порожденная буржуазным созна-

нием эпохи упадка. Для Элюара сюрреализм был кризисом гуманизма.

Хотя Элюар не был вдохновителем поисков «сверхреального», он дольше, чем многие, сохранял веру в декларации вождя группы А. Бретона. Нет нужды воскрешать стихи Элюара, созданные по рецептам сюрреализма; он сам признал, что они принадлежат истории, включив в подготовленный им перед смертью том своих поэм лишь один-два образца из каждого сборника той эпохи. В увлечении фрейдистским лжебунтарством поэт видел скорее провал в своей творческой биографии, чем этап развития. Позже, в поэме «Все сказать», он дал недвусмысленный в своей ясности анализ собственных блужданий в пустыне одиночества, населенной декадентскими миражами:

Против! Смогу ли сказать, что всем сердцем
я против
Глупых причуд, рожденных одиночеством!
Я погибал, защититься от них не в силах,
Как скованный воин с кляпом во рту.

В них растворялись тело, и сердце мое, и
рассудок —
В бесформенной массе, полной бессмыслен-
ных форм,
Которыми прикрывают гниение и упадок,
Угодливость и преступление, равнодушие и
войну.

(Перевод М. Ваксмахера)

Впрочем, уже в те ранние годы творчество поэта не укладывалось в прокрустово ложе сюрреалистских схем. И здесь дело не просто в том, что Элюару, как и всякому большому писателю, тесно в рамках литературной школы. Та проникновенная человечность, тяга к прекрасной гармонии в мире и собственном сознании, с которыми Элюар вошел в литературу, были скованы «искусами одиночества», но не вовсе вытравлены из сердца поэта. Именно поэтому рядом со стихотворными опусами, всецело следующими предписаниям сюрреалистской поэтики, Элюар даже в самые кризисные годы создавал стихи, проникнутые жаждой духовного обновления.

В качестве примера обычно приводят «Критику поэзии», «Довольных» и другие мятежные проклятия по адресу тупых мещан, во многом напоминающие Бодлера, Рембо. Однако значительность лирики Элюара той поры не просто в трагедии поэта, перед которым вдруг открылась «чер-

ная ночь... Все несчастье огромного мира». Даже в «Граде скорби» (1926) нет излюбленного сюрреалистами «черного юмора» — цинического зубоскальства висельников, оплевывающих без разбора ценности мнимые и подлинные. Для Элюара подобная «свобода ума» — скорее трагический тупик, чем желанное преодоление «земных слабостей». Трагедия лирического героя Элюара — трагедия сознания, угнетенного собственной разорванностью и всеми силами тянущегося обрести утраченную цельность.

О этот невесомый мир,
Огромный, древний, ослабевший,
Меня не знавший никогда,
В котором я ношусь бесцельно,
Как обезумевшая тень...
Я буду лишь тогда свободен,
Когда очнусь в других руках.

(Перевод С. Северцева)

Именно эта схватка гуманизма и декадентского распада за душу современного человека неизмеримо возвышает поэзию Элюара над виршами ортодоксов сюрреализма и их пророка А. Бретона. Из этого поединка победителем выйдет гуманизм, и тогда поэт скажет: «Огонь безумцев больше не гоним, он — нищ».

Все творчество Элюара тридцатых годов полно отзвуков непрекращающейся борьбы между отчаянием смерти и животворным огнем новой надежды, обретаемой в обратимости с другими людьми — теми, кто знал, что от духовных наследников Барреса нельзя отделаться гримасами «черного юмора». Позже, при переиздании своих стихов 1930—1938 годов, он писал: «...Здесь содержится все, что написано Полем Элюаром за восемь лет, которые привели его к более ясному и вместе с тем более драматичному представлению о реальном мире».

Нелепо пытаться назвать день и час, которые бы точно разделили творчество Элюара на части «от сих и до сих». Бредовые видения еще долго протягивали щупальца к сердцу поэта, и все же внутренний свет духовного прозрения разгорался все ярче и ярче, отгесняя ночные призраки. Пришел момент, когда Элюар почувствовал себя в силах заявить:

Довольно!
Мы устали
В руинах снов ютиться, мы устали
Под низенькою тенью обитать
Своей беспомощности и терпенья...

..Мы к новой памяти вплотную подойдем,
И наши чувства будут нам служить
Всеобщим языком!

(Перевод С. Северцева)

В разгар испанской эпопеи на страницах «Юманите» появился элюаровский «Ноябрь 1936 года» — гневный вызов фашистским «строителям руин», обращавшим в груды пепла и обломков цветущие города Испании.

Так произошла встреча Элюара со сподвижниками Барбюса, которых он когда-то покинул ради обманчивых химер «сюрреалистской революции». Через несколько лет, в дни, когда мостовые Парижа топтали кованые сапоги захватчиков и в зарослях маки собирались отряды партизан, когда людей расстреливали и угоняли на каторгу только за одно подозрение в симпатии к коммунизму, Элюар стал коммунистом. Своим «требувальным друзьям», упрекавшим его в непоследовательности, он так объяснял свой шаг: «Я присоединился к Коммунистической партии весной 1942 года. И так как это Партия Франции, я отдал ей все мои силы и всю мою жизнь. Я решил быть с людьми моей страны, которые идут вперед к свободе, миру, счастью — к настоящей жизни».

В суровую годину военных испытаний вступал Элюар в пору своей зрелости. Немало сладкогласных бардов, претендовавших в промежутке между двумя войнами на роль духовных вождей, не устояло перед соблазном сбежать с экзамена на мужество, устроенного историей. Элюар выстоял. Вместе с Арагоном, вместе с писателями-патриотами Элюар отстаивал честь поэзии, сражаясь за Францию.

Можно сколько угодно спорить о «темноте» и «ясности» стиля Элюара, можно среди ранних его стихов находить прозрачно-чистые по мысли и среди поздних — требующие расшифровки. И, конечно, существует прямая связь между «Долгом и тревогой» и патриотической лирикой времен Сопротивления. Большой поэт всегда остается самим собой — и в своих взлетах и в своих падениях. Но бесспорно, что последнее десятилетие творчества Элюара, открываемое его бессмертной «Свободой», — вершина и итог всех исканий поэта, эпоха расцвета его глубоко человеческого дарования.

Б.Е.

Книгу о поэтике Элюара еще предстоит написать. Это будет поучительное исследо-

вание, ибо оно покажет, как растет поэзия по мере перехода поэта «от горизонта одиночки — к горизонту всех людей». И дело здесь не просто в закономерностях смены ритмов, ассонансов, стихотворных размеров. Новое видение мира меняет самую сердцевину поэзии — ее образы, их емкость, их выразительную силу. Достаточно перелистать вышедшие сборники Элюара, чтобы почувствовать, как крепло его мастерство.

В лирике Элюара всегда было место уродливым, гротескным видениям ночного зла, порожденного враждебным миром. Когда-то это зло свило гнездо в самом сердце поэта. Один из критиков как-то заметил, что образы зла у раннего Элюара напоминают юродствующие и хохочущие маски «Carcios» Гойи, которого поэт очень любил.

Но подобно тому, как дьявольские наваждения Гойи сменились в «Бедствиях войны» жуткими в своей реальности картинами военных опустошений, в сборнике Элюара «Лицом к лицу с немцами» кошмары одинокого ума уступали место вполне зримым, хотя и не менее отвратительным в своем механическом бездушии, фигуркам захватчиков. Трудно найти во всей французской антифашистской поэзии более рельефные, убийственно саркастические портреты гитлеровцев.

Идут и идут.
Идут со штыками,
Играют ножами,
Идут — и гордятся
Своими шпиками
И палачами —
И в ранцах
Свой завтрашний траур
Несут.
Идут и идут.
Оружьем бряцают,
Словно своими костями бряцают,
И застывают,
Честь отдавая
Погонщикам стада.
Пропитаны пивом,
Пропитаны бредом,
Идут и идут,
Идут и поют
Проклятую песню
Кованых грязных
Солдатских сапог.

(Перевод М. Ваксмахера)

1.

В этом отрывистом марше «глупых и злобных», каждая строка которого отбивает шаг, приближающий палачей-автоматов к могиле, зло из царства страшных

снов спустилось на землю, стало живой историей, которую делают люди и которую другие люди властны изменить. Ибо гротескные образы Элюара стали беспощадной сатирой поэта-реалиста потому, что он смог увидеть границы исторического зла, а за ними — людей с винтовками и надеждой в глазах, твердо решивших уничтожить уродцев, сеющих смерть. Было время, когда поэт, теснимый метафизическими фантазмагориями, метался в безнадежности: «Единственный клочок свободного пространства — в глубинах сердца». Теперь, приветствуя «зарю, которая разгоняет чудовищ», он непреклонно заявляет: «Мы расправу над злом учиним».

Гордое «мы», которое пришло в годы Сопrotивления в поэзию Элюара на смену трагическому «я», знаменовало собой рождение нового взгляда на мир и место поэта среди людей. В лаконичных стихах «Извещения», бывшего на устах у каждого участника парижского восстания 1944 года, Элюар рассказал об узнике, который перед смертью, на самом «дне крошечных мук», думал о том, что с ним рядом нет друга, но за стеной тюрьмы — миллионы и миллионы друзей продолжают его дело. Сознание великого братства товарищей по оружию — братства, о котором безнадежно долго тосковал лирический герой прежнего Элюара, — завершило многолетние поиски поэта-гуманиста.

Это не значит, что Элюар вновь вернулся в лоно той райской «робинзонады», которая не выдержала столкновения с жизнью двумя десятилетиями раньше. Гуманизм Элюара сороковых годов — революционный гуманизм поэта-коммуниста, снимающий наконец неразрешимое с точки зрения раннего Элюара противоречие человеческого и исторического.

Как велик путь, пройденный поэтом от его ранних стихов к поэзии времен Сопrotивления, показывает любовная лирика Элюара сороковых годов. В постоянстве обращения Элюара к теме любви некоторые видят аргумент, опровергающий мысль о плодотворном обновлении его поэзии в последнее десятилетие. Но если этот аргумент вообще что-либо опровергает, то только эти суждения.

Любовная лирика Элюара необычна. Элюар поразительно безразличен к тому,

что издавна составляло главную цель влюбленных поэтов: к описанию приливов и отливов чувства, тревожных ожиданий и счастливых встреч возлюбленных, ревнивых подозрений, горечи разлук, ссор и радостных упоений — словом, всего, что принято называть «психологией любви». В разные периоды жизни Элюар обращал свои пылкие признания к трем женщинам, но чем они отличались одна от другой, из его стихов узнать невозможно: там нет ни портретов, ни зарисовок характеров. «Ибо в целом,— писал один из французских критиков,— любовная поэзия Элюара чудесным образом антиавтобиографична... От самых своих истоков и до конца творчество Элюара — это творчество поэта-философа. Для Элюара любовь — самая сокровенная загадка человеческого бытия, понять которую — значит понять мир и место в нем каждой личности: «Я пою, чтобы петь, я люблю, чтобы петь тайну, в которой любовь создает меня и освобождает».

И все же при всей новизне любовной лирики Элюара она вплоть до Сопротивления оставалась в известной мере традиционной. На протяжении веков французские поэты от А. Шенье до Верлена, от Бодлера до Аполлинера видели в любви обитель неискверканных чувств, единственное пристанище чистоты и человечности для поэта, заблудившегося в непроницаемом мраке ночи. Любовная лирика раннего Элюара потому так судорожна, взвинчена, порой даже надрывна, что любовь — последнее звено, связывающее обитателя «Града скорби» с жизнью.

Твои глаза — я затерялся в них,
Я путешествую по их живым дорогам
И уйду все дальше от земли.

Твои глаза — в них стали даже те,
Кто нам поведал, как мы одиноки,
Совсем иными, вопреки судьбе.

(Перевод С. Северцева)

Сюрреализму, числившему среди своих духовных отцов Артюра Рембо, не было дано выполнить завет, оставленный этим гениальным блудным сыном французской литературы: «Любовь предстоит изобрести заново».

Это заново переосмысленное древнее чувство пришло в поэзию Элюара тогда, когда поэт рядом со своим локтем ощутил

локоть друга, идущего в бой за будущее родины и человечества, когда он понял, что полнота счастья двоих невозможна вдали от людей, в замкнутом мирке, куда не проникают страдания и радости большого мира. «Мы всегда друг друга любили, и потому что мы любили друг друга, мы хотим освободить других от холода одиночества. Мы хотим, и я говорю — я хочу, я говорю — ты хочешь, мы хотим, чтобы свет вечно светил парам, излучающим добродетель, парам, одетым в латы отваги. Потому что их глаза встречаются и потому что их цель — в жизни других». Эти слова из «Семи поэм любви на войне» — свидетельство того, что гражданская лирика вовсе не вытесняла любовной темы у Элюара, но входила как составная часть в его философские раздумья о надеждах, привязанностях, долге, тревогах, борьбе своего времени — о том, что значит для человека «жить». (К сожалению, самая значительная часть этой поэмы, как, впрочем, и некоторые другие этапные произведения Элюара — «Победа Герники», «Лики мира», — по совершенно необъяснимой причине не вошли в состав сборника на русском языке.)

Свое эстетическое кредо Элюар, прошедший через героическую эпопею Сопротивления, выразил словами поэта XIX века Лотреамона: «Целью поэзии должна быть применимая к жизни правда». В стихотворении под этим заголовком Элюар писал, что поэзия призвана ответить на потребность людей в «единенье, надежде, борьбе», чтобы «познать и переделать мир». Быть может, в самой этой формуле нет ничего необычного: нетрудно убедиться в глубокой связи Элюара с национальной традицией, перечитав литературные манифесты французских романтиков. Однако, когда Виктор Гюго в главе «Вильяма Шекспира», названной «Прекрасное на службе у истинного», заявлял: «Быть великим слугой — это ничего не отнимает у поэта», — он довольно смутно представлял, «откуда и куда движется человечество». В известной мере все великие поэты Франции прошлого столетия были романтиками, страстно жаждавшими содействовать прогрессу, но рисовавшими себе этот прогресс, соображаясь скорее с собственными пожеланиями, чем с исторической закономерностью.

Мечта поэта-коммуниста Элюара о грядущем «золотом веке» была не менее пыл-

кой, но это романтика иного рода — она основана на трезвом понимании действительной диалектики истории. Ни один из поэтов прошлого не мог с такой смелостью утверждать:

Я вижу обе стороны медали
С моста, что всех людей объединяет,
Сцепляет воедино все миры.
На мрачном камне — первый луч восхода,
Прыжок пантеры за рубеж хаоса:
Все позади: камни и терновник!
Я вижу, как ребенок месит тесто
Грядущего...
И, затаив дыханье от восторга,
Я вижу арку ясного согласия:
Порабощенные найдут, найдут
В самих себе — порыв освобождения!

(Перевод А. Голембы)

Ощущение хаоса истории, враждебной подлинной человечности, сменилось у Элюара ясным пониманием того, что в самом историческом развитии заключено преодоление этого хаоса, выход в царство гармонии.

Вот почему ни нигилистический бунт, ни пантеистическое созерцание вселенной не могут больше удовлетворить поэта. Мир можно и должно переделать, и только в этом величии человека.

Надо верить, верить и знать,
Что в твоей, человечей, власти
Быть свободным и лучше стать,
Чем сулила судьба или счастье.

(Перевод С. Маршака)

Поклонники «свободы духа» не раз упрекали Элюара в том, что, став коммунистом, он связал себя по рукам и ногам, предал забвению клятвы своей юности. Трудно придумать более нелепые обвинения. Элюар был свободен в своем сюрреалистском мятеже не более, чем пленник, полагающий, что грезы вернее приведут его к освобождению, чем подпиливание тюремных решеток. Наоборот, никогда раньше поэзия Элюара не проникалась столь дерзкой уверенностью в том, что в мире нет никакой фатальной неизбежности, предопределяющей судьбы людей. Идея неподвластности слепому року, восхищение силой и умом человека-творца, своим трудом преобразующего вселенную, стала поистине путеводной звездой всей деятельности Элюара в послевоенные годы. Он отстаивал эту идею на конгрессах защитников мира, в беседах с греческими

партизанами, в выступлениях перед рабочими, на собраниях деятелей культуры. Но главное — он отстаивал ее всей своей поэзией. Тогда, когда писал об испанском народе, свято хранящем в своей душе надежду на освобождение, и тогда, когда обращался к делегатам партийного съезда; в стихах о Маяковском и о газете коммунистов своего квартала; в посланиях к рабочим-горнякам и поразительном «уроке морали», рассказывающем о человеке, едва не сломенном утратой любимой женщины, но почерпнувшем в общей борьбе силы продолжать жить. Именно в эти годы Элюар наконец узнал, как поэзия может стать прометеевым огнем, приносящим свет и тепло всему человечеству.

Если ты человек — созидание дело твое,
Если нива — дай урожай народу,
Если дерево — тенью своей осеняй,
Если день — отогрей человека,
Чтоб и ночью
Не холодно было ему.

(Перевод А. Тверского)

Преображая облик мира, человек перековывает самого себя. Это верно и по отношению к поэтам. «Любопытно отметить, — говорит французский критик, — что именно тогда, когда Элюар приближается к рубежам старости, его поэмы начинают излучать свет юности». Добавим, что это была юность очень мудрого поэта, сумевшего не только сохранить изумительную свежесть мировосприятия, но приобрести острую пронизательность много жившего и много передумавшего зрелого мыслителя.

Лирика Элюара всегда поражала строгой чистотой, классическим отсутствием цветистости, загадочной и вместе с тем по-детски наивной непосредственностью в столкновении очень далеких, но обыденных, привычных всем и каждому понятий. На фоне застывшего в своей интеллектуальной неподвижности холодного Валери, на фоне мощного библейского проповедничества Клоделя и причудливой роскоши восточных орнаментов Сен-Джон Перса Элюар во французской поэзии двадцатого века выглядел удивленным юношей, взору которого мир предстал вдруг во всей его первозданной свежести и простоте. Поздний Элюар убедил нас в том, что произвольность лирической стихии вовсе не противоположна сложной философской мысли.

Отвечая Морису Надо, одному из самых яростных ниспровергателей социалистического реализма во Франции, писатель-коммунист Пьер Дэкс ссылаясь прежде всего на путь, пройденный Арагоном и Элюаром: «Вот два поэта, прошедшие через формальное бунтарство, через бунт против литературы и завершившие свой путь введением революции в литературу...»

Догматикам, склонным видеть в социалистическом реализме сумму раз и навсегда данных, издавна установленных правил, кажется бессмыслицей даже предположение о близости «модерниста» Элюара к новаторскому методу, пробивающему себе дорогу в литературах капиталистического Запада. Критики, напуганные узостью догматизма, предпочитают уклончивые разговоры о «неповторимости» Элюара, ставящей его якобы вообще вне всяких общих закономерностей литературного процесса. Элюар пришел в ряды поэтов-борцов своим особым путем, и его поэзия действительно неповторима. К ней не применимы мерки поверхностного правдоподобия просто потому, что это поэзия глубоких раздумий, почти лишенная не только в собственном смысле слова повествования, но и стремления к индивидуальной психологической достоверности в портрете лирического героя. Невозможно судить о поэзии Элюара и с позиций тех, кто пытается реализм поставить в зависимость от наличия (или отсут-

ствия) традиционных ритмов и строф девятнадцатого века. Элюар — поэт, переплавивший в своем творческом горниле огромные достижения национальной французской поэзии не для того, чтобы просто вернуться к прошлому, но для того, чтобы решить оказавшийся роковым для многих его предшественников и современников вопрос: об искусстве и революции, поэзии и коммунизме, художнике и народе. И он решал этот вопрос, исходя не из головных схем, не в абстракции, а как насыщенный вопрос своей собственной творческой практики, частной жизни, общественной деятельности.

«Поэт следует собственной идее, но эта идея приводит его к необходимости вписать себя в кривую человеческого прогресса. И мало-помалу мир входит в него, мир поет через него». В этих словах Элюара — мудрость пройденного им пути. Мудрость тем более драгоценная, что за его поколением, которому пришлось пробивать толщу сводов, отгородивших художников от современной истории, идут новые поколения, и им тоже приходится иметь дело с мнимыми пророками, потрясающими лохмотьями обветшалых легенд. Но тем, кто встает на смену, легче. Легче потому, что выход уже прорублен. И труднее: завоеванный их отцами «горизонт всех людей» надо не только отстоять, но и распахнуть перед человечеством новые, неоглядные дали.

С. ВЕЛИКОВСКИЙ.

★

Политика и наука

Из потребляющих в производящие

Пять лет, прошедшие после сентябрьского Пленума ЦК КПСС 1953 года, были для Смоленщины поистине годами невиданного обновления. Многострадальная Смоленская земля, с трудом залечившая раны, нанесенные войной и вражеской оккупацией, буквально преобразилась и стала неузнаваемой. Орден Ленина, которым Смоленская область награждена в 1958 году за успехи в подъеме сельского хозяйства, завоеван самоотверженным трудом ее

людей, стремящихся возродить былую славу смоленских льноводов и животноводов.

В своем политико-экономическом очерке «На земле Смоленской» секретарь Смоленского обкома КПСС П. И. Доронин рассказывает, как областной комитет партии сумел мобилизовать и сплотить труженников области, направить в деревню, в колхозы и совхозы несколько тысяч работников из областных и районных организаций.

На примере Шумяцкого района — одного из крупнейших в области — автор показывает, как своевременны и жизненны были решения партии о перестройке сельского хозяйства. Из 50 председателей кол-

П. Доронин. На земле Смоленской. Редактор А. Толмачев. 180 стр. Госполитиздат. М. 1958.

хозов 37 имели только начальное образование. Руководили они хозяйством колхозов слабо.

Шумяцкие коммунисты первыми в области подали пример того, как надо претворять в жизнь решения партии. Среди других председателями в колхозы района были направлены секретари райкома Месилов и Пантелеев, народный судья Осипов, заведующий отделом народного образования Федотов, прокурор Зенин, начальник отдела сельского и колхозного строительства райисполкома Денисенко, заведующий райфинотделом Перепечин, председатель потребсоюза Титов, директор пищевого комбината Москвин. Все они давно работали в районе, хорошо знали его сельское хозяйство.

Но были и такие, кому обжитые кабинеты и блага чиновной жизни мешали гробиться с места, кто личные свои интересы ставил выше интересов партийных, государственных и народных. Обком партии был вынужден обсудить поведение этих работников.

«Постепенно в сознании руководителей,— пишет автор,— происходил перелом... Стремление обкома партии отучить канцеляристов от неправильных методов руководства всемерно поддерживали сельские коммунисты. Все чаще на разных совещаниях передовики сельского хозяйства стали требовать, чтобы партийные органы проявляли к ним больше внимания и заботы».

На целом ряде фактов автор показывает, как новые председатели начинали борьбу за поднятие продуктивности сельского хозяйства, укрепление трудовой дисциплины, повышение материальной заинтересованности колхозников. Партийная организация привела в действие все общественные силы. В области развернулось широкое обсуждение тех путей, на которых можно скорее преодолеть отставание в сельском хозяйстве, укрепить колхозы.

Большой раздел книги отведен рассказу о том, как перестраивалась партийная работа, преодолевались канцелярско-бумажные навыки руководства. Требовалось не руководить вообще, а всемерно вникать в самую суть хозяйствования, в экономику колхозного производства. Главным в партийной работе были живой, творческий подход к самым различным людям, непо-

средственно занятым в сельскохозяйственном производстве, расстановка коммунистов на решающих участках — в бригадах, на фермах, на строительстве. Смоляне не стеснялись учиться у соседей, перенимали опыт передовиков и новаторов. Чтобы поднять удои молока, Смоленский райком партии повез лучших доярок в Рязанскую область учиться раздаивать коров. На курсы, на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку ездили тысячи колхозников и колхозниц, а возвратившись, применяли у себя опыт лучших. На семинарах в Смоленске выступали работники из других областей: с Рязанщины, с Черниговщины, из Могилевской области.

Большую работу провели сельские Советы. Изо дня в день они помогали партийным организациям и колхозам в насущных нуждах по подъему сельского хозяйства.

Постепенно стали появляться плоды перестройки. В книге рассказывается о том, как росли удои, повышалась продуктивность животноводства. В 1955 году, например, в Смоленском районе от каждой коровы было надоено 1485 килограммов молока, а в 1957 году — 2340. За эти же годы в три с лишним раза возросло поголовье свиней, а сдачи государству свинины — и того больше. Денежные доходы от свиноводства возросли с двух до десяти миллионов рублей.

Тесная связь партии с массами сказалась и на росте первичных партийных организаций. В колхозах области сейчас работает более десяти тысяч коммунистов, многие партийные организации насчитывают по двадцати—тридцати человек.

В деле культурного подъема смоленской деревни большую роль сыграла сельская интеллигенция.

Есть в Починковском районе село Мурыгино. Местные учителя, врачи, агрономы явились инициаторами так называемого «мурыгинского движения». Они разработали и стали день за днем осуществлять обширный план культурно-массовой работы. Почин мурыгинцев распространяется сейчас по всей Смоленщине. Его подхватила интеллигенция села Виков де Сус в Румынской Народной Республике.

Июньский Пленум 1958 года поставил перед партийными организациями новые задачи в руководстве сельским хозяйством. Резкое увеличение валовой и товарной про-

дукции, снижение себестоимости сельскохозяйственных продуктов стали первоочередной задачей всех труженников деревни.

Рассказывая о претворении в жизнь решений июньского Пленума, П. Доронин приводит интересные и разительные цифры: «В результате укрупнения колхозов и полеводческих бригад, создания комплексных бригад значительно сократились затраты труда и средств на единицу продукции... Эти, казалось бы небольшие, меры дали нам возможность в целом по области удешевить производство молока по сравнению с 1954 годом на 22 процента, говядины — на 29 процентов, а свинины — почти в 2 раза».

Колхозы Смоленщины стали получать продукцию, себестоимость которой ниже новых заготовительных цен. Например, в колхозе «Красная заря» Смоленского района в 1957 году производство картофеля обходилось ниже заготовительных цен на 15 рублей с центнера, молока — на 46 рублей, говядины — на 200 рублей, свинины —

почти на 180 рублей. Поучительны приведенные автором данные по себестоимости льна в Шумячском и Руднянском районах, а по себестоимости молока — в Ярцевском и Пречистенском.

Когда-то Смоленщина была областью потребляющей, особенно по зерну. Своего хлеба, как правило, не хватало. Но те времена ушли в прошлое. Смоленщина уверенно идет вперед. Она производит сейчас не только лен, зерно, но и молоко, мясо, масло и многие другие сельскохозяйственные продукты.

Справедливости ради следует отметить, что не все задачи решены, не все сделано. Смоленская область, как и другие в Центральной полосе, находится еще только в начале крутого подъема. Книга П. Доронина убеждает, что труженники Смоленщины под руководством партии преобразят свой край и добьются новых, заслуженных успехов.

Д. ОСИН.

★

Невидимое топливо

Вступление к этой книге начинается так: «Чист и прозрачен воздух на улицах большого города. Не дымят высокие трубы его многочисленных фабрик и заводов, и нет в воздухе копоти и сажи — этих старинных недругов промышленных городов». Это город без угольных складов и без печей, в которых сгорают дрова. Это город, над которым всегда чистое небо. В домах и в топках заводов здесь пользуются только природным газом. Уголь, дрова, керосин уступили ему место всюду, где до сих пор они были в большом почете...

Таких городов становится все больше в нашей стране. Газ идет на смену углю и с каждым годом завоевывает все новые позиции — в быту и в промышленном производстве. В конце первой семилетки мы получим в семь раз больше газа, чем в 1957 году.

Все это могло быть известным читателю книги Ю. Боксермана задолго до того, как он взял ее в руки. Но с первой же страницы его увлечет рассказ о том, как человек овладел драгоценным даром природы, как на-

ходят его в недрах земли и сколько чудесных свойств таится в газе. Хотя книга обращена к юному читателю, но, думается, и многие родители с интересом прочтут ее. А это отличительное свойство по-настоящему хорошей детской книги.

От развалин храма огнепоклонников в Сураханах, вблизи Баку, от этих «вечных огней», поразивших воображение человека две тысячи лет тому назад, до огромных корпусов химических комбинатов, где газ превращается в каучуковую ленту и пластмассовый кузов для автомобиля, — такой путь совершит читатель книги «Невидимое топливо».

И на всем этом пути его ждут все новые и новые открытия, находки, изобретения, благодаря которым создана и быстро развивается самая молодая отрасль нашей индустрии — газовая промышленность. «Открывая кран газовой плиты, мы никогда не задумываемся над тем, сколько самоотверженного труда ученых, инженеров, рабочих — людей самых различных профессий — потребовалось для того, чтобы в нашей квартире вспыхнул голубой огонек газовой горелки!» И вот мы отправляемся на поиски «невидимого топлива». Геологи первыми

Ю. Боксерман. Невидимое топливо. Редактор М. Зубков. 144 стр. Детгиз. М. 1958.

идут в те края, где никто еще не заглянул в недра. Они исследуют земные пласты. Разведчики вооружены очень чувствительными приборами. Они «видят» подземный мир, но не настолько отчетливо, чтобы разглядеть сверху, в каком месте скопился в земных пластах природный газ. Разведчики только определяют наиболее перспективные районы.

Несколько страничек книги, посвященных технике бурения скважин, дают отчетливое представление о том, как совершенствовалось это дело, потребовавшее напряженных усилий людей различных специальностей. Значительным событием в этой области явилось изобретение турбобура, завоевавшего мировое признание. Советский турбобур позволил ускорить бурение скважин. Крупная американская фирма закупила у нас турбобуры для нефтяных и газовых промыслов США.

Разведка увенчалась успехом. В недрах открыто газовое месторождение. Как овладеть найденным сокровищем? Автор живо рассказывает о том, что малейшая оплошность, небрежность, недосмотр могут вызвать аварию. Так было весной 1943 года, когда радость геологов, инженеров, рабочих, открывших газовое месторождение невдалеке от Сталинграда, была омрачена пожаром, вспыхнувшим на буровой. Не успели вовремя обуздать газовый фонтан, он вырвался на волю, загрохотал во всю силу своих сотен атмосфер давления, выбросил осколки камней, и одна искра вызвала огромный пожар. Огонь удалось погасить с помощью взрывной волны, оторвавшей на миг пламя от устья скважины.

Мы расстаемся с разведчиками и отправляемся на газовый промысел. Здесь уже не ищут газ, здесь его добывают для промышленности. И в этой области техника непрерывно совершенствуется. Только на саратовских газовых площадях удалось сберечь шесть миллионов рублей и получить без бурения дополнительных скважин двести миллионов кубометров газа благодаря новому способу его извлечения из нескольких пластов в одной скважине.

В книге уделено большое место современным методам разработки и использования газовых месторождений. Это позволяет читателю проследить за тем, как возрастает в газовой промышленности роль ученых, инженеров, и как сама наука обогащается опы-

том людей, добывающих «невидимое топливо».

Для книг такого жанра особенно ценным как раз и должен быть рассказ о качественных изменениях в нашей промышленности, о торжестве человеческого ума над стихийными силами природы. Эти маленькие и большие победы — будь то скважина для добычи газа из двух пластов одновременно или новый сварочный агрегат академика Е. О. Патона для газовых магистралей — вводят читателя в мир творческих исканий, где все так увлекательно и интересно.

Вот, например, как решена проблема ускорения строительства многокилометровых газопроводов: «Две длинные стальные ленты накладывают друг на друга и протягивают через сварочный автомат, который прочно сваривает края лент. Сваренную ленту длиной до одного километра свертывают на барабан и в виде рулона весом 7—10 тонн отправляют на трассу газопровода. На трассе барабан с лентой устанавливают в козлах на автомашине, которая передвигается вдоль траншеи, оставляя за собой длинную полосу разматываемой ленты. В уложенную рядом с траншеей ленту нагнетают воздух под давлением 10—12 атмосфер. Лента раздувается, принимает форму обычной трубы, и в таком виде ее опускают в траншею».

Перед работниками газовой промышленности возникла еще одна важная задача: каким образом хранить многие миллионы кубометров газа вблизи городов и промышленных предприятий? Для этого применялись всегда газгольдеры — цилиндрические баки. Но они требуют большого количества металла и затрат. Возникла идея — хранить газ там же, откуда его добывают, то есть в недрах земли. В книге описан этот обычный способ создания огромных газохранилищ на глубине от 150 до 2700 метров. В скважины, пробуренные на такую глубину, нагнетают под давлением газ и отсюда «выдают» его потребителям.

Узнав из книги, как работает в нашей квартире газовый счетчик, мы попутно получаем представление о том, насколько выгодно это «невидимое топливо». Для того, чтобы вскипятить один литр воды, надо сжечь дров на 10—11 копеек, керосина на 5—6 копеек, а природного газа — всего на 0,9 копейки. В Москве использование при-

родного газа дает свыше 200 миллионов рублей ежегодной экономии.

Автор раскрывает перед читателем все многообразие использования газа не только как самого выгодного топлива, но и как ценнейшего сырья для химической промышленности. Замена пищевых продуктов газом при получении спирта, необходимого для многих областей промышленности, сельского хозяйства, позволяет сберечь на каждой тонне спирта десять тонн картофеля или четыре тонны ржи.

Природный газ можно превратить в удобрения, синтетическое волокно, пластмассы, каучук. Эти и многие другие превращения стали возможными благодаря успехам химической науки. Автор уделяет этой теме всего лишь несколько страничек, хотя можно было бы подробнее рассказать о том, как возникают из гигантских молекул — полимеров — прочные, эластичные, пластичные материалы. Стоило бы в такой научно-популярной книге дать юному читателю более живое представление о завоеваниях волшебницы-химии.

Рассказ о «невидимом топливе» завершается главой, посвященной перспективам развития газовой промышленности. Через семь лет ежегодная добыча газа достигнет 150 миллиардов кубометров. Новые месторождения газа позволят проложить почти 26 тысяч километров магистральных газопроводов. Будет создана единая система

газоснабжения около пятисот городов и поселков с общим населением более чем в срок миллионов человек.

Обращаясь к юным читателям, автор советует им при выборе профессии вспомнить о том, что они узнали из книги. «Вы забереетесь,— пишет автор,— с геологическими партиями в степи Поволжья, в глухие дебри Сибири, в пустыни Туркмении. Будете пытливо изучать их, искать малейшие признаки газовых месторождений. В вашем распоряжении новейшие приборы, позволяющие услышать дыхание недр, заглянуть на глубину в несколько километров. По показаниям этих приборов вам придется решать: стоит ли бурить скважины. И сколько тревожных дней и ночей вы будете ждать окончания бурения первой скважины, которая должна подтвердить правильность или ошибочность принятого вами решения! Но вот пробурены последние метры, и, если правильно определено место залежи, на поверхность земли вырывается дремавший миллионы лет природный газ. И там, где раньше была степь или непроходимая тайга, вырастают заводы, использующие газ в качестве топлива либо сырья для производства химических продуктов, сооружаются поселки, газопроводы, железные и шоссейные дороги».

Несомненно, эти строки найдут отклик в сердцах многих юных читателей этой хорошей и полезной книги.

И. ОСИПОВ.

★

«Старейшина советских геологов»

Жизнь и деятельность Владимира Афанасьевича Обручева — выдающегося ученого и неутомимого путешественника — интересны и поучительны. Созданные им научные направления развились в большие самостоятельные ветви современной геологии. Его путевые маршруты по Центральной Азии в значительной мере были использованы при проектировании новой грандиозной железнодорожной линии, связывающей СССР с Китаем.

Книга о В. А. Обручеве, вышедшая в

Э. М. Мурзаев, В. В. Обручев, Г. Е. Рябухин. Владимир Афанасьевич Обручев. Жизнь и деятельность. Ответственный редактор С. В. Обручев. 304 стр. Издательство Академии наук СССР. М. 1959.

научно-популярной серии издательства Академии наук СССР, заслуживает внимания не только как биографический очерк о деятеле науки широчайшего диапазона, но и как работа, содержащая богатый познавательный материал.

В первых главах рассказывается о детстве и школьных годах Владимира Афанасьевича, о его служебной деятельности и многочисленных путешествиях по Закавказью, в Забайкалье, в Центральной Азии, в Пограничной Джунгарии. Затем авторы анализируют пять важнейших научных проблем, которыми на протяжении десятилетий занимался В. А. Обручев. Читатель знакомится со взглядами ученого на происхождение лёсса — знаменитой почвы плодо-

родия Средней Азии и Китая; с его работами по геологии, золотоносности и оледенению Сибири в четвертичную эпоху; с исследованиями по тектонике (важнейшему разделу геологии, который изучает движения земной коры и вызванные ими формы ее строения), а также с созданным В. А. Обручевым учением о «юных» (в геологическом смысле) движениях земной коры, образовавших целые горные хребты. Мы получаем также представление о взглядах ученого на рудные месторождения и условия их происхождения, на древнейшие участки земной коры в Сибири — «древнее тема Азии» — около Иркутска и Байкала.

Большое впечатление производит облик В. А. Обручева как человека разнообразнейших интересов и поистине невероятной трудоспособности, как общественного деятеля, литератора, педагога.

Авторы поступили вполне правильно, показав Владимира Афанасьевича как отличного популяризатора геологических знаний. Он написал ряд интересных работ, пропагандирующих геологическую науку и привлекающих к деятельности геолога нашу советскую молодежь.

Немало места в книге уделено рассказу о широко известных научно-фантастических романах В. А. Обручева — «Плутония» и «Земля Санникова». Своеобразным отражением многочисленных путешествий ученого явились и другие его научно-художественные произведения — «В дебрях Центральной Азии», «Рудник Убогий», «Золотоискатели в пустыне». Кроме ценнейших сведений о географии и геологии Центральной Азии, читатель находит в них правдивые картины из жизни горняков.

Разделы книги, посвященные основным научным проблемам, разработанным В. А. Обручевым, написаны очень содержательно и в достаточно доступной форме. Нужно отметить тщательность подбора материала. Это говорит о любовном отношении авторов к своему труду.

В. А. Обручев пришел в науку еще в те годы, когда только начиналось геологическое изучение обширных пространств нашей Родины. Он был первым «штатным геологом всей Сибири». Как далеко ушла сейчас вперед советская геологическая наука! Огромная заслуга в этом принадлежит и Владимиру Афанасьевичу Обручеву. Он явился как бы связующим звеном между советской наукой и прогрессивными традициями передовых ученых России. Его труды способствовали также и разработке минеральных ресурсов нашей Родины.

Надо приветствовать выход в свет книги о В. А. Обручеве и пожелать издательству Академии наук СССР и в дальнейшем выпускать такие же интересные, глубоко содержательные и полезные издания.

Академик Д. ЩЕРБАКОВ.

★

Щедрый Байкал

Наше рыболовство развивается за счет освоения дальних морей. Советские траулеры ходят нынче за сардиной к берегам Африки, а за треской — к Ньюфаундленду; китобойная флотилия «Слава» промышленно работает в Антарктике. Во внутренних же водоемах, в том числе таких богатых прежде рыбой, как Каспий и Азовское море, запасы поуменились и рыбы добывается мало.

Между тем рыболовство во внутренних водоемах могло бы играть большую роль в продовольственном балансе страны. Об этом говорил на XXI съезде КПСС Н. С. Хрущев, и такова наша неотложная задача.

Ведь можно увеличить запасы рыбы и повысить ежегодный улов во внутренних морях, озерах, реках до шести—восьми миллионов центнеров, надо только наладить дело по-хозяйски: прекратить загрязнение вод ядовитыми промышленными отходами и нефтью (что вполне достижимо даже при самом высоком уровне индустриализации), улучшить условия естественного размножения рыб, более широко заняться искусственным рыборазведением. И вообще следует строить хозяйство в соответствии с требованиями науки. Без ее помощи правильное использование водоемов, разумеется, немислимо.

Ихтиология, гидрохимия, гидробиология имеют для практики рыбного хозяйства та-

Рыбы и рыбное хозяйство в бассейне озера Байкал. Сборник статей под редакцией М. М. Кожова и К. И. Мишарина. 746 стр. Иркутское книжное издательство. 1958.

кое же значение, как агрономия для земледелия. И потому нас, опечаленных оскудением вод и озабоченных восстановлением их богатств, не может не радовать всякий серьезный успех в развитии этих наук, каждый случай удачного сближения научных исследований с практикой рыбного хозяйства.

За последние двадцать пять лет сотрудники Иркутского университета и ряда других научных учреждений Восточной Сибири проделали обширную работу по изучению природы озера Байкал. Ученые тщательно наблюдали, как живут и растут населяющие его рыбы, как они размножаются, чем питаются и достаточно ли для них имеется в озере корма. Итогом явилось издание большого и содержательного сборника, который можно назвать энциклопедией рыбного хозяйства Байкала, потому что, помимо исчерпывающего по полноте биологического материала, в книге содержатся подробные сведения об организации и технике промысла.

Такой энциклопедии, собранной в одном, не существует в настоящее время ни по какому другому рыбопромысловому бассейну страны, включая наши моря.

В свое время мы имели классические монографии Н. М. Книповича о Баренцовом, Каспийском, Азовском и Черном морях, Л. С. Берга об Аральском море и К. М. Дерюгина о Белом море. Но все они устарели. Режим вод, условия существования рыб, их численность и распределение по зонам водоемов, техника промыслов — все изменилось.

Наука накапливала новые знания, но собирались они исподволь, и материалы исследований публиковались в разное время. В результате по каждому рыбопромысловому бассейну появилась огромная литература, рассеянная по различным журналам и сборникам. Выявить все материалы, характеризующие тот или иной бассейн, невозможно без специальных библиографических указателей. И еще труднее разобраться в том, что сохранило свое значение, что устарело и опровергнуто дальнейшими исследованиями.

Такое же положение было и в отношении Байкала. С выпуском же рецензируемого сборника неудобства устраняются: читатель получил монографию о рыбном хозяйстве Байкала, приведенную, как говорится, в ажур.

Приходится только пожалеть, что в смысле литературной формы не все разделы книги стоят на одинаковом уровне. Наряду с лаконичными и четкими статьями М. М. Кожова, где мало слов и много содержания, в сборнике помещены рыхловатые и сырые материалы, в которых большое количество не всегда нужных подробностей явно превалирует над весомостью принципиальных выводов. Растянутостью отличается, например, центральная статья сборника — об омуле, написанная К. И. Мишариным. У нас подчас мало заботятся о форме и стиле научной и технической литературы, а ведь от этого в значительной степени зависит количество читателей той или иной книги. Жаль будет, если безусловно ценный по содержанию сборник не получит должного распространения. Он имеет значение не только для текущего дня. Авторы заглядывают в будущее.

В заключительной главе даются рекомендации практических мер для увеличения запасов рыбы. Меры эти настолько обширны и разнообразны, что авторы заявляют: «Мы надеемся, что этот труд будет руководством на многие годы в области дальнейшего развития рыбного хозяйства в бассейне озера Байкал».

То, что наука опережает практику, это закономерно. Такова вообще роль науки — указывать производству его будущее. Но ненормален и нежелателен слишком большой и слишком длительный разрыв между требованиями науки и практикой производства. Поэтому, признавая высокую ценность и большую прочность теоретических основ, на которые опираются авторы сборника, мы в то же время заинтересованы, чтобы осуществление намеченной байкальскими учеными программы не растягивалось на многие годы, а было бы начато и выполнено как можно скорее. От этого зависит судьба байкальского рыбьего стада и размер будущих уловов.

И потому мы решаемся говорить с широкими читательскими кругами о книге, которая и по деталям содержания и по характеру изложения явно для них не предназначена. Но выдвинутые в ней проекты затрагивают нас всех и заслуживают общественной поддержки.

В рыбном промысле Байкала наибольшее значение имеет омуль (рыба из рода сиговых). Его вылавливают до ста тысяч цент-

неров в год, то есть значительно больше, чем какого-либо другого сига во всех водоемах СССР, вместе взятых.

Промысел омуля быстро развивался в годы Советской власти и достиг максимума в 1936—1938 годах. С тех пор наступила стабилизация. Несмотря на то, что в последний период вводятся более совершенные механизированные орудия, уловы не увеличиваются. Правда, они и не уменьшаются, но это не должно нас успокаивать. Дело в том, что в уловах с каждым годом все меньше и меньше встречаются крупные, старые, много раз нерестившиеся омули; преобладают рыбы более молодых поколений. А снижение возраста вылавливаемых рыб всегда служит признаком уменьшения стада.

В других водоемах (Каспий, Азовское море) уменьшение рыбных запасов вызвано по большей части изменением водного режима в результате гидростроительства: значительные площади нерестилищ и кормовых зон перестали играть свою роль после изменения уровня воды. На Байкале же с этим все обстоит благополучно: природные условия там по-прежнему исключительно благоприятны для размножения и жизни рыб.

В статье профессора М. М. Кожова «Природа Байкала как среда жизни для рыб» годовая продуктивность мелких рачков, служащих пищей для омуля, определена в полтора-два миллиона тонн. Существующее же стадо омуля поедает не более 50 тысяч тонн в год, другие рыбы — не больше. Таким образом, огромные кормовые ресурсы Байкала используются мало и открывают возможность для многократного увеличения омулевого стада. И если запасы рыбы в Байкале не только не увеличиваются, но даже обнаруживают тенденцию к уменьшению, то причина лежит не в природных условиях, а исключительно в порочной практике нынешних рыбных промыслов и нарушении разумных правил рыболовства, в чем особенно повинны многочисленные байкальские браконьеры.

У нас разрешен любительский лов. Конечно, за исключением запретных мест (нерестилищ, зимовальных ям), запретных сроков и без применения истребительных орудий. Каждый гражданин Советского Союза имеет право склониться с удочкой в руках

над лоном вод и сидеть, покуда хватит терпения. Если он при этом натаскает рыбы себе на уху и даже больше, чем на уху, — закон не нарушен. Всегда считалось, что нехитрые любительские снасти не могут конкурировать с траулерами, сейнерами, ставными неводами, что любительский лов ничтожен по размерам и не может оказать никакого влияния на запасы рыбы в промысловых водоемах.

Однако на Байкале дело обстоит иначе. В рецензируемом сборнике помещена любопытная статья П. Ф. Попова «Материалы по не учитываемому официальной статистикой рыболовству в водоемах бассейна озера Байкал». Автор статьи поставил перед собой, казалось бы, невыполнимую задачу — учесть «неучитываемое» — и удачно ее разрешил. Вместе с бригадой студентов Иркутского университета он провел обследование важнейших промысловых районов Байкала и собрал сведения о размерах любительского лова. Получились ошеломляющие итоги: в обследованных районах государственные предприятия и колхозы выловили 78 345 центнеров, неорганизованные же рыбаки — 66 363 центнера, или 45,8 процента общего улова по Байкалу. И надо иметь в виду, что добыча неорганизованных рыбаков учтена не полностью: на самом деле она, конечно, выше. Идиллическая картинка с фигурой рыбака-одиночки превращается в грозное явление.

Не к месту будут успокоительные рассуждения о том, что добытые любителями центнеры хотя и по другим каналам, а приходят-де к той же цели: человеку на потребу. Тот факт, что нехитрыми своими орудиями рыбаки-одиночки добывают почти столько же рыбы, сколько колхозы и государственные промыслы с их могучей техникой, показывает, что любительский лов производится в местах большой концентрации рыбы во время нерестового хода. Сплошь и рядом в запретные периоды, когда колхозные и государственные сети сохнут на берегах, колхозники и рабочие государственных промыслов превращаются в «любителей» и не дают спуска идущей на нерест рыбе. Во многих байкальских реках с нереста не возвращается ни один омуль — все попадают в засольные бочки или копильные печи. Неорганизованный лов производится с ущербом для воспроизводства запасов. Это — во-первых.

А во-вторых, рыба, «не учитываемая официальной статистикой», расходуется ужасно неэкономно. По данным П. Ф. Попова, четвертая часть улова продается на рынках, столько же скормливается ездовым собакам, причем в корм идет не какая-либо завалившая, а первосортная рыба, которая могла бы украсить праздничный стол людей. Остальные пятьдесят процентов идут в пищу рыбакам и их семьям. В малоллюдных северобайкальских районах, где нет сельского хозяйства, рыба служит единственным пищевым продуктом, и поедается она в чрезмерном количестве. Излишества, однако, не приносят людям пользы: в результате одностороннего питания появляется ревматизм и другие болезни. Следовало бы развить в таких районах овощеводство и молочное животноводство — люди стали бы здоровее, и высвободилось бы много товарной рыбы.

Для правильного использования сырьевых ресурсов озера и увеличения естественного размножения рыб необходимо прекратить браконьерский разгул. Любительский лов нужно ввести в организованное русло. Авторы сборника вполне обоснованно предлагают наряду с усилением государственной охраны учредить общество рыбаководлюбителей с определенным уставом, правами, обязанностями. Само общество станет оберегать нерестилища от разгрома, как мы это видим на примере подмосковных водохранилищ.

В нарушении разумных правил рыболовства повинны также государственные рыболовецкие предприятия и колхозы. Кажется бы, они-то больше всех заинтересованы в увеличении количества рыбы. И, казалось бы, они должны обеспечивать свои уловы размножением стада, как это делают сухопутные совхозы и колхозы, обеспечивающие урожай посевом. Между тем су-

ществующие уставы государственных рыбопромышленных трестов вовсе не обязывают заботиться о воспроизводстве запасов. По уставу дело промысловиков — только ловить, все остальное составляет заботу других департаментов: Рыбнадзор следит за выполнением правил лова, Рыбвод размножает рыбу. Такова гримаса ведомственного разделения того, что по самой сути своей неразделимо. Ведь выполнение правил рыболовства не может существовать вне рыболовства. Поэтому предложение иркутских ученых о соответствующих дополнениях устава рыбопромышленных организаций заслуживает самой горячей поддержки.

Забота о естественном размножении рыбы — только одна сторона дела. Другая сторона — искусственное рыборазведение. Как уже было сказано, кормовые ресурсы озера позволяют многократно увеличить запасы ценных промысловых рыб и, главным образом, омуля. Надо использовать эти богатые возможности.

В сборнике изложен проект постройки ряда рыборазводных заводов. Этот проект был рассмотрен Ихтиологической комиссией Академии наук СССР и получил одобрение. Остается только пожелать, чтобы его осуществление не откладывалось в долгий ящик.

Не так уж много потребуется средств. Рыборазводные заводы стоят сравнительно недорого, а результат могут дать большой. Если вложить в строительство заводов десяток или даже два десятка миллионов рублей — а такой расход нам вполне под силу, — щедрый Байкал не останется в долгу. На заботу о его плодородии он ответит миллионами пудов превосходной, богатой ценными белками, вкусной и полезной рыбной снеди.

Г.
И. ЗЫКОВ.

★

Преданы и проданы

Провал политики «с позиции силы», упорно, но безуспешно проводимой правительством ФРГ, вызывает все большее беспокойство среди западногерманского населения. Патриотически настроенные нем-

цы все чаще убеждаются в том, что Аденнауэру и членам его кабинета ближе к сердцу интересы Североатлантического пакта, чем национальные интересы собственного народа.

Hans Georg Hermann. Verraten und verkauft. Fulda. 1958 (Ганс Георг Герман. Преданы и проданы. Фульда. 1958).

Именно к такому неутешительному заключению приходит западногерманский публицист Ганс Георг Герман, автор книги

«Преданы и проданы». Герман разоблачает реакционную сущность политики ФРГ, которая ведет к углублению и увековечению раскола Германии. Книга дает правильное представление об общественной и политической жизни Федеративной Республики и является ярким обвинением враждебного немецкому народу режима, вскормленного и вспоенного американским монополистическим капиталом.

Автор неопровержимо доказывает, что американские монополии с самого начала задались целью подчинить себе западную часть Германии. Герман приводит выдержку из книги Даллеса «Война или мир», в которой тот писал: «Германия очень важна для Запада потому, что Запад может создать там выдвинутый вперед стратегический плацдарм в Центральной Европе, который будет подрывать военные и политические позиции советского коммунизма в Польше, Чехословакии, Венгрии и других соседних государствах».

На основе фактического материала автор разоблачает те методы, с помощью которых американский капитал осуществляет свою агрессивную политику. Это подкуп руководящего аппарата политических партий и профсоюзов, финансирование их деятельности, организация слежки за прогрессивными элементами и так далее. Одновременно Герман показывает, как верхушка социал-демократической партии Германии и объединение профсоюзов Западной Германии все больше превращаются в агентов буржуазии в рабочем движении.

Ряд разделов книги посвящен существующей в Западной Германии атмосфере политического террора. «Демократия» в ФРГ, по мнению автора, носит чисто формальный характер. Касаясь законодательных органов власти, Герман пишет: «В действительности парламент лишен власти бюрократией и господствующими в общественной жизни объединениями. Он покорно склоняется при виде кнута авторитарного правительства...»

Аденауэр, став после поражения фашизма председателем Христианско-демократического союза, вновь выдвинул пресловутый лозунг «борьбы с марксизмом». В первой же листовке, распространенной партией федерального канцлера после войны, говорилось: «Оплот против марксизма вы най-

дете в ХДС...» «Мы приветствуем борьбу против марксизма». Правящие круги ФРГ не брезгают никакими средствами для подавления своих политических противников. Они приклеивают им ярлыки «изменников родины». «Тот, кто не позволяет использовать себя в борьбе против Москвы,— пишет автор,— по терминологии федерального канцлера, «глупец и изменник». Тот, кто выступает против милитаристско-клерикальной диктатуры, будь то писатель-католик Рейнгольд Шнейдер, прусский консерватор Г. Раушнинг или социалист Агарц, должен считаться с тем, что его заклеймят как «боевого соратника большевизма». «Третья империя,— заключает Герман,— окружала своих противников колючей проволокой с пропущенным через нее электрическим током и пулеметами; она уничтожала неугодных ей лиц механическими средствами... Однако и нынешняя система сохранила прежний антикоммунистический принцип... При такой внутривластной обстановке дискуссия прекращается из-за страха перед последствиями этой дискуссии; здесь кончается демократия...»

В Западной Германии суровому преследованию подвергаются все граждане, объединения или организации, активно выступающие против вооружения, за контакт между обоими германскими государствами. Стремясь воспрепятствовать всякому взаимопониманию между немцами, органы юстиции ФРГ произвольно подводят все, что может служить сближению ГДР и ФРГ, под «деятельность, враждебную государству».

Реакционную сущность режима ФРГ характеризует и следующий факт. Вскоре после того, как бывший президент сената Данцига Г. Раушнинг возвратился из Соединенных Штатов в Западную Германию, он вынужден был ее покинуть. Накануне своего отъезда он писал автору книги: «Принимая во внимание обстановку, я сам делаю тот неизбежный вывод, что здесь, в этой новой Германии, для меня нет места так же, как и в Германии Адольфа Гитлера... Через несколько дней я возвращаюсь в США. Можно сказать, что я вторично эмигрирую. Боннский режим сделал для меня невозможным даже самое скромное существование в качестве свободного писателя».

Еще более убедительным примером может служить сфабрикованный западногерман-

скими властями судебный процесс по делу видного профсоюзного деятеля Западной Германии Виктора Агарца. В книге ему отводится немало места. Агарцу, посвятившему всю свою жизнь демократизации политической, общественной и экономической жизни ФРГ, было предъявлено обвинение в том, что его деятельность «представляет опасность для государства». Говоря о судебном терроре в Западной Германии, автор приходит к выводу, что там «существует неограниченная готовность к уничтожению инакомыслящих и только узкая полоска не использованных еще технических возможностей отделяет западногерманского демократа от эшафота».

Наряду с судебным преследованием в ФРГ широко используется опубликование и распространение всевозможных лживых сведений о неугодных правительству лицах. Цель таких публикаций и заявлений, пишет автор, состоит в том, чтобы «заменить колючую проволоку, тюремную камеру или полицейский застенок не менее смертельной моральной изоляцией в обществе».

В разделе, озаглавленном «Американизация Европы», Герман пишет о том, что, стремясь к победе во второй мировой войне, США вовсе не думали о спасении демократических сил, а ставили перед собой цель добиться господства американской системы.

Политика США в отношении ФРГ, подчеркивает автор, начиная с денежной реформы в Западной Германии в 1948 году и кончая оснащением вермахта ядерным оружием, развивается в течение этих десяти лет последовательно, в соответствии с устремлениями американской финансовой олигархии. Буржуазные партии—Христианско-демократический союз и Свободная демократическая партия— щедро финансируются американскими и западногерманскими монополистами. Американцы, указывает автор, покушают все, что имеет какое-либо значение в политической жизни ФРГ, начиная с профсоюзов и кончая печатью. «Разве Западная Германия обладает суверенитетом?»— гневно спрашивает Герман. И отвечает: «Нет, он принадлежит капиталистам Соединенных Штатов».

В разделе «Раскол начинается» автор подчеркивает, что основной удар американский капитал направляет против рабочего движения, против профсоюзов и социал-де-

мократических партий. Непосредственными проводниками американского капитала в западногерманском профсоюзном движении, указывается в книге, были и остаются представители американских профсоюзных объединений—АФТ и КПП. Эти объединения открыли в Западной Германии свои бюро, они проводят широкие мероприятия по оказанию «помощи» западногерманским профсоюзам, а в действительности—с целью раскола. В течение многих лет, например, центральный орган ДГБ (объединение профсоюзов Западной Германии) «Ди вельт дер арбейт» получает ежегодно в среднем один миллион марок. Иностраный отдел ДГБ, руководимый Людвигом Розенбергом, издает в большом количестве брошюры и публикации, финансируемые США. Американские и английские власти всюду, где это представляется возможным, стремятся на ключевых постах в ДГБ иметь своих ставленников. Таковы офицер американской армии Ганс Ян, который является сейчас депутатом бундестага и имеет двойное гражданство; представитель американских профсоюзов КПП Гельмут Екель, ставший ближайшим помощником Георга Рейтера (заместителя председателя ДГБ); редактор бывшей газеты американской военной администрации Отто Штольц, занявший в газете «Ди вельт дер арбейт» пост заместителя главного редактора, и многие другие.

«Американская разведка,— утверждает Герман,— создала в форме «восточных бюро» во всех партиях, а также в ДГБ свои опорные пункты»

Благодаря случайности, говорится в книге, были обнаружены документы, предназначенные для «варфоломеевской ночи». Одна германо-американская тайная организация составила списки неугодных ей политических деятелей, которые должны были быть уничтожены в определенное время.

По сообщениям газет «Франкфуртер альгемайне» и «Зюддейче цейтунг», денежные средства для этой организации шли из двух боннских министерств, в том числе из министерства по общегерманским вопросам. Автор книги резонно замечает: «Разве не находится вся Германия в когтях разведслужб? Разве сами партии не родились в недрах отделения по «ведению психологической войны» и разве секретари партий не получают постоянно указаний от офицеров

разведслужб западных союзников и не вознаграждаются ими? У власти находится агент!» С полным основанием Герман заключает, что в ФРГ «путь идет от оккупационной демократии к демократии агентов».

Немцы в Западной Германии преданы и

проданы Аденауэром и его окружением, состоящим из оголтелых реваншистов, не гнушающихся никакими средствами для осуществления своих бредовых планов развязывания новой войны.

Е. ШВЕДОВ.

★

«Чего не знает Джонни»

Два американских профессора — А. Норман и Л. Сэун — опубликовали в журнале «Нью рипаблик» статью «Чего не знает Джонни». В статье были приведены результаты опроса 359 студентов Луизианского университета — будущих адвокатов, учителей, журналистов, проповедников, агентов по рекламе, политических деятелей, а возможно, и писателей.

Анкета должна была «выяснить познания студентов из области истории, искусства и текущих событий». Испытание было не слишком сложным. Студентам назвали двадцать имен. Следовало дать хотя бы самый общий ответ, кто эти люди.

Ответы превзошли самые мрачные ожидания. Половина испытуемых сумела правильно охарактеризовать лишь четыре имени из двадцати. Кто такой Гардинг (президент США в 1921—1923 годах), знают лишь 42 процента студентов. По мнению пятерых, это был агент разведки; в числе ответов были и такие: Гардинг — известный герой детективных романов, известный летчик, коммунист.

О том, кто такой Пикассо, знают 22 процента. Остальные предположили, что это тореадор, президент Италии, борец, грабитель, диктатор Португалии, атлет, открыватель Нового Света. Столь же низок процент осведомленности о Верди. По одному из ответов, он «убил маленькую девочку, которую потом признали святой». О Марксе знает половина студентов. Другая половина считает, что это был «царь, установивший в России коммунизм», или «русский коммунистический лидер, устроивший революцию», и так далее.

Сорок два студента назвали композитора Вагнера кинозвездой (спулав его с известным актером). Кромвель — детектив, от-

ставной моряк и даже... герой произведений Уолта Диснея. Лев Толстой оказался известен лишь 17 процентам студентов; все они изучают литературу.

«В заключение нашего обследования, — пишут авторы статьи, — мы попросили 77 наших студентов написать фамилию президента Соединенных Штатов. Далеко не все сумели это сделать правильно».

Статья, очевидно, произвела впечатление. Во всяком случае, несколько месяцев спустя те же авторы выступили снова в том же журнале, на сей раз со статьей «Что следует знать Джонни». Ссылаясь на новые «тесты» (испытания) уже с другими студентами, Норман и Сэун утверждают, что не лучше обстоит дело и в американских вузах на северо-востоке США. «Кто виноват в описанном нами интеллектуальном невежестве, которое подтверждается большинством преподавателей колледжей?» — спрашивают они. Причины, по их мнению, заключаются в переполнении школ, строящихся крайне медленно, в нехватке учителей и плохой их подготовке, в низком качестве программ, в чрезмерном уклоне к практицизму. Авторы выражают большую тревогу, сможет ли «продукт подобного образования» постоять за американские идеалы.

«Спутники, — пишут американские профессора, — убедили нас в том, что мы должны готовить ученых в области точных наук, которые могли бы сравниться с советскими учеными и превзойти их. Но крайне опасно упускать из виду роль гуманитарного образования... Если большинство наших студентов, как показали наши тесты, не подготовлено для высшего учебного заведения, то как же подготовлены для жизни в обществе те тысячи, которые не идут дальше средней школы?» Внесем уточнение. Речь идет не о тысячах, а о миллионах. А кроме того, примерно 40 процентов учащихся по причинам экономического характера прекращают учебу еще до окончания средней школы.

„New Republic“, August 12, December 23, 1957 («Нью рипаблик», 12 августа, 23 декабря, 1957).

А вот для сравнения свидетельство иного рода. Недавно в Советском Союзе побывал американский писатель Альберт Кан. Во Дворце спорта, в Лужниках, на хоккейном матче, он поговорил через переводчика с тремя советскими юношами. Все они оказались молодыми рабочими: одному было девятнадцать лет, двум другим — по двадцати лет. «Я спросил,— пишет в «Огоньке» А. Кан,— интересуются ли они литературой. Девятнадцатилетний подумал, потом сказал:

— Литературой? Не сказал бы, что очень... Вот хоккей — тут я «болею» всю!»

В дальнейшем разговоре, на просьбу А. Кана назвать нескольких писателей, молодой человек сказал, что ему нравятся Лев Толстой, Гоголь, Достоевский, Шолохов, Маяковский, Эренбург, Горький. «Его приятели назвали не менее десятка выдающихся имен... И тут произошло нечто неожиданное: «мало интересующиеся» литературой юноши, узнав, что я американец, стали наперебой говорить о Теодоре Драйзере, Джеке Лондоне, Марке Твене».

В Америке существует коммерческая фирма, которая специализировалась на всякого рода социальных обследованиях. Она носит название «Институт общественного мнения доктора Джорджа Гэллага». По данным этого института, три четверти американцев верят в различные приметы: каждый третий стучит по дереву «на счастье», каждый десятый перебрасывает рассыпанную соль

через плечо, каждый пятый содрогается, если черная кошка перебежит через дорогу..

«Деятели просвещения,— заявил Гэллаг,— спорят о том, почему Джонни мало читает. Более уместно, возможно, было бы спросить, почему так мало читают мать и отец Джонни».

«Читаете ли вы сейчас какую-нибудь книгу?» На этот вопрос американцы отвечали (данные института Гэллага):

Годы	Да	Нет
1949	21 проц.	79 проц.
1952	18 »	82 »
1957	17 »	83 »

По оценке института, в США самый низкий процент читателей книг среди всех крупных стран, говорящих на английском языке. На книжном рынке США царят детективные произведения и комиксы, порождающие не только преступность, но и невежество.

Низкий общекультурный уровень среднего американца — одна из сторон пресловутого американского образа жизни. Профессора Норман и Сэунин, как и многие деятели США, встревожены. А процесс фабрикации малокультурных Джонни идет своим чередом...

С. ЭПШТЕЙН.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

П. АРСКИЙ. Годы грозные. Стихи. «Советский писатель». М. 1958. 112 стр. Цена 1 р. 40 к.

Царь испугался, издал манифест: «Мертвым свобода! Живых под арест!» — кто не знает этих крылатых слов, родившихся в грозные дни первой русской революции. Автором их был поэт Павел Александрович Арский.

Арский — участник трех русских революций. Он был в числе тех, кто штурмовал Зимний дворец в 1917 году.

Пафосом революционной борьбы дышит стихотворение П. Арского «Закон дружины», посвященное событиям 1905 года. В ряде стихотворений поэт, сражавшийся на фронтах первой мировой войны, разоблачает антигуманистическую сущность грабительской бойни. В июне 1917 года в большевистской газете «Правда» была напечатана его антивоенная «Солдатская баллада».

Позже в стихотворениях, написанных по горячим следам революционных событий, поэт стремится осмыслить крупные социальные сдвиги, происходившие в молодой Советской республике. Он и сейчас откликается на важнейшие события в жизни Советской страны и за рубежом.

Стихи Арского, входившие в сборники и антологии русской революционной поэзии, долгое время не издавались отдельной книгой.

В НОГУ С ЖИЗНЬЮ. Свердловское книжное издательство. 1959. 167 стр. Цена 1 р. 45 к.

Авторы сборника, подготовленного Отделом пропаганды и агитации Свердловского обкома КПСС, — местные партийные работники — задалась целью подытожить накопленный за последнее время опыт массовой политической работы в городах, районах, на предприятиях и в колхозах области. Сборник интересен тем, что в нем показаны конкретные, проверенные жизнью формы борьбы за повышение производительности труда, технический прогресс, улучшение качества и снижение себестоимости продукции различных отраслей хозяйства. Поучительны статьи, в которых идет речь об общественных смограх, конференциях и школах передового опыта, о массовых рейдах по борьбе с расточительством сырья, металлов и топлива, о месячниках экономии и других мероприятиях.

Н. Н. ВОРОНИН. Владимир. Боголюбиво. Суздаль. Юрьев-Польский. Издательство «Искусство». М. 1958. 342 стр. Цена 14 р. 20 к.

Древние города Владимирской земли, свидетели многих битв, русского княжеского владычества, его расцвета и его упадка — Владимир, Боголюбиво, Суздаль и Юрьев-Польский, — привлекают и сейчас путешественников своими драгоценными памятниками древней русской культуры.

В предисловии к книге автор пишет: «Мне хотелось, чтобы мой читатель получил более широкие и интересные сведения об истории и культуре древней Владимирской земли, о роли ее памятников в жизни прошлого, обо всем интересном в этом смысле, что лежит на поверхности земли и под землей, об исчезнувших зданиях, об историко-художественных вопросах, возбуждаемых тем или иным из них».

Автор пишет свою книгу так, словно рассказывает живому собеседнику, путешествующему с ним по Владимирской земле. «Мне хотелось бы, — говорит он, — чтобы эта книга читалась не в тиши комнаты... а под открытым небом, в непосредственном общении о памятниками, у их стен, под их сводами».

Книга богато иллюстрирована.

Она поможет советскому читателю еще лучше понять прошлое своей Родины, еще больше гордиться ее великой культурой.

Г. А. ГАНШИН. Экономика Китайской Народной Республики. Издательство Института международных отношений. М. 1959. 362 стр. Цена 17 р. 70 к.

В книге Г. Ганшина рассказано о глубоких социально-экономических преобразованиях, происшедших в Китае. Автор подробно анализирует основные принципы экономической политики КНР, тесное сотрудничество Китая с Советским Союзом и странами народной демократии, важнейшие этапы развития сельского хозяйства. Отдельная глава посвящена росту материального благосостояния и культуры китайского народа.

В прошлый год в КНР развернулось всенародное движение за достижение «большого скачка» в промышленности и за создание народных коммун. Эти вопросы, широко освещаемые теперь в китайской печати, лишь отчасти, указывает автор, смогли найти отражение в книге.

ПЬЕР ДЭКС. Убийца нужен... Перевод с французского. Издательство иностранной литературы. М. 1959. 292 стр. Цена 8 р. 45 к.

Автор этой книги — французский писатель-коммунист, немало сил отдавший борьбе с фашизмом. В самом начале войны гитлеровцы бросили Пьера Дэкса в Маутхаузен. Но лагерь смерти не сломил духа патриота. Вырвавшись из лагеря, он вступил в ряды бойцов Сопротивления, с оружием в руках воевавших за Францию. После войны Пьер Дэкс создал роман «Последняя крепость», в котором рассказал о мужестве тех, кому пришлось испытать на себе все ужасы гитлеровских лагерей. Коммунистам Франции, активистам Сопротивления, чьи усилия и сейчас направлены на борьбу за подлинную свободу и демократию, посвятил писатель свою трилогию «Сорок второй разряд» и роман «Парижские трудности».

В своем новом произведении «Убийца нужен...», переведенном на русский язык, Пьер Дэкс разоблачает козни фашиствующего отребья — бывших соучастников гитлеровцев, которые все еще мечтают взять реванш, заставить Францию повернуть на путь войны и фашизма. Они не стесняются делать ставку на выпущенного из тюрьмы Лавердона (героя романа) — отъявленного негодяя и убийцу многих французов, использовать его для своих новых грязных дел.

В романе разоблачается политика империалистических заправил Франции. С особой горечью пишет Пьер Дэкс о мечущихся, опустошенных представителях буржуазной французской молодежи.

Роман вышел в хорошем переводе Евг. Загорянского.

БОРИС ЕГОРОВ. Романтика нашего времени. «Молодая гвардия», М. 1959. 144 стр. Цена 2 р. 15 к.

Одним из фундаментов цивилизации Ленин называл железо. Рассказом о металле и начинается в книжке разговор о семилетнем плане. 4,3 и 90 — столько миллионов тонн стали выплавлялось у нас в начале первой пятилетки и настолько возрастет выплавка к концу текущей семилетки. В 1920 году, когда был принят план ГОЭЛРО, в стране вырабатывалось всего 0,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, а к 1965 году эта цифра увеличится в тысячу раз! Мы будем вырабатывать свыше 500 миллиардов киловатт-часов. От 0,02 миллиарда кубометров до 150 миллиардов — таков рост производства газа начиная с 1913 года и до того уровня, который будет достигнут в 1965 году...

Так, насыщая свое повествование контрастными сопоставлениями, приводя разительные примеры и факты, раскрывает автор суть и значение Контрольных цифр — перечня больших дел, которые нам предстоит совершить за семилетие.

Доходчивость материала, его наглядность могли быть больше, если бы книга, рассчитанная на молодежь, была снабжена иллюстрациями, диаграммами, схемами.

ЕЛЕНА КАТЕРЛИ. Жизнь Грани Соколовой. Роман. «Советский писатель». Л. 1959. 348 стр. Цена 4 р. 30 к.

«Жизнь Грани Соколовой» — последнее, неоконченное произведение Е. Катерли.

Написать о жизни женщины от ее рождения до смерти, о жизни рядовой, скромной, но честной и верной до конца делу партии коммунистки — таков был замысел романа. Но автору удалось осуществить лишь часть его. «Жизнь Грани Соколовой» охватывает только трудное детство и комсомольскую юность героини в годы первой пятилетки.

Пролог романа позволяет читателю представить весь жизненный путь Грани, похожий, между прочим, и на путь коммунистки Елены Катерли.

П. МАЛЬКОВ. Записки коменданта Московского Кремля. «Молодая гвардия», М. 1959. 288 стр. Цена 5 р. 85 к.

Чем дальше уходит в прошлое эпопея Великой революции и первых послеоктябрьских лет, тем ценнее становятся свидетельства участников и очевидцев исторических событий. П. Д. Мальков, старый большевик, участник Октябрьских боев, комендант Смольного, а затем комендант Кремля, делится воспоминаниями — по условиям своей работы, он имел возможность часто встречаться с В. И. Лениным и его соратниками Я. М. Свердловым и Ф. Э. Дзержинским.

В соответствии с публикуемыми материалами книга разбита на три части: «Петроград, Смольный», «Москва, Кремль», «Борьба с контрреволюцией». В главе «Владимир Ильич Ленин» автор сообщает много дорогих для советского человека подробностей о создателе Советского государства, его скромности и неприхотливости в быту, теплой отзывчивости к людям.

Книга написана П. Д. Мальковым в творческом сотрудничестве с кандидатом исторических наук А. Я. Свердловым.

ОНИ ПОБЕДИЛИ СМЕРТЬ. Госполитиздат. М. 1959. 256 стр. Цена 4 р. 50 к.

Равенсбрюк!.. «Адом для женщин» называли заключенные этот фашистский концентрационный лагерь, который был расположен недалеко от Берлина. Через лагерь прошли 123 тысячи заключенных женщин разных национальностей в возрасте от 17 до 60 лет и свыше 500 детей. Около 100 тысяч из них было умерщвлено.

Книга «Они победили смерть» написана бывшими узницами лагеря, рассказавшими страшную правду об этом гитлеровском застенке, о том, что сами пережили или чему были свидетелями. «Вся организация, вся система жизни в Равенсбрюке, если такое существование может считаться жизнью, были направлены к тому, чтобы растоптать в заключенных все человеческое...» Не, несмотря на неслыханные издевательства,

пытки, постоянную угрозу смерти, узницы не покорились палачам, находили в себе силы вступать с ними в борьбу.

О силе человеческого духа, о самоотверженной дружбе и моральной стойкости в условиях гитлеровской каторги рассказывает эта книга. Она еще и еще раз напоминает об ужасах, которые принес миру фашизм и развязанная им война.

А. ПОМОРСКИЙ. Рождение песни. «Советский писатель». М. 1958. 218 стр. Цена 4 р. 25 к.

А. Поморский принадлежит к числу тех пролетарских поэтов, первые стихи и песни которых создавались еще до революции, в трудное время столыпинской реакции, в годы, когда партия большевиков находилась в подполье.

Многие тюрьмы узнал поэт-большевик. Но, несмотря на преследование царских сыщиков, на запрещение писать, стихи поэта публиковались в «Звезде», «Правде», в ряде рабочих журналов. Революция 1917 года застаёт Поморского в Петрограде, где он работает во время июльского восстания секретарем одного из районных комитетов РСДРП (большевиков).

В Октябрьские дни поэт участвует во взятии Зимнего дворца.

В 1917 году выходит первая книга стихов А. Поморского «Песни борьбы».

Активное участие в Октябрьской революции и гражданской войне, борьбе с басмачами, работа на Кавказе, борьба с фашизмом — все это насыщает актуальным содержанием пореволюционный период творчества поэта. В аннотируемый сборник включены произведения, созданные им за многие годы.

И. М. САРКИЗОВ-СЕРАЗИНИ. По Восточному Крыму. Путеводитель. Географиздат. М. 1958. 144 стр. Цена 2 р. 30 к.

Автор отлично знает природу, историю и экономику Восточного Крыма. Чувствуется, что все маршруты, которые он описывает, не один раз были проделаны им самим.

Несмотря на небольшой объем, путеводитель содержит много самых разнообразных сведений, в том числе и рекомендации медицинского характера (автор — видный деятель медицины). Это делает книгу нужной не только для туристов, но и для тех, кто едет в Крым лечиться. Путеводитель снабжен вкладной картой, основные шесть разделов-маршрутов иллюстрируются небольшими схематическими картами. Многочисленные фотографии воспроизводят живописные места Восточного Крыма.

ТУРЕЦКАЯ ПОЭЗИЯ НАШИХ ДНЕЙ. Перевод с турецкого. Издательство иностранной литературы. М. 1958. 134 стр. Цена 2 р. 25 к.

«Я хочу, чтобы новая литература обращалась к большинству. Поскольку большинство в нынешнем мире составляет простой, бедный народ, новая литература должна быть его литературой. Среди этих людей она должна выбирать героев, их жизнь описывать, к их проблемам обращаться». Так писал, определяя существо современной прогрессивной поэзии Турции, один из наиболее популярных ее поэтов Орхан Вели.

В аннотируемый сборник включены стихи турецких поэтов трех поколений. Одни из них начинали свою поэтическую деятельность еще в двадцатых годах, другие выпустили только первую книгу стихов. Читатель здесь встретит имена всем известного Назыма Хикмета, Орхана Вели, Мелиха Джеветта, Октая Рифата, Мехмеда Кемалея, Сауда Ташера, Рифата Ильгаза, Зия Османа и других.

Это поэты разных эстетических вкусов и общественных взглядов. Но их объединяет стремление к жизненной правде, к миру, к свободе, любовь к простому человеку.

Настоящая книга — первый сборник турецкой поэзии на русском языке. Она поможет советскому читателю лучше узнать народ Турции.

Составитель сборника Р. Фиш. Редактор Б. Слуцкий. В переводах стихов поэтов Турции принимала участие большая группа советских поэтов.

«ЦИФРЫ, ПОТРЯСАЮЩИЕ МИР». Издательство Института международных отношений. М. 1959. 63 стр. Цена 65 к.

В этой брошюре собраны отклики зарубежной прессы на советский семилетний план, высказывания, опубликованные на страницах как прогрессивных, так и реакционных газет и журналов.

Материал брошюры показывает, что даже буржуазная печать, даже наши недруги не в состоянии обойти молчанием грандиозные успехи экономики Советского Союза. Газета «Нью-Йорк таймс» называет семилетний план «самым смелым экономическим вызовом из всех, которые Россия когда-либо бросала Соединенным Штатам и Западу».

С интересом познакомится читатель с высказываниями зарубежных писателей — друзей нашей страны: Альберта Кана, Людмила Стоянова, Иржи Марека, а также деятелей коммунистических партий стран социализма и буржуазных стран.

Материалы брошюры подобраны и прокомментированы Ю. А. Жилиным.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ГОСПОЛИТИЗДАТ

Вопросы партийной работы. 568 стр. Цена 8 р.

А. Гусев. Штурм шестого континента. 104 стр. Цена 1 р. 25 к.

Ю. Жданов. Ленин и естествознание. 112 стр. Цена 1 р. 35 к.

Закон стоимости и его использование в народном хозяйстве СССР. 516 стр. Цена 12 р.

К. Зародов. О формах перехода различных стран от капитализма к социализму. 132 стр. Цена 1 р. 60 к.

В. Келле, М. Ковальзон. Формы общественного сознания. 264 стр. Цена 4 р. 75 к.

Э. Кольман. Ленин и новейшая физика. 152 стр. Цена 1 р. 80 к.

Дм. Рудь. Эти годы стоят десятилетий. 64 стр. Цена 70 к.

Ю. Сачков. О материалистическом истолковании квантовой механики. 176 стр. Цена 2 р. 75 к.

Советско-французские отношения во время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Документы и материалы. 552 стр. Цена 9 р. 50 к.

Л. Фотиева. Из жизни Ленина. 152 стр. Цена 2 р.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»

Закон об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в РСФСР. 32 стр. Цена 30 к.

СОЦЭКГИЗ

Р. Гильфердинг. Финансовый капитал (Исследование новейшей фазы в развитии капитализма). Перевод с немецкого. 492 стр. Цена 13 р. 95 к.

В. П. Елютин. Высшая школа страны социализма. 100 стр. Цена 1 р. 5 к.

Ш. М. Левин. Общественное движение в России в 60—70-е годы XIX века. 512 стр. Цена 15 р. 35 к.

Т. И. Ойзерман. Неотомизм — философия современной реакционной буржуазии. 84 стр. Цена 1 р. 25 к.

А. Ф. Окулов. Борьба В. И. Ленина против философии реформизма и ревизионизма. 420 стр. Цена 10 р. 60 к.

Развитие экономики стран народной демократии (Обзор за 1957 г.). 612 стр. Цена 13 р. 65 к.

С. Г. Струмилин. На путях построения коммунизма. 104 стр. Цена 1 р. 65 к.

Теория и практика хозяйственного расчета. 324 стр. Цена 9 р. 65 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Р. Асаев. В пути и дома. Стихи. Перевод с осетинского. 108 стр. Цена 1 р. 10 к.

К. Буковский. Вехи времени. Очерки. 304 стр. Цена 5 р. 15 к.

Н. Вагнер. Удивительные встречи. Повести и рассказы. 264 стр. Цена 4 р. 75 к.

Г. Великов. Цветы и звезды. Стихи. 68 стр. Цена 1 р. 50 к.

Ф. Вигдорова. Черниговка. Повесть. 340 стр. Цена 6 р. 20 к.

М. Джалал. Воскресший человек. Повести и рассказы. Перевод с азербайджанского. 646 стр. Цена 11 р.

Д. Жалсараев. Даль степная. Стихи. Перевод с бурятского. 114 стр. Цена 2 р.

А. Караганов. Характеры и обстоятельства. 400 стр. Цена 9 р. 50 к.

Литература и современность. Сборник. 320 стр. Цена 7 р. 60 к.

П. Мануйлов. Над нами свет. Рассказы. 184 стр. Цена 3 р. 65 к.

А. Раскин. Очерки и почерки. 132 стр. Цена 5 р. 50 к.

Р. Рождественский. Дрейфующий проспект. Стихи. 88 стр. Цена 1 р. 40 к.

М. Светлов. Горизонт. Стихи. 199 стр. Цена 4 р. 25 к.

Я. Смеляков. Разговор о главном. Новые стихи. 96 стр. Цена 2 р. 35 к.

Н. Старшинов. Песня света. Стихи. 104 стр. Цена 1 р. 30 к.

Н. Степанов. Лирика Пушкина. 412 стр. Цена 9 р. 40 к.

ГОСЛИТИЗДАТ

Петрусь Бровка. Стихотворения и поэмы. Перевод с белорусского. 288 стр. Цена 5 р. 15 к.

Н. Вильмонт. Гёте. История его жизни и творчества. 335 стр. Цена 8 р. 65 к.

В. В. Виноградов. О языке художественной литературы. 655 стр. Цена 15 р. 60 к.

Михаил Голодный. Стихотворения, баллады, песни. 207 стр. Цена 3 р. 70 к.

А. М. Горький. Письма к писателям и И. П. Ладыжникову. (АН СССР. Институт мировой литературы им. А. М. Горького. Архив А. М. Горького. Том 7). 382 стр. Цена 8 р. 40 к.

Якуб Колас. На росстанях. Трилогия. Перевод с белорусского. 615 стр. Цена 13 р. 20 к.

Мамед Рагим. Стихотворения. Перевод с азербайджанского. 263 стр. Цена 4 р. 35 к.

Я. Ругоев. В краю Калевалы. Стихи. 239 стр. Цена 5 р. 85 к.

Ганс Сакс. Избранное. Перевод с немецкого. 404 стр. Цена 6 р. 30 к.

Михаил Светлов. Стихотворения. 191 стр. Цена 4 р. 20 к.

Радуге Стийенский. Песни. Стихотворения. Поэмы. Авторизованный перевод с сербского. 407 стр. Цена 11 р. 75 к.

Максим Танк. Стихотворения и поэмы. Перевод с белорусского. 279 стр. Цена 4 р. 40 к.

Р. Фиш. Сабахаттин Али. Критико-биографический очерк. 152 стр. Цена 3 р. 20 к.

Французская новелла XIX века. Переводы с французского. Том 1. 712 стр. Цена 13 р. 75 к. Том 2. 796 стр. Цена 14 р. 45 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Цырен Базар Бадмаев. Степь крылатая. Стихи. Перевод с бурятского. 63 стр. Цена 2 р. 25 к.

Н. Богословский. Тургенев. Научно-художественная биография. 416 стр. Цена 7 р. 95 к.

Николай Дамдинов. Гудящие сосны. Стихи. Перевод с бурятского. 56 стр. Цена 2 р. 65 к.

Георгий Кублицкий. Мечи и колос. Очерки. 112 стр. Цена 1 р. 65 к.

Г. Кунгуров. Албазинская крепость. Историческая повесть. 254 стр. Цена 4 р. 80 к.

М. Кюри, Е. Кюри. Пьер и Мария Кюри. Научно-художественная биография. 429 стр. Цена 8 р. 15 к.

В. Морозов. В разведку шел мальчишка. Повесть. 176 стр. Цена 2 р. 70 к.

Н. Паниев. Человеку 150 лет. Документальная повесть. 240 стр. Цена 5 р. 55 к.

Халил Рза. Щедрый день. Стихи. Перевод с азербайджанского. 80 стр. Цена 2 р. 40 к.

Чимит Цыдендамбаев. Новый дом. Рассказы. Перевод с бурятского. 192 стр. Цена 4 р. 15 к.

И. В. Чендей. Терн цветет. Рассказы. 208 стр. Цена 4 р. 45 к.

Георгий Щербатов. Партизанские огни. 160 стр. Цена 2 р. 40 к.

ДЕТГИЗ

И. Артемьев. Первый искусственный спутник Солнца. 64 стр. Цена 85 к.

С. Бытовой. Даурская жемчужница. Повесть. 168 стр. Цена 3 р. 50 к.

А. Вересов. Маркьяныч. Повесть. 152 стр. Цена 3 р. 40 к.

С. Воскресенский. Бухта Хромого медведя. Повесть. 216 стр. Цена 4 р. 45 к.

С. Григорьев. Морской узелок. Рассказы о былом. 304 стр. Цена 7 р. 20 к.

О. Гурьян. Повесть о Великой стене, о Чжэн-ване и Цзин Кэ, о двух сестрах и о том, как поднялась буря. 240 стр. Цена 4 р. 70 к.

Н. Жданов. В окрестностях тайны. Повесть. 144 стр. Цена 3 р. 25 к.

Ф. Лангер. Братство Белого Ключа. Перевод с чешского. 128 стр. Цена 2 р. 80 к.

А. Локерман. Загадка «Белой гривы». Повесть. 152 стр. Цена 3 р. 35 к.

Ю. Тувим. Весны и Осени. Стихи. Перевод с польского. 128 стр. Цена 3 р. 35 к.

В. Ян. Огни на курганах. Историческая повесть. 328 стр. Цена 7 р. 75 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО

АКАДЕМИИ НАУК СССР

А. С. Амальрик, А. Л. Монгайт. В поисках исчезнувших цивилизаций. Очерки археологии. 311 стр. Цена 9 р.

История Северо-Осетинской АССР. 334 стр. Цена 13 р. 70 к.

П. П. Лазарев. Энергия, ее источники на земле и ее происхождение. 278 стр. Цена 4 р. 30 к.

У истоков русского книгопечатания. 267 стр. Цена 15 р. 10 к.

Т. С. Хачагуров. Экономика транспорта. 587 стр. Цена 23 р.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Е. Н. Герасимов, С. Н. Голубов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс** (ответственный секретарь), **А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

Редакция: Москва Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Рукописи объемом до одного авторского листа не возвращаются.

Сдано в набор 13/V-59 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 19/VI-59 г.
А 03540. Формат бумаги 70×108¹/₁₆. 9 бум. л.—24,66 печ. л. Тираж 140.000. Зак. № 982.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 7 руб.